

## Уильям Фолкнер Поселок

### Книга первая. Флем

#### Глава первая

#### 1

Французовой Балкой называлась часть плодородной речной долины в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Защищенная холмами и уединенная, обособленная, но четких границ не имеющая, лежащая на стыке двух округов и ни одному из них не подчиненная, Французова Балка когда-то была жалованным поместьем, ко времени войны Севера с Югом превратившимся в колоссальную плантацию, останки которой — выпотрошенный короб огромного дома, рухнувшие бараки для рабов и конюшни, террасы, укрепленные кирпичной кладкой, дорожки и заросшие сады — по-прежнему именовались усадьбой Старого Француза<sup>1</sup>, хотя первоначальные границы поместья были обозначены теперь только на пожелтевших старинных планах, хранившихся в архиве финансового управления, размещенном в Джефферсоне, в здании окружного суда; и даже поля, в прошлом урожайные, кое-где давно уже вновь заволокли сплошь поросшая камышом непролазная кипарисовая чаща, некогда вырубленная их первым владельцем.

Вполне возможно, он был иностранец, хотя и не обязательно француз, поскольку для людей, пришедших после него и почти начисто уничтоживших следы его трудов, любой, в чьей речи угадывался нездешний призыв либо чья внешность или даже род занятий казался странным, был не иначе как француз, что бы ни утверждал он в отношении своей национальной принадлежности, подобно тому как их существеннее затронутые городской цивилизацией современники (вздумай он обосноваться, скажем, в самом Джефферсоне) окрестили бы его голландцем. Откуда он был родом на самом деле, теперь никто уже не имел и понятия, даже шестидесятилетний Билл Варнер, нынешний владелец большей части бывшего поместья, включая участок под разрушенной усадьбой. Потому что пропал, исчез тот иностранец, Француз тот, вместе с семьей, рабами, со всем своим величием. Его мечта, необъятные поля его плантации были раздроблены на части под мелкие, заложенные и перезаложенные захудалые фермы, и директора джефферсонских банков сперва из-за них между собой перегрызлись, а в конце концов продали Биллу Варнеру, так что все, что от Старого Француза осталось, — это русло реки, которое на протяжении почти десятка миль его рабы спрямили, дабы река не размывала земли, да еще скелет грандиозного дома, который его самозванные наследники уже лет тридцать растаскивали по частям, отдирая и отковыривая все, что только могли: ореховые балясины перил и опоры винтовых лестниц, дубовые половицы, которым лет через пятьдесят цены бы не было, вплоть до дощатой обшивки дома — и все на дрова. Забыто было даже имя иностранца, и от его гордыни не осталось ничего, кроме предания о земле, отвоеванной им у зарослей и покоренной, увековечившей позабытый титул, который те, кто явились позже, приехали в обшарпанных фургонах, верхом на мулах или даже пришли пешком со своими кремневыми ружьями, собаками и детьми, самогонными аппаратами и протестантскими молитвенниками, даже по складам прочесть не смогли бы, не то что правильно выговорить, и который не имел уже отношения ни к кому на всем белом свете; и вот не осталось ни его мечты, ни гордыни, прах, тлен и безымянная могила, а от всего предания — лишь сказка, упрямо твердящая о деньгах,

---

<sup>1</sup> *Усадьба Старого Француза.* — В более поздних произведениях Фолкнера сообщается, что владельцем усадьбы был француз Луи Гренье, один из основателей Джефферсона.

зарытых им где-то в усадьбе, когда войска генерала Гранта хлынули в эти места по дороге на Виксберг<sup>2</sup>.

Люди, ему унаследовавшие, пришли с северо-востока, через теннессийские горы, продвигаясь постепенно, каждый шаг отмеряя выношенным и выращенным поколением. Они пришли с Атлантического побережья, а прежде того из Англии, с болот Шотландии и Уэльса, и это видно по именам многих из них: Тэрпин и Хэйли, Уиттингтон, Маккалем и Марри, Леонард и Литтлджон, да и других тоже: Риддеп, Армстид, Доши — люди с такими именами сами собой, из ниоткуда, появиться не могут, поскольку никто, конечно же, не выбрал бы себе добровольно подобное прозвище. Не было у них ни рабов, ни дорогих комодов работы Файфа и Чипендейла<sup>3</sup>, — какое там, если у них что и было, так в большинстве своем они все свое имущество в состоянии были принести на собственных плечах, а зачастую и действительно принесли. Они заняли землю, понастроили лачуг в одну-две комнатенки, причем до покраски дело не доходило, пережилились между собой и принялись плодить детей да пристраивать к своим лачугам клетушку за клетушкой, опять не утруждаясь покраской, но на большее их не хватало. Их потомки все так же растили хлопок в пойме, а кукурузу у подножья холмов, из зерна гнали виски в запрятанных среди холмов укромных закутках и продавали, если не выпивали все сами. К ним направляли федеральных чиновников, но те исчезали. Кое-что из вещей пропавшего потом обнаруживалось — какая-нибудь фетровая шляпа, приличного сукна сюртук, пара городских штиблет, а глядишь, и пистолет даже — то у ребятишек, то у старика или старухи. Начальство из округа иначе как по поводу выборов туда не совалось. Они сами содержали свои церкви и школы, а их свадьбы, редкие прелюбодеяния и несколько более частые убийства — все это решалось между собой: сами себе судьи, сами себе палачи. Протестанты и демократы, они давали обильный приплод; негров среди местных землевладельцев не было ни одного, а чужие негры ни за что на свете не согласились бы пройти через Францову Балку после того, как стемнеет.

Главным человеком в этих местах сделался Билл Варнер, теперешний хозяин усадьбы Старого Француза. Он был крупнейшим землевладельцем и членом окружного совета в одном округе, мировым судьей в соседнем и уполномоченным по выборам в обоих, поэтому от него исходили если не законы, то по меньшей мере советы и поучения для местных жителей, которые отвергли бы такой термин как представительство, если бы даже когда-нибудь о нем услышали, и приходили к Варнеру с намерением узнать не «что от меня требуется», а «как вы думаете, что бы вы от меня вздумали потребовать, если бы меня удалось заставить». Он был и фермером, и ростовщиком, и ветеринаром; судья Бенбоу из Джефферсона сказал однажды, что никогда он не встречал такого отменного учтивца среди всех, кто начинал избирательные урны иль мулам зубы рвал<sup>4</sup>. Почти вся хорошая земля в

---

<sup>2</sup> Имеются в виду военные действия на территории штата Миссисипи весной и летом 1863 г. Нанеся ряд поражений противнику, армия северян, которой командовал тогда генерал Улисс Симпсон Грант (1822–1885), окружила хорошо укрепленную крепость конфедератов Виксберг. 4 июля после длительной осады гарнизон крепости капитулировал.

<sup>3</sup> Имеются в виду прославленные мастера-краснодеревцы: американец Дункан Файф (1768–1854) и англичанин Томас Чипендейл (1718–1779). Изготовленная ими мебель считалась таким же обязательным атрибутом плантаторского дома, как и белые колонны.

<sup>4</sup> *...не встречал такого отменного учтивца среди всех, кто начинал избирательные урны иль мулам зубы рвал.* — Перифраз строк из поэмы Байрона «Дон Жуан», в которых речь идет о старом предводителе пиратов:

Наш старик учтивцем был отменным  
Средь всех, кто корабли топил иль глотки рвал:  
Столь выдержанным он казался джентльменом,  
Что замыслов его никто б не разгадал.  
(III, 41, перевод Г. Шенгели)

округе принадлежала Варнеру, а на остальную он держал закладные. Он был владельцем лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой и кузни — все это в самом поселке, — и местные жители считали для себя, мягко говоря, неосмотрительным делать закупки, или очищать хлопок, или дробить кукурузу, или подковывать тягло где-либо еще. Тощий как жердь и почти такой же длинный, с рыжеватой, тронутой сединой шевелюрой и усами и маленькими, колючими, яркого, невинно-голубого цвета глазками, он был похож на попечителя воскресной школы при методистской церкви, который по будням ездит на пассажирском поезде кондуктором или наоборот и который при этом владеет церковью, а может — железной дорогой, а может — и той и другой. Расчетливый и скрытный, он при этом обладал веселым нравом и раблезианским складом ума, по всей вероятности до сих пор оставаясь подверженным позывам пола (своей жене он сделал шестнадцать детей, хотя только двое из них жили дома, остальных поразбросало, кого замуж, кого в могилу, от Эль-Пасо до границы с Алабамой), и вихрастая его шевелюра, даже на седьмом десятке более рыжая, чем седая, тому порукой. Живой и энергичный, он в то же время был ленив: ничего не делал (всеми семейными предприятиями управлял сын) и посвящал этому все время, успевая выйти из дому и исчезнуть даже прежде, чем сын спустится к завтраку, и поди знай, куда старик направляется, при том, что и он, и старая разжиревшая белая кобыла, верхом на которой он разъезжал, могли попасться на глаза когда и где угодно на десять миль окрест, а весной, летом и ранней осенью хотя бы в месяц раз — кобыла привязана на выпасе у ближнего столба забора — любой мог видеть, как он сидит в самодельном кресле посреди лужайки, заглохшей под натиском дикого мелкоустья, в усадьбе Старого Француза. Кресло смастерил ему кузнец, до половины распилив посередине бочку из-под муки, а потом подровняв края и приколотив сиденье, и Варнер теперь посиживал в своем кресле, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, для каждого прохожего держа в запасе острое словцо, приветливое, но без намека на приглашение к беседе, один, на фоне ков былой роскоши. Все полагали (как те, кто видел его там, так и те, кто об этом только слышал), что он в это свое уединение забирается, чтобы обдумать, как бы опять у кого-нибудь отобрать землю, лишив очередного должника права выкупа по закладной, поскольку одному лишь бродячему торговцу швейными машинками по имени Рэтлиф — человеку младше его более чем вдвое — он выдал некое подобие причины: «Люблю здесь посидеть. Все пытаюсь поставить себя на место того остолопа, которому все вот это было нужно... — он даже не шелохнулся, даже головой не повел в направлении затейливого лабиринта старых, уже сплошь проросших травой кирпичных дорожек, поднимавшихся к колоннаде громадного полуразвалившегося фасада за спиной, — ...которому все это нужно было, чтобы только есть там да спать». А потом добавил, так и не дав понять Рэтлифу, где под шуткой кроется зерно истины: «Одно время похоже было, что меня от всего этого избавят, растащат дочиста. Да народец-то у нас вишь какой: до того обленились, уже на лестницу не залезть, чтобы доски поотдирать, какие остались. Скорее в лес пойдут да дерево завалят — это им проще, чем глянуть выше собственного носа, где бы охапку дранки налущить на растопку. Все же, думаю, пускай как есть, так и стоит — что еще осталось. Пусть напоминает мне о моей ошибке. За всю жизнь это единственное, что купить-то я купил, а перепродать никому и не выходит». Его сыну Джоди было уже лет тридцать — видный, цветущий мужчина с немного выпученными, вероятно из-за щитовидки, глазами, и не только не женатый, но прямо-таки источающий флюиды непреодолимого и незыблемого холостяковства, подобно тому как порой говорят, что от человека исходит дух святости и благородства. Крупный мужчина с намечающимся брюшком, которое лет через десять — пятнадцать обещало изрядно вырасти, пока что он ухитрялся выглядеть завидным кавалером. И зимою и летом, и в праздники и в будни он носил черный костюм добротного тонкого сукна (с сюртуком, правда, на время теплого сезона расставался), под которым неизменно белела рубашка без воротничка, застегнутая на

шее массивной золотой запонкой. Впервые он надевал все это в день, когда костюм доставляли от джефферсонского портного, и с той поры носил его каждый день в любую погоду, пока не продавал кому-нибудь из негров, прилепившихся к дому Варнеров, заменяя следующим, так что чуть ли не в каждый воскресный вечер любой из его старых костюмов (либо целиком, либо представленный одной какой-нибудь частью) можно было встретить и тотчас же опознать на летних дорогах округа. В противоположность неизменно облаченному в комбинезоны окружающим, вид у него был не то чтобы похоронный, но торжественный, отчасти из-за присущих ему эманации холостяковства, поэтому поглядишь на него и, несмотря на некоторую расплывчатость абриса и общую помятость, сразу видишь — вот он, неувыдаемо бессмертный Первый Парень, апофеоз мужской исключительности, как порой за раздутым от водянки телом бывшего футболиста университетской команды 1909 года выпуска угадывается тень поджарого, неудержимого форварда. У родителей он из шестнадцати детей был девятым. Вел дела в лавке (номинальным владельцем которой все еще считался отец и в которой они с отцом занимались главным образом сделками по покупке просроченных закладных), на хлопкоочистителе тоже он распоряжался и за наделами арендаторов надзирал — инспектировал те разбросанные там и сям земли, которые сперва его отец, а потом оба они вместе напропалую скупали последние сорок лет.

Как-то под вечер он был в лавке, отматывал с барабана новую веревку, нарезал из нее постромки для плуга, сворачивая их и навешивая по-корабельному, аккуратными шлагами, на рядок гвоздей, вбитых в стену, и тут позади послышался стук, он обернулся и увидел в дверном проеме силуэт человека, ростом пониже среднего, в широкополой шляпе и сюртуке с чужого плеча, причем стоял этот человек со странной, прямо-таки деревянной неподвижностью.

— Ты Варнер? — сказал незнакомец голосом не то чтобы грубым, во всяком случае не намеренно грубым, а скорее как бы подзаржавевшим от редкого пользования.

— Ну, смотря который, — отозвался Джоди напористым и зычным голосом, но при этом довольно любезно. — Чем могу служить?

— Моя фамилия Сноупс. Слышал, будто у вас сдается в аренду ферма.

— Да ну? — проговорил Варнер, становясь так, чтобы лицо пришельца оказалось повернуто к свету. — И где ж это ты такое слышал? — ферма была новая, только-только они с отцом ее приобрели, выкупив просроченную закладную, не прошло еще и недели, а этот ведь не из местных. Даже фамилия незнакомая.

Тот не ответил. Теперь Варнеру было видно его лицо: пара холодных, серых, матово-непроницаемых глаз под седеющими, сердито сдвинутыми бровями да короткая, стального цвета спутанная борода, густая и клочковатая, как овчина.

— А у тебя где раньше хозяйство было? — спросил Варнер.

— Западнее, — краткость его ответа не означала ни резкости, ни пренебрежения. Просто это единственное слово приобрело в его устах завершенную и необратимую окончательность, словно он дверь за собой закрыл.

— В Техасе, что ли?

— Нет.

— Понятно. Просто отсюда к западу. Семья большая?

— Шестеро, — теперь явной паузы дальше не предощущалось, но и торопливого перехода к следующему слову тоже не было. Однако высказано было не все. Это Варнер почувствовал еще прежде, чем тот же безжизненный голос завершил высказывание, казалось бы, нарочито противоречивое: — Парень и две девки. Жена и ее сестра.

— Это же только пятеро.

— И я, — сказал мертвый голос.

— Обычно хозяин не считает себя среди своих работников, — возразил Варнер. — Так вас пятеро или семеро?

— В поле могу шестерых вывести.

И опять тон Варнера не изменился, все такой же напористый, такой же любезный.

— Не знаю, стоит ли брать арендатора на этот год. Уже ведь май на носу. Я тут прикинул, может, и сам управлюсь — с поденщиками. Если вообще стану в этом году с ней возиться.

— Ну, согласен и так, — сказал пришлый. Варнер поглядел на него.

— Абы как, лишь бы устроиться? — ответа не последовало. Варнер даже не мог понять толком, смотрит тот на него или нет. — А платить сколько собираешься? За аренду-то.

— А сколько берешь?

— Треть и четверть, — объявил Варнер. — За провизией сюда, в лавку. Наличных не надо.

— Ясно. А потом на каждый доллар двадцать пять центов сверху.

— Правильно, — любезно согласился Варнер. Теперь он и совсем понять не мог, смотрит тот вообще куда-нибудь или нет.

— Согласен, — сказал пришлый.

Потом Варнер стоял на галерее лавки, где человек пять мужчин в комбинезонах, кто сидя, кто на корточках, пристроились со своими карманными ножами и обструганными палочками, и смотрел, как его посетитель, деревянно хромя, сошел с крыльца и, ни направо, ни налево не взглянув, выбрал среди привязанных под галереей запряженных в повозки и оседланных животных тощего незаседланного мула в драной плужной упряжи с веревочными вожжами, подвел его к ступенькам, неуклюже и деревянно на него вскарабкался и уехал, так и не поглядев ни разу по сторонам.

— Послушать, как он ногой топчет, подумаешь, что в нем сотни две фунтов, — сказал один из сидевших. — Кто таков, а, Джоди?

Варнер цыкнул зубом и сплюнул на дорогу.

— Сноупс его фамилия, — отозвался он.

— Сноупс? — удивился другой. — Надо же. Это он, стало быть, — теперь не только Варнер, но и все остальные обернулись к говорившему — костистому человеку в линиялом, но совершенно чистом, хотя и латаном комбинезоне, и даже свежевыбритому, с кротким, почти печальным выражением лица (пока не разглядишь сразу два выражения: преходящее — мирной и успокоенной неподвижности и постоянное — явной, хотя и едва проступающей усталой замотанности), а губы у него были нежные, хранившие, казалось, юношескую свежесть (пока не сообразишь, что этот человек, видимо, просто никогда в жизни не курил) — ни дать ни взять живой прообраз и олицетворение целого разряда мужчин, тех, что рано женятся, на свет производят одних дочерей и сами для своих жен не более чем старшие дочери. Звали его Талл. — Это же тот бедолага, что провел зиму со своим семейством в старом хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще два года назад в ту историю был замешан — сарай тогда кто-то поджег у одного малого по фамилии Гаррис из округа Гренье.

— А? — вскинулся Варнер. — Что такое? Сарай поджег?

— Я разве говорю, что это его работа? — отозвался Талл. — Я говорю, он просто, похоже, в это замешан, как говорится.

— И сильно замешан?

— Гаррис добился, чтобы его арестовали и притащили в суд.

— Понятно, — сказал Варнер. — Обычное дело. Обознались слегка. Он для этого просто кого-то нанял.

— Это не доказано, — возразил Талл. — Так ли, этак ли, но если Гаррис и нашел потом какую зацепку, все одно было поздно. Его уж и след простыл. А потом, прошлой осенью, в сентябре объявился у Маккаслина. И он, и его домашние батрачили у Маккаслина поденно, на уборочной, и Маккаслин пустил их перезимовать в старом хлопковом амбаре, который у него в тот год пустовал. Вот все, что я знаю. А сплетен не пересказываю.

— Я тоже, — сказал Варнер. — Мужчине-то слава досужего сплетника не к лицу, — он стоял над всеми, широколицый, благообразный, в официальном, хотя и замызганном черно-белом облачении: крахмальная, но засаленная белая сорочка и отвисшие на коленях неухоженные штаны — костюм одновременно торжественный и затрапезный. Коротко, но



громко поцывкал зубом. — Так-так-так, — сказал он. — Сарай спалил. Так-так-так.

В тот же вечер за ужином он рассказал об этом отцу. За исключением несурзного, наполовину бревенчатого, наполовину дощатого строения, известного как гостиница миссис Литтлджон, единственным в тех местах домом, над первым этажом которого возвышался еще и второй, был дом Билла Варнера. Варнеры даже кухарку держали, которая была не только единственной прислугой-негритянкой, но и вообще единственным в тех краях человеком, находящимся у кого-либо в услужении. Она у них жила год за годом, но миссис Варнер по-прежнему не уставала повторять и сама, видимо, себя убедила в том, что кухарке нельзя доверять даже воды вскипятить без присмотра. Пока в тот вечер Джоди говорил с отцом, его мать, дородная, жизнерадостная, хлопотливая женщина, родившая шестнадцать детей, пятерых из них уже пережившая и все еще получавшая на ежегодной ярмарке призы за варенья и маринады, в запарке металась от стола на кухню и обратно, а его сестра, тихая полнотелая девочка с округлившейся уже в тринадцать лет грудью, опустив глаза, напоминавшие росистые оранжерейные виноградины, и по обыкновению чуть приоткрыв полные влажные губы, сидела за столом в мечтательно-печальном оцепенении молодой самодовлеющей женской плоти, причем чтобы не слушать, ей никаких усилий прилагать явно не требовалось.

— Ты договор с ним заключил уже? — спросил Билл Варнер.

— Даже не собирался, пока Верной Талл не рассказал мне, что тот учинил. А теперь возьму, пожалуй, захвачу туда завтра бумагу, да пусть подпишет.

— Так, может, ты и дом ему покажешь, который спаять? Или хочешь ему на выбор оставить?

— Эт точно, — нимало не смутился Джоди. — Сейчас мы это тоже обсудим, — а потом и говорит (уже без шуток, без ложных шалопутных выпадов: удар — отбив — укол): — Все, что мне надо, это докопаться без дураков, что там с сараем. И потом, не один ли хрен, вправду это его рук дело или нет. С него хватит, если вдруг под самый сбор урожая он обнаружит, что я грешу на него. Слушай, давай вот как рассудим... — он перегнулся через стол, набычившись, жилы вздуты, глаза выпучены. Мать только что выскочила на кухню, и оттуда слышалось, как она неугомонно и горласто распекает чернокожую кухарку. А дочь — та и вовсе не слушала. — Имеется надел земли, с которой то семейство, что им владеет, шиш чего получить собиралось, тем паче когда уже и время-то упущено. И тут появляется этот малый, арендует ферму из доли, а в тех краях, где он прежде пробавлялся, сарай спалили. Не важно, он подпалил сарай или не он, хотя проще будет, если мне удастся узнать точно, что без него там не обошлось. Главное вот что: сарай сгорел, пока он по соседству околачивался, и улик хватило, чтобы он почуял жареное и удрал. И вот он появляется и арендует эту землю, с которой мы всяко шиш чего получить собирались, по малой мере об этот год, и мы его довольствуем через лавку, все честь по чести. Он снимает урожай, и хозяин земли продает его, чин чином, деньги наготове, и арендатор приходит за своей долей, а хозяин ему и говорит: «А ну-ка, что это там поговаривают про тебя да про тот сарай?» И все. Только и забот. Что, дескать, там такое поговаривают про тебя да про тот сарай? — отец и сын глядели друг на друга глаза в глаза — слегка выпученные, темные, без блеска у одного и голубые, маленькие и колючие у другого. — Что он на это скажет? Что ему остается, кроме как «Ладно. Ваша взяла».

— Ну, а твой счет — в лавке-то, за провизию — поминай как звали?

— Эт точно. Тут на кривой не объедешь. Но, слушай-ка, худо-бедно человек просто так, за здорово живешь растит тебе урожай — это же стоит того, чтобы хоть покормить его, пока он работает... Обожди-ка, — Джоди помедлил, соображая. — Прах тебя дери, мы даже без этого обойдемся: он у меня пару трухлявых дранок на своем пороге найдет, да на них накрест спичку — как раз наутро после того, как с Божьей помощью управится с окучиванием, — и ему уже ясно: пиши пропало, пора уносить ноги. Это снимает со счета за провиант месяца два, а нам всего-то и хлопот, что принанять кого-нибудь урожай собрать, — глаза в глаза они глядели друг на друга. Для одного из них дело было, что называется, в

шляпе, он уже видел воочию результаты и говорил так уверенно, словно прошло уже по меньшей мере полгода. — Прах подери, ему и деваться некуда! Не огрызнется даже! Не посмеет!

— Гм, — произнес папаша. Из кармана незастегнутого жилета он достал прокуренную тростниковую трубку и принялся набивать ее. — Ты бы от таких лучше подальше держался.

— Оно конечно, — отозвался Джоди. Он взял из фарфоровой подставки на столе зубочистку и снова уселся. — Да ведь нехорошо же — сарай-то поджигать. А коли завелась у кого дурная привычка, будь любезен за нее и поплатиться.

Ни на следующий день он не пошел никуда, ни через день. Но на третий день, едва солнце к закату, оставив своего чалого дожидаться на привязи у одного из столбов галереи, он сидел в задней комнате лавки за шведской конторкой (выдвижная ее крышка целиком убиралась в заднюю стенку, открывая столешницу), — сгорбившись, черная шляпа на затылке, одна здоровенная, поросшая черными волосами ручища, тяжелая и неподвижная, как копченый окорок, придерживает бумагу, в другой перо — сидел и выводил своим крупным, неспешным и развалистым почерком слова контракта. Через час, с подсушенным и аккуратно сложенным контрактом в заднем кармане, уже в пяти милях от поселка он осаживал коня рядом с остановившейся посреди дороги бричкой. Немилосердной своей участью потрепанная и облепленная засохшей, еще зимней грязью, она была запряжена парой лохматых лошадок, на вид таких же звероватых и необузданных, как горные козлы, и почти таких же низкорослых. В задок к ней был прилажен ящик из листового железа, размерами и формой вроде собачьей конуры, но разрисованный под сельский домик, с окошками, причем в каждом нарисованном оконце красовалась нарисованная женская головка, с бессмысленной ухмылкой склоненная над нарисованной швейной машинкой, — но вот конь стал, и Варнер с возмущенным и растерянным видом уставился на седока брички, который только что с невинной улыбкой, как бы между прочим, осведомился: «А что, Джоди, говорят, у тебя новый арендатор?»

— Прах тебя дери! — взвился Джоди. — Да не хочешь ли ты сказать, что он и еще что-нибудь спалил? Попался, и после этого — опять?

— Ну, — слегка замялся человек в бричке, — не знаю, ручаться бы не стал — тот ли он сарай поджег, другой ли, а может — и ни одного. Штука тут в том, что оба они загорелись, когда он более или менее поблизости болтался. Можно подумать, пожары тащатся за ним по пятам, как за другими собаки, — он говорил мягко, с ленцой, ровным тоном — не сразу и заметишь, что проницательности в его голосе даже побольше было, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Он жил в Джефферсоне, но колесил на своих кряжистых лошадках вдоль и поперек по четырем округам, везде таская за собой размалеванную собачью конуру, в которую как раз помещалась настоящая машинка. Потрепанная и замызганная, его бричка сегодня тут попадетсЯ, а завтра где-нибудь за два округа — крепкие разномастные лошадки пасутся себе на привязи в ближнем тенечке, а сам Рэтлиф, с его привлекательной, добродушно-понятливой физиономией, уже сидит в чистой синей рубашке с расстегнутым воротом среди мужчин, расположившихся на корточках у какой-нибудь придорожной лавки, либо в обществе женщин, среди провисших бельевых веревок, корыт и закопченных котлов для кипячения у ручья или колодца (все так же на корточках и все так же, по видимости, больше всех болтая, но на самом деле еще больше прислушиваясь, а насколько больше — это только впоследствии выяснялось), или на веранде домика, сидит себе уже благопристойно, в плетеном кресле — вежливый, приветливый, обходительный, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машинки три в год, остальное время приторговывал землей и скотиной, подержанным хозяйственным инвентарем и музыкальными инструментами — в общем, всем, от чего хозяин не прочь избавиться, а заодно, вездесущий как газета, разносил от дома к дому новости, с четырех округов собранные, да передавал из уст в уста кому какие надо поручения касательно свадеб и похорон, солений и варений, надежный, как почтовое ведомство. Никогда ни о ком не забудет, а знает всех — не то что людей, а каждого мула и собаку в округности полусотни

милль.

— Право слово, огонь будто по пятам бежал за его фургоном, покуда этот Сноупс ехал к дому, в который его де Спейн пустил — барахло на возу навалено так, словно у Гарриса — или где они там раньше жили — он только во двор фургон загнал да приказал всем этим котлам и кастрюлям: «Грузитесь!», и тотчас кровати, стулья, печка и все прочее своим ходом в фургон попрыгали. Вроде и кое-как, а с толком, сноровисто, плотно, будто им это дело привычное — переезжать, да без всякой сторонней помощи. И этому Эбу, и сыну его, который постарше, Флем они его называли... Был у них и еще один, маленький такой, где-то я, помнится, его однажды видел. Вот его с ними не было. Теперь-то уж точно нет. Не иначе как забыли его покликать, чтобы вовремя, значит, из того сарая убрался. Ну так вот, Эб с Флемом на козлах сидят, а две девки здоровенные поставили на пол фургона стулья — и на стульях, а Сноупсова супруга и сестра ее вдовая — те сзади, на барахле, и всем будто наплевать на них — едут ли, нет ли, да и на мебель тоже. Ну, к дому подъехали, стали, Эб глянул на него и говорит: «В такой развалюхе я бы и свиней не поселил».

Сдерживая коня, Варнер в бессловесном ужасе пучил глаза на Рэтлифа.

— Ну так вот, — продолжал Рэтлиф. — Только фургон стал, Сноупсова жена и эта вдовица вылезли и принялись разгружаться. А те две девки сидят себе на своих стульях, обе в праздничных платьях, не шелохнутся, знай сладенькой смолкой чавкают, покуда Эб, обернувшись, не прикрикнул на них, чтоб шли туда, где миссис Сноупс и ее сестрица с железной печкой в обнимку барахтаются. Шуганул он их (будто пару телок, которых колом бы треснуть, да жаль, все же деньга плачены), а сами сидят с Флемом, наблюдают, а эти девки, кровь с молоком, взяли в фургоне одна фонарь, другая веник, весь размочаленный, и опять стоят, но тут уж Эб с козел свесился да как щелкнет ту, что поближе, вожжой поперек зада. «А ну, — рявкнул, — шевелись, живо в дом, а после подсобишь мамане с печкой». Потом с Флемом вместе слезли и пошли проведать де Спейна.

— И прямо к тому сараю? — не удержался Варнер. — Прямо так сразу пошли и...

— Нет, нет. Это потом. С сараем это потом. Похоже, тогда-то они еще знать не знали, где и сарай стоит. Сарай сгорел, когда время пришло, все в свой черед, этого у Эба не отнимешь. А тогда они просто де Спейна проведать зашли, чисто по-дружески: ясно ведь, где поле, и ясно, что надо там начинать ковыряться — все же середина мая. Прямо как сейчас, — добавил он с ангельски невинным видом. — Потом, опять же, ходит слушок, будто он всегда свои арендные контракты заключает позже всех, — сказал, и даже не усмехнулся. Та же лукавая смуглая физиономия, приветливая и непроницаемая, и те же лукавые невозмутимые глаза.

— Короче! — нетерпеливо перебил Варнер. — Если он поджигает, как ты рассказываешь, то мне аж до Рождества не о чем волноваться. Ближе к делу. Что ему надо, чтобы начать чиркать спичками? Может, какие признаки вовремя угадать удастся.

— Ну так вот, — продолжал Рэтлиф. — Вышли они на дорогу — покуда миссис Сноупс и вдовица с печкой барахтаются, а девки стоят-прохлаждаются, одна с проволочной крысоловкой, другая с ночным горшком — и отправились к дому майора де Спейна, да не абы как, а свернули по боковой дорожке, где та куча навоза лежала, конского, да еще нигер говорит, будто Эб в нее нарочно вляпался. Кто его знает, может, нигер в окошко за ними следил. В общем, Эб проволочку за собой это дело через все крыльцо, стучится, а когда нигер сказал ему, чтоб вытер ноги, Эб отпихнул его да и вытер (по словам того нигера) все, что еще оставалось, о сто долларовый ковер, стал посредине и орет: «Де Спейн! Эй! Де Спейн!» — пока жена де Спейна не вышла, на ковер посмотрела, потом на Эба и, не говоря худого слова, велела ему выйти вон. Тут и де Спейн пришел к обеду, и я так понимаю, что миссис де Спейн ему в загривок вцепилась, потому что и свечереть не успело, как он уже подъезжает к Эбову дому, и следом на муле нигер, ковер везет, а Эб сидит на табурете, косяк подпирает, и тут де Спейн ему: «Какого дьявола ты не в поле?», а Эб говорит (не встал, ни чтоб даже зад оторвать): «Ну, может, завтра начну. У меня такого в заводе нет, чтобы переехать и в тот же день начинать горбатить», а тот вроде как не слышит: я так понимаю, миссис де Спейн



здорово ему на загривок села, потому что он прямо окоченел там на лошади, только все повторяет: «Ну зараза, Сноупс, ну зараза», а Эб сидя отвечает: «Если б я так заботился о ковре, уж и не знаю, стал бы я его класть туда, где каждый, кто ни попадя, того и гляди натопчет». — Рэтлиф и теперь не усмехнулся. Сидел себе расслабленно в бричке, глядя лукавыми своими умными глазами, физиономия невозмутимая, смуглая от загара, чисто вымытая и выбритая, рубашка совершенно чистая, хоть и выцветшая, — и говорил тоном вполне серьезным, но с усмешливой потяжкой, а Варнерово набрякшее, кровью налитое лицо маячило сверху.

— В общем, Эб гаркнул через плечо в дом, выходит мордатая деваха, и Эб говорит: «Возьми вон у него ковер и вымой его». Ну, и на следующее утро нигер обнаружил этот ковер, скатанный и брошенный на крыльцо под дверь, и снова на крыльце натоптано, только теперь это просто грязь была, а потом, говорят, когда миссис де Спейн на сей раз ковер раскатала, де Спейну еще жарче стало, чем прежде — нигер говорит, что эти-то вместо мыла кирпичной крошкой навоз оттирали, — так что еще до завтрака де Спейн был уже у Эба в воротах (как раз Эб с Флемом запрягали — а как же, в поле-то ехать) — сидит на своей кобыле злющий, точно встрепанная оса, черными словами кроет, причем не столько Эба, сколько все на свете ковры и весь конский навоз в совокупности, а Эб молчком, молчком, супонь застегнет, подпругу подтянет, пока наконец де Спейн не выложил, мол, ковер ему во Франции в сотню долларов обошелся, и пускай, дескать, Эб готовит за него двадцать бушелей зерна — это с урожая-то, а Эб еще и не сеял. С тем де Спейн домой отправился. Он-то, поди, все это дело про себя уже и похерил. Он, поди, про себя думал, только бы от жены отвязаться, сбор кукурузы это когда еще, глядишь, и не вспомнил бы про эти двадцать бушелей зерна. Только Эбу такое не по нутру. Словом, в аккурат на следующий вечер — майор как раз, скинув башмаки, отдыхал в садовом гамаке из бочарных клепок, — а тут помощник шерифа заходит, мол, то да се, пятое, десятое, и в конце концов выкладывает, что этот Эб взял да подал на де Спейна в суд.

— Прах подери, — все бормотал Варнер. — Прах подери.

— Во-во, — отозвался Рэтлиф. — Вот и де Спейн примерно так же выразился, когда наконец в толк взял, что к чему. Ну и, зна-чиц-ца, наступает суббота, фургон подъезжает к лавке, вылезает Эб, в пасторской черной шляпе и сюртуке — топ-топ-топ костяная нога — и к столу: ему еще (это дядя Бак Маккаслин сказал) полковник Джон Сарторис самолично ее прострелил, когда во время войны Эб его каурого жеребца украсть пытался, а судья и говорит: «Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но вот не нашел я ничего, что бы в законах насчет ковров говорилось, тем паче насчет конского навоза. Но, думаю, надо ее удовлетворить, потому что двадцать бушелей — это для вас чересчур, недосуг вам будет — вы ж у нас человек занятой — собрать эти двадцать бушелей. Так что думаю потребовать с вас за порчу того ковра... зерна десять бушелей».

— Тут он сарай-то и поджег, — сказал Варнер. — Так-так-так.

— Не знаю, ручаться бы не стал, — сказал, нет, повторил Рэтлиф. — Штука тут в том, что в аккурат в ту же ночь сарай майора де Спейна загорелся, и все там пропало. Только — случись же так! — де Спейн как раз подоспел туда примерно об это же время, ну, потому что слышал кто-то, как он по дороге шпарит. Я не к тому, что он подоспел настолько вовремя, чтобы тушить, но достаточно вовремя, чтобы обнаружить, что там и без него уже шустрит некто или нечто, и достаточно подозрительное, чтобы оправдать стрельбу, ну, он и жажнул, с кобылы не слезая, в это самое нечто разика три-четыре, пока оно буераками от него не оторвалось, где ему-то на лошади невпротык. Так и не может сказать, кто это был, потому что никакому зверю хромать не запретишь, ежели такое выйдет его желание, да и белой рубахой всякий ведь может обзавестись, правда, загвоздка в том, что когда он примчался к Эбову дому (а долго он навряд ли задержался, судя по прыти, с которой, как тот парень слышал, он по дороге шпарил), Эба и Флема дома не оказалось — четыре бабы, и никого больше, да недосуг было де Спейну под кроватями шарить, потому что с сараем этим впритирку стоял амбар, крытый кипарисом и полный зерна. Ну, он махом назад, а там уже

его негры бочки с водой подтащили, мешки из-под пакли намачивают, чтобы, значит, этот амбар обкладывать, и первый же, кого он углядел, это Флем — рубашечка белехонька, стоит, ручки в карманы, табак жует. «Вечер добрый, — это Флем ему. — Сенцо-то, ох, полыхает», а де Спейн с кобылы орет: «Говори, где папаша! Где этот...», а Флем этак спокойненько: «Если его тут нет поблизости, стало быть, домой пошел. Мы с ним оба враз выскочили, как полыхнуло». Ну так и без него знал де Спейн и откуда они выскочили, и почему. Да что толку-то, ведь говорю же: если где двое собрались, так отчего ж не может меж ними один хромать, а другой белую рубаху напялить, а что в огонь один из них кинул, когда де Спейн увидел и пальнул первый раз, так это, видать, банка с-под керосина была. Ну так вот, значит, на следующее утро сидит он, завтракает — лицо в ожогах, брови спалил, да и волосы местами, а тут нигер входит, говорит, пришел к нему кто-то; перебирается он в кабинет, а это Эб, уже в своей пасторской шляпе и сюртуке, и фургон у него уже опять нагружен, только его-то Эб с собой в дом показывать не приволок. «Похоже, мы с вами не сойдемся, — это Эб говорит, — так что, чем зря собачиться, я, надо быть, нынче же утром и съеду». А де Спейн говорит: «А как же контракт?» А Эб говорит: «А я его расторгаю». А де Спейн так сидит и только повторяет: «Расторгаю. Расторгаю», а потом и говорит: «Да я б его к чертовой матери и еще сто таких же, да в тот сарай, чтоб он сгорел, лишь бы наверняка знать, ты это был или не ты, в кого я стрелял вчера ночью». А Эб говорит: «Подавайте в суд и разбирайтесь. В тутошних местах манера такая у судей: все решают в пользу истца».

— Прах подери, — тихонько пробормотал Варнер. — Прах подери.

— Тут развернулся Эб и поковылял своей костяной ногой обратно к...

— И спалил арендаторский дом, — подхватил Варнер.

— Нет, нет. Я ничего не говорю, может, он и поглядывал на него, как один тут вспоминает, словно бы с сожалением — ну, когда отъезжал. Но нет, ничего там больше ни с того ни с сего не загорелось. Ну, не тогда то есть. Я ведь не...

— Вот оно как, — перебил Варнер. — Говоришь, он еще и остатки керосина шваркнул в огонь, когда де Спейн начал палить в него. Так-так-так, — лицо его налилось, вот-вот удар хватит. — И теперь угораздило меня как раз его-то изо всей местной шушеры и выбрать себе в арендаторы, — он принялся смеяться. Вернее, принялся быстро повторять: «Ха. Ха. Ха», но это он только воздух так выдыхал через рот, ну, может, еще губы кривил, а глаза — нет, до глаз так дело и не дошло. Потом перестал. — Ладно, с тобой хорошо, а ведь мне недосуг. Подоспею, может, еще настолько вовремя, чтобы он от меня отвязался ну хоть за какой-нибудь гнилой закут из-под хлопка.

— Ну, пусть за сарай, но пустой хотя бы, — крикнул Рэтлиф ему вдогонку.

Час спустя Варнер снова осаживал заплясавшего жеребца, на этот раз у ворот, вернее — у проема в заборе из заржавленной и обвисшей проволоки. Сами ворота, вернее, то, что от них оставалось, сорванные с петель, лежали, завалившись на сторону, а из щелей между подгнившими планками лезла трава и всяческий бурьян, словно меж ребер брошенного скелета. Всадник дышал тяжело, но не от скачки. Напротив, едва приблизившись к цели настолько, что, по его расчетам, дым, если он был, уже был бы виден, стал все больше сдерживать коня. Тем не менее теперь, осадив коня перед дырой в заборе, Варнер дышал тяжело, его даже пот прошиб; сопя, он глядел на бесхребетно покосившуюся лачугу, вычерненную дождями и непогодой, как старый пчелиный улей, глядел на двор, голый, без единого деревца и кустика, и на лице Джоди отражалась быстрая и напряженная работа мысли, как у человека, который подбирается к неразорвавшемуся артиллерийскому снаряду.

— Прах подери, — снова тихо сказал он. — Прах подери. Три дня уже тут околачивается, и до сих пор даже ворота не починил. А я даже напомнить не смею. Не смею подать виду, будто знаю даже, что есть забор, на который их навешивают. — Он яростно передернул поводьями. — Пошел! — крикнул он коню. — Поторчишь тут подольше, еще и тебя подожгут.

Проезд (и не дорожка, и не тропа, просто два еле различимых параллельных колесных следа, исчезающих под заскорузлым бурьяном и молодой нынешней весенней травки)

тянулся к шаткому, порастерявшему ступеньки крыльцу совсем нежилого на вид дома, за которым Джоди следил теперь настороженно, весь натянутый как струна, словно опасаясь засады. Он смотрел так пристально, что взгляд упускал детали. Внезапно в окне, где не было даже рамы, заметил голову в серой суконной кепке, причем не мог бы сказать, когда голова там появилась; показавшийся в окне жевал, и его нижняя челюсть двигалась размеренно и беспрерывно, каждый раз странно выпячиваясь вбок, а едва Джоди крикнул «Эй!» — голова снова исчезла. Только он собирался крикнуть снова, как увидел, что за домом в воротах участка возится какой-то человек, он двигался как деревянный, и Джоди тотчас же его узнал, хотя сюртука в этот раз на нем не было. Тут до слуха Джоди донеслись мерные клики заржавленного колодезного блока, а потом и два монотонных, неразборчиво-громких женских голоса. Заехав за угол, он увидел все разом: пару близко поставленных высоких столбов с перекладной, словно макет виселицы, рядом две крупных, совершенно недвижимых девки, которые своим сонно-статичным единением с первого же взгляда наводили на мысль о скульптурной группе (тем более что обе говорили разом, обращаясь к кому-то далекому, а может, просто вещали в пространство, друг друга вовсе не слушая), и неподвижность их не нарушалась даже тем, что одна из них, перегнувшись и напряженно вытянув руки, ухватила за колодезную веревку, точь-в-точь аллегорическая фигура, фрагмент резьбы, символизирующий некое невероятное физическое усилие, умершее в зародыше, хотя мгновение спустя блок снова начал издавать свой ржавый клик, но перестал почти тотчас же, и голоса тоже смолкли, как только вторая из девиц заметила Варнера, при этом первая теперь застыла в позе, противоположной предыдущей, с веревкой в опущенных руках, и оба скуластых, ничего не выражающих лица, медленно и согласно повернувшись, проводили его взглядами.

Он пересек лысый двор, весь в мусоре, оставленном прежними обитателями — зола, глиняные черепки, консервные банки. У забора мужчине помогали еще две женщины, и вся троица уже заметила всадника, потому что он видел, как одна из женщин обернулась. Но сам глава семьи («сволочь, душегуб колченогий», — подумал Варнер с бессильной яростью) ни глаз не поднял, ни даже трудов своих не прервал, пока Варнер не подъехал сзади к нему вплотную. Теперь уже обе женщины смотрели на Джоди. На одной была выгоревшая на солнце широкополая шляпа, на другой — некий бесформенный головной убор, который когда-то, должно быть, принадлежал все тому же мужчине, а в руке она держала полупустую ржавую банку гвоздей, гнутых и ржавых.

— Добрый вечер! — сказал Варнер, запоздало поймав себя на том, что чуть ли не кричит. — И вам, сударыня, добрый вечер!

Мужчина обернулся, неторопливо, в руке держа молоток — обе лапки гвоздодера отломаны, поржавевшая головка насажена на неструганое полено, — и снова взгляд Варнера наткнулся на холодные, непроницаемые агатовые глаза под свирепым сплетением бровей.

— Что ж, здорово, — сказал Сноупс.

— Дай, думаю, подъеду, спрошу, что вы решили, — заговорил Варнер, и снова чересчур громко; не совладать с собой, да и только. «Слишком много чего сразу в голове держать приходится, чтобы еще и за этим следить», — подумал он, одновременно начиная про себя произносить: «Прах подери». И снова: «Прах подери, прах, зола и пепел», будто самому себе напоминая, чем может обернуться малейшее ослабление бдительности.

— Дак что ж, остаемся, пожалуй, — раздалось в ответ. — Ну, дом, конечно... я бы в нем и свиней не поселил. Ну да как-нибудь управимся.

— Ничего себе! — вырвалось у Варнера. Это он на крик уже сорвался; ну и сорвался, плевать. Но больше он не кричал. Он больше не кричал, потому что больше не говорил ничего, потому что нечего тут больше было говорить, хотя в мозгу билось одно и то же: «Прах подери. Прах подери. Прах подери... Просто сказать „Уходи“ и все — смелости не хватает, а спровадить куда-нибудь — так некуда мне их спровадить. Ведь даже под арест отправить его за поджог сарая не посмею: вдруг он и у меня сарай возьмет да запалит». Когда Варнер заговорил снова, тот, с молотком, начал было уже обратно к забору

отворачиваться. Теперь он стоял вполоборота, глядя снизу на Варнера не то чтобы почтительно или хотя бы терпеливо, а просто выжидающе. — Ладно, — сказал Варнер. — Про дом можно и поговорить. Потому что зачем нам ссориться. Ссориться не надо. Если там что не так, вам только и делов, что зайти в лавку. Нет, не надо даже к лавке ходить: просто с кем-нибудь мне передайте, и я подъеду сам, без проволочки, одна нога там, другая здесь. Понятно? Вдруг что-нибудь, ну, не понравилось, так вы...

— Да когда ж я с кем ссорился, — отозвался тот. — У меня этих разных хозяев с тех пор, как начал землю пахать, штук пятнадцать было или двадцать, и ни с кем не ссорился. Как ссоры начнутся, так уйду. Все? Больше ничего не надо?

«Все, — подумал Варнер. — Все». Он двинулся обратно: вновь этот двор, эта лысая и замусоренная мерзость запустения, вся в шрамах от кострищ, где среди обугленных по концам палок валялись почерневшие кирпичи, на которых когда-то кипятили в котлах белье и палили свиные туши. «Пусть мне никогда в жизни больше никакой удачи не будет, лишь бы эту беду пронесло!» — подумал он. Снова раздался скрип колодезного блока. На сей раз скрип при его приближении не прекратился, и оба скуластых лица — одно неподвижное, другое в непрерывном движении вниз-вверх, ритмичном, в лад не слишком музыкальным стенаниям блочного колесика, как под метроном, — опять, будто неразъемно склепанные и синхронизованные шарнирным механизмом, неспешно повернулись, следя за Варнером, как он, минуя дом, вступает на ту же едва приметную дорожку, ведущую к поломанным воротам, которые, конечно же, когда он в следующий раз сюда приедет, будут по-прежнему гнить в чертополохе. Контракт все еще лежал у него в кармане, составленный так обдуманно, так осторожно, с чувством такого удовлетворения, что теперь оно ему самому было в диковину — может, это происходило в каком-то другом времени, а скорее вообще не с ним, а с кем-то другим. Контракт все еще не подписан. «Можно включить туда пункт о пожаре», — подумал он. Но даже коня не придержал. «Запросто. А потом новый сарай этим контрактом крыть заместо дранки». И он не остановился. Час был не ранний, и он пустил коня свободной иноходью: так он до самого дома дотянет, если в холмах, когда подъемы пойдут, дать ему чуточку дух перевести, — а когда уже отмахал порядочно, вдруг заметил человека, прислонившегося к дереву у дороги, того самого, чье лицо до этого видел в окошке арендаторского дома. Только что дорога была пуста, и вот, откуда ни возмись, уже стоит на опушке рощицы у обочины — та же суконная кепочка, та же размеренно жующая челюсть — как из-под земли вырос, да у коня чуть ли не перед мордой, а вид при этом такой, словно он случайно здесь оказался, но об этой его повадке Варнер и вспомнит и задумается лишь много позже. Чуть было не проехав мимо, он потянул за повод. На крик теперь уже он не сорвался, его мясистое, крупное лицо было учтивым и настороженным.

— Привет, — сказал он. — Ты Флем, что ли? Я Варнер.

— Да ну? — отозвался тот. Потом сплюнул. Лицо у него было широкое и плоское. Глаза цвета болотной лужицы. Такой же полноватый, как и сам Варнер, но на голову покороче; в замызганной белой рубаше и серых дешевых штанах.

— Ты мне тут кстати встретился, — продолжал Варнер. — Говорят, у твоего отца бывали пару раз неприятности с хозяевами участков. Неприятности, которые могли плохо кончиться, — тот продолжал жевать. — Может, ему каждый раз хозяева какие-нибудь вздорные попадались, не знаю. Не знаю и знать не хочу. Я что хочу сказать: ошибку — любую ошибку — можно ведь так исправить, что при этом в нормальных отношениях остаешься, ну, с тем, кто тебе что-нибудь поперек сделал. Разве не так? — тот продолжал размеренно жевать. Лицо его было пустым, как поднявшееся над кастрюлей тесто. — Тогда ему не взбретет в голову, будто, чтобы утвердить свои права, он непременно должен сделать что-нибудь такое, после чего ему придется собирать манатки и назавтра же уносить ноги, — втолковывал Варнер. — И тогда не наступит день, когда в очередной раз он дернется туда, сюда — глядь, а уж и новых мест не осталось, куда удрать, — Варнер умолк. На этот раз он ждал так долго, что малый в кепочке в конце концов высказался, правда, у Варнера потом не было уверенности — может, и не потому, что так долго.



— Дак вон же, — говорит, — мест сколько всяких.

— Эт точно, — примирительно сказал Варнер, большой, благожелательный. — Но нельзя же их только бросать и бросать — пробросаешься! Тем более когда повод к этому такой, что ежели с самого начала по-человечески разобраться да все ладком обговорить, все было бы тихо-мирно. И все бы можно было в пять минут уладить, если только нашелся бы рядом кто-то другой, чтоб взять того за руку, дескать, погорячился, дело житейское — бывают же люди просто горячие не в меру — взять его за руку да сказать ему: «Постой, хозяин против тебя зла не держит. Всего и делов — поговори с ним, все и выяснится. Я это точно знаю, *потому что мне насчет этого слово дали*», — он опять подождал. — Особенно если бы парню — ну, о котором мы сейчас говорили, который взял бы того за руку и сказал все это — глядишь, что-нибудь и перепало за то, что он того утихомирит, — Варнер снова замолчал. Немного погодя опять заговорил другой.

— А чего перепало бы?

— Ну, как чего? Работать на хорошем поле. Кредит в лавке. Земли побольше, если он чувствует, что может управиться.

— С земли ничего не перепадет. По мне, так и вообще, пожалуй, скорей бы от нее отделаться.

— Тоже верно, — согласился Варнер. — Допустим, он за другое какое дело хочет взяться — ну, этот парень, что мы говорили. Так ведь надо еще, чтобы помогли ему, дали подзаработать. И чего бы лучшего, чем...

— А лавка-то ваша, что ли?

— ...лучшего, чем... — опять начал было Варнер. И осекся. — Что? — сказал он.

— Говорят, ваша лавка-то.

Варнер уставился на него. Теперь лицо Варнера уже не было учтивым. Оно было просто совершенно неподвижным, совершенно спокойным и внимательным. Он полез в нагрудный кармашек и достал сигару. Сам он не пил и не курил, будучи от природы наделен столь счастливой конституцией, что чувствовать себя лучше все равно некуда, а против собственного естества идти — как он, верно, сам бы выразился — только Бога гневить. Но он всегда носил их при себе две-три штуки.

— Держи сигару, — сказал он.

— Не употребляю.

— А жевать — жуешь, а? — попытался усмехнуться Варнер.

— Ну, бывает, и пожую, центов на пять, для вкуса. Одно дело жевать, соки вытягивать, но чтоб деньги огнем жечь — до этого не дошло.

— Эт точно, — сказал Варнер. Он поглядел на сигару, спокойно произнес: — Бог даст, до этого и не дойдет ни у тебя, ни у кого другого из ваших, — он сунул сигару обратно в кармашек. С присвистом выдохнул. — Ну хорошо, — сказал он. — С осени. Сперва пусть он урожай соберет, — у Джоди никак не получалось уследить, когда тот смотрит на него, а когда нет, но теперь ему дано было пронаблюдать, как тот одну руку поднял, а другой с бесконечным пренебрежением стряхнул с рукава что-то пренебрежимо малое. Еще раз Варнер с силой выдохнул через ноздри. Теперь это прозвучало как вздох.

— Ну хорошо, — сказал он. — Тогда со следующей недели. Потерпишь, что там осталось, или как? Но ты мне за это ручаешься, — тот сплюнул.

— Ручаюсь за что? — проронил он.

Через две мили тени вокруг сомкнулись, и пали сумерки, уже такие краткие в конце апреля, и забелели деревца кизила среди других деревьев, более темных, — стоят раскрыв воздетые ладони, словно монахини на молитве; и вот уже вечерняя звезда, уже козодой. Поспешая к яслям, конь бежал резво по вечернему холодку, как вдруг Варнер, потянув за повод, остановил его и так попридержал на добрую секунду.

— Прах тебя дери, — вслух произнес он. — Ведь он стоял-то в аккурат там, где его никто из дома не углядит.



## Глава вторая

### 1

К поселку опять подъезжал Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок, правда, на этот раз вместо машинки у него в собачьей конуре содержался подержанный граммофон и новенький, еще в заводской проволочной связке, комплект зубьев для бороны, и первое, что Рэтлиф увидел, это старую белую кобылу, стоя на трех ногах подремывающую у столба ограды, а чуть погодя показался и сам Билл Варнер, который сидел все в том же домодельном кресле, на фоне взбегающих по склону заглохших лужаек и одичало разросшихся садов усадьбы Старого Француза.

— Добрый вечер, дядя Билл, — сказал Рэтлиф приветливо, обходительно, даже с почтением. — Говорят, вы с Джоди нового приказчика завели в лавке.

Колючие маленькие глазки Варнера внимательно на него поглядели из-под рыжеватых, слегка насупленных бровей.

— Уже разнеслось, стало быть, — отозвался он. — Со вчерашнего далеко ли бывал?

— Милях в семи-восьми, — сказал Рэтлиф.

— Ха, — сказал Варнер. — Куда же нам без приказчика!

Что верно, то верно. Всего-то и надо было, чтобы кто-нибудь утром пришел и отпер лавку, а на ночь снова запер — только от приبلудных собак, поскольку ни бродяги, ни приبلудные негры на Французовой Балке до ночи не задерживались. По правде говоря, и сам Джоди (а Билл-то уж всяко туда не показывался), бывало, по целому дню проводил вне лавки. Покупатели заходили, обслуживали сами себя и друг друга, складывая плату за товары, известную им с точностью до последнего цента, не хуже чем самому Джоди, в сигарный ящик, накрытый круглой проволочной корзиной из-под сыра, словно все в этой корзине — сигарный ящик, замусоленные бумажные деньги и отполированные пальцами монетки — и впрямь попало туда на сырную приманку.

— Ну, хоть будет кому теперь каждый день подметать — в лавке-то, — усмехнулся Рэтлиф. — Не каждый может похвалиться таким пунктом в своей страховке от пожара.

— Ха, — снова сказал Варнер. Поднялся с кресла. Во рту у него был табак, и он вынул пережеванный комок, напоминавший клок мокрого сена, выкинул его и вытер ладонь о штанину. Подошел к изгороди, в которой по его распоряжению кузнец устроил затейливую калитку, действовавшую в точности как современный турникет, хотя ни кузнец, ни сам Варнер ничего похожего никогда не видывали, — только туда не монетку надо было бросить, а вынуть штифт на цепочке.

— Давай ты на моей кобыле к лавке поедешь, — предложил Варнер, — а я в твоей колымаге. Охота прокатиться с удобствами.

— А мы можем лошадь к бричке сзади привязать, а сами рядышком сядем, — отозвался Рэтлиф.

— Говорят тебе, на лошадь садись, — уперся Варнер. — Как раз и получится рядышком. Больно ты умный порой бываешь, как я погляжу.

— Да уж ладно, дядюшка Билл, чего там, — согласился Рэтлиф. И он попридержал колесо брички, помогая Варнеру взобраться, а сам сел на лошадь. Они пустились в путь, Рэтлиф немного сзади, так что Варнер общался с ним через плечо, не оборачиваясь:

— А что, этот пожарник...

— Так не доказано же, — мягко возражал Рэтлиф. — Хотя в общем-то, оно и плохо. Если уж приходится выбирать между убийцей и тем, на кого только думаешь, вдруг это он убил, то лучше выбрать убийцу. Хотя бы точно будешь знать, на каком ты свете. Не будешь ушами хлопать.

— Ладно, ладно, — прервал его Варнер. — Так как насчет этой жертвы оговора, этого облыжно опозоренного? Знаешь о нем что-нибудь?

— Да так, пустое, — слегка замялся Рэтлиф. — От людей чего только не услышишь. А я его лет восемь не видал. Когда-то у него еще один парнишка был, кроме Флема<sup>5</sup>. Меньшой. Теперь бы ему лет десять или двенадцать уже исполнилось. Не иначе как он у них где-нибудь при переезде затерялся.

— А от людей ты не услышал, может, у него за эти восемь лет совсем привычки переменились?

— Да уж, — сказал Рэтлиф. Пыль, поднятую копытами трех лошадей, подхватывал едва заметный ветерок и отдувал в сторону, на кустики дурнопыяна и собачьей ромашки, едва начинающие зацветать в придорожных канавах. — Восемь лет. А перед тем было еще пятнадцать, когда мы с ним почти что вовсе не встречались. Вырос-то я от него по соседству. То есть он года два жил там же, где я вырос. И он, и мой отец оба арендовали фермы у старого Энса Холланда. Эб тогда был барышником. Как раз при мне вся его торговля лошадьми прогорела, и он подался в издолыщики. По натуре-то он не сволочь. Озлился просто.

— Озлился, — повторил Варнер. Сплюнул. Потом заговорил язвительно, почти с презрением: — Приходит вчера Джоди, вечером, поздно. Я как увидел его, сразу понял. Ну точно как в те времена, когда он мальчишкой был — нашкодит, чувствует, что я назавтра все равно узнаю, была не была, думает, признаюсь сам. «А я, — говорит, — приказчика нанял». — «Зачем? — говорю. — Тебе что, Сэм башмаки по воскресеньям плохо начищает?» А он как заорет: «Да пришлось мне! Пришлось его нанять! Говорю тебе, пришлось!» — и без ужина спать пошел. Как ему спалось, не знаю. Не прислушивался. Но наутро вроде поспокойнее стал. Вроде как даже совсем успокоился. «А его, — говорит, — глядишь, и использовать можно». — «Отчего ж не использовать, — говорю. — Но против этого закон есть. Да и потом, почему бы тебе просто-напросто не раскатать все по бревнышку? После бы продали как строевой лес». Тут он на меня поглядел подольше. Но это он от нетерпения, скорей бы я рот закрыл — у него-то уж все было разложено по полочкам еще с вечера. «Давай, — говорит, глянем на это дело вот как. Человек он независимый, может постоять за свои права и свои выгоды. И допустим, что его права и выгоды — это в то же время права и выгоды кое-кого другого. Скажем, ему выгодно то же, что и этому другому, который заплатит одному из его родичей жалованье, чтобы те не покушались на добро того, который платит; а это добро, то есть прибыль с него (и ты, — говорит, — не хуже меня это знаешь), так вот, с добра с этого прибыли все больше и больше, так что ему в охотку будет, тем паче что самому не надо напрягаться — ну, он же такой независимый...»

— С тем же успехом мог бы сказать «опасный», — подхватил Рэтлиф.

— Ну, — сказал Варнер. — Ну, и?

Вместо ответа Рэтлиф говорит:

— А лавка ваша часом не на Джоди записана, нет? — а на это сам же и ответил, прежде чем Варнер успел рот раскрыть: — Да уж. Что зря воду в ступе толочь? Но вообще-то Джоди ведь только с Флемом спутался. Пока Джоди его не выгонит, может, папаша Эб...

— Хватит, — сказал Варнер. — Ты сам-то что об этом думаешь?

— То есть по правде что думаю?

— А за каким хреном, понимаешь ли, я перед тобой тут распинаюсь?

— Да то же думаю, что и вы, — мирно отозвался Рэтлиф. — Думаю, что я от силы двоих таких знаю, кто мог бы рискнуть шутки шутить с этой семейкой. И фамилия одного из них Варнер, но его не Джоди зовут.

— А второй кто? — спросил Варнер.

— А насчет второго ручаться пока рановато, — мягко сказал Рэтлиф.

---

<sup>5</sup> О судьбе младшего сына Эба Сноупса, Сарти, рассказывается в новелле «Поджигатель».

Кроме Варнеровой лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой да кузни, настоящему ковалю в аренду отданной, кроме школы, церкви да трех-четырех десятков хибар, разбросанных в пределах слышимости школьного колокольчика и церковного колокола, в селении имелась общественная конюшня с каретной и выгоном да примыкающий к нему тенистый, хотя и вытоптанный двор, посреди которого вольготно расположилось несуразное, наполовину бревенчатое, наполовину дощатое строение, — местами двухэтажное, некрашеное, оно звалось гостиницей миссис Литтлджон и, в соответствии с вывеской (приколоченной к одному из деревьев у входа почерневшей от непогоды дощечкой со словами «НАЧЛЕГ N ПАНСЕОН») давало пищу и приют заезжим скупщикам скота и коммивояжерам. Гостиницу опоясывала длинная веранда, где у стены в ряд вытянулись стулья. В тот вечер после ужина, оставив бричку и лошадей на конюшне, Рэтлиф сидел на веранде в компании пяти-шести мужчин, собравшихся из ближних домов. Они бы там собрались и в любой другой вечер, но нынче набежали не дожидаясь, пока окончательно закатится солнце, сидели, то и дело поглядывая на чернеющий вход в лавку Варнера, подобно тому как народ сходится умиротворенно полюбопытствовать на холодеющий пепел после линчевания или на приставленную к стене лестницу и распахнутое окно после побега чьей-нибудь жены или дочери, а все потому, что в лавке, хозяин которой способен еще самостоятельно переставлять ноги и настолько еще в здравом уме, чтобы, считая деньги, себя не обсчитывать, завелся наемный белый приказчик — случай столь же неслыханный, как если бы на кухне у кого-нибудь из них завелась белая наемная кухарка.

— Ну, — один говорит, — насчет того, которого Варнер нанял, ничего не знаю. Но уж семейка! Когда у тебя в роду есть такой бешеный, чтобы то и дело у людей сараи поджигать, тут...

— Да уж, — сказал Рэтлиф. — Старина Эб по натуре-то не сволочь. Просто озлился.

Какое-то время помолчали. Они разместились по всей веранде, кто сидя, кто на корточках, невидимые друг другу. Уже почти совсем стемнело, только бледный зеленоватый отсвет на северо-западе небосклона напоминал об ушедшем солнце. Попискивал козодой, помигивали светляки, кружась между деревьев и над дорогой.

— Как озлился? — чуть погодя спросил все тот же голос.

— Так дело-то нехитрое, — любезный и понятливый, Рэтлиф был, как всегда, наготове. — Эта история еще во время войны началась. Он тогда сидел себе, никого не трогал, не помогал никому, но и вредить ни тем, ни другим не лез — барыш да лошади, а лошадей к политике никаким боком не пристегнешь, как вдруг один является, у которого и лошадей-то отродясь не водилось, и ни с того ни с сего — бабах ему в пятку. Ну, он и озлился. А потом еще та история с тещей полковника Сарториса, Розой Миллард<sup>6</sup>, с которой Эб вошел в долю по части лошадей и мулов — чинно-благородно, у него и в мыслях такого не было, чтоб чем-нибудь насолить хоть северянам, хоть южанам, одни лошади на уме да барыш, пока старая мисс Миллард не сунулась тому малому под пулю — он называл себя майором Грамби, — а после полковников сын Баярд с дядей Баком Маккаслином и с каким-то еще черномазым изловили Эба в лесу, и пошло-поехало: привязали его к дереву — или куда там они его привязали — и всыпали почем зря, хорошо как не двойной уздечкой, а кое-кто даже каленый шомпол поминает, но это по слухам. Словом, пришлось Эбу с Сарторисами расплеваться, и, говорят, изрядно он по лесам поскитался, пока полковник Сарторис постройкой своей железной дороги вплотную не занялся, так что можно было, значит, без опаски на свет Божий вылезти. Ну, тут он еще больше озлился. Однако, по крайности, надежда у него еще оставалась кой-какая, лошадки, мол, барыш, то да се... А тут он возьми да и напорись на Пэта Стампера, а Пэт его от барышничества враз отвадил. Тут уж

---

<sup>6</sup> Отсылка к четвертой и пятой главам повести «Непобежденные» («Удар из-под руки» и «Вандея»), краткое содержание которых излагает здесь Рэтлиф.

он и вовсе остервенел.

— Говоришь, он с Пэтом Стампером схлестнулся, да еще и уздечку сохранил — дома на стенку повесить? — изумился его собеседник. Дело в том, что Стампера здесь знал каждый. Хотя и был он в ту пору еще жив, а уже успел стать легендой, и не только в тех краях, но по всем северным округам штата Миссисипи и западным Теннесси: большой, плечистый человек, с брюшком и в дорогой широкополой «стетсоновской» шляпе, надвинутой на глаза, цветом напоминавшие новенькое лезвие топора, он разъезжал из округа в округ в фургоне, груженном всем необходимым для кочевой жизни; лошади для него были тем же, что для шулера карты, и сама победа над достойным противником радовала его не меньше, чем полученный барыш; а помогал ему конюх-негр, артист божьей милостью — скульптор, да и только: любой кусок конины, пока в нем еще жизнь теплится, он мог взять, укрыться с ним от посторонних глаз в пустом сарае или конюшне — были бы только четыре стены — и, как фокусник, выйти оттуда с таким зверем, что и мамка-кобыла не узнала бы, куда там прежнему владельцу; причем эта парочка, Стампер со своим негром, дошла до такого нечеловеческого согласия, что простым смертным и тягаться бесполезно — единое целое, о четырех руках и двадцати пальцах, а мозг общий, и разом в двух местах пребывает.

— Скажешь тоже — уздечку, — отозвался Рэтлиф. — Поквитались вчистую. Потому что если кого и обдурил Стампер, так разве только жену Сноупса. И то она этого так и не признала. Поплатилась-то она только тем, что самой пришлось в Джефферсон ехать, чтобы заполучить в конце концов сепаратор, а ей, может, и с самого начала было ясно, что рано или поздно этим кончится. Вовсе не Эб купил клячу у Пэта Стампера и продал ему две. Это все миссис Сноупс. Эб у них с Пэтом был просто вроде посредника.

Опять какое-то время помолчали. Потом все тот же голос:

— А откуда ты все знаешь? Не иначе как сам там был.

— Был, — ответил Рэтлиф. — Ездил с ним вместе в тот день за сепаратором. Жили мы примерно в миле друг от друга. Эб с моим папашей в ту пору оба состояли в арендаторах у старого Энса Холланда, так что я все время с Эбом вместе у него на конюшне околачивался. Я ведь насчет лошадок был вроде него — тоже как ненормальный. А он тогда еще не остервенел. В то время он жил со своей первой женой, той, что вывез из Джефферсона, а потом в один прекрасный день ее папаша подогнал фургон, погрузил ее туда вместе с мебелью и сказал Эбу, смотри, мол, явишься еще по эту сторону Уайтлифского моста — пристрелю, так и знай. Детей у них не было, а мне восьмой год шел, и я, бывало, что ни утро зайду к нему, да на целый день и застряну, сижу себе с ним рядышком на заборе ихнего участка, а соседи то и дело подойдут, глянут сквозь ограду — что он за клячу опять выменял на моток хозяйской колючей проволоки или на какую-нибудь ломаную борону, а Эб знай врет им (и врет ведь как раз в меру!) — насчет того, который ей год и много ли за нее отдал. По части лошадей он был как ненормальный, сам это признавал, но вовсе не в том смысле ненормальный, как на него тогда жена кричала — то есть в тот день, когда мы притащили кобылу Бизли Кемпа, запустили ее в загончик и к дому подались — Эб еще башмаки снял на крылечке, чтоб ноги, значит, охолонули перед обедом, — а миссис Сноупс стоит в дверях и сковородкой размахивает, а Эб ей: «Ну Винни, полно, Винни, ну ты же знаешь, я ведь всегда был насчет хороших лошадей как ненормальный, и чего орать попусту. Благодарю лучше Господа, что он, когда мне дал на лошадей глаз завидующий, наделил меня к нему и нюхом кой-каким по этой части, да и здравым суждением».

Потому что дело-то не в кобыле. И не в том дело, что его обжулили. Вовсе его никто не обжулил, потому что за лошадь Эб отдал Кемпу ломаный пропашник да отслужившую свое Энсову мельницу для сорго, тут даже у жены возражений не было, поменялся он себе не в убыток — все ж таки какая-никакая, а лошадь: мало что на ногах стоит, еще и от Кемпова двора до ихнего загона своим ходом доковыляла, потому как сама миссис Сноупс ему тогда сказала — ну, когда сковородкой еще замахивалась, — мол, шибко-то его на лошадях никому не облапошить — по той простой причине, что отродясь не водилось у него ничего стоящего, что можно было бы всучить кому-нибудь в обмен даже на ледащего одра. И не в

том дело, что Эб забросил плуг на дальней деляне, от глаз жены подальше, сел в повозку и укатил окольными путями, с пропащиком с этим да с мельницей, пока миссис Сноупс была в полной уверенности, что муж в поте лица пашет. Похоже, она уже знала то, чего ни я, ни Эб еще не знали: что кобыла эта попала к Бизли Кемпу от Пэта Стампера и что, едва коснувшись ее, Эб подцепил теперь Стамперову хворобу. Может, она и права была. Может, и впрямь Эб сам себя считал Пэтом Стампером холландовских полей, а то и всего Четвертого участка<sup>7</sup>, хоть и знал он, что Стампер, даже в ответ на этакую дерзость, вряд ли к его забору припожалует мериться силами. А что, если на то пошло, так между прочим, пока он там сидел на крылечке, прохладяя ноги, а на кухне шипела и постреливала грудинка, и мы только и ждали, как бы нам ее быстренько умять, чтоб поскорей выйти обратно к загону и на забор усесться, покуда все кому не лень любопытствовать подходят, какую он там опять дохлятину завел, — если на то пошло, так у Эба в ту пору не только здравого суждения по части барышничества было не меньше, чем у Пэта Стампера, но и самих лошадей за все те годы перебивало не меньше, чем у самого старика Энса. И если уж на то пошло, так пока мы там посиживали (а мы только и подвигались, когда тень от нас уползала), и брошенный плуг торчал в борозде на дальнем поле, а миссис Сноупс, все это видя из кухонного окошка, себе под нос ворчала: «Барышник, тоже мне! Сидит там, врет да похваляется перед кучкой никчемных олухов, аж глаза закатил, а у самого заместо хлопка и кукурузы на поле один бурьян да мышиный горошек, страшно туда и обед носить — змеи, поди, так и ползают!» — так вот, между прочим, Эб, бывало, глянет на свое приобретение, ну, которое выменял только что либо на почтовый ящик, либо на остатки семенного зерна, глянет, бывало, да и говорит сам себе: «А что? Это ж не просто лошадь, это ж почин: табунок у меня наклеивается — бог ты мой, чудо какой табунок!»

Дело было в судьбе. Словно сам Бог надумал купить лошадь на те деньги, что у жены Сноупса были отложены на сепаратор. Правда, тут надо признать, когда Господь выбрал Эба своим торговым агентом, уж он в выборе не ошибся, у того так руки и чесались спроворить богоугодное дельце. Утром, перед тем как нам выехать, у Эба даже в мыслях не было запрягать кобылу Бизли Кемпа, потому что он понимал: вряд ли она за один день осилит все двадцать восемь миль до Джефферсона и обратно. Он собирался пойти в загон старого Энса и призанять у него мула в пару к своему, и он так бы и сделал, кабы не миссис Сноупс. Она его ела поедом, дескать, еще не хватало, чтобы такие мощи попусту во дворе красовались, пускай в город плетутся, а там, глядишь, может, удастся сбыть эту дохлятину — ну, хоть хозяину платной конюшни, чтобы к воротам приколотил заместо вывески. Так что это была вроде как самой миссис Сноупс идея — спровадить лошадь Бизли Кемпа в город. Ну вот мы ее и впрягли — когда я, значит, утром у них появился, — впрягли эту самую кобылу в фургон с мулом на пару. Перед тем мы два-три дня корм в нее чуть не силком пихали, чтобы по дороге не окочурилась, и вид у нее, пожалуй, стал поглаже против прежнего. Но все-таки выглядела она не ахти. Однако Эб рассудил, что это из-за мула, что если б видно было только лошадь или только мула, все бы ничего, справное тягло, а вот поставишь ее с другой какой четвероногой тварью — и смотреть тошно. «Эх, кабы можно было, — говорит, — мула под фургон определить, чтоб тянуть тянул, а на глаза не совался, а лошадь пустить впереди одну, для виду?» Ну, Эб тогда ведь еще не озлился. Но уж все, что могли, мы сделали. Эб подумал было ей сольцы в зерно от души сыпануть, чтоб она воды напилась поболее — ребра хотя бы не так торчали, — да только знали мы, что тогда она и до Джефферсона не доковыляет, не то что назад домой, к тому же останавливаться пришлось бы у каждого ручья и колоды, чтобы сызнава ее подкачивать. Так что все, что могли, мы сделали. А могли мы только уповать на лучшее. Эб зашел в дом и появился в своем пасторском сюртуке,

---

<sup>7</sup> Каждый округ штата Миссисипи делится на мелкие административные единицы — участки, имеющие порядковые номера. В романах и рассказах Фолкнера нумерация участков всегда произвольна и не совпадает с реальной.



доставшемся ему еще от старой мисс Миллард (полковника Сарториса сюртук-то; Эб его до сих пор донашивает, вот уже лет тридцать), увязал в тряпицу те двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов кровных денежек, скопленных женой за четыре года, и мы поехали.

Насчет того, чтобы барышничать, мы и думать не думали. Насчет той кобылы — верно, подумывали, не придется ли нам ее вечером домой в фургоне везти, а Эбу самому в постромки на пару с мулом впрягаться. Ну так вот, вывел Эб упряжку из загона и по дороге пустил, этак бережно, потихоньку, полегоньку: как только ежели какой подъем, на котором текущая водица не удержится, мы тут же скок с повозки и рядом идем, и таким манером думали до самого Джефферсона дотянуть. День был погожий, жара; середина июля как-никак. А мы уже чуть не до Уайтлифской лавки доплелись, миля оставалась, причем Кемпова кобыла все так же — наполовину сама идет, наполовину едет, на дышле повиснув, а лицо у Эба все мрачней и мрачней становится с каждым разом, как лошадь ногами за дорогу цеплять начнет, и тут ни с того ни с сего глядим — кобыла вся в мыле. Голову задрала, ровно как ей раскаленную кочергу под нос сунули, и влегла в постромки — в первый раз, можно сказать, и дернула с тех пор, как Эб мула под хомут подставил и кнутом для разгона шевельнул, еще когда мы были дома, — и тут уж мы покатили под горочку да к Уайтлифской лавке: глаза у Кемповой кобылы побелели, точь-в-точь костяные грибки для штопки, крутит ими, хвостом машет, гривой трясет, только что дым из ушей не валит. Чтоб мне провалиться — такой конь-огонь вдруг из нее образовался, куда что девалось, вроде даже ребра торчать стали поскромней. А Эб, который только что собирался окольной дорогой проехать, чтобы у лавки не показываться, на козлах приосанился, будто у себя дома на заборе, где ему никакой Пэт Стампер не страшен, и давай Хью Митчеллу и всем остальным, кто на галерее сидел, заливать, будто лошадь эта из Кентукки. Хью Митчелл даже не улыбнулся. «Да уж, — говорит. — И то думаю, куда это она запропастилась. А вот, оказывается, в чем дело: все же Кентукки не ближний свет. Пять лет назад Герман Шорт торговал ее у Пата Стампера за мула и таратайку, а Бизли Кемп отдал за нее прошлым летом восемь долларов. А ты сколько Бизли Кемпу заплатил? Пятьдесят центов?»

Тут все и решилось. Не в том дело, что Эб так уж потратился на эту кобылу, потому что отдал-то он, можно сказать, только остов пропашника, ведь мельница для сорго, во-первых, уже свое отслужила, а во-вторых, она была все равно не его. Германов мул с таратайкой тут тоже ни при чем. Дело в тех восьми долларах Бизли Кемпа, но не потому, что Эб позавидовал Герману — все-таки Герман отдал за них мула и таратайку. Кроме того, те восемь долларов никуда за границы округа не ушли, так что на самом-то деле совсем не важно, у кого они в кармане — у Бизли или у Германа. Тут главное, что приходит какой-то чужак, какой-то Пэт Стампер, и, здрасьте пожалуйста, йокнапатофские кровные доллары по рукам пошли! Когда меняешь лошадь на лошадь — это одно дело, тут крутись как умеешь, и сам черт тебе в помощь. Но когда из рук в руки переходят наличные деньги, это совсем другой коленкор. А когда приходит чужак, и тут же доллары начинают прыгать из кармана в карман, это все равно как если к тебе в дом вломился грабитель и давай расшвыривать вещи, пусть даже он и не возьмет ничего. От эдакого еще и вдвойне озвереешь. Так что речь шла не о том, чтобы просто сбыть эту кобылу обратно Пэту Стамперу. Главное тут было как-нибудь исхитриться и выудить у него обратно Кемповы восемь долларов. Это я и имел в виду, когда насчет судьбы говорил, что сама судьба заставила Пэта Стампера сделать привал под Джефферсоном как раз у той дороги, по которой мы ехали в тот день, когда отправились за сепаратором для жены Эба Сноупса, — у самой дороги расположиться со своим кудесником-негром, и в аккурат в тот день, когда Эб ехал в город и в кармане у него было двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, а на руках поруганная честь науки и искусства йокнапатофского барышничества, вопиющая к отмщению.

Не помню в точности, когда и как мы обнаружили, что Пэт в Джефферсоне. Может, около Уайтлифской лавки. А может, Эб, в его тогдашнем расположении духа, не только естественно и неминуемо должен был встретиться со Стампером, но сама судьба и

Провидение Господне устроили ему эту встречу — иначе бы и до Джефферсона не добрался. Ну, словом сказать, едем дальше; всякий раз, как дорога на холм, выезаем, чтоб этим восьми долларам Бизли Кемпа тянуть было полегче, рядом идем, а лошадь — ничего, влегает в хомут со всей мочи, хоть, правда, тянет-то все больше мул, причем Эб шагает по свою сторону фургона и на чем свет стоит поносит Пэта Стампера, и Германа Шорта, и Бизли Кемпа, и Хью Митчелла, а когда вниз дорога, Эб фургон жердиной притормаживает, чтоб хомутом кобыле уши не пооборвало, а заодно и всю шкуру наизнанку, как чулок, не вывернуло, и по-прежнему бранит Пэта Стампера, и Германа, и Бизли, и Митчелла, и так до тех пор, пока мы не добрались до моста на третьей миле, тут Эб с дороги поворотил в кусты, выпряг мула, взнуздal его вожжой, чтоб мне верхом ехать, и говорит, вот тебе, мол, четверть доллара, езжай в город, привози на десять центов селитры, на пять дегтя и еще крючок рыболовный, десятый номер, и быстро назад.

Так что до города мы добрались только под вечер. Поехали сперва к Стамперову лагерю, с ходу в него влетели — лошадь теперь на хомут наваливалась будь здоров как: глаз бешеный, чуть не как у самого Эба, пасть в пене, где Эб ей десны селитрой натер, на груди парочка царапин, вроде как от колючей проволоки, замазанных, как положено, дегтем, да еще ей Эб под кожу рыболовный крючок воткнул, в том месте, где вожжа, когда ее чуть приотпустишь, как раз слегка за этот крючок цепляет, а Стамперов черномазый уже тут как тут, подбегает, хват за недоуздок, пока наша гнедая не дай бог не своротила палатку, где почивал сам Пэт, а тут уже и Пэт собственной персоной выполз — кремовый «стетсон» на один глаз сдвинул, другим из-под шляпы посверкивает, а уж глаз — прям что твой новый плужный лемех: и цвет тот же, и столько же в нем тепла; Пэт вылез и стоит, большие пальцы за ремень засунув. «Ишь, — говорит, — какая у вас резвая лошадка». «Уж так резвая, — Эб в ответ, — не знаю, куда, к черту, от нее и избавиться. Была не была, думаю, может, вы меня выручите, дадите что-нибудь взамен, чтобы до дому доехать, не свернув шею себе и мальцу». Потому как такой ход был единственно верным: с места в карьер объявить, дескать, сам не рад, но меняться вынужден, а не крутить вокруг да около в ожидании, пока Пэт сам предложит сделку. Пять лет уже Пэт не видел эту лошадь, вот Эб и решил, что шансов за то, что Пэт ее узнает, примерно столько же, сколько у взломщика узнать часы с цепкой, которая пять лет назад ненароком накрутилась ему на жилетную пуговицу. И потом очень-то разорять Пэта Эб не собирался. Ну, возвратить йокнапатофскому барышничеству славы на восемь долларов — это конечно, но не ради наживы, а только защищая честь. И по-моему, уловка сработала. До сих пор думаю, что Эб обдурил Пэта, у того просто была уже задумка — что Эбу на обмен предложить, вот он и отказался меняться иначе как упряжка на упряжку, а не потому вовсе, что узнал кобылу Бизли Кемпа. А может и нет, дело темное; кроме того, Эб был так занят тем, чтобы облапошить Пэта, что самого хоть голыми руками бери. Ну, тот черномазый выводит пару мулов, а Пэт стоит себе, пальцы за ремень засунуты, на Эба смотрит да табачок жует, медленно так, смачно, а Эб стоит, и лицо у него отчаянное, хоть и не испуганное пока еще, потому как понял он, что впутался куда серьезней, чем думал, и теперь надо либо переть, зажмурившись, напропалую, либо все к черту бросить — в фургон и ходу, пока Кемпова кобыла крючок из себя не выдернула. И тут Пэт Стампер показал, почему он Пэт Стампер. Если бы он принялся расписывать перед Эбом выгоды сделки, думаю, Эб все ж таки сыграл бы отбой. Но Пэт был не из тех. Облапошил Эба прямо как тот матерый медвежатник, который надул другого, просто-напросто не показав ему, где стоит сейф.

«Один хороший мул у меня есть, — говорит ему Эб. — Мне только от лошади надо избавиться. Давай менять лошадь на мула».

«Да мне-то твоя дикая кобылка тоже ни к чему, — Пэт отвечает. — Нет, я беру любую тварь, какая с ног не валится при условии, что в торге и за мной слово будет. Но торговать у тебя одну эту лошадь я не собираюсь, потому что мне она нужна не больше, чем тебе. Что до меня, так я меняюсь только ради того мула. А эта вот моя пара — они и в масть друг другу, и под стать. Чохом мне за них втрое дадут против того, что я бы получил, продавая их

порознь».

«Но все равно ж у тебя запряжка на продажу остается», — Эб говорит.

«Нет уж, — Пэт ему в ответ. — Давай за них настоящую цену — пара есть пара, и никаких. А хочешь одного мула — поищи в другом месте».

И снова Эб поглядел на мулов. Что ж, мулы как мулы. Не слишком хорошие, но и не слишком плохие. Поодиночке-то каждому из них до Эбова мула было далековато, но в паре они смотрелись получше, чем какой ни на есть, но один мул. Так что с Эбом все было ясно. С ним было все ясно еще с той самой минуты, как Хью Митчелл рассказал ему про восемь долларов. И, думается, Пэту Стамперу тоже было все ясно еще в тот самый миг, когда черномазый ухватил под уздцы лошадь, чтобы она палатку не своротила. Думается, уже тогда он почуял, что ему даже не надо будет особенно стараться обдурить Эба — знай только говори «нет» достаточно долго. Больше-то Пэт ничего и не делал: стоит себе, прислонившись к борту нашего фургона, пальцы за пояс сунуты, жует табак да наблюдает, как Эб сызнава за осмотр мулов принимается. И даже я понял, что Эб уже проторговался: думал так себе, ручеек перейти — глядь, а там трясина оказалась, но теперь даже помедлить нельзя, чтобы повернуться назад. «Ладно, — говорит. — Беру».

В общем, вдел черномазый новое тягло в сбрую, и мы поехали в город. А мулы как будто бы и ничего себе. Пес буду, если мне не подумалось, что Эб из этой Стамперовой трясины сухим вышел — да я-то что, у Эба у самого, едва мы на дорогу выбрались и Стамперова палатка скрылась из глаз, физиономия стала словно он дома на заборе сидит и всем вкручивает про то, что он-де насчет лошадей как ненормальный, но уж и не такой ненормальный, как кажется. Ну, не совсем, правда, физиономия у него расслабла, взгляд настороженный, посматривает все же, как там новые мулы. А мы уж в самый город въехали, времени к мулам приглядываться не оставалось, но, опять-таки, у нас еще вся обратная дорога была впереди.

«Пострели тебя горой, — Эб говорит, — коли они и до дому доковыляют, считай, что восемь долларов я отыграл, бог свидетель!»

Но этот черномазый был артист! Потому что не придерешься, как перед Богом клянусь — мулы как мулы. На вид два обычных, не чересчур ладных мула, какие по всем дорогам повозки таскают. Ну, правда, я еще заметил за ними странную манеру с места трогать — этак рывками: сперва один рванет и осядет, потом второй рванет и осядет, и вот, когда мы уже на дорогу выехали и повозка всюю раскатилась, одного из них как сглазили: вдруг стал поперек дороги заворачивать, словно в обратный путь собрался, хоть бы для этого ему через повозку переползти пришлось, но, опять же, Стампер говорил только, что мулы парные, под стать друг другу, а про то, что они когда-нибудь в паре работали, он и не заикался; так ведь они и в самом деле были под стать друг другу — в том смысле, что ни один из них понятия не имел, когда другой в путь двинется. Но Эб их выровнял, едем дальше, и только это мы начали на тот большой подъем взбираться — ну, который перед площадью, — как мулы вдруг пеной покрылись, точно как Кемпова кобыла перед Уайтлифской лавкой. Что ж, пена — эка невидаль, жарко все же. Я еще тогда как раз заметил, что дождь собирается: помнится, все смотрел за тяжелой, словно жаром пышущей тучей на юго-западе и думал, эх, прихватит нас дождичком — ни до дому не успеем, ни до Уайтлифской лавки, и вдруг глядь — повозка-то вверх перестала подвигаться и потихоньку начинает вниз пятиться, я обернулся и как раз застал момент, когда эти мулы оба поперек дороги в постромках стали и друг на друга поверх дышлины скалятся, а Эб пытается их выровнять и тоже скалится, как вдруг они выровнялись, и я, помнится, только и успел подумать, мол, хорошо, что они все же не к повозке мордами оказались, когда выровнялись. Потому как впервые в жизни они рванули одновременно, по крайности с тех пор, как перешли Эбу во владение, и с подъема на площадь мы вынеслись, что твой таракан из водостока — повозка на двух колесах мчится, Эб вожжами шурует, приговаривает: «Ах задрыга! Ах за-дрыга!», а из-под колес мамки да детишки с визгом и врассыпную; непонятно, как он только ухитрился заворотить на всем скаку в проулок позади лавки Кейна, а там — трах! — левыми колесами сцепились мы с

другой повозкой, и только с помощью той, чужой упряжки, которая стояла на привязи, ему и удалось остановиться. Ну, тут толпа, конечно, набежала, помогли нам расцепиться, Эб подогнал повозку к заднему крыльцу Кейновой лавки и привязал мулов к столбу, да потуже, нос к носу, а тут еще все подходят говорят: «Глянь-ка, это же Стамперовы мулы!», а Эб уже часто дышать начал, и физиономия посерьезнела — окончательно, можно сказать, насторожилась. «Ну, — говорит, — теперь берем сепаратор — и домой».

Так что вошли мы в лавку, отдали Кейну тряпицу с деньгами миссис Сноупс, он сосчитал — двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, выдал нам сепаратор, и мы двинулись назад, то есть туда, где повозку оставили. Нет ну с повозкой-то все как раз в порядке было: повозка была на месте. Даже как-то многовато ее стало — повозки, стало быть. Помнится, мне ее борта в глаза кинулись и верхушки колес (Эб ее близко-близко, к самому погрузочному настилу приткнул), и люди в проулке, которых мне только выше пояса было видно, — их тоже раза в два-три поприбавилось, — и что это, думаю, людей многовато стало, да и повозки вроде как тоже, прямо как на картинке, под которой внизу подпись: «Что здесь неправильно нарисовано?», и тут Эб снова за свое: «Ах задрыга! Ах задрыга!» — и бечь норовит, свой конец сепаратора из рук не выпуская, к краю настила, чтоб под него заглянуть. В общем, мулы на месте оказались. Прилегли они там. Эб их накрепко привязал к самому столбу, одну веревку через оба мундштука продел, и вид был у наших мулов, как у двух чудаков, сговорившихся удавиться за компанию — нос к носу, головы к небу задраны, языки вывалились, глаза из орбит повылазили, шеи растянулись фута аж на четыре, а ножонки так пополам и сложились, как у подстреленных кроликов — висят себе, болезные, покуда Эб не подскочил да не обрезал веревку карманным ножом. Ну, артист! И что он там такое им скормил, черт знает, но тютелька в тютельку хватило дотянуть до города и миновать площадь.

Ну, Эб, конечным делом, расстроился. До сих пор у меня перед глазами стоит, как он забился в угол, где Кейн держал плуги да культиваторы, с лица бледный, голос дрожит, и рука дрожит так, что еле отсчитал шесть монет из кармана. «Быстро! — говорит. — Марш к доку Пибоди и притащи мне бутылку виски». Ужасно расстроился. Теперь это была даже не трясина. Это был уже водоворот, а сил всего на последний рывок осталось. В два глотка осушил он эту пинту и бутылку в уголок пристроил аккуратненько, словно яйцо, и пошли мы обратно к повозке. Мулы были все там же, но на сей раз они стоя дожидались; мы погрузили сепаратор и помаленьку двинулись, а вокруг все в нас пальцами тычут, дескать, вон они, Стамперовы мулы. С лица Эб уже не бледным стал, а багровым, а солнце скрылось, но думается, он этого и не заметил даже. А мы все еще ничего не ели, но ему и это, пожалуй, тоже невдомек было. И провалиться мне, но Пэт Стампер словно бы и с места не трогался, стоял в воротах своего веревочного загона — шляпа набекрень, большие пальцы все так же за пояс заткнуты, и снова перед ним Эб, сидит на козлах своей повозки, пытаюсь унять дрожь в руках, а мулы, которых он у Стампера выменял, стоят, понурившись, ноги враскоряку, и пыхтят, что твой паровой котел.

«Вот, — Эб говорит, — приехал за своей запряжкой».

«А в чем дело? — спрашивает Стампер. — Только не говори мне, что и эти для тебя чересчур резвые. По ним что-то не похоже».

«Ладно, — Эб говорит. — Ладно. Мне бы мою запряжку. Вот у меня четыре доллара. Четыре доллара тебе барыша, а мне бы назад запряжку».

«Нет у меня твоей запряжки, — Стампер отвечает. — Мне ведь твоя кобыла тоже была без надобности. Я ж говорил тебе. Ну, я ее и сбегрил».

Эб посидел чуток, подождал. Становилось прохладнее. Поднялся ветер, и в воздухе запахло дождем.

«Ну, так, значит, у тебя мул мой остался, — Эб говорит. — Ладно уж. Хоть мула давай».

«Чего ради? — Стампер в ответ, этак удивленно. — Эту запряжку хочешь на твоего мула выменять?» Эбу-то уж какое там торговаться! Расстроен был страшно, сидел, словно



ничего не видя, а Стампер стоял этак вальяжно, облокотившись на кол загородки, и смотрел на него чуть ли не целую минуту. «Нет, — говорит. — Не надо мне этих мулов. Твой получше будет. Так я не меняюсь, — он сплюнул, спокойно так, аккуратно. — Кроме того, я твоего мула свел в новую запряжку. С другой лошадкой. Хочешь глянуть?»

«Ладно, — Эб говорит. — Сколько?»

«Ты что не хочешь даже поглядеть сперва?» — спрашивает Стампер.

Эб говорит: «Ладно». Ну, негр пошел, вывел Эбова мула и лошадь, маленькую вороную лошадку; еще помню, хоть солнца и не было, тучи одни, а как она лоснилась! — лошадка чуток побольше той, которую мы Стамперу сбагрили и жирная, как свинья. Это я говорю просто чтоб понятно было — не так, как лошадь бывает жирная, а именно как свинья: в жиру вся до ушей, и тугая с виду, как барабан — такая жирная, что еле шла, ноги переставляла так, словно они невесомые и словно она их вовсе под собой не чувствует. «С этакое-то жиру подохнет она, — Эб говорит. — И до дому не доберусь».

«Да я вот и то думаю, — Стампер в ответ. — Иначе стал бы я от нее избавляться!»

Эб говорит: «Ладно. Надо ее попробовать», — и полез из повозки.

«Спробовать?» — говорит Стампер.

Эб ни гугу. Осторожненько вылез из повозки и пошел к лошади, и ноги тоже осторожненько ставит, как не свои, будто у него тоже в ногах весу нет, как у той лошади. Недоуздок на ней уже был, Эб принял от черномазого повод и давай взбираться на лошадь.

«Стой, — Стампер ему говорит. — Ты чего это надумал?»

«Думаю ее попробовать, — Эб в ответ. — Мы с тобой сегодня уже разок махнулись не глядя». Стампер с минуту глядел на Эба, потом снова сплюнул и бочком, бочком начал назад отходить.

«Ладно, Джим, — это он негру. — Подсади его».

Ну, подсадил негр Эба на лошадь, но сам даже отойти не успел вслед за Стампером, потому что едва Эб на лошадь насел всем весом, как она дернулась, будто у него из штанов электрический провод торчит. Лошадь закружилась волчком — со стороны поглядеть, совсем круглая стала, ни переду, ни заду, что твоя картофелина. Эба она сбросила, он брякнулся оземь, поднялся и снова подошел к лошади, а Стампер говорит: «Подсади его, Джим», и снова черномазый подсадил Эба на лошадь, она снова его шмякнула, Эб с каменным лицом поднялся и снова за недоуздок берется, но тут Стампер удержал его. Похоже, Эбу только того и надо было, чтоб лошадь его с маху оземь кидала, словно он пытался хотя бы синяками, костями своими расплатиться за какую ни на есть животину, пусть полудохлую, лишь бы до дому довезла.

«Тебе что, жить надоело?» — спрашивает Стампер.

«Ладно, — Эб говорит. — Так сколько?»

«Пошли в палатку», — сказал Стампер.

Ну, а я дожидался в повозке. Начало уже здорово задувать, а теплого мы ничего с собой не захватили. В повозке было, правда, несколько мешков из-под отрубей, которые миссис Сноупс велела нам захватить с собой — сепаратор в них завернуть, и я как раз оборачивал его мешками, когда черномазый вышел из палатки, а полог-то он приподнял, ну я и вижу: Эб там сидит и гложет прямо из горлышка. Потом негр вывел лошадь с таратайкой, Эб со Стампером вылезли из палатки, Эб вернулся к своей повозке и, на меня не глядя, сбросил с сепаратора мешки, отнес его в таратайку, сел сам, потом Стампер подошел, сел, и они уехали обратно в сторону города. Негр постоял, посмотрел на меня.

«Промокнете ведь, по дороге домой-то», — сказал он.

«Ну, пожалуй», — говорю.

«Может, перекусить хочешь, пока они там ездят? — предложил он. — У меня обед на плите».

«Нет, пожалуй», — сказал я. Так что он пошел обратно в палатку, а я дожидался в повозке. Дождь собирался хлынуть уже вот-вот. Помню, я еще подумал, что у нас зато теперь мешки высвободились — на себя набросить, чтобы не вымокнуть. Тут вернулись Эб



со Стампером, причем Эб по-прежнему глядит все в сторону. Пошел прямо в палатку, и вижу, он там снова к бутылке присосался, но на сей раз сунул ее после того за пазуху. А потом черномазый подвел к повозке нашего мула и новую лошадь, запряг их, Эб вылез и забрался в повозку. Стампер и черномазый теперь уже вдвоем его подсаживали.

«А не лучше вожжи малому отдать?» — Стампер говорит.

«Нет, сам, — отвечает Эб. — Может, выменять у тебя лошадь мне и слабо, но уж совладать с ней как-нибудь сумею».

А Стампер ему: «Ну, давай. Кстати, кобылка эта еще себя проявит!»

— Она и впрямь себя проявила, — усмехнулся Рэтлиф. Впервые он рассмеялся — тихонько, невидимый для слушателей, хотя они и так знали каждую его черточку, видели его будто воочию, несмотря на темень: вот он, непринужденно развалился, откинулся на стуле в своей чистой выцветшей синей рубашке, лицо худое, загорелое, приветливое и лукавое, и на всем облике печать закоренелого холостяковства, та же, что и у Джоди Варнера, но в остальном они не были похожи, да и в этом не очень, поскольку то, что у Варнера было отражением дешевой и напыщенной фатоватости, у Рэтлифа шло от здорового целомудрия, как у послушника из монастыря двенадцатого века, какого-нибудь садовника, скажем, или виноградаря. — Да как проявила! Мы еще и мили не отъехали, а тут гроза, дождь как из ведра хлынул, и часа два мы тащились, съездившись под мешками из-под отрубей и поглядывая на лоснящийся круп новой лошади, такой толстой, что даже ноги она переставляла как не свои и все еще продолжала время от времени вздрагивать, даже под дождем передергиваясь словно от боли — в аккурат как тогда, когда Эб на нее всем весом в Стамперовом лагере взгромоздился, пока наконец не высмотрели мы какой-то старый сарай, чтоб в нем укрыться. То есть высмотрел-то я, потому как Эб к тому времени валялся пластом на настиле повозки, и дождь хлестал ему прямо в лицо, а я сидел на козлах и правил, глядя, как эта лоснящаяся вороная кобыла превращается в гнедую. Ну, ведь мне всего восемь лет было, и я даже с Эбом вместе дальше поворота дороги, проходившей мимо его участка, барышничать не хаживал. В общем, заворотил я под первый попавшийся навес и принялся трясти Эба. Дождь малость прохладил его, и он проснулся довольно трезвый. А тут еще быстрее трезветь начал. «Что, — говорит. — Что такое?»

«Лошадь! — кричу. — Она линяет!»

Он уже протрезвел окончательно. Мы оба выбрались из повозки, и у Эба аж глаза на лоб, потому что в постромках стояла гнедая кобыла, а засыпая, он на вороную таращился. Эб вытянул руку, словно вообще уже не верил, что это лошадь, и дотронулся до нее как раз в том месте, где вожжи время от времени по шкуре елозили — ну, разве что едва-едва касались, — куда он сам всем весом взгромоздился, когда пытался ее испробовать у Стампера, и тут лошадь как рванет, как сиганет назад! Еле я отскочить успел, а она в стенку врезалась, где я стоял только что, у меня аж волосы ветром шевельнуло. А после звук такой послышался, словно большущую велосипедную шину гвоздем продырявило. Этак «ф-ф-ы-ш-ш-ш», и от Стамперовой лоснящейся, жирной вороной кобылы уже и вовсе ничего не осталось. Не в том смысле, что стоим мы с Эбом и на единственного мула любимемся, лошадь — она куда же денется? Только это была та же самая кобыла, на которой мы утром со двора выехали и за которую две недели назад отдали Бизли Кемпу мельницу для сорго и пропащик. Даже рыболовный крючок назад вернулся, все так же чуточку погнутый — это Эб ему жало развернул, Стамперов нигер разве что пересадил крючок немножко в другое место. А вот ниппель от велосипеда Эб только на следующее утро нашел — в складках шкуры у передней ноги был спрятан, вроде как под мышкой, в жизни не догадаешься, хоть двадцать лет за этой кобылой ходи.

Да, только на следующее утро, потому как до дому мы добрались, когда солнце давно уже встало, а мой отец сидел у Сноупсов, ждал, помаленьку зверея. Так что надолго я у них не задержался, только и успел заметить в дверях миссис Сноупс, где она, видать, тоже всю ночь прокуковала, и она нам с ходу: «Ну, где мой сепаратор?» — а Эб в ответ про то, что он всегда насчет лошадей был как ненормальный, что тут поделаешь, и только тогда уже миссис

Сноупс заплакала. Я в то время торчал у них чуть не безвылазно, но ни разу еще не видал, чтобы она плакала. Она не из тех была, кто часто плачет, и плакала она с трудом, будто не знала, как это делается, будто слезы еле дорогу себе отыскивали; стояла на пороге в старом халате, даже лицо не пряча, и все твердила: «Насчет лошадей — понятно, ненормальный, но это разве лошадь? Это разве лошадь?»

В общем, отец меня уволок. Даже руку мне в сердцах вывернул, но когда я ему стал рассказывать про то, что вчера приключилось, пороть меня он раздумал. Но все же к Эбу я вернулся чуть ли не за полдень. Эб сидел на заборе загончика, я влез и уселся с ним рядом. Только загон теперь пустой был. Ни мула, ни лошади Бизли Кемпа. Но Эб ничего не говорит, и я тоже ничего не говорю, а немного погодя он вдруг спрашивает: «Ты завтракал?» Я сказал, что да, а он и говорит: «А я — нет еще». Ну, пошли мы в дом, а там, понятное дело, хозяйки нет как нет. Мне сразу так и представилось — Эб сидит на заборе, а она бежит под горку в своей шляпке, в шали, в перчатках — ну а как же! — входит в конюшню, седлает мула и взнуздывает Кемпову кобылу, а Эб все сидит и решиться не может — то ли пособить ей вызваться, то ли не стоит. В общем, растопил я ему печку. В кухонных делах Эб не ахти какой умелец был, так что пока он сообразил, чего поесть на завтрак, было уже поздно, и мы решили просто побольше сготовить, разом чтобы и завтрак и обед; сготовили, поели, я вымыл посуду, и мы поплелись обратно к загончику. Плуг — распашник двухотвальный — так и торчал в борозде на дальнем поле; дальше-то пахать все одно тягла нет, разве что отправиться к старому Энсу призанять у него упряжку мулов, но это легче к гремучей змее идти занимать погромок; потом, опять-таки видимо, Эб предел себе положил: все, мол, хватит с него волнений, во всяком случае на этот день. Так что просто сидели мы на заборе и смотрели на пустой загон. Просторным он никогда не был, этот загончик: в него одну лошадь запустишь — и то ей там тесновато будет. Но теперь он с виду был как весь Техас; и, главное, не успел я подумать про то, какой он пустынный, а Эб уже слез с забора, перешел на другую сторону загона и на сарайчик любуется, который у него к стене конюшни пристроен — так вроде ничего сарайчик, ежели бы к нему еще пару подпорок да крышу подновить... «Следующий раз, — говорит, — надо будет племенной кобылой разжиться — табун молодняка заведу, стану растить мулов. А это вот как раз для жеребят сподручное помещение — ну, подлатать только малость». Потом возвратился, и снова сидим на заборе, а где-то уже под вечер подъезжает повозка. Смотрю — с высокими бортами, Клифа Одэма повозка-то, а на козлах рядом с Клифом миссис Сноупс, и мимо дома они прямо к загону правят. «Нет, — Эб говорит. — Не выгорело. Как же, станет он мелочиться!»

Мы в это время были за углом конюшни и оттуда смотрели, как Клиф подогнал повозку задом к помосту у ворот, а миссис Сноупс вылезла, сняла шаль, перчатки, и через загон пошла к коровнику, вывела оттуда корову и повела к помосту, а Клиф говорит: «Давайте, загону ее в повозку. А вы покамест вожжи подержите». Но она даже не помедлила. Уставила на помосте корову мордой к повозке, зашла сзади, плечиком приложилась и в момент задвинула корову в повозку, куда Клиф только еще с козел слезал. Потом Клиф водрузил на место задний борт, а миссис Сноупс шаль свою надела, перчатки, забрались они в повозку и укатили.

В общем, еще раз я ему растопил печку, чтоб ужин сготовить, и пора было мне домой: солнце уже почти что село. Возвратился на следующее утро, принес кувшин молока. Эб был на кухне, все еще с завтраком возился. Увидел молоко и говорит: «Это ты дельно сообразил. Как раз вчера я собирался попросить тебя молока у твоих призанять». И снова пошел готовить завтрак, потому как знал, что в такую рань она не воротится: ведь это что же будет — два раза по двадцать восемь миль меньше чем за двадцать четыре часа! Но тут слышим, опять едет повозка, и на сей раз миссис Сноупс воротилась с сепаратором. Только мы успели в конюшню податься, а она уже его в дом волокет.

«Ты вот что, — Эб говорит, — молоко-то у ней на виду оставил, нет?»

«Вроде бы», — отвечаю.

«Интересно, она к нему сразу бросится или сперва старый халат наденет? — а потом, с

сожалением: — Эх, — говорит, — что ж я так с завтраком припозднился!»

Только, по-моему, она и на халат времени терять не стала, потому что тут же взвыл, зажужжал сепаратор. Жужжал он замечательно, на такой тонкой, высокой ноте, мощно и уверенно, точно ему этот галлон молока поразбросать — раз плюнуть. А потом смолк.

«Н-да, — нахмурился Эб. — Плохо дело: молочка у ней теперь только этот галлон».

«А чего, — говорю, — могу ей еще один принести завтра утром».

Но он меня не слушал, держал под наблюдением дом.

«Тебе, — говорит, — самое время сейчас подойти и в дверь глянуть».

Ну, я подошел, глянул. Она как раз сняла с плиты Эбову стряпню и по двум тарелкам раскладывала. Я и не думал даже, что она меня заметила, пока она не обернулась и не отдала мне эти тарелки. Вижу — ничего, лицо спокойное. Ну, озабоченное только, а так — ничего.

«Тебе, верно, тоже лишний раз подкрепиться не повредит, — это она мне, значит. — Но уж вы где-нибудь там во дворе поешьте. Я тут сейчас делом займусь, так что нечего у меня в ногах путаться».

В общем, возвращаюсь с тарелкой, сели мы есть под забором. Тут снова загудел сепаратор. А мне, стало быть, невдомек было, что он и второй раз тем же молочком не поперхнется. Думаю, Эбу тоже это невдомек было.

«Не иначе, Кейн ее надоумил, — говорит Эб, а сам жует вовсю. — А что — если ей его туда второй раз залить охота, так оно, видать, и второй раз не застрянет».

Потом сепаратор смолк, и она вышла к двери крикнуть нам, чтобы мы ей посуду помыть вернули, я отнес тарелки, поставил их на пороге, и мы с Эбом снова пошли и уселись на забор. Такое ощущение было, будто этим забором весь Техас обнесен и Канзас в придачу.

«Не иначе, подъехала она прямо к этой, драть ее передрать, палатке и сказала: „Вот тебе за твою запряжку, отдавай мой сепаратор, да живо, потому как мне ходом домой надо вертаться“», — сказал Эб. А потом снова донесся перегуд сепаратора, и в тот же вечер мы сходили к старику Энсу выпросить какого-нибудь мула — добить то дальнее поле, но у того для Эба мулов больше не нашлось. Так что, чуть старый Энс попритих ругаться, двинулись мы восвояси и обратно на забор уселись. И точно: слышим — опять сепаратор. Все так же уверенно, вроде как это молоко по нем само летает, вроде как вообще все равно агрегату — раз перепустить через себя молоко или сто раз.

«Во — опять забрунжал, — сказал Эб. — Ты завтра-то не забудь еще галлон прихватить».

«Ясное дело», — отвечаю.

Посидели. Послушали. Ну, он ведь тогда еще не остервенел.

«Надо же, как она довольна, прямо не нарадуется», — это опять Эб сказал.

### 3

Бричка стала, и с минуту еще он в ней сидел, глядя на те же сломанные ворота, на которые глядел и Джоди Варнер, когда осаживал тут своего коня девять дней назад: тот же затравевший, поросший бурьяном двор, тот же вычерненный непогодой покосившийся домишко — все та же мусорная мерзость запустения, которая теперь наполнилась скукотливым покрикиванием двух голосов, достигшим его ушей прежде даже, чем он успел подъехать к воротам и остановиться. Голоса были молодые, и в переключке их не было ни жалобы, ни брани, лишь неторопливая, весомая громогласность, причем даже то, что в них с трудом и не сразу угадывалась членораздельность осмысленной речи, казалось естественным, словно звуки исходили от двух огромных птиц; словно в объятые ужасом и оторопело застывшее уединение какой-нибудь недоступной и необитаемой пустыни или болота вторглись два последних уцелевших представителя исчезнувшей породы, пришли и поселились, терзая поруганную тишь нескончаемой переключкой, которая, впрочем, смолкла, едва Рэтлиф возвысил голос. Через мгновение обе девки вышли к дверям и стали — дебелие, одинаковые, как две небывалых коровицы — и на него уставились.

— С добрым утром, сударыни, — обратился он к ним. — А где папаня?

Они продолжали разглядывать его. Казалось, даже дышать перестали, но уж этого — знал Рэтлиф — быть не могло: для тел такой корпулентности и такого чудовищного, такого чуть ли не подавляющего здоровья воздух нужен, и как можно больше. На миг представилось ему, будто это две телки, нетели, и воздух им по колено, точно вода в русле — угнули этак голову в бочажину, и от одного их вдоха уровень бесшумно и стремительно никнет, сходит на нет, обнажая изумленно обмершую придонную невидаль, кишашую вокруг копыт, вязнущих в илистом ложе. Тут девки произнесли в один голос, как слаженный хор:

— На поле, где ж еще!

«Да уж, — подумал Рэтлиф, трогаясь дальше. — Интересно, что ему там делать?» Ведь — насколько Рэтлиф знал Эба Сноупса — вряд ли у того может быть больше двух мулов. А одного из них Рэтлиф уже видел, как тот в загоне слоняется позади дома, да и с другим все было ясно — привязан к дереву позади лавки Варнера в восьми милях отсюда, потому что и трех часов не прошло, как он Рэтлифу на глаза попался, и все там же стоял, где Варнеров приказчик шестой день кряду привязывал его по приезду. На миг Рэтлиф даже придержал лошадей. «Бог ты мой, — подумал он без особого, впрочем, волнения. — Это ж как раз тот шанс, которого Эб вот уже двадцать три года дожидался — начать все заново, стряхнуть с себя стамперовский морок». И когда перед глазами наконец открылось поле и прорисовалась нескладная, кряжистая, низкорослая фигура позади плуга, влекомого парой мулов, Рэтлиф даже не удивился. И, не дожидаясь, когда на самом деле можно будет признать в них мулов, которые еще неделю назад принадлежали Биллу Варнеру, подумал, уже изменив мысленно форму глагола: «Не принадлежали, а принадлежат до сих пор. Ишь, хитрый черт! Вот так барышник: не клячу — человека на запряжку мулов променял».

У ограды Рэтлиф остановил бричку. Плуг дотащился до дальнего конца деляны. Пахарь заворачивал мулов, они мотали головами, разевали рты и, приседая под ударами кнута, которым он их с совершенно излишней жестокостью охаживал, сбивались с шагу. Рэтлиф критически наблюдал. «Все по-прежнему, — подумал он. — До сих пор с мулом или с лошастью обращается так; будто она ему кулак показала, прежде чем он слово успел сказать». Было ясно что и Сноупс его тоже увидел и тоже узнал, хотя и не подал виду; запряжка уже выправилась и тянула обратно, изящные ноги мулов с узкими, как у оленей, копытцами торопко и нервно вскидывались, и черный отвал жирной земли падал с отполированного плужного лемеха. Теперь Рэтлиф отчетливо видел, что Сноупс смотрит прямо на него: холодные блески под неприветливым изломом нависающих бровей, прежних, сразу узнанных Рэтлифом даже через восемь лет, разве что чуть больше теперь поседевших, и еще раз Эб все с той же бессмысленной яростью дернул мулов, остановил их, плуг положил набок.

— Откуда ты взялся? — буркнул он.

— Да вот, прослышал, что вы здесь, дай, думаю, заверну по пути, — сказал Рэтлиф. — Давненько не виделись, а? Лет восемь.

Тот хмыкнул.

— А ты с виду все такой же тихоня. Годы с тебя как с гуся вода.

— Да уж, — отозвался Рэтлиф. — Кстати, насчет водички, — он сунул руку под сиденье и добыл бутылку, налитую прозрачной жидкостью, похожей на воду. — Вот. Лучшее, что есть у Маккалема, — пояснил он. — На прошлой неделе гнали. Держите, — он протянул бутылку. Эб приблизился к изгороди. Хотя их теперь не разделяло и пяти футов, все, что мог видеть Рэтлиф, это две холодные блески под свирепой завесью бровей.

— Это мне?

— А кому же? Держите.

Тот не двигался.

— А с меня что за это?

— А ничего, — коротко отказал Рэтлиф. — Просто так. Глотните на пробу. Пойло что



надо.

Тот взял бутылку. Рэтлифу показалось, будто в этот момент что-то во взгляде Сноупса переменялось. А может, тот просто на него глядеть перестал.

— До вечера обожду, — буркнул Сноупс. — В жару не пью больше.

— А в дождь? — ухмыльнулся Рэтлиф. Тут он заметил, что Сноупс отвел взгляд, хоть и не пошевелился, ни один мускул не дрогнул на его загубелом, шишковатом, злом лице — стоит себе, держит бутылку, и все тут. — Вы, я смотрю, неплохо устроились, — принялся болтать Рэтлиф. — И ферма приличная, и в лавке Флем так притолочился, словно ему торговать на роду написано.

Теперь Сноупс, похоже, и слушать перестал. Встряхнул бутылку, поднял ее, на просвет поглядел, как это делают, чтобы по пузырькам проверить крепость.

— Надеюсь, все у вас здесь уладится.

Тут снова он увидел эти глаза, неукротимо яростные и холодные.

— А тебе-то что — уладится у меня или нет?

— Ничего, — спокойно, вежливо отозвался Рэтлиф. Сноупс, избочившись, спрятал бутылку в бурьян под изгородью, вернулся к плугу и наставил его в борозду.

— Поди в дом, скажешь, пусть соберут тебе чего пообедать, — распорядился он.

— Да ладно, — отмахнулся Рэтлиф. — Мне надо в город ехать.

— Как знаешь, — коротко бросил тот. Накинул на шею свернутый единственный гуж и снова бешено охлестнул мулов; снова запряжка дернулась, мулы разевали пасти, скалились и приседали и сбились с шага, не успев с места тронуться.

— А за бутылку спасибо, — обронил напоследок Эб.

— Да уж, — пробормотал Рэтлиф.

Плуг удалялся. Рэтлиф провожал его взглядом. «И ведь не сказал даже: „заходи“!» — подумал он. Подобрал вожжи.

— Ну, братцы-кролики, — проговорил он. — Теперь айда в город по-быстрому!

## Глава третья

### 1

В понедельник утром, когда Флем Сноупс явился на службу в лавку Варнера, на нем была с иголочки новая белая рубаша. Она еще и в стирке не побывала: штука ткани как лежала когда-то на полке, так и остались на материи складки да потемневшие от времени полосы — где ткань торчала сгибами из свертка, — чередующиеся как на шкуре тигра. Не только от женщин, что приходили поглазеть на приказчика, но и от Рэтлифа (не зря он торговал швейными машинками: демонстрируя товар другим, и сам научился с машинкой управляться вполне прилично и даже, говорят, сам шил себе свои синие рубашки) не укрылось, что рубашу кроили и шили на руках, да и руки-то были корявые и непривычные. Флем ходил в ней всю неделю. К субботнему вечеру рубаша стала грязной, но в следующий понедельник он появился в другой точно такой же, вплоть до тигриных полос. К вечеру следующей субботы эта засалилась тоже, в тех же точно местах, что и прежняя. Как будто бы ее владелец, без году неделя в новом своем обиталище, попав в колею, задолго до его пришествия надежно проторенную всеми надобностями и привычками местной жизни, все-таки ухитрился с первого дня придать этой колее свой собственный, неповторимый по части пачканья рубашек выгиб.

Он приехал на тощем муле с жестяным бидончиком, притороченным к седлу, которое сразу опознали как собственность Варнеров. Мула он привязал к дереву позади лавки, а бидончик отцепил и поднялся на крыльцо, где, с Рэтлифом вместе, пребывало уже человек десять. Рта так и не раскрыл. А если и поглядел на кого в отдельности, то совсем скрытно, — пухлявый, приземистый малый, несколько рыхлый и не сразу определимого возраста —

может, двадцать, а может, и все тридцать лет — с широким малоподвижным лицом, на котором выделялся рот плотным шовчиком, в углах слегка запачканный табачной жвачкой, да глаза цвета болотной лужицы, да нос, пугающим внезапным парадоксом торчащий среди прочих деталей этого лица, маленький и хищный, вроде клюва какого-то мелкого стервятника. Как будто первоначально предназначавшийся ему нос первоначальный скульптор или мастеровой забыл приладить, и дело в столь незавершенном виде взял в свои руки некий адепт совершенно противоположной изобразительной манеры, либо вконец обезумевший юморист, а может, кто-то, у кого времени только и хватило, чтобы вклеить посреди лица как придется что-то свирепое, этакий отчаянный оградительный знак.

Со своим бидончиком Флем исчез в лавке, а Рэтлиф с компанией — кто сидя на скамье, кто примостившись на корточках — провели на крыльце весь тот день, наблюдая, как обитатели окрестностей — не только собственно деревенские, но и все те, кто жил в пределах пешего перехода, потянулись в лавку и парами, и поодиночке, и целыми группами — мужчины, женщины, дети: купить какую-нибудь ерунду, глянуть на нового приказчика и удалиться. Их вид не выражал враждебности, но предельную настороженность, готовую к испугу, так среди полудикого скота разносится весть о пришествии в стадо неведомого существа: в лавку входили, покупали муку, либо патентованное лекарство, или постромки для плуга, табак и разглядывали человека, даже имени которого они неделю назад не слышали, а теперь вот без него не приобретешь и самого необходимого, потом удалялись так же молча, как пришли. Часов в девять на своем чалом подъехал Джоди Варнер и вошел в лавку. Оттуда послышался его рокочущий бас, причем в ответ не доносилось ни звука — с тем же успехом Варнер мог беседовать с самим собой. В полдень он вышел, взобрался в седло и уехал, тогда как приказчик за ним не последовал. Что Флем мог принести с собой в бидончике, всем и так было ясно, и они тоже — время обеденное — начали разбредаться, походя заглядывая в лавку и ничего там не видя. Если приказчик и принялся за свой обед, то предварительно спрятавшись. Еще не было и часу дня, а Рэтлиф уже вернулся: чтобы перекусить, ему и пройти-то пришлось какую-нибудь сотню ярдов. Другие тоже не заставили себя ждать и весь остаток дня посиживали на галерее, порой принимаясь степенно толковать о том о сем, пока весь прочий местный люд, живший в пределах пешего перехода, тянулся к лавке, платил свои пять — десять центов и разбредался кто куда.

К концу той первой недели поглядеть на чужака в лавку наведались все — не только те, кому в дальнейшем предстояло запастись у него едой и мелочами по хозяйству, но даже некоторые из тех, кто с Варнерами никогда дела не имел и иметь не будет — мужчины, женщины, дети: младенцы, которых и за порог-то прежде никогда не выносили, старые и недужные, кого за порог, не будь такого случая, может, только раз бы и вынесли, — приезжали на лошадях и на мулах, верхом и целыми фургонами. Рэтлиф по-прежнему был на месте; старый граммофон и комплект девственно-новых зубьев для бороны по-прежнему валялся в его бричке, брошенной со вздыбленным, подпертым доскою дышлом, в загончике миссис Литтлджон там же, где томила и пара его разномастных кряжистых лошадок, уже до осатанения застоявшихся, покуда их хозяин каждое утро наблюдал, как приказчик все на том же муле под чужим седлом подъезжает к лавке — все та же белая рубаха, понемногу становящаяся грязнее, все тот же брякающий бидончик с обедом, за поеданием которого никто его не заставлял, — привязывает мула и отпирает лавку своим ключом, который в его руках увидеть как-то не ожидалось, ну, хоть не с первого же дня по крайней мере. Первый день миновал, за ним второй, смотришь, у него к приходу Рэтлифа и всех остальных уже и лавка открыта. К девяти подъедет на лошади Джоди Варнер, взберется по ступенькам, грубовато дернет подбородком в сторону честной компании и — в лавку, впрочем, кроме как в первое утро, более пятнадцати минут там не задерживаясь. Если Рэтлиф с приятелями и тешили себя надеждой вызнать, какие такие есть подводные течения в отношениях молодого Варнера с этим приказчиком — может, зацепка потайная или что, — то надежда эта не оправдалась. Побормочет только за стенкой гулкий басок этак равнодушненько и, судя по ответному молчанию, по-прежнему беседуя словно с самим собой, потом они с приказчиком

выйдут вместе к дверям, постоят там немножко, пока Джоди, закончив свои наставления, цыкнув зубом, не удалится, и когда кто-нибудь обернется снова к приказчику, глядишь, у дверей-то уж и нет никого.

Тут наконец в пятницу к вечеру Билл Варнер сам пожаловал. Скорее всего, и Рэтлиф, и все прочие как раз этого и дожидались. Ладно, дождались, но уж теперь никак не Рэтлиф, а разве только прочие могли еще питать последнюю надежду, что сейчас наконец что-нибудь выплывет. И все-таки, видимо, в результате один Рэтлиф не очень удивился, поскольку выплыло совсем не то, чего они, может, хотели бы: не работник в конце концов понял, кто у него хозяин, а Билл Варнер понял, кого взял в работники. Подъехал он на старой разжиревшей белой кобыле. Парень на верхней ступеньке встал с корточек, спустился и принял поводья, привязал лошадь, и Варнер спешился, взошел на галерею, а в ответ на общий уважительный гомон бодренько буркнул как раз в сторону Рэтлифа: «Чертово семя, по сю пору прохлаждаемся?» Еще двое освободили место на исковырянной ножами деревянной скамье, но сразу-то Варнер к ней не подошел. Сперва он подождал у распахнутой настежь двери, потоптался, почти как все прочие, шею по-индюшачьи чуть склонил, в дверь заглядывая — длинный, поджарый, — но разве только на миг и замешкался, потому что почти сразу как гаркнет: «Эй ты! Как тебя там? Флем. Принеси-ка мне моего табачку. Где взять, тебе Джоди показывал». Потом двинулся и подошел к парням, туда, где двое освободили для него место на исковырянной поясами деревянной скамье, сел и сам тоже вынул нож и только начал было веселой своей дяконской попевкой загибать очередную скабресную байку, как тут же (Рэтлиф даже шагов не услышал) за плечом у него появился приказчик с табаком. Не прерываясь, Варнер взял брикет табака, отрезал от него зубок, большим пальцем защелкнул нож и вытянул ногу, чтобы спрятать его в карман, но тут замолк и сердито глянул вверх. Приказчик все так же стоял за его плечом. «Ну, — говорит, — чего еще?»

— А заплатит-то, — приказчик ему. На мгновение Варнер так и застыл: нога вытянута, зубок табака и брикет покровсанный в одной руке, в другой нож почти уже в кармане. Да и все призастыли, молча, внимательно разглядывая свои руки, или куда там у них, когда Варнер запнулся, были глаза направлены. — За табачок, — уточнил приказчик.

— А, — выдохнул Варнер. Сунул нож в карман и вытянул откуда-то из-под зада кожаный кошель, размерами, формой и цветом вроде баклажана, вынул из него пятицентовик и подал приказчику. Рэтлиф не слышал, как приказчик подходил, и как удалялся — тоже не услышал. Теперь понял почему. На приказчике была еще и пара теннисных тапок, новеньких, на резиновом ходу.

— Так о чем бишь я? — спохватился Варнер.

— Только, значит, малый тот начинает комбинезон расстегивать... — с готовностью подсказал Рэтлиф.

На следующий день Рэтлиф уехал. Не то чтобы его с места погнала забота о заработке, о хлебе насущном. Он мог месяцами разъезжать по всему округу, переходя от стола к столу, и ни разу не притронуться к карману. Поманила его стезя, наезженный кочевой круговорот, излюбленная роль разносчика новостей и сплетен, удовольствие обмениваться ими, а ведь за эти две недели у него все их запасы истощились, до последней капли, пока он сидел тут, высматривал.

Только через пять месяцев он опять угодил во Французову Балку. Путь его простирался на четыре округа. Маршрут совершенно неизменный, допускавший лишь внутренние перестановки. За десять лет ни разу он не покидал пределы своих четырех округов, но тем летом очутился все-таки в один прекрасный день в Теннесси. И не просто на чужой земле оказался, но ощутил себя отрезанным от родного штата золотым барьером, стеной из резво и во множестве к нему ссыпающейся звонкой монеты.

Торговля у него в ту весну и лето ладилась бойко, местами даже чересчур. Сам себя на корню запродавал: взамен доставленных машинок ему давали расписки в счет будущего урожая, а что удавалось наличными получить плюс наличность, вырученную от продажи

всякой всячины (иногда он первый взнос от покупателей принимал натурой) прямым ходом оптовику из Мемфиса, в уплату за новые и новые машинки, которые он сам брал в кредит и снова вез, пристраивал, опять-таки в кредит, за расписки, которые вслед за покупателями подмахивал, пока не поймал себя на том, что так и прогореть недолго, обанкротиться, захлебнувшись собственным жадным азартом. Оптовик заявил права на свою долю в векселях, которым вышел срок. В ответ Рэтлиф, не мешкая, по своим должникам прошелся. Как всегда, он был обходителен, любезен, балагурил и, казалось, вовсе никого не подгонял, но уж вычистил их под метлу, ничего не скажешь, хотя хлопок едва только зацвел, и должен был пройти не один месяц, прежде чем в здешних местах заведутся хоть какие-то деньги. Набрать удалось несколько долларов, комплект подержанной тележной упряжи да кур, леггорнов белых, восемь штук. Оптовику он задолжал 120 долларов. Добрался до двенадцатого по счету должника, отдаленного родича, и обнаружил, что тот уже с неделю как погнал партию мулов в Колумбию (штат Теннесси), продавать на тамошней конской ярмарке.

Рэтлиф вскочил в бричку и следом, со всей своей тележной упряжью и курами. Тут замаячил шанс не только получить по долговой расписке (при условии, конечно, что успеешь перехватить этого родича, пока кто-нибудь в свою очередь не сбыл ему тоже каких-нибудь мулов), но, может, даже и денег призанять в количестве достаточном, чтобы ублажить оптовика. Четырьмя днями позже он добрался до Колумбии, где постоял, ошарашенный, секунду-другую и принялся оглядываться в счастливом недоумении первого белого охотника, который забрел в идиллическую глушь девственной африканской долины, где слоновой кости видимо-невидимо — живьем ходит, только стреляй и оттаскивай. Человеку, у которого справлялся о местонахождении многоюродного брата, продал одну машинку; с родичем вместе отправились ночевать в дом двоюродного брата жены этого родича, в десяти милях от Колумбии, там продал вторую. Три машинки продал за первые четыре дня, остался на месяц и продал их восемь штук, набрав 80 долларов наличными; на эти 80 долларов плюс упряжь, плюс восемь кур купил мула, перегнал его в Мемфис и продал на придорожном аукционе за 135 долларов, отдал оптовику 120 и новые расписки в обмен на отказ от его (оптовика то есть) доли в старых миссисипских векселях и домой поспел как раз к сбору хлопка с двумя долларами пятьюдесятью тремя центами в кармане и при всех правах на двенадцать двадцатидолларовых векселей, по которым он получит сполна после того, как хлопок очистят и продадут.

Когда в ноябре он добрался до Французовой Балки, там уже все шло привычным порядком. Поселок смирился с существованием приказчика, хотя за своего и не признал, — кроме Варнеров, пожалуй. Бывало, раньше Джоди какую-то часть дня проводил в лавке, а нет, так всегда где-нибудь неподалеку. Теперь же, как доложили Рэтлифу, завел обычай временами не появляться вовсе, и покупателям — а они у него из года в год были одни и те же и обслуживали себя главным образом самостоятельно, оставляя скрупулезно отсчитанную мелочь в сигарной коробке, прикрытой ящиком из-под сыра — уже несколько месяцев приходилось по всякой ерунде иметь дело с человеком, даже имени которого полгода назад никто слыхом не слыхивал, который на все вопросы отвечал «да» или «нет» и прямо в лицо никому не глядел или, во всяком случае, не глядел достаточно долго, чтобы запомнить имя, шедшее с этим лицом в паре, но зато уж в вопросах, касающихся денег, ошибок не допускал. Джоди Варнер — тот допускал их то и дело. Как правило, естественно, в свою пользу, а если в кои-то веки и отпустит покупателя с неоплаченной катушкой ниток или жестянойкой нюхательного табаку, то потом рано или поздно все равно свое возьмет. Все уже привыкли к этим его просчетам, большой беды в них не видя, тем более было известно, что, пойманный за руку, он их исправит, с грубоватым, искренним дружелюбием обратив все в шутку, причем у покупателя подчас закрадывались кое-какие сомнения в правильности счета в целом. Но и в этом беды не видели, поскольку при необходимости и бакалею, и шорные принадлежности можно было брать у него в кредит и с погашением не торопиться, хотя каждому ясно, что за эту щедрость и великодушные набегают проценты, заметные при



конечном расчете или нет — неважно. А этот приказчик не допускал ошибок никогда.

— Чепуха, — сказал Рэтлиф. — Рано или поздно все равно кто-нибудь ущучит его. И за двадцать пять миль отсюда не сыщешь мужчину, женщину или ребенка, который не знал бы, что в этой лавке есть и что почем, не хуже любого из Варнеров, хоть Билла, хоть Джоди.

— Ха, — отозвался его собеседник, кряжистый, коротконогий человек с чернобровым смышленным лицом, некто Одэм Букрайт. — То-то и оно.

— Что, скажешь, так-таки никто его ни разу и не заловил?

— Ни разу, — проронил Букрайт. — И нашим это не нравится. А иначе кто бы чего говорил?

— Да уж, — согласился Рэтлиф. — Кто бы говорил?

— И с этим кредитом тоже, — сказал еще один — долговязый, с шишковатой, лысеющей, сонно клонящейся головой и светлыми близорукими глазами — звали его Квик, в его ведении была лесопилка. Этот высказался насчет кредита: дескать, выяснилось с ходу, что приказчик не хочет давать в долг ничего и никому. До того дошел, что наотрез отказался продлить кредит человеку, который влезал в долги и снова из них выкарабкивался чуть ли не каждый год вот уже лет пятнадцать, и Билл Варнер в тот вечер самолично примчался галопом на своей лоснящейся от жира, громко екающей нутром старушке кобыле и ворвался в лавку с воплем таким громким, что слышно было в кузнице через дорогу: «Ты что, прах тебя дери, забыл, чья это лавка, что ли?»

— Ну, мы-то не забыли, чья это лавка пока что, — сказал Рэтлиф.

— Или чьей эту лавку некоторые пока что считают, — подхватил Букрайт. — Все-таки в дом к Варнерам он покамест не перебрался.

Он это к тому, что приказчик жил теперь уже в поселке. Однажды субботним утром кто-то заметил, что позади лавки нет привязанного мула под седлом. По субботам лавка не закрывалась до десяти и дольше, вокруг нее всегда толклась куча народу, и несколько человек видели, как Флем потушил свет, запер двери и ушел, на своих двоих. А на следующее утро он, прежде не показывавшийся в поселке с субботнего вечера до утра в понедельник, появился в церкви, и те, кто его там увидел, так и замерли, не веря своим глазам. Кроме серой суконной кепки и серых штанов на нем была не только чистая белая рубаша, но еще и галстук — фабричного производства, крошечный такой, бабочкой, из тех, что железненькой прицепкой застегиваются сзади. И длины-то в нем двух дюймов не набралось бы, зато единственный галстук во всей Французовой Балке и ее окрестностях, не считая того, в котором ходил в церковь сам Билли Варнер, причем Флем так и носил этот галстук, во всяком случае точно такой же, с того воскресенья и до самой своей кончины (позже, когда он уже стал президентом банка в Джефферсоне, прошел слух, будто этих галстуков он заказал в свое время сразу партию оптом) — этакая крошечная, гадостно-плоская, потаенного зацепления нашлепка, вроде какого-то загадочного знака препинания на белом поле рубашки, придававшая ему тот же, что у Джоди Варнера, только возведенный в энную степень издевательски торжественный вид и с вопиющей настырностью заставившая всех, кто в тот день присутствовал, почувствовать его чужеродную сущность, физически оскорбительное вторжение, провозвестием которого прозвучала однажды на склоне весеннего дня поступь негнущейся ноги его папаша на настиле крыльца лавки. Флем отбыл на своих двоих; на следующее утро пришел в лавку снова пешком и снова при галстучке. К ночи всей округе стало известно, что с минувшего воскресенья он живет и столуется в доме у одного семейства, примерно в миле от лавки.

Билл Варнер давно вернулся к привычному укладу своего ленивого, но плодоносно-беспечального существования, а может, и не порывал с ним вовсе. Лавку он не навещал с начала июля, с самого Дня Независимости<sup>8</sup>. А поскольку Джоди тоже в лавке не появлялся, и в наступившем августовском вялом и застойном межсезонье, покуда не вызрел хлопок,

---

<sup>8</sup> *День Независимости* — национальный праздник в США. Отмечается 4 июля.

делать было решительно нечего, то стало и впрямь похоже, будто все бразды и нити власти — не только в смысле владычества в лавке, но и по части извлечения доходов, самого, наконец, права собственности — прибрал к рукам приземистый субъект в неуклонно засаливающейся белой рубаше и до неуязвимости никчемном галстучке, тот самый, что высидел все эти бесхозно сиротеющие дни, молчаливо затаившись в опутанной густым хитросплетением теней пахучей внутренности всеми покинутой лавки, изрядно напоминая белесого, раздувшегося паука какой-нибудь всеядной, хотя и неядовитой породы.

А произошло это в сентябре. Вернее, началось, хотя сперва никто не понял, к чему дело клонится. Коробочки хлопка раскрылись, и начался их сбор. Однажды утром первый из тех, кто приехал сдавать хлопок, наткнулся в лавке на Джоди Варнера. Дверь хлопкоочистителя была распахнута: варнеровский кузнец Трамбл со своим подмастерьем и негром-кочегаром возились с локобилем — осматривали его, проверяя перед началом сезона; тут из лавки появился Сноупс, прямоком пошел в сарай хлопкоочистителя и исчез из виду и, на какое-то время, из памяти тоже. И только когда вечером лавка закрылась, все вдруг поняли, что Джоди Варнер просидел в ней весь день. Но даже и этому не придали большого значения. Подумали, что Джоди сам же и послал приказчика присмотреть за открытием хлопкоочистителя — заленившись, переложил на него свою всегдашнюю обязанность и временно принял дела в лавке, благо там можно посидеть в холодке, зато когда машина хлопкоочистителя запыхтела и начали прибывать первые груженные подводы, у всех словно глаза раскрылись. Потому что в лавке по-прежнему торчал Джоди, шаря по полкам и суется из-за медяков, тогда как приказчик весь день просидел на табурете, следя за балансиром весов, покуда подводы в очередь заезжали на них, перед тем как стать под всасывающую трубу хлопкоприемника. Прежде Джоди и здесь и там успевал. То есть в основном-то он посиживал у весов, предоставив безнадзорную лавку самой себе, — да она и так вечно стояла без присмотра — правда, временами, единственно чтобы устроить себе передышку, он оставлял чей-нибудь воз на весах и уходил, и очередь застывала минут на пятнадцать или даже на сорок пять, пока он в лавке, хоть там и покупателей за это время могло ни одного не случиться, только зеваки, благодарные слушатели его трепотни. Ну так что ж, все и так шло как по маслу. А теперь, когда их стало двое, почему бы одному не посидеть в лавке, пока другой занят взвешиванием, и почему бы Джоди не передоверить взвешивание приказчику? Догадка холодом повеяла на них, когда...

— Вот оно, — сказал Рэтлиф. — Понял! Что Джоди торчит тут — это бы еще полбеды. А вот кто ему велел этак торчать-то? — он поглядел на Букрайта, Букрайт на него. — Всяко не дядя Билл. И лавка и хлопкоочиститель чуть не сорок лет уже на пару работают, и всегда Джоди управлялся с ними в одиночку. А у дяди Билла не те годы уже, чтобы запросто менять привычки. Да уж. Хорошо, а вывод?

С галереи можно было наблюдать за обоими. Люди подъезжали на придавленных грузом подводах, выстраивали их вереницей на обочине, уткнув мулов мордами в задок впереди стоящей повозки, и ждали своей очереди поставить воз на весы, а потом под всасывающую трубу, спешиться и, намотав вожжи на подвернувшийся столбик, взойти на галерею, с которой видно было неподвижное, непроницаемое, непрестанно жующее лицо приказчика, царственно восседавшего перед балансиром весов, суконную кепку, крошечный галстук бабочкой, тогда как из лавки то и дело слышались отрывистые, ворчливые бурканья, которыми Варнер отзывался, когда покупатели вынуждали его проронить слово. То и дело кто-нибудь из наблюдателей сам заходил в лавку купить плитку табаку или жестянку с нюхательной засыпкой, в которых толком-то и нужда еще не припела, либо просто хлебнуть водицы из можжевелевой бадьи. Дело в том, что в глазах Джоди появилось нечто, чего прежде не наблюдалось, — некая тень, не то досада, не то раздумье, не то затаенное предчувствие; еще все-таки не обида, но уже какая-то растерянность. Именно этот момент всем вспоминался позже, года два или три спустя, когда они говорили друг другу: «Это было, когда он Джоди обскакал», правда, Рэтлиф вносил поправку: «То есть ты хочешь сказать, когда до Джоди это доходить начало».

Но все это маячило еще где-то в будущем. А сейчас с галереи просто смотрели, наблюдали, ничего не упуская. Весь тот месяц каждый день с восхода и до заката воздух дрожал от быстрого стука локомотива; подводы вереницей тянулись к весам и одна за другой подъезжали под трубу хлопкоприемника. То и дело приказчик через дорогу переходил к лавке, весь — и штаны, и кепка, и даже галстучек — облепленный клочками хлопка; фермеры, коротавшие время на галерее в ожидании своей очереди к трубе или к весам, смотрели, как он заходит в лавку, а через мгновение оттуда доносился его голос — коротко и деловито что-то бормотнет, и все. Но уж теперь Джоди Варнер не выходил, как бывало, вместе с ним постоять чуток у дверей, и все взгляды следили только за широкой, коренастой фигурой приказчика — как его бесформенная, зловеще осанистая и безвозрастная спина удаляется к хлопкоочистителю. После того как хлопок собрали, пропустили через очиститель и продали, подошло время, когда Билл Варнер обычно рассчитывался со своими арендаторами и должниками. Прежде он делал это сам, один, не позволяя даже Джоди помогать себе. На этот раз он уселся за конторку перед железным сейфом, и тут же, у его колена, Сноупс — на ящике с гвоздями, листает гроссбух. В подземельной тесноте помещения, увешанного по стенам полками с консервами и заваленного всяческой хозяйственной утварью, а теперь еще и набитого терпеливыми пропахшими землей людьми, которым только бы дожидаться послушно и почти безропотно принять любую плату, которую Варнер начислит им за год работы, Варнер и Сноупс напоминали белого купца и его попугайски натасканного подручного из туземцев где-нибудь в африканской фактории.

К благам цивилизации подручный приобщался быстро. Никто не знал, сколько платит ему Варнер, знали только, что Варнер в жизни никогда денег на ветер не бросал. Однако человек, который пять месяцев назад ездил на работу восемь миль туда и восемь обратно на тягловом муле в облезлом, бросовом седле, таская за собой жестяной бидончик с холодной вареной репой и горохом, — этот человек теперь не только способен был, словно какой-нибудь коммивояжер, оплачивать койку с бельем и накрытый стол, но еще и одолжил кому-то из односельчан изрядную сумму денег (с каким обеспечением и под какие проценты, об этом молва умалчивает), а к концу страды, прежде чем последний хлопок был пропущен через очиститель, все уже знали, что в любой момент у него можно занять какую угодно сумму от двадцати пяти центов до десяти долларов, если заемщик не поспеет на проценты. Следующей весной Талл, пригнав в Джефферсон гурт скота для отправки по железной дороге, зашел проведать заболевшего Рэтлифа — у того обострилось застарелое воспаление желчного пузыря, и он лежал у себя, в собственном доме, в котором хозяйство вела его вдовья сестрица. Талл рассказал Рэтлифу о том, что большое стадо захудалых беспородных коровенок, зимовавшее на ферме, которую папаша Сноупс и на другой год продолжал арендовать у Билла Варнера, за то время, пока Рэтлифа возили в больницу в Мемфис, делали ему операцию и пока он лежал дома, мало-помалу вновь обретая интерес к происходящему вокруг него, — это самое стадо постепенно и неуклонно росло, а потом вдруг в одну ночь исчезло, и его исчезновение совпало с появлением стада толстеньких чистокровных герефордовских коров совсем на другом пастбище, совсем в другом месте — на ферме, которую Варнер держал для себя, никому в аренду не отдавая, словно одно стадо, оземь грянувшись, перенеслось и перевоплотилось в другое, полностью и без потерь, разве что видом стало попригляднее и явно ценой подороже, и только позже стало известно, что коровы эти попали на Варнерово пастбище при помощи изъятия залога по просроченной закладной, номинально принадлежавшей Джефферсонскому банку. Букрайт и Талл оба наведывались к Рэтлифу и оба об этом рассказали.

— Может, они все это время в сейфе хранились? — слабо отозвался Рэтлиф. — А что Билл говорит — чьи они?

— Говорит, что Сноупса, — ответил Талл. — Он говорит: «Спроси этого пройдоху, с которым Джоди якшается».

— Ну, и ты спросил?

— Букрайт спрашивал. А Сноупс говорит: «Они на пастбище Варнера». А Букрайт ему: «Но Билл говорит, что они твои». А Сноупс отвернулся, сплюнул и говорит: «Они на пастбище Варнера».

По болезни Рэтлиф и еще кой-чего не видел. Только слышал — донесся до него подержанный слушок, правда, к тому времени Рэтлиф уже шел на поправку и в силах был сам домыслить, разобраться, что к чему, с его-то жадным до новостей, цепким умом, пока сидел, обложенный подушками, в кресле у окна, задумчивый и непроницаемый, следил за приходом осени, вдыхая крепкий, пьянящий дух октябрьских полдней, и представлял себе, как однажды весенним утром — этой, второй весной — некто Хьюстон, сопровождаемый по пятам собакой — великолепным гончим псом, огромным, в голубоватых подпалинах — подвел лошадь к кузнице и увидел там незнакомца, который, склонившись над горном, пытался развести огонь, плеская жидкостью из ржавой жестянки — молодой, ладно скроенный, мускулистый парень, — вот он обернулся, обнаружив доверчивое спокойное лицо с низким, по самые брови заросшим лбом, и сказал:

— Здрасьте. Чего-то никак мне огонь не разжечь. Плесну керосином, а он еще хуже гаснет. Глядите. — Он снова приготовился плеснуть из банки.

— Постой, — сказал Хьюстон. — Это у тебя точно керосин?

— Она на полке, вон там стояла, — ответил тот. — Похоже, как раз керосин в таких банках держат. Немножко ржавенькая, но, опять же, в жизни не слыхивал, чтоб даже ржавенький керосин гореть отказывался, — Хьюстон подошел, взял у него жестянку и понюхал. Парень смотрел на него. Породистый гончак сидел в дверях и смотрел на них обоих. — Что, разве не керосином пахнет?

— Дерьмом, — сказал Хьюстон. Он поставил жестянку обратно на закопченную полочку над горном. — Ты вот что. Выкинь из горна всю эту дрянь. Все равно сызнова разжигать придется. Где Трамбл?

Трамбл — это был кузнец, который заправлял в кузне вот уже почти двадцать лет, вплоть до того утра.

— Не знаю, — сказал парень. — Когда я пришел, тут никого не было.

— А ты что тут делаешь? Это он тебя прислал?

— Не знаю, — ответил парень. — Меня мой двоюродный брат на работу взял. Сказал мне, чтобы я пришел с утра и развел огонь и до его прихода сам справлялся. Но этим керосином плеснешь...

— А кто этот твой двоюродный брат? — спросил Хьюстон.

В ту же секунду изможденная старая кляча подтащила разболтанно погромыхивающую двухместную коляску, одно из колес которой не разваливалось только благодаря примотанным проволокой двум скрещенным рейкам; казалось, только инерция вращения удерживает его в целости и стоит ему остановиться — оно тут же рассыплется грудой щепок. В коляске сидел другой незнакомец — одетый словно с чужого плеча, тщедушный человечек с пронирым хорьим лицом, который остановил коляску, так заорав на лошадь, как будто их разделяло по меньшей мере кукурузное поле, вылез из коляски и вошел в кузницу, уже вовсю болтая.

— ...утречко, доброе утречко, — говорил он, шныряя маленькими острыми глазками. — Лошадку подковать надумали? Правильно, правильно: коню подкова — лучшая обнова. Справный жеребчик. Тут, правда, по дороге мне такая лошадка попала — куда вашему-то! Ну ничего, любишь меня, люби моего коня, которому в зубы не смотрят, а кабы ему, сивому, да черну гриву, так был бы буланый. В чем дело? — сказал он парню в фартуке. Вдруг замер, но, казалось, продолжал неистово суетиться, словно позиция и пространственная наполненность его одежды никоим образом не давали возможности судить о том, что делает в ней его тело, если вообще оно все еще было в ней.

— Ты что, еще и огня не развел? А ну-ка... — он ринулся к полке; казалось, он перенесся к ней, нисколько не усугубив впечатления неистовой суеты, и, прежде чем кто-либо успел пошевелинуться, уже снял жестянку, понюхал и приготовился выплеснуть ее



содержимое в горн. В последний миг Хьюстон все же перехватил его руку, отобрал жестянку и вышвырнул ее за дверь.

— Не успел у одного эту свинячью мочу отобрать, тут же другой лезет, — проворчал Хьюстон. — Что тут, к дьяволу, происходит? Где Трамбл?

— А, так вы насчет того, который раньше тут был? — сказал вылезший из коляски. — Ему прекратили аренду. Оно конечно: старый волк знает толк, зато новая метла метет добела. Теперь эту кузницу арендую я. Моя фамилия Сноупс. А. О. Сноупс. А это мой двоюродный брат, тоже Сноупс. Эх Сноупс его зовут.

— Плевать мне на то, как его зовут, — нимало не успокоился Хьюстон. — Он лошадь-то хоть подковать может? — и снова пришлый обернулся к парню в фартуке, заорав на него, как только что орал на лошадь:

— Живо-живо! Давай разводи огонь!

Понаблюдав немного, Хьюстон сам взялся за дело, и огонь разгорелся.

— Ничего, насобачится, — сказал пришлый. — Всему свой черед. Руки у него откуда надо растут, хоть сноровки той, может, и нет еще, но это ж всякий бык теленком был. Взялся за гуж — полезай в кузов. Где хотенье, там и уменье. Вот увидите, через день-другой принаровится и подкует любую лошадь не хуже хоть Трамбла, хоть кого угодно.

— Я сам своего коня подкую, — сказал Хьюстон. — Пускай он мехами поддувает. На это небось сноровки много не надо.

Но едва лишь подкова зашипела в лохани, пришлый вновь ринулся вперед. Не только Хьюстона, но и себя самого, казалось, захватив врасплох, он с хорьей верткостью метнулся — причем одежда болталась на нем настолько независимо и отдельно, что поймать, смирить можно было только сюртук, тогда как тело в нем все равно добьется своего, навредит, напортит, и в тот же миг, когда намерение воплощалось, весь яростный клубок энергии мгновенно разматывался, — вклинился между Хьюстоном и приподнятым копытом, нахлобучил подкову, вторым ударом молотка загнал гвоздь в живую мякоть и тут же полетел, как был, с молотком в руке, в усадочную лохань, отброшенный рванувшимся конем, которого Хьюстон вдвоем с парнем в фартуке в конце концов оттеснили обратно в угол и держали, пока Хьюстон не выдрал гвоздь и не отшвырнул его вместе с подковой туда же, в угол, потом свирепо выволок коня вон, а пес поднялся и спокойно занял положенное ему место в нескольких шагах позади хозяина.

— А Биллу Варнеру можете передать, если его это заботит, во что я черта с два теперь поверю, — крикнул на прощанье Хьюстон, — что коня подковывать я поведу в Уайтглиф.

Кузница была как раз напротив лавки, через дорогу. На галерее уже сидели несколько человек, и они видели, как Хьюстон, сопровождаемый своим царственно спокойным, огромным псом, уводил коня. И для того чтобы взглянуть на одного из незнакомцев, им даже дорогу переходить не пришлось, поскольку тот, что поменьше ростом и постарше — одетый в сюртук, который будет казаться на нем чужим даже в день, когда, по окончательной ветхости, разлезется у него на плечах, — тотчас подошел к лавке, поведя пронзительным остреньким личиком с пронзительно горящими, бегающими глазами. Поднимаясь по ступенькам, он уже запросто здоровался с собравшимися. Не умолкая, вошел в лавку, где продолжал свою трескотню, быструю и бессмысленную, словно не наделенное разумом существо, неведомо о чем болтающее само с собой в пустой пещере. Снова показался в дверях, продолжая болтать:

— Ну, джентльмены, старому стариться, новому расти. Конкуренция — двигатель торговли, и хоть выше лба уши не растут, но уж все в свой срок: придет времечко, вырастет из семечка, ведь у нашего мальчонки дай Бог каждому ручонки. Конечно, старый волк знает толк, зато новая метла выметет добела, причем старого пса новым штукам не научишь, а уж новый, молодой, да коли взялся с головой... Век живи, век возись, была бы охота — заладится работа. Ну да ладно: день долог, да час дорог, бездельники да балагуры огурцом телку зарезали. Разрешите откланяться, джентльмены.

Спустился, залез в коляску, по-прежнему тараторя, то поучая того, второго, который

был в кузне, то обращаясь к своей костлявой кляче, — и все одним духом, без малейшей заминки, по которой можно было бы судить о том, кому в данный момент его слова адресованы. Он отъехал, все общество на галерее проводило его глазами абсолютно невозмутимо. К концу того дня все побывали в кузне, один за другим переходили дорогу — полюбопытствовать, что там еще за незнакомец завелся, поглядеть на его спокойное, невыразительное, доверчивое лицо, казавшееся всего лишь подставкой для соломенной копны, венчавшей череп, безобидное, словно узор по краю ковра. Кто-то пригнал фургон со сломанной осью. Новый кузнец сумел-таки починить ее, хотя на это у него ушло почти все утро, причем работал он не прерываясь, но словно спал на ходу, будто все, что в нем было живого, витало в неведомых дальях, поглощенное каким-то другим, более интересным занятием, тогда как работа, которую выполняли его руки, совершенно его не занимала, вкуче с деньгами, за нее причитавшимися; озабоченный, косолапый, неуклюжий, он словно топтался на месте, но дело в конце концов сделал. В тот же день к вечеру появился Трамбл, прежний кузнец. Но если кто из сидевших на галерее надеялся, что появление человека, который до вчерашнего вечера считал себя на службе у общины, окажется занятным зрелищем, то таких ждало разочарование. Вдвоем с женой он проехал по поселку в фургоне, груженном домашним скарбом. На свою осиротевшую кузню он если и оглянулся, то этого никто не заметил — суровый крепкий старикан и хороший мастер, к которому вплоть до того дня никто особо не присматривался. Уехал, и больше его никогда не видели.

Несколькими днями позже на галерее стало известно, что новый кузнец живет в одном доме со своим двоюродным братцем (или кем они там друг другу приходились — толком-то степень родства так и осталась невыясненной), с этим Флемом, и спали они вдвоем на одной кровати. Еще через шесть месяцев кузнец взял в жены одну из дочерей хозяина, у которого оба жили и столовались. А через десять месяцев после этого он уже покачивал детскую коляску (когда-то, а может, и все еще принадлежавшую Биллу Варнеру, как и седло братца), толкал ее перед собой по воскресеньям, расхаживая по поселку в сопровождении пяти- или шестилетнего мальчика, сына от прежней жены, и, хотя ни о ней, ни об этом его сыне никто в поселке раньше не знал, сам факт их существования свидетельствовал о наличии в его личной жизни — интимной во всяком случае — проворства и действенной мощи гораздо больших, чем проявлялось на поверхности той стороны его бытия, которую можно назвать общественной. Но все это обозначилось позже. Нынче же можно было понять только, что в поселке появился новый кузнец, человек работающий, покладистый и даже великодушный, правда, страдающий некоторой рассогласованностью движений, из-за которой всякий замысел или проект, в чем-либо выпирающий за тесные границы его возможностей, был обречен: все распадалось, теряясь в нагромождении мертвых кусков дерева, ржавых железок и косных инструментов.

Два месяца спустя Флем Сноупс выстроил в поселке новую кузницу. То есть он, естественно, нанял для этого строителей, но сам почти безотлучно наблюдал за постройкой, лично присматривая за работами. Мало того, что это было первым из его начинаний в самом поселке, когда его, Флема, непосредственное участие в деле стало явным и заметным, но к тому же впервые он не только признавал себя движущим началом, но и положительно это утверждал, спокойно и без обиняков заявляя, что его затея служит единственно тому, чтобы людям снова было где пристойным образом ремонтировать свою справу. Он закупил через лавку по себестоимости совершенно новую оснастку и нанял молодого фермера, который в перерывах между севом и сбором урожая подрабатывал, бывало, у Трамбла подмастерьем. И месяца не прошло, а новая кузница уже обслуживала всех прежних клиентов Трамбла, зато спустя три месяца Сноупс ее продал — вместе с клиентурой, репутацией и новой оснасткой — Варнеру, взамен получив старое помещение со старыми инструментами, которые он продал утильщику, перевез новую оснастку в старую кузню, а новую продал какому-то фермеру под коровник, причем даже за перевозку наковален и горна ему не пришлось платить, и к новому кузнецу пристроил своего родственника подмастерьем — ход, после которого даже Рэтлиф сбился со счета прибылей Сноупса. «Ну что ж, об остальном нетрудно

догадаться», — сказал себе Рэтлиф, сидя у солнечного окошка, бледный, но в общем-то вполне поправившийся. Он словно бы видел воочию: внутренность лавки, вечер, дверь заперта изнутри, на столе горит лампа, в кругу света голова непрестанно жующего приказчика, тогда как Джоди Варнер возвышается над ним и даже присесть не в состоянии; при этом в глазах у него уже гораздо больше понимания, чем прошлой осенью, а сам он, вздрагивая и поеживаясь, говорит дрожащим голосом: «Хочу прямо и откровенно тебя спросить, и ответ мне нужен тоже простой и ясный. Сколько еще терпеть? До каких пор это будет длиться? Во сколько же обойдется мне уберечь от пожара один несчастный сенной сарай?»

## 2

После болезни вид у него был еще не ахти, когда, поставив в ближнем проулке бричку, запряженную парой низкорослых кряжистых лошадок, разжиревших и залоснившихся после целого года праздности, и груженную очередной запертой в собачью конуру машинкой, он сидел за стойкой маленького окраинного рестораника, которым владел на паях с компаньоном, хотя и не участвуя в деле непосредственно, но половину прибылей получая, — сидит, в руке чашечка кофе, а в кармане контракт на продажу пятидесяти коз одному северянину, который недавно занялся устройством козьего ранчо в западной части округа. То есть не совсем так: это был субконтракт, перекупленный из расчета по двадцати пяти центов за козу у первоначального подрядчика, который от северянина должен был получить по семьдесят пять центов за козу, но чуть не загубил дело. Рэтлиф перекупил у него контракт, потому что прослышал о стаде из пятидесяти с лишним коз, обретавшемся в довольно глухом углу округа неподалеку от поселка Французова Балка; первоначальному подрядчику это стадо найти не удалось, а Рэтлиф знал, где оно, и был уверен, что козы достанутся ему, как только он предложит их владельцу на равных разделить с ним прибыль.

Предстояло ехать на Французову Балку, хотя когда именно, он не знал и сам: все было никак не собраться. На Французовой Балке он уже год как не был. Ожидаемая поездка радовала его не только предвкушением ловкой сделки — что само по себе куда важнее банальной выгоды, — он чувствовал счастливое волнение главным образом оттого, что встал наконец с постели, что может ехать куда заблагорассудится — пусть чуточку преодолевая слабость, зато как все: впивая солнышко и свежий воздух, свободно двигаясь и разговаривая и заключая сделки, причем немалая толика удовольствия состояла в том, что никуда он еще не поехал, и ничто на свете не в силах заставить его выехать прежде, чем он сам того пожелает. Слабости он уже почти не чувствовал, а просто роскошествовал, упиваясь блаженной истомой выздоровления, в каковом состоянии время, спешка, часы, минуты, у которых здоровое тело в рабстве и во сне и наяву, текут для выздоравливающего словно вспять, — время лживо и раболепно ластится, потворствуя телесным радостям вместо того, чтобы неумолимо тащить за собой тело, как упирающегося колодника. Так он и сидел, отощавший, в чистой синей рубашке, ставшей вдруг очень свободной в ворота, но выглядел уже совсем здоровым: лицо словно отмылось, посвежело, но все еще хранило следы ровного коричневого загара, и на мысль о смертельной бледности ничто не наводило, напротив, посвежевшая матовость кожи источала здоровье, подобно незаметному, не имеющему запаха лесному цветку, распутившемуся вдогон зиме, прямо среди тающего снега — так и сидел, баюкая в тонкой руке чашечку кофе и рассказывая трем-четырем слушателям о том, как прошла операция, своим всегдашним умудренным, ироническим тоном, причем болезни не под силу оказалось изменить его голос, разве что сделать чуть глуше, и тут вошли еще двое. Это были Талл и Букрайт. Из заднего кармана комбинезона у Букрайта торчал хлыст, намотанный на рукоять.

— Здорово, ребята, — сказал Рэтлиф. — Что-то вы рано.

— В смысле поздно, — отозвался Букрайт. Вдвоем с Таллом они подошли к стойке.

— Вчера только к вечеру дотащились, пригнали скот к сегодняшней отправке, —

сказал Талл. — Так ты, стало быть, был в Мемфисе. Пожалуй, я даже соскучился.

— Мы все соскучились, — подтвердил Букрайт. — Почти что год я от жены ни разу не услышал про чью-нибудь новую машинку. А что там этот, в Мемфисе, у тебя вырезал?

— Бумажник, — улыбнулся Рэтлиф. — Не иначе как только затем он меня и усыпил сперва.

— Он сперва усыпил тебя, чтобы ты тут же не продал ему швейную машинку или мешок зубьев для бороны, пока он еще до ножа не дотянулся, — подхватил Букрайт. Подошел буфетчик и придвинул к ним на тарелочках хлеб и масло.

— Мне жареной говядины, — сказал Талл.

— А мне не надо, — поморщился Букрайт. — Два дня уже эта говядина навозная перед глазами. Всю дорогу ее то из кукурузы, то с огородов гоняешь. Мне принесите ветчины и яичницу из шести яиц.

Он жадно набросился на хлеб. Рэтлиф слегка развернулся на табурете к нему лицом.

— Скучали, говоришь? — сказал он. — А я-то думал, у вас там на Французовой Балке столько новых жителей прибавилось, что пропади хоть дюжина торговцев швейными машинками, никто и не заметит. Сколько еще родственников притащил за собой этот Флем Сноупс? Двоих? Или только троих?

— Четверых, — коротко бросил Букрайт с полным ртом.

— Четверых? — переспросил Рэтлиф. — Это что же — тот кузнец, ну, не кузнец, а так — который кузницу себе приспособил, чтобы в холодке посидеть, покуда не приспееет пора идти домой в очередной раз за стол садиться, как его — Эк, что ли? И еще один — этот подрядчик, бизнесмен этот, менеджер...

— Он на будущий год собирается в школе учить, — тихонько проронил Талл. — Так говорят, во всяком случае.

— Нет, нет, — отмахнулся Рэтлиф. — Я про этого, который из Сноупсов. Ну тот, второй. А. О. Его еще Джек Хьюстон в лохань с водой швырнул тогда в кузнице.

— А это он и есть, — сказал Талл. — Говорят, он на будущий год в школе учить будет. Тот учитель, что раньше был, вдруг ни с того ни с сего сразу после Рождества съехал. Должно быть, тебе об этом тоже еще не говорили.

Но Рэтлиф уже не слушал. Ему было не до учителя, который съехал. Он уставился на Талла, от неожиданности даже утратив на миг ироническую мину.

— Что? — выдохнул он. — Учить в школе? Вот тот? Тот Сноупс? Тот, который появился в кузне в день, когда Джек Хьюстон... погоди, Одэм, — растерянно помаргивая, говорил он, — я, конечно, болел, но вряд ли стал от этого хуже слышать.

Букрайт не ответил. Со своим хлебом он уже покончил, повернулся и взял кусок с тарелки Талла.

— Ты все равно его не ешь, — сказал он. — Сейчас скажу, чтобы нам еще принесли.

— Вот черт, — сказал Рэтлиф. — Будь я проклят, я ведь как увидел его, сразу понял, что тут что-то не так. Вот оно в чем дело. Он просто не на том фоне мне попался — кузница какая-то, пахота опять же... Учитель! Как это я не сообразил! Нашел себе единственное место на всем белом свете — а уж на Французовой Балке и подавно, где он не только может сыпать этими своими присловьями без передыху целый Божий день, но еще и деньги за это получать. Вот черт, — повторил Рэтлиф. — Стало быть, Билл Варнер и это проворонил. Флем сожрал лавку, сожрал кузницу, а теперь и за школу принимается. Осталось только в дом к Варнеру забраться. Потом-то он естественно, за вас примется, но с домом дядюшки Билла придется ему повозиться, потому что Билла.

— Ха! — кратко выдохнул Букрайт. Ломоть, взятый с тарелки Талла, он съел и снова позвал буфетчика: — Послушайте! Мне бы пирога кусок, пока ждать приходится.

— Какого пирога, мистер Букрайт? — спросил буфетчик.

— Какого-какого... съедобного, — ворчливо отозвался Букрайт.

— ...потому что Билла из собственного дома выжить — поди попробуй, — продолжил Рэтлиф. — Тут он может крепко упереться. Так что смотрите, не пришлось бы Флему за вас



за всех приняться раньше, чем у него намечено.

— Ха! — снова сказал Букрайт, неожиданно и жестко. Буфетчик придвинул к нему пирог. Рэтлиф поглядел на Букрайта.

— Не понял, — сказал Рэтлиф. — Что значит «ха»?

Букрайт сидел, держа на ладони у самого рта клин пирога. Повернул к Рэтлифу сведенное злостью, темное лицо.

— Как-то с неделю назад сижу я около кучи отходов у Квика на лесопилке. А его кочегар с еще одним черномазым перекидывают обрезки к бойлеру, к топке поближе. Ну, и болтают промеж собой. Кочегару нужно было где-то денег занять, а Квик, мол, не дает. «Иди к мистеру Сноупсу в лавку, — другой говорит. — Он одолжит тебе. Он мне уже два года как одолжил пять долларов, и с той поры всего и делов, что каждую субботу платить ему по десять центов. А про те пять долларов он и не заикается», — тут Букрайт отвернулся и откусил пирога, чуть ли не половину сразу. Рэтлиф наблюдал за ним чуточку насмешливо, почти с улыбкой.

— Так-так-так, — сказал он. — Стало быть, он враз с вершка и с корешка покусывать взялся. В таком раскладе он, может, еще и не враз до белых людей доберется, которые вроде тебя — посередке.

Букрайт отхватил еще изрядный кус пирога. Буфетчик принес заказанную им и Таллом еду, и Букрайт запихал остатки пирога в рот. Талл принялся превращать свою говядину в мелкое крошево, словно собираясь кормить ребенка. Рэтлиф смотрел на них.

— А вы что же, так и сидите сложа руки? — сказал он.

— А чего зря ими размахивать? — хмыкнул Талл. — Все это не дело, конечно. Да ведь нам-то что.

— Ну, я бы, пожалуй, придумал что-нибудь, если бы сам у вас жил, — сказал Рэтлиф.

— Ага, — проворчал Букрайт. С ветчиной он расправлялся так же, как только что с пирогом. — И кончилось бы тем, что у тебя вместо твоей брички с лошадьми остался бы один галстук бабочкой. Цепляй на любое место.

— Да уж, — согласился Рэтлиф. — Может, ты и прав, — он отвел взгляд от собеседника и взялся за ложечку, но тут же снова опустил ее. — Чего-то не пойму, сквозняки, что ли, чашку студят? — сказал он буфетчику. — Может, подогреешь немножко? А то еще замерзнет да лопнет, а мне потом за чашку тоже плати!

Буфетчик выплеснул из чашки гущу, налил горячего кофе и придвинул Рэтлифу. Тот бережно всыпал в нее ложечкой сахар, все еще храня то неопределенное выражение лица, которое можно назвать улыбкой за неимением более точного слова. Букрайт сделал из своей яичницы невероятную кашу и с хлюпаньем поедал ее ложкой. Оба они с Таллом ели торопливо, но Талл ухитрялся проделывать это со строгим и чопорным видом. Молча подчистили все с тарелок, встали, подошли к коробке из-под сигар и расплатились.

— Или теннисные тапочки, — добавил вдруг Букрайт. — Он-то их уже год как не надевает. Нет, — сказал он. — На твоём месте я, прежде чем отправляться туда, разделся бы догола. Чтоб не так холодом шибануло на обратном пути.

— Да уж, — послушно сказал Рэтлиф.

Когда они ушли, он вновь принялся за свой кофе, неспешно потягивая его и сразу трем или четверем слушателям досказывая про свою операцию. Потом он тоже встал, педантично расплатился за кофе и надел пальто. Стоял март, но врач велел ему с пальто пока не расставаться, и вот теперь он приостановился в проулке рядом со своей бричкой и низкорослыми крепкими лошадаками, разжиревшими от праздности и лоснящимися новой весенней шерстью, — стоял и молча смотрел на ящик типа собачьей будки, со стен которого из-под облупившегося, размалеванного вялыми и опадающими, немислимыми розанами бордюрика смотрели на него зазывно улыбающиеся поощрительно и безглазо манящие женские лица. Да, пора в этом году подкрасить; не забыть бы только.

«Это должно быть что-нибудь такое, что спалить можно, — подумал он. — И такое, что записано на его имя, чтоб все знали: имущество Флема. Да, — думал он, — если бы меня

звали Билл Варнер, а моего компаньона Флем Сноупс, наверное, я позаботился бы о том, чтобы часть совместного имущества, по крайности та, что первой пострадает от пожара, была бы записана на его имя». Рэтлиф двинулся дальше, как следует застегнувшись. На всей улице единственный человек в пальто. Ну да ничего, на солнышке болезнь проходит быстро; должно быть, по возвращении в город пальто уже не понадобится. А вскорости и свитер, что под пальто, тоже снять можно будет: май, июнь... — лето, долгие дни ласкового тепла. Он пошел дальше, совсем прежний, не изменившийся, разве что осунулся да побледнел немного, и дважды останавливался, чтобы сообщить двум встреченным знакомым, что да, да, чувствую себя хорошо, этот мемфисский врач — не знаю уж, случайно или намеренно, но вырезал он, должно быть, то, что следовало, — потом пересек площадь, на которую — мраморный, мрачный — исподлбья глядел солдат Конфедерации, поднялся на крыльцо здания суда и напрямик в контору финансового управления, где и нашел искомое: две сотни акров земли с постройками, записанные на имя Флема Сноупса.

К исходу дня он сидел в неподвижно застывшей бричке на узкой малопроезжей дороге между холмами, вглядываясь в фамилию на почтовом ящике. Столб, на котором висел ящик, был новенький, а ящик — нет. Исцарапанный и помятый, он был когда-то расплюсчен (должно быть, тележным колесом), а после снова выправлен, зато корявая надпись, обозначавшая имя владельца, была намалевана чуть ли не вчера. Она словно кричала — одними заглавными — МИНКСНОУПС, разлапистая, в потеках краски, без промежутка между словами, дугой заползающая кверху, через край, на крышку ящика, чтобы втиснулись последние буквы. У ящика Рэтлиф свернул — теперь на глубокую колею, которая вела к бесхребетно рассевшейся двухкомнатной лачуге — из тех, что без числа, затерянные в холмах, попадались ему на путях его странствий. Хижина была построена на пригорке; чуть ниже располагался замусоренный, устланный втоптаным в грязь навозом загончик и хлев, так покосившийся на склоне, что казалось, дунешь на него — и завалится. Из хлева как раз выходил человек с подоином, и в тот же миг Рэтлиф почувствовал, что из дома за ним наблюдают, хотя никого видно не было. Он придержал лошадей. Слезать не стал.

— Добрый день, — сказал он. — Вы мистер Сноупс? Машинку вот привез вам.

— Чего привезли? — удивился вышедший из хлева. Он вошел в калитку и поставил подоинок на приступку покосившегося крыльца. Роста он тоже был чуть ниже среднего, правда тощий, со сросшимися густыми бровями. «Но глаза те же», — подумал Рэтлиф.

— Вашу швейную машинку, — добродушно пояснил он. Тут краешком глаза он увидел появившуюся на крыльце женщину — ширококостную, с жестким лицом и немыслимо желтыми волосами; она вышла легко и проворно, с изяществом, неожиданным даже при том, что женщина была босая. Из-за ее спины выглядывали двое белобрых ребятшек. Но Рэтлиф на нее не взглянул. Смотрел за мужчиной, сохраняя мину учтивой предупредительности и добродушия.

— Что-что? — вмешалась женщина. — Швейную машинку?

— Нет! — сказал мужчина. Он тоже не смотрел в ее сторону. Направился к бричке. — Домой, домой ступай! — женщина не обращала на него внимания. Она сошла с крыльца, причем быстрота и соразмеренность ее движений при ее росте казались странными. Она уставилась на Рэтлифа светлыми злыми глазами.

— Кто вас просил везти ее сюда? — спросила она.

Теперь Рэтлиф смотрел на нее, все так же учтиво, добродушно.

— Неужто ошибка вышла? — проговорил он. — Еще в Джефферсоне я получил заказ — из Французовой Балки. Сказано: Сноупс. Я так понял, что это вы, поскольку, если бы ваш... двоюродный братец, да? — из хозяев никто не проронил ни слова, молча глазели на него. — Флем. Если бы машинка понадобилась Флему, он бы дождался, пока я к нему в поселок заеду. Знает ведь, что я как раз завтра туда собираюсь. Да, надо было проверить, — женщина засмеялась хрипло, невесело.

— К нему, к нему везите. Если Флем Сноупс что-нибудь заказал, что угодно, да коль оно больше пяти центов стоит, так уж не для того, чтобы псу под хвост отправить. А тем

более отдать родичам. Везите ее в поселок.

— Говорят — ступай в дом, — повысил голос мужчина. — Давай-давай! — женщина не повернула головы. Она упрямо длила свой хриплый смех, глядя в упор на Рэтлифа.

— Этот отдаст, как же! — повторила она. — Не на того напали! Недаром у него скота сотня голов, коровник свой и луг коровам для прокорму, — мужчина повернулся и пошел на нее. Она стала к нему лицом и завопила, а дети спокойно смотрели на Рэтлифа, выглядывая из-за ее юбок, словно они глухие или пребывают в каком-то ином мире — не в том, в котором эта женщина вопила; смотрели, будто две собачонки.

— Что, скажешь, не так? — надрылась она. — Тут сгниешь у него на глазах, подохнешь, а ему начхать, сам знаешь! Этот твой родственничек, которым ты так гордишься, потому что он работает в лавке и целый Божий день в галстук щеголяет! Ну-ка попроси у него хотя бы мешок муки — поглядим, что из этого выйдет. Ну-ка, попроси его! Может, он даст тебе свой старый галстук — чтобы ты тоже стал похож на Сноупса!

Мужчина упорно шел на нее. Он больше даже не говорил ничего. В сравнении с ней казавшийся тщедушным, он неумолимо шел на нее, шел как-то странно, избочившись, глядя внимательно, едва ли не с почтением, и она сдалась; круто повернувшись, пошла назад к дому, подталкивая перед собой жмущихся к ней ребятишек, которые продолжали, выворачивая шеи, оглядываться на Рэтлифа. Мужчина подошел к бричке.

— Говоришь, заказ прислал Флем? — проговорил он.

— Я сказал, что заказ с Французовой Балки, — ответил Рэтлиф. — А доставить велено Сноупсу.

— И кто же это такой шустрый у Сноупса на побегушках?

— Да так, приятель один, — добродушно ответил Рэтлиф. — Наверное, он ошибся. Вы уж извините. Эта колея на дорогу к Уайтлифскому мосту меня выведет?

— Если Флем просил оставить ее здесь, ну так здесь и оставьте.

— Я ж говорю, видать, ошибка вышла, прошу прощения, — сказал Рэтлиф. — Так по этой колее...

— Понятно, — сказал тот, второй. — Хотите сказать, что надо вперед задаток выложить. Сколько?

— В смысле за машинку?

— А о чем мы еще, интересно, толкуем?

— Десять долларов, — сказал Рэтлиф. — И расписку еще на двадцать через шесть месяцев. Это как раз будет после уборочной.

— Десять долларов? При том, что вам передали слово от...

— Давайте слова сейчас трогать не будем, — сказал Рэтлиф. — Поговорим о швейной машинке.

— А если пять?

— Нет, — добродушно сказал Рэтлиф.

— Ну ладно, — сказал тот, другой, отворачиваясь. — Составляйте расписку, — он зашагал к дому. Рэтлиф слез, обошел сзади бричку, отпер дверцу собачьей конуры и вытащил из-под новенькой машинки железный ящик. В нем хранилась ручка с пером, аккуратно заткнутая бутылочка чернил и стопка бланков. Пока он заполнял бланк, Сноупс вернулся, вдруг как из-под земли вырос рядом. Едва перо Рэтлифа остановилось, Сноупс придвинул к себе бланк, взял из рук Рэтлифа ручку, обмакнул перо и расписался — все одним махом, даже не прочитав, и сунул расписку назад Рэтлифу, вынув что-то из кармана, но Рэтлиф еще не видел — что, поскольку смотрел только на подписанный бланк, и лицо его сохраняло безмятежность.

Он спокойно сказал:

— Как это — вы за Флема Сноупса подписались?

— Ну да, — ответил тот. — А что? — Рэтлиф молча смотрел на него. — А, понимаю. Вам надо, чтобы мое имя тоже было — вдруг кто-нибудь из нас отпираться вздумает. Ладно, — он взял бланк, снова что-то написал на нем и снова отдал. — А вот вам ваши

десять долларов. Теперь подсобите-ка мне с машинкой, — но Рэтлиф и тут не пошевелился: то, что ему дали — это были не деньги, а еще одна бумажка, в несколько раз сложенная, помятая и засаленная. Открыл; оказалась опять долговая расписка. На сумму десять долларов плюс проценты — чуть более чем трехлетней давности, выплата *Айзеку Сноупсу или предъявителю* по требованию, но не ранее чем через год после оформления, подпись — Флем Сноупс. Передаточная надпись на обороте, сделанная той же рукой, которая минуту назад нацарапала два имени на первой расписке (почерк Рэтлиф узнал сразу), подтверждала переход документа от *Айзека Сноупса* («+» за неграмотностью) *Минку Сноупсу*, а пониже, все той же рукой — свежая, подсушенная только что, может, промокашкой, а вернее всего, просто ветерком: *от Минка Сноупса В. К. Рэтлифу*; всю эту писанину Рэтлиф молча и внимательно изучал почти минуту.

— Все в порядке, — сказал тот, другой. — Мы с Флемом его двоюродные братья. Наша бабка завещала всем троим по десять долларов. Получить их мы должны были, когда самому младшему из нас — ему, стало быть — стукнет двадцать один год. Флему понадобились деньги, и он занял их у Айзека вот под эту расписку. Потом — это недавно уже было — тому деньги самому понадобились, и я выкупил у него Флемову расписку. Теперь, если хотите что-нибудь уточнить — его цвет глаз или еще что — можете сделать это лично, когда будете на Французовой Балке. Они там живут с Флемом вместе.

— Понятно, — сказал Рэтлиф. — Айзек Сноупс. И что, говорите, ему двадцать один есть уже?

— А если б не было, как бы он получил те десять долларов, которые одолжил Флему?

— Да уж, — отозвался Рэтлиф. — Только ведь это все-таки не наличные десять долларов...

— Послушайте, — сказал тот, другой. — Не знаю, к чему вы клоните, и знать не хочу. Но я дурачу вас не больше, чем вы меня. Если бы вы сомневались, что Флем оплатит первую расписку, вы бы ее не приняли. А если вы за ту первую расписку не опасаетесь, чего бы вам бояться этой — и сумма меньше, да и за ту же машинку, причем деньги по ней можно стребовать вот уже целых два года. Берите расписки и езжайте туда к нему. Отдайте ему, да и все тут. И еще передайте кое-что на словах. Скажите так: «От одного родича, который, чтобы не протянуть ноги, до сих пор в грязи копается, другому родичу, который из грязи вылез и хапнул сразу стадо коров и сенной сарай. Хапнул стадо коров и сенной сарай». Так ему и скажите. Лучше, если вы будете повторять это всю дорогу, чтобы уж точно не забыть.

— Не забуду, не бойтесь, — сказал Рэтлиф. — Ну, так эта колея выведет меня к Уайтлифскому мосту?

Ночь проведя у своих родственников (он сам был из этих мест), до Французовой Балки он добрался на следующий вечер, лошадок выпустил в загон к миссис Литтлджон, а сам пошел к лавке, где вся компания, которую он год назад, уезжая, оставил там, сидела на галерее — все те же, включая Букрайта.

— Ну что, ребята, — проронил Рэтлиф. — Я смотрю, все как положено, полный сбор.

— Букрайт говорит, будто этот, в Мемфисе, ежели чего у тебя и вырезал, так разве что бумажник, — сказал один. — Не удивительно, что только через год ты в себя пришел. Странно только, как ты потом-то в ящик не сыграл, когда за карман себя хвать, а там пусто.

— Ну, тут-то как раз я и ожил, — усмехнулся Рэтлиф. — Иначе до сих пор бы валялся.

Он вошел в лавку. Покупателей не было, и он медлить не стал, не подождал даже, пока освоятся в сумраке по-дневному суженные зрачки. Пошел сразу же к прилавку, вежливо приговаривая:

— Привет, Джоди. Привет, Флем. Не беспокойтесь, я сам, я сам.

Варнер, стоявший рядом с конторкой, за которой сидел приказчик, поднял глаза.

— Ого, поправился, — проговорил он.

— Некогда валяться, — сказал Рэтлиф, заходя за прилавок и открывая единственную застекленную витрину, где в беспорядке лежали шнурки, расчески, пачки табака, коробочки с лекарствами и дешевые сласти. — Может, оттого и поправился, — он принялся выбирать



леденцы в веселеньких полосатых обертках, придирчиво разглядывая, отвергая и снова роясь. В глубь лавки, где сидел, не поднимая глаз от конторки, приказчик, он даже и не взглянул ни разу. — А что дядюшка Бен Квик, не знаете — дома, нет?

— Да где ж ему еще-то быть? — удивился Варнер. — А только если мне память не изменяет, машинку ты ему уже продал года два-три назад.

— Еще бы! — усмехнулся Рэтлиф, откладывая в сторону очередной леденец и вынимая из витрины другой. — Потому-то я и хочу, чтобы он был дома: чтобы близкие его в чувство привели, когда он упадет в обморок. На сей раз сам хочу у него кое-что купить.

— Чем он, к дьяволу, таким разжился, чтобы ради этого тебе не лень было в такую даль тащиться?

— Козой, — отозвался Рэтлиф. Теперь он пересчитывал леденцы, складывая их в кулек.

— Чем-чем?

— Еще бы! — продолжал веселиться Рэтлиф. — Ни в жисть не подумал бы, а? Так ведь больше-то ни у нас в Йокнапатофском, ни в округе Гренье ни у кого живой козы днем с огнем не сыщешь. Только у дядюшки Бена.

— Подумать — не подумал бы, — сказал Джоди. — Но вообще-то непонятно, куда тебе коза?

— Куда мне коза? — проговорил Рэтлиф. Он подошел к сырному ящику и положил монетку в коробку из-под сигар. — В фургон запрягать. Как ваши-то все — дядюшка Билл, миссис Мэгги, здоровы ли?

— А! — поморщился Варнер. Отвернулся к конторке. Но Рэтлиф этого уже не видел: двигался дальше. Вернулся на галерею, всех оделяя конфетами.

— Доктор прописал, — пояснил он. — Видать, теперь мне снова пришет счет, гони, мол, десять центов за совет на пять центов конфеток покушать. Да я, в общем, не против. А вот то, что он мне прописал сиднем сидеть, — это я очень даже против, — лукаво и добродушно он оглядел сидевших на скамейке. Скамья, прибитая к стене рядом с дверью, прямо под окном, в длину была чуть больше, чем окно в ширину. Спустя секунду сидевший на краю скамьи встал.

— Ладно уж, — сказал он. — Садись давай. Болел ты или нет, все равно ведь будешь теперь полгода из себя немощного корчить.

— Должен же я хоть чем-то возместить эти семьдесят пять долларов, которые на лечение ухнули, — сказал Рэтлиф. — Хотя всеобщим уважением, что ли. А только вот зря это вы норовите меня на сквозняк усадить. Ну-ка, ребята, подвиньтесь чуток, дайте я в серединку сяду.

Задвигались, освободили ему место в середине скамьи. Теперь он оказался прямо под открытым окном. Вынул из своего кулька леденец и принялся сосать его, заговорив вдруг нарочито тонким, жалобным голосом недавнего больного:

— Ох, и не говорите! Все бы так и лежал и лежал в постели, кабы не обнаружил, что бумажник исчез. Но вот когда я встал, тут только, по правде говоря, и испугался. Вот говорю себе, валяюсь тут целый год брюхом кверху, а какой-нибудь пройдоха небось вовсю шурует — не только что Французову Балку, весь, поди, Йокнапатофский округ наполнил новенькими швейными машинками. Но господь не выдает — свинья не съест; едва я выкарабкался, как Всевышний — или, может, еще кто — ниспослал мне овна, прямо как Аврааму в Библии<sup>9</sup>, во спасение Исаака. Вернее сказать, ниспослал он мне козовода.

— Кого? — переспросил кто-то.

— Козовода. Или козловода. Вы-то, видать, никогда и не слыхали о козловодах.

---

<sup>9</sup> Как рассказано в Ветхом завете, когда патриарх Авраам, исполняя волю Всевышнего, был готов принести в жертву своего любимого сына Исаака, к нему с неба воззвал Ангел Господень, сказавший: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего...» Обернувшись, Авраам увидел позади себя овна, «запутавшегося в чаще рогами своими», и принес его во всесожжение вместо сына.

Потому как в тутошних местах никто до эдакого не додумался. И верно: без северянина не обошлось. Затесался один, а ему все это взбрело в голову еще где-то там — в Массачусетсе, или в Бостоне, или в Огайо, и вот явился аж в самый штат Миссисипи, а денег полный саквояж, купил себе две тысячи акров пустоши в пятнадцати милях к западу от Джефферсона — отборная, скажу я вам, земля, вся вверх тормашками, овраги да колючки, умудриться надо было такую выискать, — обнес ее десятифутовым забором, щелки не сыщешь, что твоя плотина, — и только это приготовился всем на удивление разбогатеть, как вдруг — бац! — коз ему не хватило.

— Вот трепло! — восхищенно сказал еще кто-то. — Где это видано, чтобы кому-нибудь не хватило коз!

— Кроме того, — неожиданно сердито вмешался Букрайт, — если хочешь, чтобы тебя и в кузнице было слышно, так проще нам всем просто встать да и перейти туда.

— Да уж, — протянул Рэтлиф. — Где вам понять, как славно глотку поразмять на просторе — вы ж не лежали брюхом кверху в четырех стенах, где каждый, кому надоело тебя слушать, может встать и уйти, а ты за ним следом пойти не можешь, — тем не менее он взял тоном ниже, неспешно продолжая высоким, внятным, насмешливым говорком: — В общем, ему не хватило. Не надо забывать, что он северянин. У них все не как у людей. В наших местах если кто-то вдруг надумает устроить козье ранчо, так это по единственной причине — что у него уже и так свою хибару, или свой огород, или свою спальню — словом, откуда ему там козлов никак не выгнать, — провозгласит все это козым ранчо, и дело с концом. Но северянин — нет! Ежели он что-нибудь затеял, у него на это уже синдикат организован, все в книжечке пропечатано — все правила, честь по чести, и грамота на руках, с золотым тиснением, от нотариуса из Джексона, чтобы все, значит, понимали, дескать, так и так, у подателя сего в наличии двадцать тысяч коз, или сколько их у него — в в общем, что козы — это козы. Никогда он ни с коз не начнет, ни с земли под ферму. Он начнет с листка бумаги и карандаша, сперва подобьет бабки в кабинете — столько-то коз на столько-то акров земли и такой-то длины надо загородку, чтобы не разбегались. Потом напишет в Джексон и получит себе грамоту, что разрешили ему иметь столько-то земли, и изгороди, и коз, и сперва купит землю, чтобы было что огораживать, обнесет землю изгородью, дабы если кто туда попался, то уж не сбежал бы, а потом только идет покупать то, ради чего огород городил. Так что сначала все шло как по-писаному. Выбрал себе землю, на которой сам Господь Бог вовек не додумался бы козье ранчо устраивать, прикупить ее безо всяких препон, всего и делов-то — найти хозяев земли да втолковать им, что за нее и впрямь хотят отдать настоящие доллары, а уж изгородь и вовсе, можно сказать, сама собой выросла, потому как от него требовалось только сидеть посередке и денежки выкладывать. И тут выясняется, что ему только коз и не хватает. Прочесал всю округу вдоль и поперек и сверху донизу, собирая поголовье коз, которое в патенте обозначено, а иначе бы собственная грамота его во лжи уличила. А вот дудки! Как ни бился, все равно остается лишней изгороди как раз на полсотни коз. Выходит, это у него уже не на козье ранчо смахивает, а на чистое банкротство. Вынь да положь, стало быть, полсотни коз, а не то гони назад грамоту! Вот он и попался — из такой дали припереть, это надо же: Бостон! Штат Мэн!<sup>10</sup> — и оплатить две тысячи акров земли и сорок четыре тысячи футов на ней забора, а теперь это злополучное вперед-приятие все к чертям собачьим из-за какого-то несчастного козьего выводка дядюшки Бена Квика, поскольку больше-то ни одного козла от Джексона и до границы с Теннесси нет как нет.

— А ты будто знаешь! — усомнился тот, первый.

— А кабы не знал, так неужто притащился бы в эдакую даль, едва из постели поднявшись? — осадил его Рэтлиф.

---

<sup>10</sup> ...Бостон! Штат Мэн!.. — Южанин Рэтлиф делает вид, будто ему неизвестна география штатов Новой Англии. На самом деле город Бостон находится в Массачусетсе.

— Ну так и полезай тогда без разговоров в бричку, чтоб, не ровен час, промашки не получилось, — сказал Букрайт. Он сидел, прислонясь к одному из столбиков галереи, лицом к окну, которое было за спиной у Рэтлифа. Рэтлиф мельком глянул на Букрайта, учтивый и загадочный под постоянной маской легкой насмешки.

— Да уж, — сказал он. — Ведь не первый день у него эти козы живут. Что ж, он, видать, еще месяцев шесть будет мной командовать: то делать не моги, а это делай непременно, не говоря уже о том, что за каждый совет счета приходят, — продолжал он, меняя тему непринужденно, но так основательно, словно — как с запозданием дошло до собравшихся — вдруг поднял над собою табличку с красной надписью «Молчим!», и бросил лениво-вежливый взгляд вверх, на вышедших из лавки Варнера и Сноупса. Сноупс молчал. Он пересек галерею и спустился с крыльца. Варнер запер дверь. — Не рановато закрываетесь, Джоди? — окликнул его Рэтлиф.

— Смотря что по-вашему «поздно», — грубовато отозвался Варнер. Последовал за приказчиком.

— А что, пора ужинать? — встрепенулся Рэтлиф.

— На твоём месте я быстренько пошел поел бы да и отправлялся закупать этих коз, — посоветовал Букрайт.

— Да уж, — сказал Рэтлиф. — А вдруг у дядюшки Бена завтра их еще пяток прибавится? Охохонюшки... — Он встал и застегнул пальто.

— Сперва иди купи коз, — не унимался Букрайт. Снова Рэтлиф оглядел его, вежливый, непроницаемый. Посмотрел на остальных собравшихся. На Рэтлифа никто не глядел.

— Пожалуй, это подождет, — сказал он. — Из вас, ребята, кто-нибудь идет ужинать к миссис Литтлджон? — потом проговорил изумленно: — Что это? — и все сразу поняли, что его поразило: с виду взрослый человек, но босой и в куцем выцветшем комбинезончике, под стать разве что четырнадцатилетнему мальчишке, шел по дороге мимо, волоча за собой на веревке деревянную чурку с двумя жестянками из-под нюхательного табака, прикрепленными к ней сверху, и в полном самозабвении глядел через плечо на пыль, которую эта чурка вздымала. Пройдя под галереей, он поднял голову; тут и лицо его предстало Рэтлифу: тусклые глаза, казавшиеся вовсе незрячими, слюняво раззявленный рот, окруженный пушком рыжеватой пробивающейся бородки.

— Этот тоже ихний, — сказал Букрайт все тем же резким, отрывистым тоном.

Рэтлиф во все глаза смотрел на это существо (штанины на толстых ляжках готовы лопнуть, лицо, повернутое через плечо назад, то и дело искажается немыслимыми гримасами, взгляд устремлен на волочащуюся чурку).

— А нам еще говорят, будто все мы по образу и подобию божьему созданы, — сказал Рэтлиф.

— Да ведь, судя по тому, что вокруг творится, может, он-то как раз по подобию и создан, — вздохнул Букрайт.

— Не знаю, вряд ли я в это поверил бы, хоть бы и знал, что так оно и есть, — сказал Рэтлиф. — Говоришь, взял да и появился тут откуда ни возьмись?

— А что? — проронил Букрайт. — Не он первый.

— Да уж, — буркнул Рэтлиф. — Где-то ведь надо ему обретаться.

Существо, достигнув дома миссис Литтлджон, свернуло в ворота.

— Спит у нее в хлеву, — сказал кто-то еще. — Она его кормит. К работе приспособила. Кое-как умудряется с ним объясняться.

— Что ж, стало быть, хоть она создана по подобию божьему, — сказал Рэтлиф. Обернулся; в руке по-прежнему зажат обсосанный леденец. Рэтлиф сунул его в рот и вытер пальцы о полу пальто. — Ну, так как насчет ужина?

— Езжай, закупай своих коз, — сказал Букрайт. — Еда подождет.

— Завтра, — отмахнулся Рэтлиф. — Может, у дядюшки Бена к тому времени их еще с полсотни прибавится. — «А может, и послезавтра, — подумал он, шагая на бронзовый зов

возвещавшего ужин колокольчика миссис Литтлджон, разносившийся в хмельном холодке мартовского вечера. — Так что времени у него вдосталь. Пожалуй, я все как следует преподнес. Взял в расчет не только то, что он, на мой взгляд, обо мне знает, но и то, что, по его мнению, о нем знаю я, с учетом кое-какой неполноты моих сведений — все-таки целый год проболел, приотстал от науки и практики надувательства. Но Букрайт клюнул. Чуть наизнанку не вывернулся, лишь бы предостеречь меня. Пошел на все, что может и даже чего не может позволить себе один человек в делах другого».

В результате наутро он не только не поехал проведать владельца коз, но отправился за шесть миль в противоположную сторону и потратил целый день, пытаясь продать швейную машинку, которой даже не было у него с собой. Там же и переночевал, а до поселка добрался в самый разгар следующего утра, остановил бричку перед лавкой и привязал лошадок к тому же столбу, к которому был привязан чалый конь Джоди Варнера. «Ага, значит, он теперь и коня заграбастал, — подумал Рэтлиф. — Так-так-так». С брички слезать не стал.

— Ребята, кто-нибудь из вас не вынесет мне конфет, центов на пять? — крикнул он. — Не пришлось бы к дядюшке Бену через внучат подход искать.

Один из сидящих на галерее вошел в лавку и вынес ему конфеты.

— Вернусь к обеду, — пообещал Рэтлиф. — К тому времени с меня будет чего срезать еще одному нищему удалцу со скальпелем.

Путь его был недалек: чуть меньше мили до моста через реку и чуть больше мили после. Подъехал к аккуратному ухоженному домику с большим хлевом и пастбищем позади него; увидел коз. Кряжистый старик, сидевший в одних носках на веранде, заорал:

— Здорово, В. К.! Вы что, там все, у Билла Варнера, спятили, что ли, к дьяволу?

Рэтлиф, не слезая с брички:

— Ага, так, значит, он меня обставил.

— Пятьдесят коз! — орал старец. — Мне доводилось слышать, что иногда приплачивают центов по десять тому, кто сведет со двора двух-трех коз, но в жизни не слыхивал, чтобы их покупали, да еще по пять десятков.

— Он парень ушлый, — отозвался Рэтлиф. — Ежели купил чего-нибудь пять десятков, стало быть, знал, что столько ему и понадобится.

— Уж куда как ушлый. Но полсотни коз! Адово семя! У меня их и еще чуток осталось, хватит набить битком какой-нибудь курятник. Тебе что — тоже надо?

— Нет, — ответил Рэтлиф. — Нужны были только первые пятьдесят.

— А то я даром отдам. И даже приплачу четверть доллара, лишь бы освободил у меня пастбище от тех, что остались.

— Спасибо, — сказал Рэтлиф. — Придется отнести это за счет расходов на развлечения.

— Пятьдесят коз? — не унимался тот. — Оставайся, обедом накормлю.

— Спасибо, — отозвался Рэтлиф. — Похоже, на кормежку у меня ушло и так чересчур много времени. Во всяком случае, на сидение сиднем.

С тем он повернул назад, в поселок — сперва длинная миля, потом короткая, и крепкие, приземистые лошадки топотали совершенно расхлябанной, но резвой побейкой. Чалый верховой конь все еще стоял перед лавкой, люди все еще сидели на галерее, но Рэтлиф не остановился. Добрался до гостиницы, привязал лошадок к забору, вошел и сел на веранде, откуда была видна лавка. Из кухни уже доносились дразнящие запахи стряпни, и вскоре собравшиеся на галерее начали вставать и разбредаться (время к обеду), однако оседланный чалый все еще стоял. «Да, — думал Рэтлиф, — обошел он Джоди. Если чужак отобрал у тебя жену, все, что ты можешь сделать, чтобы унять обиду, это пристрелить его. Но — коня!..»

Позади раздался голос миссис Литтлджон:

— Я и не знала, что вы вернулись. И что же — будете обедать, нет?

— Да, мэм, — отозвался он. — Но сначала хочу навеститься в лавку. Одна нога тут, другая там, — хозяйка вернулась в дом.

Он вынул из бумажника две расписки и, положив отдельно — одну во внутренний



карман пальто, другую в нагрудный кармашек рубашки, — двинулся по дороге сквозь мартовский поддень, попирая полегшую пыль, вдыхая бездыханную, словно зависшую на солнечном луче полуденную неподвижность, поднялся по ступеням и пересек заплыванную табаком и исковырянную ножами опустевшую галерею. Лавка, точнее внутренность ее, была похожа на пещеру: тьма и прохлада, запахи сыров и кож; глазам потребовалось добрых полминуты, чтобы приспособиться. Затем проявилась белая рубаха, серая кепка, крошечный галстук бабочкой, жующая челюсть. Флем воззрился на него.

— Твоя взяла, — произнес Рэтлиф. — Сколько?

Тот отвернул голову и сплюнул в ящик с песком под холодной печкой.

— По пятьдесят центов, — сказал он.

— Я заплатил по двадцати пяти за сам подряд, — сказал Рэтлиф. — А причитается мне по семьдесят пять. Лучше уж мне тогда порвать контракт и не тратиться на их доставку в город.

— Ладно, — сказал Сноупс. — Твое слово.

— Могу отдать за них вот это, — сказал Рэтлиф. И вытащил из кармана пальто первую из разобщенных расписок. И вот оно — мгновение, секунда, когда некое новое молчание, переполняющаяся неподвижность затронула это пустое лицо, это кургузое пухлявое тело за конторкой. На миг даже челюсть перестала жевать, хотя и принялась вновь за дело почти тотчас же. Сноупс взял бумагу и поглядел на нее. Потом положил ее на конторку, повернул голову и сплюнул в ящик с песком.

— По-твоему, эта расписка стоит пятидесяти коз, — произнес он. Это был не вопрос, это было утверждение.

— Да, — сказал Рэтлиф. — Потому что к ней прилагается еще кое-что на словах. Хочешь выслушать?

Тот, другой, глядел на него, двигая челюстью. В остальном он был совершенно неподвижен, словно и не дышал даже. Спустя мгновение он сказал: «Нет». Не спеша встал.

— Ну, ладно, — сказал он. Вынул бумажник из заднего кармана, добыл оттуда сложенную бумагу и подал Рэтлифу. Это была купчая от дядюшки Квика на пятьдесят коз.

— Спички не будет? — спросил Сноупс. — А то я некурящий.

Рэтлиф протянул ему спичку и смотрел, как тот поджег расписку и держал ее, пылающую, затем, еще всю в пламени, бросил в ящик с песком, а потом размял завиток пепла носком ботинка. Потом поднял взгляд; Рэтлиф не пошевелился. И тут настал второй момент, когда Рэтлифу показалось, что эта челюсть перестала жевать.

— Ну, — произнес Сноупс. — Что еще?

Рэтлиф вынул из кармашка вторую расписку. Тут он уже наверняка убедился, что жующая челюсть приостановилась. Целую минуту она не двигалась вовсе, пока широкое непроницаемое лицо висело словно воздушный шар над засаленной обтрепанной бумажкой: осмотрена; и с оборота тоже, и еще раз. Шарообразное лицо вновь обратилось к Рэтлифу — абсолютно безжизненно, как-то даже бездыханно, словно тело, которое с ним сочленялось, непостижимым образом перешло на замкнутый цикл дыхания, с регенерацией собственного выдоха.

— Хочешь получить и по этой, — сказал Сноупс. Отдал расписку Рэтлифу. — Обожди-ка.

Через комнату он прошел к двери черного хода и вышел вон. «Новости!» — подумал Рэтлиф. Пошел следом. Приземистая, неповоротливая фигура, теперь уже вся залитая солнцем, двигалась к забору гостиницы. В нем были ворота. Рэтлиф смотрел, как Сноупс вошел в них и зашагал через выгон, к конюшне. Тут у Рэтлифа внутри разлилось что-то черное, захлестнуло удушьем, болью и тошнотой. «Как же это мне никто не сказал! — про себя выкрикнул он. — Кто-нибудь должен был предупредить меня!» И сразу вспомнилось: «Этот тоже „ихний“. Черт! говорили ведь. Букрайт как раз и говорил! А все из-за болезни — провалился, размяк, тоже мне...» Рэтлиф опять стоял рядом с конторкой. Он знал, что еще рано, услышать что-либо он еще не может, но в ушах стояло уже это шарканье об дорогу

чурки на веревке, а тут он действительно его услышал, когда Сноупс вошел и обернулся, отступив в сторону, и чурка стукнула о деревянную ступеньку, о порог; неуклюжий детина в лопающемся на ляжках комбинезоне заслонил собой дверь, ввалился, поглядывая назад, через плечо, и чурка бухала, скреблась по полу, пока не застряла, ткнувшись в ножку прилавка, причем трехлетнее дитя с легкостью бы высвободило ее, наклонившись, тогда как идиот только остановился и принялся бессмысленно дергать веревку, при этом слезливо постанывая и подывая разом и озабоченно и возмущенно, напуганно и удивленно, пока Сноупс не вызволил деревяшку, поддев ее носком ботинка. К конторке, где стоял Рэтлиф, они подошли вдвоем — опять эти гримасы, эта дергающаяся голова, этот слюнявый рот в туманном обрамлении мягкого золотистого пушка, эти глаза, в какой-то давний миг открывшиеся навстречу той изначальной несправедливости, для лицезрения которой человек не создан и которая, как лик Горгоны, раз и навсегда уничтожила, погасила в них всякую мысль.

— Скажи, как тебя зовут, — заговорил Сноупс. Существо глядело на Рэтлифа, непрестанно подергиваясь, пуская слюни. — Ну-ка, — повторил Сноупс, впрочем, довольно терпеливо. — Как тебя зовут?

— Айк Х'моуп, — хрипло выплевал идиот.

— Ну, еще раз.

— Айк Х'моуп, — сказал и принялся смеяться, правда почти сразу смех выродился во что-то иное, и Рэтлиф понял, что смехом эти клокочущие всхлипы никогда не были — хлюпающее безудержное квохтанье, самому идиоту неподвластное, несущееся очертя голову, волоча за собой сбитое дыхание, как пущенный наметом конь тащит на аркане до полусмерти затоптанную казачьим гульбищем жертву, да еще эти глаза над круглой дыркой рта, остановившиеся и слепые.

— Тихо! — прикрикнул Сноупс. — Тихо.

В конце концов он взял идиота за плечо, встряхнул его, и звук опал, лопнул, пузырясь и булькая. Сноупс развернул идиота к двери, подтолкнул напоследок, и тот послушно поплелся, оглядываясь через плечо назад, на свою деревяшку с двумя замызганными жестянками из-под табака, волочащуюся на конце грязной веревки, и снова чурка едва не зацепилась за ту же ножку прилавка, но на сей раз Сноупс поддел ее ногой прежде, чем она застряла. Громоздкий и неуклюжий, с вывернутой задом наперед головой (раззявленный рот и заостренные звериные ушки фавна<sup>11</sup>), в лопающемся на немыслимых бабьих ляжках комбинезоне — он еще раз заслонил дверной проем и вышел. Сноупс затворил дверь, вернулся к конторке. Снова сплюнул в ящик с песком.

— Вот это и был Айзек Сноупс, — оказал он. — А я его опекун. Показать бумаги?

Рэтлиф не ответил. Все смотрел на расписку, лежавшую на конторке, куда он сам ее и положил, когда вернулся от двери, смотрел все с тем же неуловимым, спокойно-загадочным выражением, с каким тогда, четыре дня назад, в ресторанчике, глядел в свою чашку кофе. Он поднял расписку, все еще не взглянув на Сноупса.

— Стало быть, если я отдам ему его десять долларов, они попадут к тебе, как к опекуну. А если взыщу эти десять долларов с тебя, вексель опять у тебя на руках для продажи. Это уже третий раз будет. Так-так-так, — он достал из кармана еще одну спичку и протянул ее вместе с распиской Сноупсу. — Говорят, ты тут сказал как-то, что огнем жечь деньги тебе не приходилось. Ну так вот тебе случай разок попробовать.

Вторая расписка тоже загорелась и, вся в пламени, порхнула в ящик, в заплыванном песке которого скрученным завитком пепла исчезла, как и предыдущая, под башмаком

---

<sup>11</sup> В римской мифологии Фавн — бог полей, пастбищ, животных, лесов; изображался с козлиными ногами и острыми ушами. В системе образов романа Айк Сноупс выступает как травестийное снижение мифа (отсюда — подчеркнуто «высокий», поэтический стиль в описании его содомитской «идиллии»; ср. приписываемое мифом Фавну совокупление со всеми животными).

Сноупса.

Рэтлиф сошел с крыльца, вновь на полуденную солнечную рябь щербатой пыльной улицы; прошло едва ли минут десять. «Слава Богу, хоть научились люди быстро забывать то, что исправить у них кишка тонка», — сказал он себе по дороге. Пустынная улица переливалась зыбким маревом, мерцающим сквозь пыль и пятнистую цветень весны. «Нда, — думал он, — эх меня эта подлая болезнь подкосила. Ведь все упустил, все напрочь. Ну ладно, может, поем, так полегчает». Однако, сидя один в обеденном зале перед тарелкой, которую придвинула ему миссис Литтлджон, есть он оказался не в состоянии. Только следил, как то, что он принял было за аппетит, отступает с каждым куском, который во рту превращался во что-то тяжелое и безвкусное, точно глина. Так что в конце концов Рэтлиф отпихнул тарелку и выложил на стол пять долларов — всю свою прибыль: тридцать семь пятьдесят, которые он получит за коз, минус двенадцать пятьдесят, уплаченные за контракт, да еще двадцать за первую расписку. Изгрызенным карандашом он прикинул проценты на десятидолларовый вексель за три года, да плюс сами эти десять долларов (тут дело другое, это его комиссионные за машинку, так что их нельзя считать реальным убытком) и добавил к пяти долларам недостающие деньги — засаленными банкнотами, истертыми монетками — до последнего цента. Миссис Литтлджон была на кухне, где готовила еду для посетителей, посуду она тоже сама мыла, а также и в комнатах прибирала, где спали съедавшие то, что она готовит. Рэтлиф положил деньги на стол возле раковины.

— Этот как его там, Аик. Айсек. Говорят, вы его подкармливаете. Самому-то ему деньги вряд ли нужны. Так, может, вы как-нибудь...

— Хорошо, — отозвалась она. Вытерла руки о фартук, взяла деньги, аккуратно обернув мелочь банкнотами, и, с деньгами в руках, выпрямилась. Пересчитывать не стала. — Сберегу их для него. Не беспокойтесь. Сейчас в город едете?

— Да, — сказал он. — Хватит дурака валять. А то ведь заранее не скажешь, когда опять на этакое ретивого юнца нарвешься, которому с голодухи только и остается по живому резать.

Он пошел к двери, потом опять помедлил, на нее не глядя, все с тем же неуловимым, загадочным выражением лица, которое теперь улыбалось, язвительно, иронически.

— Хотелось бы, чтоб кое-что дошло до ушей Билла Варнера. Хоть в общем-то это не так и важно.

— Могу передать, — сказала миссис Литтлджон. — Если в двух словах, я запомню.

— Да ладно... — замялся Рэтлиф. — Но коли уж заговорили об этом... Так и передайте — дескать, Рэтлиф говорит, что ничего еще не доказано. Он поймет, о чем речь.

— Попробую запомнить, — кивнула она.

Он вышел и сел в бричку. Надобность в пальто на сегодня отпала, а в следующий раз и вовсе незачем будет его с собой брать. Дорога пришла в движение, поплыла под посверкивающими подковами низкорослых, пружинистых, как орешник, лошадок. «Просто я не допер чуток, — думал он. — На полпути успокоился. До того, что один Сноупс у другого запросто подожжет сарай при том, что оба это знают — это я раскумекал, и это правильно. Но на том и заколодило. Так и не допер, что этот первый Сноупс может вдруг развернуться, затоптать огонь, да второго Сноупса еще и убытки оплатить заставит, при том, что опять-таки оба это знают».

### 3

Глазам тех, кто послеживал за приказчиком, открылась уже не очередная мелкая проделка, не просто кузнеца какого-то походя обобрали, нет, — налицо была прямая узурпация права наследования. Во время следующей уборочной страды приказчик не только восседал у весов хлопкоочистителя, но, когда происходил годовой расчет Варнера с арендаторами и должниками, сам Билл Варнер при этом даже не присутствовал. Не кто иной как Сноупс был облечен доверием делать то, чего Варнер родному сыну никогда не

позволял, — да, не кто иной как Сноупс сидел один за конторкой, обложенный амбарными книгами и деньгами от проданной кукурузы и хлопка, подводил итоги, вычитал долги и арендную плату и каждому арендатору выплачивал причитающуюся ему долю оставшихся после вычетов денег, и когда один или двое из них принялись было оспаривать его расчет (быть может, просто из принципа, как в давние времена, в бытность его новичком в лавке), приказчик даже не слушал, сидел себе в своей замызганной белой рубаше с крошечным галстуком бабочкой и ждал — пресловутый во рту табак, мутненькие неподвижные глазки, которые не поймаешь, хоть тресни, то ли глядят на тебя, то ли нет, — ждал, пока те замолчат, иссякнут, а потом, ни слова не говоря, брал карандаш и бумагу и доказывал им, что они не правы. Теперь уже не то, что прежде: бывало, Джоди Варнер этак с ленцой заявится в лавку, снабдит приказчика указаниями и наставлениями и уйдет: пусть, мол, приказчик дальше самостоятельно управляется; теперь бывший приказчик сам так же подходил, непринужденно шагая по ступенькам и на манер Билла Варнера кивком головы приветствуя собравшихся на галерее, и в лавку, и сразу же оттуда доносились его указания, деловитой лапидарностью доводящие до белого каления вконец потерявшегося, бычьим слепым безумием охваченного человека, который взял его к себе когда-то на службу и который, похоже, до сих пор не мог толком понять, что произошло. А после Сноупс уезжал и больше в тот день не появлялся: еще бы, ведь у разжиревшей старой белой кобылы Билла Варнера спутник теперь появился. А именно чалый — тот, на котором разъезжал, бывало, Джоди; теперь их — белую и чалого — нет-нет да и увидишь рядышком привязанными к какой-нибудь изгороди, покуда Варнер вместе со Сноупсом обзревают посевы хлопка и кукурузы, либо стада скота, или земельные границы; при этом Варнер — этаким живчиком, хитрющий и бессовестный, как сборщик податей, деловито-ленивый раблезианец, а рядом тот, другой — рот табаком набит, руки в карманах неописуемо отвисших штанов, и время от времени задумчиво постреливает туда-сюда картечинами шоколадной слюны.

Как-то утром он появился в поселке с новеньким плетеным из соломки баульчиком. Вечером перетащил его в дом к Варнеру. А через месяц после этого Варнер купил новую легкую коляску на ярко-красных колесах и с бахромчатым зонтичным верхом, и она целыми днями носилась по проселкам и полевым дорогам — в запряжке толстая белая лошадь и здоровенный чалый жеребец в новой, бронзовыми бляхами усыпанной упряжи, спицы сливаются, сплошной багряный блик над дорогой, — а разъезжали в ней Варнер и Сноупс, сидя бок о бок, в абсурдном и возмутительном для глаза единении мчались над взвихренным облаком легчайшей пыли, словно в увеселительном чаду какой-то непрекращающейся, бесконечной экскурсии. И вот однажды к вечеру тем же летом Рэтлиф снова подъехал к лавке и увидел на галерее человека, которого сперва не узнал, поскольку видел его всего раз, да и то два года назад, но если и замялся, то всего на миг, потому что почти тотчас крикнул: «Здорово. Ну, как машинка — работает?» — и продолжал сидеть с приветливым и совершенно непроницаемым видом, глядя на лютное, упрямое лицо с единой бровью, силясь вспомнить: «Клин? Блин? Шплинт? Имя такое, вроде клички... ах да — Минк».

— Здорово, — раздалось в ответ. — А как же! Не ты ли сам говорил, будто плохих не продаешь?

— Да уж это ясное дело, — сказал Рэтлиф, все так же вежливо, непроницаемо. Он вылез из брички, привязал лошадок к столбу галереи, взобрался на крыльцо и оказался в компании четверых мужчин, кто сидя, кто на корточках расположившихся по всей галерее. — Но я бы не совсем так это повернул. Я бы сказал, что Сноупсы плохих не покупают.

Тут он услышал перестук копыт и, повернув голову, увидел быстро приближающегося верхового, а рядом пса, породистого гончака, бегущего легко и мощно; всадником оказался Хьюстон; подъехал, прямо на ходу соскочил с коня, по-ковбойски забросил повод коню на холку и взбежал на галерею, а у столба, привалившись к которому сидел на корточках Минк Сноупс, остановился.

— Я полагаю, ты знаешь, где та твоя корова, — сказал Хьюстон.



— А то как же, — отозвался Сноупс.

— Хорошо, — сказал Хьюстон. Трепало и трясло его ничуть не больше, чем будь он брусом динамита. Он даже голос не повысил.

— Ведь предупреждали тебя. А как по закону в этих местах положено, небось сам знаешь. Когда закончен сев, свою скотину надо держать за забором, иначе пеняй на себя.

— А сам-то, тоже мне, не мог такой забор поставить, чтоб корова не пролезла! — огрызнулся Сноупс. После этого они принялись ругаться, обмениваясь репликами вескими, краткими, но едва ли оригинальными, монотонно-одинаковыми, как удары или как пистолетные выстрелы; оба говорили разом, но с места не двигались, один все так же посреди крыльца, другой все так же на корточках у столба галереи.

— Ты еще дробовик возьми, — предложил Сноупс. — Чтобы от коров отбиваться.

После этого Хьюстон вошел в лавку, а расположившиеся на галерее продолжали сидеть или стоять совершенно невозмутимо, причем этот единобровый был не менее спокоен, чем остальные, и наконец Хьюстон опять вышел, ни на кого не глянув, прошагал мимо, вскочил в седло и с места в карьер умчался, пес за ним, высоко вскидывая голову, сильный, неустойчивый, а еще через минуту-другую Сноупс тоже поднялся и ушел куда-то по дороге пешком. Потом один из оставшихся перегнулся и аккуратно через бортик галереи сплюнул в пыль, а Рэтлиф сказал:

— Что-то я недопонял насчет того забора. Что, корова Сноупса забрела на поле к Хьюстону?

— Ну да, — ответил тот, который перед тем сплюнул. — Он живет на бывшей Хьюстоновой земле. Теперь она Варнеру отошла. По закладной, стало быть: просрочил, ну и потерял.

— То есть он Биллу Варнеру задолжал, Хьюстон-то, — сказал другой. — А речь шла о заборах как раз на том самом участке.

— Да понятно, понятно, — отозвался Рэтлиф. — Значит, они это так просто. Для поддержания беседы.

— А ведь Хьюстон, похоже, не оттого распалился, что землю проворонил, — сказал третий. — Хотя, конечно, ему всякой искры довольно...

— Да понятно, понятно, — снова перебил Рэтлиф. — Не оттого, что проворонил, а оттого, до чего ее довели. Оттого, кому, выходит, дядюшка Билл ее в аренду сдал. Стало быть, в запасе у Флема еще хватает родичей. Однако этот, по всему виду, особого сорта Сноупс, вроде как аспид, особого сорта гадюка. — «Так что от этого братца он еще натерпится», — подумал Рэтлиф. Подумать-то подумал, а вслух сказал (все так же мягко, вежливо с непонятной усмешкой): — Вот интересно, где сейчас дядя Билл со своим напарником. Вы-то небось уже все ихние маршруты назубок выучили, а мне как-то все невдомек.

— Вообще-то мне сегодня утром коляска вместе с лошадьми попалась около усадьбы Старого Француза, — высказался четвертый из собравшихся. Он тоже перегнулся и аккуратно сплюнул через перильца галереи. Потом добавил, будто сперва запомнил такую мелочь: — А на бочке-то, из-под муки, Флем Сноупс сидел...

## Книга вторая. Юла

### Глава первая

#### 1

Когда в лавку к ее отцу поступил приказчиком Флем Сноупс, Юла Варнер была ребенком, ей еще и тринадцати не исполнилось. Из шестнадцати детей младшая, малышка,

впрочем на десятом году догнавшая и превзошедшая ростом мать, теперь, в свои неполные тринадцать, она была крупнее чуть ли не любой взрослой женщины, и даже груди у нее уже не были парой маленьких, твердых, задорно оттопыренных конусочков, как у девочки-подростка или даже взрослой девушки. Напротив, ей, с ее формами, как раз бы воплощать символику древних дионисийских шествий<sup>12</sup>: мед в луче солнца, налитая гроздь, корчи мучительно обремененной лозы, кровоточащей под безжалостно и алчно топчущим твердым козлиным копытом. Казалось, она не только не была причастна к окружающему миру, но существовала в самодостаточном вневременном одиночестве, и дни ее шли друг за другом словно в пустоте, под непроницаемым для звуков стеклянным колпаком, где в мечтательном и самоуглубленном оцепенении, зачарованная и утомленная наследственной мудростью всех поколений зрелого млечного материнства, она прислушивалась к процессам роста в своем собственном теле.

Подобно отцу, она была неисправимой лентяйкой, хотя то, что у него выглядело беспорядочной и радостной праздностью, в ней проявлялось в виде направленной силы, непреодолимой и даже безжалостной. Вплоть до того, что по собственной воле она не передвигалась вовсе, кроме как из-за стола и за стол, из постели и в постель. Ходить научилась поздно. Ее возили в детской коляске — в здешних местах это было единственное и дотоле невиданное сооружение, неуклюжее и дорогое, а величиной небольшой фургончик. С коляской она не порывала долго даже после того, как выросла настолько, что некуда стало девать ноги. Когда достигнута была стадия, на которой чуть еще, и только взрослый мужчина смог бы ее оттуда извлекать, состоялось ее насильственное отлучение от коляски. Тогда она облюбовала стулья. Не то чтобы она просилась непременно на руки, когда ей бывало нужно куда-нибудь переместиться, скорее дело обстояло так, словно с самого младенчества она уже знала, что нет такого места, куда бы ей было нужно, что никакое передвижение не ведет ни к чему новому или неведомому и любое место похоже на всякое другое, везде и всюду. Лет до пяти с половиной, в тех случаях, когда ей все-таки требовалось перемещаться (мать не решалась, уходя, оставлять ее дома одну), ее так и носил на руках их чернокожий слуга. Эта тройка то и дело попадалась всем на улице поселка: миссис Варнер в воскресном платье и с шалью на плечах, а следом негр, ступающий не совсем уверенно под тяжестью своей длинноногой свисающей, уже неоспоримо женственной ноши — этакое диковинное, одобренное дуэньей, похищение сабинянки<sup>13</sup>.

Как водится, у нее были куклы. Она сажала их на стулья вокруг того, на котором устроилась сама, и там они пребывали, подавая не больше, но и не меньше признаков жизни, чем их хозяйка. В конце концов отец заказал для нее у кузнеца миниатюрную копию той коляски, в которой она провела три первые года жизни. Игрушечная коляска вышла довольно несуразной и к тому же тяжелой, но это была единственная кукольная коляска на всю округу — роскошь дотоле не только невиданная, но и неслыханная. Она складывала туда всех своих кукол, а сама усаживалась рядом на стул. Сперва ее принимали за умственно отсталую, думая, что она все никак не обретет ту тягу к игре в материнство, которая делает девочку маленькой женщиной, но вскоре стало ясно, откуда такое безразличие — ведь чтобы приводить в движение игрушку, ей пришлось бы двигаться самой.

С младенчества лет до восьми она росла на стульях и пересаживалась с одного на

<sup>12</sup> В греческой мифологии Дионис — бог плодоносящих сил земли, растительности и виноделия. Считалось, что он прошел по всей Элладу, Египту, Сирии, Азии вплоть до Индии, уча людей виноделию и творя чудеса: так, он заставлял бить из-под земли фонтаны вина, молока в меда. В его экстатических шествиях участвовали вакханки и сатиры — козлоногие, хвостатые, покрытые шерстью демоны плодородия. Упоминание в романе о Дионисе и его свите призвано подчеркнуть связь Юлы со стихийным, природным началом.

<sup>13</sup> *Сабиняне* — коренные жители Средней Италии. Согласно легенде, вскоре после основания Рима его первый царь Ромул пригласил на праздник соседних сабинян с их женами и дочерьми и дал приказ римлянам по условленному сигналу похитить всех девушек, ибо жителям города нужны были жены.

другой только поневоле — когда ее с насиженного места сгоняла уборка в доме или когда звали поест. По настоянию ее матери Варнер продолжал заказывать кузнецу миниатюрные предметы домашней утвари: маленькие метлы и швабры, маленькую, но настоящую кухонную плиту — в надежде, что игра, забава поможет приобретению полезных навыков, но все эти затеи влекли ее не больше, чем стакан спитого чая влечет старого пьяницу. Не было у нее ни товарищей по играм, ни закадычной подружки. Они не были ей нужны. Никогда не получалось у нее ни с кем того содружества, пусть иногда кратковременного, но пылкого, в котором две маленькие девочки подчас объединяются для тайных козней и интриг против своих сверстников-мальчишек, да и против всего мира взрослых. Ничто ее не занимало. С равным успехом она могла бы все еще оставаться в утробе. Она родилась как бы лишь наполовину, и умственное в ней каким-то образом оказалось не то полностью отделено от телесного, не то безнадежно с ним перепутано — словно на свет Божий появилась либо только одна из двух ее ипостасей, либо та единственная, которая все-таки появилась, пришла в мир не столько в сопровождении, сколько будучи беременна другой, недостающей.

— Может, она хоть с мальчишками по деревьям лазать будет? — проронил как-то ее отец.

— Когда? — выдохнул Джоди (вспышка, проблеск, хотя и рожденный яростным раздражением). — Покуда она собирается, не будет ни одного желудя, что в ближайшие пятьдесят лет оземь стукнет, чтоб он дубом не стал, да чтоб не подгнил на корню и не сгорел бы в печках, прежде чем она на дерево влезть сподобится.

Когда ей исполнилось восемь, брат решил, что пора ей в школу. Родители, в общем, тоже были не прочь когда-нибудь отдать ее в обучение, главным образом, пожалуй, потому, что Билл Варнер, официально назначенный попечителем, был главным оплотом и властелином всей школьной жизни, которая, по мнению других здешних родителей, являлась, в сущности, не более чем еще одной из многих сторон его деловой активности, и, позже или раньше, Варнер сам не упустил бы хоть ненадолго, но определить свою дочь в школу, точно так же, как не упустил бы требовать какой-нибудь должок со всеми набежавшими процентами вплоть до последнего медяка. Миссис Варнер не особенно была озабочена, пойдет в школу дочь или нет. Сама миссис Варнер была одной из лучших хозяек в округе, неутомимо посвящала себя дому и получала от этого истинное физическое наслаждение, не имеющее ничего общего с обыденным удовлетворением от собственной рачительности и бережливости, радовалась, складывая наглаженные простыни, и любовалась видом уставленных припасами полок, набитых картошкой погребов и тесно увешанных окороками и колбасами стропил копильни. Читать не читала, хотя в пору выхода замуж и была способна разбирать написанное. С тех пор миссис Варнер не очень-то практиковалась в этом навыке и за последние сорок лет порастеряла последние его остатки, предпочитая с жизнью встречаться лицом к лицу, чтобы не только внимать былям и вымыслам, но иметь возможность и свое слово вставить, поделиться и своим суждением. Так что настоящей нужды в обучении женщин грамоте миссис Варнер не видала. Была уверена, что правильные соотношения для кулинарных рецептов надлежит искать не на печатной странице, а на кончике столовой ложки, доверяясь только собственному вкусу и нюху, и что хозяйка, которая, пока не поучится в школе, не знает, сколько осталось денег, если из того, что было, вычесть то, что истрачено, никогда не научится быть хозяйкой.

Этаким поборником учености в восьмое лето младшей дочери чуть ли не насильственно вторгся не кто иной как ее брат, Джоди, и три месяца спустя горько пожалел об этом. Не о том, что именно он настоял, чтобы она пошла в школу. Сожалел он о том, что все-таки уверен и, видимо, всегда будет уверен в необходимости того, за что ему теперь приходится платить столь дорогой ценой. Она, видите ли, отказывалась ходить в школу пешком. Ничего не имея против самих посещений школы, присутствия там, она просто-напросто не соглашалась ходить туда ножками. Школа была недалеко, менее чем в полумиле от дома Варнеров. И несмотря на это, все пять лет своего школьного обучения — все пять лет, которые, если выразить их в часах и возвести в степень постижения ею премудрости,

свелись бы не к годам и не к месяцам даже, а к нескольким дням — ее возили и туда и оттуда. Другие дети, жившие вдвое, вчетверо и впятеро дальше, ходили пешком туда и обратно в любую погоду, а ее возили. Ходить она просто-напросто отказалась, спокойно и безоговорочно. Не прибегала ни к слезам, ни к жалобам, не говоря уже о физическом сопротивлении. Сядет и сидит, не двигаясь, по видимости даже не думая, и при этом от нее исходит возмутительная и неуязвимая наглость, как от какой-нибудь строптивой кобылки-чистокровки, которая не доросла еще до того, чтобы представлять такую уж особую ценность, но через год-другой дорастет, а потому ее сбившийся с ног, разъяренный хозяин не смеет пройти по ней плетью. Отец, как и следовало ожидать, поспешил умыться руки.

— Ну так пускай дома сидит, — отмахнулся он. — От нее и тут проку с гулькин нос, но, может, хоть научится чему-нибудь по части хозяйства, насмотрится, покуда со стула да на стул перелезает, от веника спасаясь. Нам-то ведь всего и надо, что уберечь ее от беды, пока не подрастет настолько, чтобы спать с мужчиной, не подведя под арест нас с ним обоих. А тогда, глядишь, замуж выдадим. Может, даже найдешь ей мужа, при котором и Джоди не угодит в богадельню. И тогда уж продали бы им и дом, и лавку, и всю прочую мерехлюндию, а мы с тобой поехали бы на эту ихнюю всемирную ярмарку, которую, говорят, в Сент-Луисе затевать собираются, и коли по сердцу придется, заведем там себе лоток и станем жить в свое удовольствие.

Но брат требовал, чтобы она пошла в школу. По-прежнему она не соглашалась ходить пешком, сидела женственно-расслабленная, вялая, не двигаясь, не думая и, по видимости, даже не слушая, а над ее невозмутимой головкой громыкала битва матери с братом. Так что в конце концов негр, который прежде носил ее на руках следом за матерью, когда той случалось идти в гости, выкатывал семейный шарабан и отвозил ее за полмили в школу, а после ждал там с шарабаном в полдень и в три часа, после занятий. Так продолжалось недели две. Миссис Варнер положила этому конец: в самом деле, расточительство — все равно что понапрасну кипятить целый десятиведерный чан ради тарелки супа. Предъявила Джоди ультиматум: хочешь, чтобы твоя сестра ходила в школу, — будь любезен, позаботься о доставке сам. Миссис Варнер предложила, чтобы он, поскольку и так каждый день гоняет своего жеребца до лавки и обратно, сажал бы на него позади себя Юлу да и подвозил ее в школу и назад, — при этом дочь опять-таки сидела тут же, не думая и не слушая, а над ней ревело и грохотало, пока не замерло на той же мертвой точке; и вот снова утро, дочь на крыльце, сидит себе с недавно купленным ей для книжек дешевым клеенчатым портфельчиком на коленях, покуда брат, подогнав коня к перилам крыльца, не рявкнет на нее, чтоб не валандалась, сядила сзади. Он отвозил ее к школе, в полдень забирал оттуда и снова отвозил, а когда занятия кончались, уже ждал у выхода. Так продолжалось почти месяц. Тут Джоди надумал, что двести ярдов от школы к лавке она уж как-нибудь и сама пройдет, а там он ее встретит. К его удивлению, сестра не прекословила. Так продолжалось ровно два дня. На второй вечер братец примчал ее домой торопким аллюром, вне себя от возмущения и гнева ворвался в дом и, уже в прихожей налетев на мать, разразился криками.

— Ничего удивительного, что она так запросто согласилась ходить к лавке встречать меня! — орал он. — Расставь вдоль дороги на каждую сотню ярдов по мужику, так она бы и до дому добежала! Это же просто сучка какая-то! Кто бы ей на глаза ни попался, лишь бы в штанах, глядишь, она уже вся на мыло исходит. Прямо в нос шибает! Шибает в нос с десяти футов!

— Вздор, — проронила миссис Варнер. — И нечего меня донимать этим. Сам заставил ее в школу ходить, не я же! Помимо нее у меня восемь дочерей выросли, и ничего, в полном порядке. Но спорить не буду, может, и впрямь двадцатисемилетний холостяк в девках лучше меня разбирается. А коли надумаешь разрешить ей школу бросить, что ж, мы с отцом возражать не станем. Ты мне захватил той корицы?

— Нет, — сказал Джоди. — Забыл.

— Ты уж не забудь нынче хоть. А то я без нее пропадаю.

С тех пор она больше не ходила встречать Джоди у лавки. Брат снова ждал ее у дверей



школы. И вот уже почти пять лет, как эта картина стала неотъемлемой частью жизни поселка, четыре раза в день и пять дней в неделю: на чалом жеребце разъяренный, кипящий гневом мужчина и девочка, в которой даже в одиннадцать, в десять и в девять лет как-то было всего многовато — многовато ноги, многовато груди, многовато зада, и вообще многовато женского, млечного, того плотского начала, которое в сочетании с неуклюжим клеенчатым портфельчиком, явно предназначенным для книжек ученице начальной школы, грубо и нарочито пародировало самое идею образования. Даже сидя позади брата на лошади, обитательница всей этой плоти вела, казалось, две совершенно отдельные и обособленные жизни, словно младенец у материнской груди. Первая Юла Варнер обеспечивала кровью и питанием этот зад, эти ноги и эту грудь; а была еще и другая Юла Варнер, которая просто обитала в них, которая шла туда, куда и они, поскольку так проще, ей было удобно в этом вместилище, но его заботы ее не волновали, подобно тому как бывает, когда вселяешься в дом, который не ты строил, но где мебель уже стоит и за аренду уплачено. В то первое утро Джоди Варнер пустил своего коня спорой рысью, чтоб побыстрее отделаться, но почти тотчас начал чувствовать за спиной все это тело, — а оно даже на стуле, в неподвижности, будто нарочно выказывало вопиющее отвращение к прямым линиям, — начал чувствовать, как оно елозит всеми своими бескостными округлостями по его спине. И Джоди чудилось, будто не только горизонты поселка расстилаются перед ним, но весь окружающий населенный мир, который он обходит со своей солнцеподобной ношей, с этим изгибисто-переливчатым скоплением млечных эллипсов. С тех пор он пускал лошадь только шагом. А иначе и никак — с сестренкой, которая одной рукой цепляется за перекрестие его подтяжек или за хлястик сюртука, а в другой держит сумку с книжками; и вот мимо проплывает лавка, где, по обыкновению, был в сборе весь кворум местных мужчин — кто сидя, кто на корточках, — и веранда миссис Литтлджон, где не обходится без проезжего коммивояжера или барышника (а Джоди теперь полагал, даже уверен был, что ему известно, зачем они здесь, то есть какова истинная цель, ради которой их принесло сюда за двадцать миль из самого Джефферсона), и вот наконец школа, где остальные дети — в комбинезонах и платьицах из дешевого ситчика, босые, а если в башмаках, то чаще в стоптанных, отслуживших свое родителям и только после этого доставшихся им, — уже собрались, пройдя пешком в три, в четыре, а то и в пять раз дальше. Она сползает с коня, а ее брат еще с минуту медлит, весь закипая негодованием, глядит ей вслед, на эти бедра, которыми она уже совсем по-женски наладилась орудовать при ходьбе, сидит и размышляет в бессильной ярости, не лучше ли сразу вызвать учителя и тут же с ним разобраться — предупредить, пригрозить ему или даже пустить в ход кулаки, а может, оставить все как есть, подождать, пока случится то, что, по его, Джоди Варнера, убеждению, так или иначе непременно должно случиться. Все это повторялось у них сызнова в час дня, а в двенадцать и в три в обратном порядке, только Варнер при этом проезжал на сотню ярдов дальше, к скрытому мелкокустьем поваленному дереву. Дерево это повалил однажды ночью слуга негр, пока Джоди, сидя на лошади, светил ему фонарем; подъехав к валежине и поджидая, когда сестра вскарабкается с нее на лошадь, Джоди на третий раз не выдержал, рявкнул: «Провал тебя поberi, это что, обязательно — с таким видом лезть, будто вышины в коне все двадцать футов?»

Однажды он даже решил, что не следует ей верхом по-мужски ездить. Новшества хватило на один день, пока ему не случилось глянуть в сторону, и тут он обнаружил чуть сзади себя невероятной длины возмутительно округлую свисающую ногу, а между подолом платья и верхней кромкой чулка голую полосу бедра, показавшуюся ему столь же фундаментально, вопиюще обнаженной, как какой-нибудь купол обсерватории. То, что все это выставлено не нарочно, только усиливало его гнев. Он понимал, что ей просто безразлично, она, без сомнения, даже не знала, что выставляется напоказ, а если бы знала, все равно не потрудилась бы прикрыться. Он понимал, что даже на лошади, в движении, она сидит точно так же, как сидела бы дома на стуле или (это ведь тоже ясно) в школе на скамье, и, свирепея временами от беспомощности, спрашивал себя, как этот зад, постоянно

подверженный давлению все нарастающего веса, может таким простым действием, как ходьба, так явно и недвусмысленно обнаруживать умопомрачительно и всемогуще роскошную текучую мягкость; сидит себе, даже на лошади, в движении, такая не то чтобы самоуглубленная, но загадочная, зачарованная чем-то непонятным, никакого отношения к плоти, к мякоти не имеющим, — сидит себе, исходя этим возмутительным ощущением бытия, существования, и вся наружу, вся будто вовне надетых на нее покровов, причем она не только не могла с собой ничего поделаться, но даже нисколько о том не заботилась.

Школу она начала посещать на восьмом году жизни, а на четырнадцатом, вскоре после Рождества, прекратила. Без сомнения, она бы доучилась до конца и в тот год, и на следующий, а там, глядишь, прихватила бы и еще год-другой безо всякого продвижения в науках, да подвела школа — в январе того года закрылась. Закрылась, потому что исчез учитель. Вдруг, на ночь глядя, никому ничего не сказав, скрылся. Ни жалованья не получил за полугодие, ни своих скудных, почти монашеских пожитков не забрал из неотапливаемой пристройки с односкатной крышей, где в жалкой комнатухе прожил шесть лет.

Его фамилия была Лэбоув. Он появился из соседнего округа, где его совершенно случайно нашел сам Билл Варнер. Прежде на должности учителя держали старика, который уже и от природы имел склонность выпить лишку, да еще ученики своим неподчинением изрядно ему в этом увлечении споспешествовали. Девчонки не питали уважения ни к его мыслям и знаниям, ни к способу преподавания; мальчишки тоже его не уважали, но не из-за педагогической несостоятельности, а вследствие неспособности заставить их подчиняться или хотя бы просто вести себя прилично, — в этом отношении ситуация очень быстро перешла из стадии мятежа в какое-то сплошное буколическое италийское празднество с травлей шелудивого беззубого медведя.

Таким образом, все, не исключая и учителя, знали, что в следующем полугодии его здесь не будет. А будет или не будет на следующий год действовать школа — этим никто особенно озабочен не был. Школа была их владением. Они сами когда-то построили школьное здание, сами платили учителю и посылали туда своих детей разве что тогда, когда тем дома было нечего делать, так что занятия в школе происходили только в промежутке между уборочной и посевной — с середины октября и по конец марта. Насчет замены учителя ничего не предпринимали, пока однажды летом Варнеру не случилось отправиться по делам в соседний округ, где он припозднился и попал ночевать в убогую фермерскую лачужку с полом из горбыля, стоящую на унылом и бесплодном холме. Войдя в дом, он увидел невероятно древнюю старуху, сидевшую у остывшего очага с вонючей глиняной трубкой во рту, причем на ногах у старухи красовались впечатляюще огромные мужские ботинки несколько нездешнего, чтобы не сказать экзотического, вида. Однако Варнер не обратил бы на них внимания, если бы сзади не раздалось пошаркивание и постукивание и, обернувшись, он не увидел бы девочку лет десяти в совершенно чистом, хотя и ветхом пестрядевом платье и в таких же, как у старухи, башмаках, разве что еще побольше размером. Прежде чем Варнер следующим утром отбыл, углядел он и еще три пары таких же ботинок, теперь уже определив их как доселе невиданный и даже неслыханный вид обуви. Хозяин разъяснил ему их назначение.

— Что? — удивился Варнер. — Бутсы? Футбол?

— Игра такая, — сказал Лэбоув. — В нее играют в университете.

Он пояснил. Это все старший сын. Сейчас его дома нет: устроился на пилораму, зарабатывает деньги, чтобы вернуться в университет, где проучился уже один летний семестр полностью и следующий — осенний — наполовину. Как раз осенью там и играли в игру, для которой нужны такие ботинки. Сын захотел выучиться на учителя; так, во всяком случае, он сказал, когда в первый раз уехал в университет. В общем, он решил поступить учиться. Отец в этом смысла не видел. Ферма в порядке, рано или поздно перейдет к сыну и всегда его прокормит. Но сын настаивал. Будет, дескать, подрабатывать на мельницах и лесопилках и скопит достаточно, чтобы посещать летние курсы и выучиться хотя бы на учителя, поскольку больше-то на летних курсах ни на кого и не учат. Сможет даже

возвратиться в конце лета домой — помочь с уборкой урожая. Так что заработал он денег («Причем повкалывать пришлось не то что на ферме, — заметил Лэбоув-старший. — Но парню уже почти двадцать один было. Становиться ему поперек дороги поздно, даже если бы я пошел на это») и записался на летний семестр, а он у них восемь недель длится, так что парень в августе должен был домой вернуться, но не тут-то было. Накатил сентябрь, а его все нет. Никто толком не знал, где он, правда, стариков это не столько беспокоило, сколько озадачило — досада взяла, слегка возмутились даже: бросил их одних в самую страдную пору — хлопок надо собирать и очищать; да и с кукурузой, пока в закрома ссыплешь, забот хватает... В середине сентября пришло письмо. Мол, собирается и дальше в университете оставаться, на всю осень. Нашел там себе работу, урожай чтоб без него собирали. Что за работа подвернулась, не сообщил, и отец счел, что подразумевается опять какая-нибудь пилорама, поскольку в его представлении учеба ни с какими доходными предприятиями не сопрягалась, и больше от сына вестей не поступало вплоть до октября, когда пришла первая посылка. В ней было две пары этих чудных башмаков с шишками на подошвах. Третья пара прибыла в начале ноября. Последние две пришли сразу после Дня Благодарения<sup>14</sup>, под самый декабрь, итого пять пар, хотя народу в семье семеро. Так что носят их все подряд, берет каждый, кто найдет свободную пару, будто это зонтики — то есть из четырех пар, подправил себя Лэбоув. Престарелая дама (это была бабушка старшего Лэбоува) сразу как схватила из коробки самую первую пару, так уже и не отпускает — никому не дает надевать. Видать, ей нравится, как шипы по полу цокают, когда она качается в кресле. Минус одна — четыре пары осталось. Так что теперь дети ходят в школу обутыми, а придя домой, ботинки снимают, на случай, если кому-нибудь понадобится на улицу. В январе сын появился дома. Рассказал про эту свою игру. Всю осень он играл в нее. За то, что он в нее играл, ему разрешили остаться в университете на весь осенний семестр. А башмаки им выдают бесплатно, чтобы в них играть.

— Да как же он умудрился сразу шесть пар заполучить? — с удивлением пробормотал Варнер.

Этого Лэбоув не знал. «Может, в тот год им эти башмаки девать было некуда?» — предположил он. В университете сыну выдали еще и свитер — хороший свитер: толстый, теплый, темно-синий, с большой красной буквой «М» на груди. Прабабка захватила себе и свитер тоже, несмотря на то что он ей был непомерно велик. Надевала его по воскресеньям, и зимой и летом; в ясную погоду восседала в нем рядом со внуком на козлах фургона по дороге в церковь, и геральдическая змейка, багряная — цвета стойкости и отваги — огнем горела на солнце, а в ненастье, когда старушка, оставшись дома, сидела в кресле, раскачиваясь и посасывая погасшую короткую трубку, та же буква «М», пускай устало распрямившаяся, но все такая же багряная, такая же удалая, украшала ее иссохшую грудь.

— Так вот, стало быть, где он теперь, — сказал Варнер. — в футбол играет.

Но Лэбоув это предположение отmel. Нет, теперь сын на пилораме. Подсчитал, что, пропустив летний семестр и за это время подработав, он сможет отложить достаточно денег, чтобы оставаться в университете, пусть даже его перестанут держать там за футбольные заслуги, и таким образом целый год будет учиться в настоящем университете, а не на летнем отделении, где и учат-то всего лишь на школьных учителей.

— А я думал, это как раз то, что ему надо, — сказал Варнер.

— Нет, — разуверил его Лэбоув. — Это все, чему учат на летних курсах. Я скажу сейчас, только вы не смейтесь. Говорит, что хочет стать губернатором.

— Да уж, — сказал Варнер.

— Я ж говорил, смеяться будете.

— Нет, — проговорил Варнер. — Я не смеюсь. Губернатором. Так-так-так. Следующий раз как увидите его, ежели согласится на годик-другой отложить свое губернаторство да

<sup>14</sup> День Благодарения — национальный праздник в США. Отмечается в четвертый четверг ноября.

поработать в школе, скажите, чтоб заехал на Французову Балку и повидался со мной.

Это было в июле. Возможно, Варнер на самом деле и не ожидал, что Лэбоув к нему приедет. Однако к заполнению вакансии никаких шагов больше не предпринимал, хотя едва ли он мог позабыть о школе: не говоря уже о его обязанностях попечителя, у человека родное дитя через год или около того готово было приступить к учению. Однажды в начале сентября, уже под вечер, Билл Варнер лежал, скинув сапоги, в гамаке из бочарных клепок, подвешенном меж двух деревьев у дома, как вдруг заметил идущего к нему через двор человека, которого он никогда прежде не видел, но узнал тотчас: из себя не то чтобы тощий, но жилистый, волосы длинные, прямые и жесткие, как конский хвост, скулы широкие, индейские, взгляд серых, спокойных глаз тяжел и строг, длинный нос мыслителя, правда, с высоким, фигурным вырезом ноздрей, выдававшим гордеца, а тонкие губы говорили о глубоко запрятанном жестоком честолюбии. Лицо присяжного оратора, человека неколебимо уверенного в силе слова, возводящего ее в принцип, во имя которого, если понадобится, стоит отдать жизнь. Тысячу лет назад таким мог быть монах, воинствующий фанатик, повернувшийся ко всему миру непреклонной своей спиной, с истинной радостью удалившийся в пустыню и проводивший остаток дней и ночей в спокойствии, ни разу не дрогнув, ни на секунду в себе не усомнившись — не ради спасения человечества, которое ему в высшей степени безразлично и страдания которого не вызывают в нем ничего, кроме презрения, но ради удовлетворения своих собственных безудержных и неутолимых глубинных притязаний.

— Я пришел сказать, что в этом году не смогу преподавать в вашей школе, — заговорил он. — Нет времени. Так вышло, что мне можно остаться в университете на целый год.

Варнер, не вставая:

— Этот год. А как насчет следующего?

— Насчет пилорамы тоже есть договоренность. Опять наймусь туда на следующее лето. Или еще куда-нибудь.

— Что ж, дело, — отозвался Варнер. — Но я тут вот что придумал. Школу-то вплоть до первого ноября открывать не обязательно. Можете оставаться покуда в Оксфорде и играть в свою игру. А потом приедете, откроете школу и начнете занятия. Можете сюда взять книжки из университета, чтоб не отстать от курса, а на те дни, когда понадобится сыграть в эту игру, возвращайтесь в Оксфорд и играйте, и пусть они там проверяют, продвинулись вы в своих книжках или нет, выучили что-нибудь или нет, или что им там от вас надо. Потом вернетесь в школу, и даже если на денек-другой задержитесь, не важно. Дам вам лошадь, которая дорогу одолеет часов за восемь. Отсюда и сорока миль до Оксфорда<sup>15</sup> нету. А в январе, когда понадобится сдавать экзамены — про это мне ваш отец говорил, — школу можете запереть и отправляйтесь, да и сидите там, покуда не разделаетесь с ними. А потом в марте школьников по домам распустили — и ступайте себе до следующего полугодия, хоть по самый конец октября, если нужно. Когда университет всего в сорока милях, вряд ли так уж трудно не отстать от курса, если по-настоящему хочешь. Ну как?

Варнер почувствовал, что на какое-то время собеседник перестал его видеть, хотя взгляда не отводил и глаза его по-прежнему были открыты. Лэбоув стоял совершенно неподвижно, в безукоризненно чистой белой сорочке, материал которой от многократных стирок уже стал похож на противомосkitную сетку, в непарных сюртуке и брюках, тоже абсолютно чистых, причем сюртук был ему маловат, и Варнер догадывался, что другим приличным костюмом стоявший перед ним парень не обзавелся, да и этот-то приобрел только потому, что пришел к выводу — может, сам, а может, и с чьей-то подачи, — что

---

<sup>15</sup> *Оксфорд* — родной город Фолкнера в штате Миссисипи, где находится университет. Хотя в топографии Йокнапатофы Оксфорду соответствует Джефферсон, местонахождение университета у Фолкнера всегда совпадает с реальным.



негоже в университетскую аудиторию в комбинезоне соваться. Стоял перед Варнером, погруженный не в недоверчиво-радостные мечтания и надежды, но в некую всепоглощающую ярость, а его жилистое тело было не то что выковано под ударами извне, но как бы отформовано и прокалено чем-то бьющим изнутри, как пламя из горна.

— Ладно. Буду здесь первого ноября, — сказал он, уже поворачиваясь уходить.

— А узнать, сколько платить собираются, не надо?

— Надо, — сказал Лэбоув, приостанавливаясь.

Варнер сказал. Он (Варнер и есть Варнер) так и не пошевелился в гамаке, так и лежал со сложенными крест-накрест ногами в носках домашней вязки.

— Насчет игры этой... — проронил он, — играть-то вам нравится?

— Нет, — сказал Лэбоув.

— Говорят, это почти все равно что настоящая драка.

— Да, — все так же односложно сказал Лэбоув и в почтительном ожидании замер, глядя на сухопарого хитрого старика, в прочувствованной праздности возлежащего без сапог на скрепленных проволокой бочарных клепках, на того, кто даже его, Лэбоува, словно уже заклеил печатью своего собственного несокрушимого убеждения в абсолютной несущественности той или иной секунды, любой их совокупности и теперь держит, заставляя тратить время на размышления о том, чего тот никому не рассказывал да и нечего тут рассказывать, неважно теперь уже все это. А начиналось это год назад, как раз под конец летних курсов. По окончании занятий он собирался вернуться домой: обещал отцу помочь с уборкой урожая. Но когда учиться оставалось совсем чуть-чуть, подвернулась работа. Сама, можно сказать, с неба свалилась. До той поры, когда хлопок можно будет собирать и запускать в очистку, оставалось еще две или три недели, с жильем у него было все улажено (живи хоть до середины сентября), поэтому расходов больших не предвиделось. Так что почти все заработанное пойдет ему в чистую прибыль. Решил поработать. Требовалось ровнять землю под футбольное поле. Он тогда не знал, что такое футбольное поле, да и знать не хотел. Для него это была просто возможность зарабатывать каждый день по столько-то долларов, и он, бывало, даже лопату не опускал, когда приходили на ум холодные и язвительные соображения насчет того, что это за игра такая, для которой приготовить землю куда сложнее, да и дороже гораздо, чем приготовить ту же землю под стоящий какой-нибудь посев: в самом деле, чтобы посев оправдал такие затраты времени и денег, надо как минимум золото выращивать. Так что, когда в сентябре, еще прежде чем работы закончились, полем начали пользоваться, он все еще насмехался, не любопытствуя нисколько, к тому же заметил, что появившиеся там молодые люди даже не в игру эту играли, а только упражнялись. Он на них поглядывал. Возможно, он поглядывал на них пристальнее или по крайней мере чаще, чем ему самому казалось, и при этом в его лице, в глазах мелькало что-то такое, о чем он даже и не подозревал, потому что однажды под вечер один из них (как уже выяснилось, этой игре их обучал платный инструктор) сказал ему: «Ты, верно, думаешь, что сможешь делать это лучше? Ладно. Идем, попробуешь». В тот вечер в сухой и пыльной сентябрьской темнотице он сидел на крыльце у тренера, в который раз спокойно и терпеливо отвечая «нет».

— Не буду же я залезать в долги ради какой-то игры! — сказал он.

— Да тебе и не придется, еще не хватало! — убеждал тренер. — За твое обучение будет уплачено. Спать можешь у меня наверху; будешь задавать корм лошади и корове, доить будешь, топить печку; харчами обеспечу. Ну, неужто не понимаешь?

Лицо его выдать не могло, поскольку было темно, и вряд ли что-то проявилось в его тоне. А все-таки тренер сказал:

— Понятно. Ты в это не веришь.

— Нет, — сказал он. — Не верю, чтобы кто-нибудь меня всем обеспечил только за то, что я буду играть в какую-то игру.

— А ты попробуй и увидишь сам. Давай — останешься, будешь играть, и посмотрим, когда с тебя деньги начнут требовать.

— А когда начнут, мне можно будет просто взять и уйти?

— Да, — сказал тренер. — Даю слово.

В результате он в тот же вечер написал отцу, что не приедет помогать с уборкой урожая, а если понадобится вместо него добавочный работник, вышлю, мол, деньги. Ему выдали форму, и в тот же день, точь-в-точь как в предыдущий, когда он играл еще в рабочем комбинезоне, один из игроков не сразу смог подняться, и тут новичку все растолковали: силовые приемы, грубость, правила, а он слушал и терпеливо пытался разграничить, разобраться: «А все-таки как же я донесу мяч до той линии, если позволю им поймать себя и сбить с ног?»

Он этого не рассказывал. Просто стоял у гамака, в своих чистых непарных одеждах, собранный и серьезный, кратко и спокойно отвечая «да» или «нет» на вопросы Варнера, пока в голове вереницей проносились скомканные обрывки совсем уже ненужных воспоминаний о том, что было и кончилось, осталось позади и никакого значения не имеет, подобно всей той осени, тоже мелькнувшей как во сне, свернувшейся, сжатой в комок. В ледяной чердачной комнате он вставал в четыре утра, растапливал печки в пяти домах пятерых преподавателей и возвращался кормить и доить скотину. Потом лекции, ученость и мудрость, по капле выделенная из всего, во что когда-либо проникала человеческая мысль, — сами увитые плющом стены, аудитории, строгие как монастырские залы, напоены ею, сочатся в изобилии, только вбирай, впитывай сколько хочешь, сколько позволяют способности и жажда знаний; вечером тренировки (вскоре ему разрешили через день пропускать их, и освободившимися вечерами он сгребал листья на пяти дворах), а еще надо наносить угля и дров, чтобы было чем назавтра топить печки. Потом опять корова, а потом, в пальто, которое дал ему тренер, с лампой сидеть за книжками в своей чердачной неотапливаемой клетушке, пока не заснешь прямо над страницей. И так пять дней, по нарастающей, вплоть до субботней кульминации: перебегать с этой никчемной, дурацкой дыней в руках через бессмысленное мельтешение белых линий. И все же в эти-то как раз секунды, при всем своем презрении, при всем закоснелом скептицизме и преданности суровому спартанскому наследию, — в эти-то секунды он и жил, неистовый и свободный, попирая ногами землю, весь в скорости, среди ударов, хриплого дыхания и хватких рук, подстегиваемый переменчивым ревом набитых битком трибун, но даже и тут сохранял язвительно-недоверчивое выражение лица. Еще эти башмаки...

Варнер глядел на него, заложив руки за голову.

— Еще эти башмаки... — вновь заговорил Варнер. «Это потому, что так я и не перестал сомневаться: продлится все это после очередной субботы или не продлится», — мог бы ответить Лэбоув. Но не ответил, просто стоял, спокойно опустив руки, глядя на Варнера. — Их, надо думать, там было всегда навалом?

— Ну, покупали их партиями. Всегда были на любой размер.

— Во-во, — подхватил Варнер. — Надо думать, всего-то и требовалось — сказать, жмет, мол, старая пара или, там, потерялась...

Лэбоув не отвел взгляда. Стоял, спокойно глядя в глаза человеку в гамаке.

— Я знаю, сколько стоят бутсы. А вот от тренера я все добивался, что с них проку. Для университета. Что проку с гола. С выигрыша.

— Понятно. Новую пару вы брали, только когда выигрывали. И домой прислали пять пар. Сколько раз вы играли?

— Семь, — сказал Лэбоув. — Из них один раз никто не выиграл.

— Понятно, — повторил Варнер. — Что ж, вам, надо думать, домой пора, выйти хоть засветло... А лошадь я вам подыщу, к ноябрю-то.

Школу Лэбоув открыл на последней неделе октября. И не успела неделя кончиться, как он кулаками усмирил мятежную вольницу, доставшуюся в наследство от предшественника. В пятницу вечером, на той самой лошади, которую обещал ему когда-то Варнер, он проскакал сорок с лишним миль от Оксфорда, утром сходил на лекции, вечером сыграл в футбольном матче, в воскресенье проспал до полудня и к полуночи был во Французовой

Балке, лежал на койке с сеником в нетопленной комнатухе под крышей на один скат. Комнатку эту он снимал у одной вдовы, в доме рядом со школой. Имущество у него было такое: бритва, непарный сюртук с брюками (его официальный костюм), две рубашки, пальто, подаренное тренером, два тома Коука и Блэкстоуна<sup>16</sup>, том сенатских отчетов штата Миссисипи, Гораций<sup>17</sup> и Фукидид<sup>18</sup> в подлиннике (подарок к Рождеству от профессора классической словесности, в доме которого он по утрам топил печку), да еще лампа, ярче которой в поселке никогда не видывали. Сверкающая никелем, с манометрами, поршнями и клапанами, она так царственно сияла у него на дощатой столешнице, что было само собой ясно; эта вещь дороже всех остальных его пожитков вместе взятых, и люди сходились по вечерам за много миль, специально чтобы поглазеть на ее яростное ровное сияние.

К концу той первой недели он уже всем примелькался: алчный рот, выбритые до синевы щеки, бесчувственные, застывшие глаза, напряженное некрасивое лицо, словно фотомонтаж: Вольтер пополам с пиратом елизаветинских времен<sup>19</sup>. Его тоже стали называть профессором, несмотря на то что выглядел он как раз на свой возраст (двадцать один год) и несмотря на то что в школе была единственная комната, в которой бок о бок теснились ученики всех возрастов — от шестилетних малышей до девятнадцатилетних взрослых балбесов, признающих только кулачный метод установления профессорского диктата, — и всех ступеней подготовки — от едва затвердивших азбуку до начинающих постигать начатки простых дробей. Всех и всему обучал он, и только он. Ключ от школы всегда лежал у него в кармане, совсем как у купца ключ от лавки. По утрам отпирал школу и подметал там; мальчишек сообразно с силой и возрастом свел в команды по заготовке дров и воды и в конце концов — увещеваниями, насмешками, поношением и просто силой — все-таки добился от них толку; по временам помогал им, не с тем, однако, чтобы показать пример, а высокомерно извлекая из этого некое самодостаточное физическое удовольствие: радостно выжигал в себе излишки энергии. Иногда безжалостно оставлял старших мальчишек после уроков, собою загораживал дверь, запирали ее и первым оказывался у раскрытого окна, когда вся братия туда устремлялась. Заставлял мальчишек лазать с ним на крышу — то drankу перестелить, то что-нибудь еще сделать, тогда как раньше все эти заботы брал на себя Билл Варнер, как попечитель, а прежний педагог лишь изводил его жалобами и просьбами. По ночам прохожим бросалось в глаза яростное мертвое сияние патентованной лампы в окне пристройки, где учитель корпел над своими книгами, которые он не то чтобы так уж любил, скорее сознавал, что должен их читать, поглощать и усваивать, и с тем же высокомерным усердием, с каким колол дрова, он выжимал из книг все досуха, соизмеряя ускользающие секунды невозвратимого времени с перевернутыми страницами, кропотливый и неутомимый, как гусеница листоедка.

Каждую пятницу он брал из загона Варнера жеребца, сильного, будто свитого из железных тросов, с головой, похожей на молоток, седлал его и гнал туда, где наметили следующий матч, либо на станцию, чтобы добраться поездом, порой едва успевая к началу игры — только форму натянет, и сразу свисток судьи. Но в понедельник утром он неизменно был уже снова в школе, пусть даже подчас это означало, что от четверга до понедельника он

---

<sup>16</sup> *Коук и Блэкстоун*. — Имеются в виду известные английские юристы, создатели теории права: сэр Эдвард Коук (1552–1634) и сэр Уильям Блэкстоун (1723–1780).

<sup>17</sup> *Гораций* (полное имя — Квинт Гораций Флакк; 65 г. до н. э. — 8 г. до н. э.) — римский поэт.

<sup>18</sup> *Фукидид* (ок. 460 — ок. 400 гг. до н. э.) — древнегреческий историк.

<sup>19</sup> В годы царствования английской королевы Елизаветы (1558–1603) многие прославленные мореплаватели, которым она покровительствовала (например, сэр Фрэнсис Дрейк), были пиратами. Их смелые нападения на испанские корабли и порты привели к победе Англии в морской войне с Испанией.

проводил в постели всего одну ночь, субботнюю. После приуроченной ко Дню Благодарения игры Миссисипского университета с сельскохозяйственным колледжем фото Лэбоува появилось в мемфисской газете. Он был сфотографирован в форме и — по этой причине во всяком случае — для жителей поселка вряд ли узнаваем. Но имя значилось его, и было оно вполне узнаваемо, только вот газету он в обратный путь с собой не захватил. Никто не знал, чем он там по выходным занимается, знали только, что у него есть какая-то работа в университете. Да кому все это было интересно! Он был уже вроде как свой, и хотя звание «профессора» предполагало некую исключительность, это была исключительность как бы женская, действующая только в мире женщин, подобно титулу его преподобия. Хотя вообще-то «профессору» не возбранялось выпить, пить с ним вместе никто не стал бы, и хотя в разговоре с ним соблюдалась не совсем та же осмотрительность, каковая требовалась перед лицом священника, все-таки позволю он себе в том же роде ответить, того и гляди, лишился бы к следующему полугодию должности, и он это понимал. Свое положение он принимал таким, как оно есть, и даже сам старался во всем соответствовать ожиданиям поселян — мрачновато основательный, не то чтобы зазнавшийся и не так уж агрессивно педантичный — просто серьезный и собранный.

Среди семестра, во время промежуточных экзаменов, он неделю пробыл в университете. Вернулся и убедил Варнера устроить площадку для баскетбола. Изрядную часть работы проделал сам, со старшими ребятами, и научил их этой игре. В конце следующего года их команда побеждала всех, кого бы ни выискивали они, с кем бы ни встречались на площадке, а еще через год — сам в числе игроков — он вывез команду в Сент-Луис, и там они, как были, босиком и в комбинезонах, вчистую выиграли первенство долины Миссисипи.

Привез своих ребят домой и счета с поселком на том покончил. Без пяти минут магистр гуманитарных наук и бакалавр права, за три года прослушавший весь курс. Предстояло в последний раз отсюда уехать — с книгами, с прекрасной лампой, с бритвой и с дешевой репродукцией картины Альма-Тадемы<sup>20</sup>, подаренной ему на второе Рождество тем же профессором классической словесности, — вернуться в университет к чересполосице занятий по теоретическим дисциплинам и практике права — одно за другим, с раннего утра и до вечера. Читать теперь приходилось в очках; выходя из одной аудитории и направляясь к следующей, он подслеповато щурился на свету — в тех же непарных сюртуке и брюках, единственной его приличной одежде, пробирался сквозь толпу, одетую так, как он, пожалуй, нигде и не видывал, пока не попал сюда: смеющиеся юноши и девушки, они даже не сквозь него смотрели, а просто не видели, обращая на него внимания не больше, чем на столбы с электрическими фонарями, которых, впрочем, до того как приехать сюда два года назад, он и впрямь прежде не видывал. Двигается, бывало, сквозь толпу студентов и все с тем же выражением лица, что и во время матча, когда внизу, изгвазданные шипами, выпархивают из-под ног белые полосы, поглядывает на девушек, пришедших сюда явно с целью подыскать себе мужей, и на молодых людей, чьи цели ему были и вовсе неведомы.

А потом настал день, когда вместе с другими он стоял во взятой напрокат мантии и шапочке, и ему выдали туго скрученный пергаментный свиток, размерами не больше свернутого календаря, и подобно календарю содержащий все эти три года: изгвазданные, продранные шипами белые полосы, ночи на неутомимом коне, другие ночи, которые он просидел — в пальто, обогреваясь только своей лампой, — над книгами, расправляя и переворачивая страницы мертвых спряжений. Двумя днями позже, в присутствии однокурсников, взошел на кафедру настоящего суда в Оксфорде, и его приняли в адвокаты. И все. Достиг слияния мечты с реальностью — вечером на банкете в обеденном зале гостиницы, где за шумным столом председательствовал городской судья в окружении преподавателей права и всяких других вершителей студенческих судеб. Это было

---

<sup>20</sup> *Альма-Тадема*, сэр Лоренс (1836–1912) — английский художник неоклассического стиля.



преддверие того мира, в который он с такими трудами пробивался вот уже три года, — четыре, если считать тот первый, когда цель была еще не видна. Оставалось только сидеть все с тем же застывшим на лице язвительным недоверием и ждать, когда замрет отзвук последней словесной виньетки, заглушённый последними рукоплесканиями, а потом встать и выйти из зала и двигаться дальше — вперед, в том направлении, которое избрал, давно, по меньшей мере года три назад, только вперед, без колебаний, без оглядки. Но он не смог. Даже при том, что первый сорокамильный рывок к свободе (ведь понимал, ведь сам так говорил!), к достоинству и самоуважению был уже сделан, он все-таки не смог. Вернуться, должен вернуться, назад, в замкнутый круг, повинувшись притяжению одиннадцатилетней девчонки, которая даже на переменке, посиживая, как кошка, с прижмуренными от солнца глазами на школьном крыльце и доедая холодную сладкую картофелину, создавала вокруг себя ощущение раскованной телесной нестесненности, точь-в-точь как богини его Гомера и Фукидида: одновременно распутные и непорочные, девственницы и вместе с тем матери воинов, зрелых мужчин.

В то утро, когда брат впервые привез ее в школу, Лэбоув только воскликнул про себя: «Нет. Нет. Не надо. Не надо ее здесь оставлять!» В школе он тогда преподавал всего лишь год, точнее — полугодие из пяти месяцев, еженедельно прерывавшееся ночными поездками в Оксфорд и обратно, да еще с двухнедельным перерывом на экзаменационную сессию в январе, но тем не менее не только вытаскивал школу из хаоса, в котором ее оставил предшественник, но и придал занятиям некое подобие порядка. Один, без помощника, в единственной комнате, где не было даже перегородки, он тем не менее подразделил учеников по их способностям и подготовке и привел занятия в какую-то систему, не только подчинившую себе школьников, но и завоевавшую в конце концов их признание. Однако не был он ни горд, ни даже доволен. Доволен был только тем, что это все-таки прогресс, движение, и пусть их познания не бог весть как расширятся, но уж порядку и дисциплине он их научит. Потом однажды утром, оторвавшись от корявой классной доски, он увидел личико восьмилетней девочки, рослой как четырнадцатилетняя, с формами женщины двадцати лет, причем, едва переступив порог, она привнесла в унылую, полутемную, выстуженную обитель суровых отправлений протестантского начального образования влажное дуновение сладостного весеннего соблазна, языческого всепобеждающего преклонения перед верховным культом изначального лона.

Он только раз на нее взглянул и уже увидел то, что ее брату уготовано было узнать последним. Увидел, что она не только не будет учиться, но и нет в учебниках, да и вообще в книгах нет никакого необходимого ей знания — ей, уже от рождения всем оснащенной не только для сражений, для противоборства, но и для преодоления всего, чем ни надумает ей преградить дорогу изобретательная судьба. Увидел дитя, чей облик следующие два года ему предстояло наблюдать с чувством, принятым поначалу за раздражение, и только: девочка восьми лет и уже настолько взрослая, что стадия женского созревания у нее началась и завершилась не иначе как еще в материнской утробе, и вот теперь, даже и не самоуглубленная, но зачарованно-безмятежная, она покорялась понуждающим к движению внешним силам всего лишь с тем, чтобы переместить из одних четырех стен в другие это свое осязаемо застывшее ожидание, пронизывающее и объемлющее всю массу дней неубыстряемо-медлительно вызревающего времени, когда придет — кто бы он ни был — тот мужчина, чье имя, чье лицо пока ей неведомо, невидано, и вломится, и все нарушит. Пять лет предстояло учителю наблюдать, как ее каждое утро доставляет в школу брат, после ухода которого девчонка продолжает сидеть так же, там же, чуть ли не в той же позе, как брат ее оставил, и ее сложенные на коленях руки часами покоятся, словно два никак с нею не связанных дремлющих тела. Когда все-таки удавалось привлечь ее внимание, она отвечала «не знаю», а если учитель настаивал — «мы этого еще не проходили». Так, будто ее мускулы, вся ее плоть недоступны ни усталости, ни скуке, или словно она, как истый символ дремлющего детства, наделена жизнью, но не чувственным ее восприятием, и только ждет, пока явится брат, этот снедаемый ревностью жрец-евнух, и заберет ее.

Каждое утро она появлялась со своим клеенчатым портфелем, в котором если и носила что-нибудь кроме печеного сладкого картофеля (жевала его на переменах), то Лэбоув этого не замечал. От одного того, как она шла по проходу между рядами, деревянные скамьи и парты сами собой превращались в священную рощу Венеры, а все до единого представители мужского пола — от мальчишек, едва вступивших в пору возмужания, до взрослых парней по девятнадцать-двадцать лет, из которых один уже был мужем и отцом, и любой мог от восхода до заката перепахать десять акров земли — все до единого бросались в драчливое соперничество, докучливые в своем стремлении затмить всех остальных жертвенным рвением. Иногда по пятницам в школе устраивались вечеринки, где ученики могли предаваться дразнящим забавам отрочества под присмотром учителя. Она не принимала участия в забавах и тем не менее была их центром. Посиживала у печки в точности так же, как сидела на уроках, рассеянно и равнодушно поглядывая, безмятежная среди буйства, взвизгов и топота, и при этом именно она подвергалась сразу дюжине поползновений сразу в дюжине темных уголков и закуточков и под дюжиной разных пестрядевых и ситцевых платиц. В своем классе она была не из лучших и не из худших, причем первое не потому, что не желала учиться, второе не потому что она дочь Варнера, от которого зависела вся школа, а потому, что уже на следующий день после ее прихода не оставалось ни лучших, ни худших. К концу года вообще не осталось младшего класса, из которого ее можно было бы перевести в следующий, а все по той причине, что невозможно было ей оказаться ни в начале, ни в конце чего бы то ни было, наделенного жизнью, живой кровью. Все вокруг нее свертывалось на манер пчелиного роя, в какой-то ком с единственной выделенной точкой, и именно она была этой точкой, этим центром, вокруг нее роились, ее домогались, тогда как она, оставаясь безмятежной и недоступной, по видимости, даже не замечала происходящего, спокойно низводя и попирая всю плодоносную цепь человеческих раздумий и мучений, которая зовется знанием, образованием, премудростью, одновременно предельно непростой и неприкосновенной: царица, матка.

Он наблюдал это два года, все еще принимая свое чувство за раздражение, и только. В конце второго года предстояло закончить университет, получить свои два диплома. После этого все, конец. Единственная причина его работы в школе отпадет и исчезнет. Цель достигнута, замысел воплощен, ну а цена — что ж, не самым меньшим испытанием были эти ночные поездки за сорок миль в университет и обратно, ведь он, верный обычаям и традиции фермеров-пахарей, ради забавы на лошадь не садился. Тогда можно будет отправиться дальше, поселок отринув, забыть о нем навсегда. Первые шесть месяцев он был в своей решимости уверен, следующие восемнадцать только уверял себя в ней. Особенно легко не только самоуверения, но и сама решимость давались издали, когда он уезжал из поселка в университет на последние два месяца весеннего семестра и следующие за ними восемь недель летнего, в который он кусками упикивал свой четвертый учебный год, да потом еще во время тех восьми недель, что в школе считались его каникулами, а проходили на пилораме, хотя в деньгах он теперь не нуждался (до окончания университета и так бы хватило), но лучше иметь в кармане побольше, когда, в последнюю дверь выйдя, встанешь на трудную прямую дорогу: ведь тут уже ничего нет между тобой и твоей высшей целью, кроме тебя самого; да еще в те шесть недель осени, когда каждую субботу под вечер изгвазданные белые линии выпархивали из-под ног и кругом весь воздух вопил и был в истерике, а он — вот в эти скоротечные секунды он как раз и жил: свободный, яростный, сосредоточенный, при всем своем недоверии.

Потом однажды он обнаружил, что почти два года лгал сам себе. Произошло это после возвращения в университет во вторую весну, примерно за месяц до выпуска. Официально он от места в школе не отказался, хотя, покидая поселок месяц назад, не сомневался в окончательности отъезда: в самом деле, они с Варнером определенно договорились, что он нанимается учителем только для того, чтобы дотянуть до диплома. В общем, думал, что уезжает навсегда. До выпускных экзаменов оставался месяц, потом адвокатская стажировка, и двери перед ним раскроются. Ему даже должность пообещали на поприще, им самим

избранном. Потом однажды вечером — ему это было как снег на голову — зашел он в обеденный залчик своего пансиона, и тут хозяйка выходит и говорит: «Хочу вот угостить вас. Смотрите, что принес мне зять», — и ставит перед ним тарелку. Там была сладкая картофелина, печеная, единственная, и пока хозяйка ахала: «Да что с вами, мистер Лэбоув, вы не заболели?» — он уже успел встать и выйти. Попав наконец к себе в комнату, он почувствовал, что должен отправляться сейчас же, не откладывая, пешком так пешком. Он видел ее воочию, чувствовал даже ее запах — вот она сидит там, ест свою картофелину, спокойно жует, ужасающая в своей способности держаться так, будто она не только ненароком оказалась вся вовне своего платья и ничего не может с этим поделать, но словно она голая и даже не догадывается об этом. Теперь он понял, что вовсе не школьным крылечком, а его мыслями она завладела, неотступно пребывая в них все эти два года, что вовсе это был не гнев, не раздражение, а ужас и что врата, которые он воздвиг перед собой как цель, были не целью, а рубежом спасения, — так человек, в минуту опасности избравший бегство, бежит не ради приза, а стремясь вырваться из чреватых смертью пределов.

Но до конца он все-таки тогда не сдался, хотя и произнес впервые вслух: «Нет, не вернусь». Прежде эти слова произносить нужды не было, поскольку до той поры он был убежден, что уйдет. Что ж, по крайней мере он еще мог себя уверять в этом, ведь вслух сказать — уже много значит, и только на этом одном он дотянул до выпуска, до адвокатских испытаний и перетерпел банкет. Перед самым началом торжества к нему подошел один из таких же, как он, неофитов. Мол, после банкета все едут в Мемфис для более углубленного и менее формального ликования. Он понимал, что это означает: напьются в гостинице, а после — не все, но уж кое-кто непременно — прямым ходом в бордель. Он отказался — не потому, что дорожил невинностью, и не потому, что не было денег на подобного рода траты, а потому, что до самого конца все надеялся, как истый выходец из низов все еще хранил в себе чисто эмоциональную, совершенно безосновательную веру в образование, в белую магию латыни на дипломном пергаменте — чувство, в сущности, такое же, как вера старого монаха в свой деревянный крестик. Потом последний спич отзвучал, потонув в рукоплесканиях, в шарканье стульев; дверь открыта, дорога ждет, но он знал, что не сделает по ней ни шагу. Подошел к парню, который звал в Мемфис, и изъявил согласие. Вместе с остальными сошел в Мемфисе с поезда и спокойно спросил, где здесь бордель.

— Вот черт! — попробовал урезонить его один из их компании. — Неужто не потерпишь? Давай сперва хотя бы в гостиницу определимся.

Терпеть он не стал. Вызвал адрес и пошел один. Решительно постучал в неподобающую дверь. Проку не жди. Да и не ждал он. Было в нем то, без чего невозможно изведать до конца ни бесстрашия, ни страха: умение в критический момент взглянуть на себя со стороны и вообразить картину своего поражения (что само по себе чревато неудачей и бедой). «По крайней мере хоть моя невинность будет ни при чем, когда она меня с презрением отвергнет», — твердил он себе. Наутро выпросил у своей ночной подружки листок дешевой линованной бумаги из блокнота и конверт (розовый, еще слегка пахнущий духами) и написал Варнеру, что остается в школе на следующий год.

Он там остался еще на три года. За это время сделался и впрямь монахом: унылый школьный домишко, чахлый маленький поселок был его горой Галилейской, его Гефсиманией и — он сам понимал это — его Голгофой тоже<sup>21</sup>. Учитель превратился в такого искушаемого плотью анахорета былых времен. Нетопленная каморка в пристройке была его кельей, тощий сенник, брошенный прямо на дощатый пол, — ложе из камней, на которое он падал ниц, зимними ночами в стальную стужу обливаясь потом — голый,

---

<sup>21</sup> Согласно Евангелиям, на горе в Галилее Иисус Христос проповедовал перед учениками; в Гефсиманском саду близ Иерусалима провел последнюю ночь, «ужасаясь и тоскуя» в предчувствии казни; Голгофа — место его распятия.

закоченевший, стиснутые зубы, лицо ученого, волосатые ноги фавна. Потом наставал день, он подымался, одевался, что-то ел, даже не чувствуя вкуса. Он и прежде особого внимания еде не уделял, но теперь подчас не мог вспомнить, ел он сегодня или нет. Потом выходил, отпирал школу, садился за свой стол и ждал, когда она пройдет между рядами парт. Давным-давно уже закрадывалось в голову: не жениться ли на ней, подождать, когда подрастет, да и — чем черт не шутит — посвататься к ней, попытаться, но эту мысль он отбросил. Во-первых, ему вовсе не нужна жена, сейчас по крайней мере, а возможно, и никогда нужна не будет. К тому же не в жены он ее хотел заполучить, она ему нужна была на один раз, как человеку с гангренозной рукой или ногой нужен только один удар топора, чтобы хоть как-то уцелеть. Но он бы заплатил и эту цену, лишь бы освободиться от наваждения, да только знал он: никогда этому не бывать, и не только потому, что отец не согласится, а из-за нее самой — было в ней нечто, в корне отрицающее меновую стоимость любой посвященной ей отдельно взятой жизни, любой способности к поклонению, нечто низводящее к смехотворному пустяку любой отпущенный отдельно человеку запас так называемой любви. Он чуть ли не воочию видел, кто когда-нибудь станет ее мужем. Карлик, гном — ни желез, ни желания, — и физически он будет в ее жизни значить не больше, чем имя владельца на форзаце книги. Ну вот, снова книги, все опять из книг, слепой, непропечатанный шрифт, уже заманивший его черт-те куда, мертвое подобие картины: Венера и Вулкан<sup>22</sup>, калека, который не обладает ею, а просто владеет, тупо, по праву сильного, за счет голой власти — той, что дают деньги, богатство, побрякушки, цацки, точно как он владел бы... нет, не картиной, не статуей, а, например, полем. Вот оно перед глазами: прекрасная тучная земля, плодоносная почва, податливая и недосыгаемая, и недоступная как раз ему — тому, кто заявил на нее свои права, — лежит, в полном о нем забвении вбирая в себя вдесятеро против того количества живого семени, какое способен скопить и исторгнуть за всю свою жизнь владелец, и производя в тысячу раз больше, чем владелец смел даже надеяться собрать и сохранить.

Так что это отброшено. Но все же он не уезжал. Не уезжал ради того, чтобы, дождавшись окончания последнего урока, когда все разойдутся и школа опустеет, иметь возможность встать и со спокойной обреченностью в лице подойти к той самой скамье, положить ладонь на вытертую деревяшку, нагретую под тяжестью ее тела, или даже встать на колени и лицом прильнуть к сиденью, заключить в объятия бесчувственное дерево, потереться, нежась, о него щекой, пока еще в нем чудится тепло. Он сошел с ума. И понимал это. Временами даже бывало, что ему не хотелось любить ее, а хотелось мучить, ранить, увидеть брызнувшую, хлынувшую кровь, сверху смотреть, как это безмятежное лицо исказит неизгладимая мета ужаса и боли, хотелось оставить на нем свою неизгладимую мету, а после этого смотреть, как оно даже лицом быть перестает. Потом наваждение покидало его. Он изгонял из себя беса, и сразу они менялись с нею местами. Теперь уже он во прахе у ее ног, а в вышине над ним это лицо, даже в четырнадцать лет дышавшее усталым знанием, которого ему никогда не обрести — всего этого пресыщения, всей этой отрыжки порочного опыта. Перед этим знанием он как ребенок. Как дева, юная и невинная, вне себя от растерянности, сбита с толку и попавшая в тенета не опыта и зрелости соблазнителя, но слепых и безжалостных сил в ней самой, которые, как она вдруг поняла, дремали в ней годами, а она даже не подозревала об их существовании. И к этой умудренности, простертый ниц, он униженно взывал: «Покажи, что делать. Повелевай мною. Я сделаю все, что ты скажешь, что угодно, лишь бы познать то, что тебе ведомо». Он сошел с ума. И понимал это. Он понимал, что рано или поздно что-то произойдет. И понимал, что так или иначе, но именно он будет разбит и уничтожен, пусть даже он пока и не догадывается о том, где пролегла та

---

<sup>22</sup> *Венера и Вулкан*. — В греко-римской мифологии Венера (Афродита) — богиня любви и красоты. Ее мужем является Вулкан (Гефест) — самый безобразный из богов, хромоногий кузнец, которого она обманывает с Марсом (Аресом), богом войны.



единственная роковая трещинка в его броне, трещинка, которую она найдет безошибочно и инстинктивно, не успев даже осознать, насколько велика была опасность. «Опасность? — подумал, нет, выкрикнул он. — Опасность? Не для нее опасность, а для меня. Мне страшно оттого, что я могу сделать, но не за нее страшно, потому что ни один мужчина не может сделать ничего такого, что причинило бы ей вред. А за себя, из-за того, что тогда будет со мной».

Потом однажды под вечер он обрел свой топор. И продолжал рубить с доходящим чуть ли не до оргазма наслаждением в болтающихся нервах и сухожилиях гангренозной конечности еще долго после того, как обрушился первый неловкий удар. Сперва ни звука. Последние шаги уже затихли, и дверь хлопнула в последний раз. Как она вновь отворилась, он не услышал. Хотя что-то все-таки заставило его поднять приникшее к теплоте сиденью лицо. Она была опять в классе, стояла, глядя на него. Он чувствовал, что она не только узнала место, у которого он преклонил колени, но и поняла, почему. Возможно, в этот миг он осознал, что она всегда все понимала, потому что он тотчас заметил, что она не боится, не смеется над ним, а просто ей все равно. К тому же она не догадывалась, что стоит лицом к лицу с человеком, решившимся на убийство. Она спокойно отпустила ручку двери и прошла между рядами парт к доске, туда, где стояла печка.

— Джоди еще нету, — сказала она. — Там холодно. А зачем вы под парту залезли?

Он встал. Она шла не останавливаясь, со своим клеенчатым портфелем, который таскала с собой уже пять лет, но дома едва ли открывала, разве что с тем, чтобы положить туда холодную сладкую картофелину. Он двинулся к ней. Она остановилась, глядя на него.

— Не надо бояться, — сказал он. — Не надо бояться.

— Бояться? — отозвалась она. — Чего? — она отступила на шаг, потом застыла, глядя ему в глаза. Она не боялась. «Этого она тоже еще не проходила», — подумал он, а потом что-то яростное и холодное, будто он что-то утратил и сам же от утраченного отрекался, пронзило его, хотя и не отразилось на лице, слегка даже улыбающемся, печальном, измученном и обреченном.

— То-то и оно, — сказал он. — В том-то и дело. Не боишься. Этому придется тебе научиться. Уж этому-то я тебя научу.

Однако он уже научил ее кое-чему иному; правда, выяснить это ему предстояло только через минуту-другую. Она действительно кое-чему научилась за пять лет в школе, и теперь ей предстояло держать по этому предмету экзамен и сдать этот экзамен. Он шел на нее. Она стояла не двигаясь. Потом оказалась в его руках. Он налетел так быстро и безжалостно, словно она держала мяч или словно у него был мяч, а она стояла между ним и последней белой полосой, которую он ненавидел и до которой должен был добраться. Он налетел на нее, и два тела сшиблись и закружились в едином неистовом вихре, потому что она даже не попыталась увернуться, не говоря уже о сопротивлении. Казалось, она на миг подпала под гипноз, пораженная этим неожиданным мягким соударением, большая, неподвижная, глаза почти вровень с его глазами, — все это тело, которое всегда было как бы вонне покровов и, даже не ощущая этого, превращало в приапический сумбур<sup>23</sup> то, чему, ценой трех лет долготерпения, жертвенного самобичевания и непрестанной борьбы со своей собственной неумолимой кровью, он купил себе право посвятить жизнь — тело такое текучее и бескостное, словно какое-то заколдованное, не растекающееся молоко.

Потом это тело собралось для яростного и безмолвного сопротивления, в котором даже тогда он был вполне способен распознать не страх и даже не отвращение, а просто досаду и удивление. Она была сильной. Он знал это заранее. Он и хотел этого, ждал этого. Они яростно схватились. Он все еще улыбался, даже бормотал: «Так-то вот! Давай-давай. Поборемся. В том-то и беда: мужчина и женщина вечно борются. Ненавидят. Убить, но

---

<sup>23</sup> В античной мифологии Приап — фаллическое божество производительных сил природы. Праздники в его честь отличались крайним сексуальным неистовством.

только так, чтобы убитый на веки вечные понял, что она или он мертв. Не так, чтобы он лег спокойно мертвым, потому что с той поры и навсегда в могиле оказались бы двое, а эти двое никогда не смогут мирно улечься вместе, и порознь они — ни один из них — не смогут улечься и успокоиться, пока живы». Он обхватил ее некрепко, так, чтобы лучше чувствовать яростное сопротивление костей и мускулов, слегка придерживал, не давая добраться до его лица. Она не издала ни звука, несмотря на то что брат, никогда не опаздывавший за ней заехать, наверняка был уже у дверей школы. Лэбоув об этом не думал. Наверное, ему это было безразлично. Придерживал ее, по-прежнему с улыбкой, бормоча обрывочную мешанину из греческих и латинских стихов и миссисипско-американских непристойностей, как вдруг ей удалось высвободить одну руку, и локоть с силой поддел его под подбородок. Он пошатнулся; прежде чем он вновь обрел устойчивость, полновесный удар другой руки пришелся ему в лицо. Он отшагнул назад, споткнулся о скамью, повалился и повалил скамью на себя. Юла стояла над ним, дыша глубоко, но без одышки и даже не растрепавшаяся.

— Нечего меня лапать, — сказала она. — Вы, старый безголовый всадник. Икабод Крейн<sup>24</sup>!

Когда затихли звуки ее шагов и затворяемой двери, в тишине громко раздалось тиканье дешевых часов, которые он привез из своей комнаты в университете, звуки падали с металлическим дребезгом, как дробинки в жестяное ведро, но, прежде чем он начал подниматься, дверь снова отворилась, и он, сидя на полу, опять глядел, как она идет, возвращается по проходу.

— Где тут моя... — начала она, но тут же увидела, подхватила с пола портфель и снова повернулась к выходу. Опять он услышал, как хлопнула дверь. «Значит, она ему еще не сказала», — подумал Лэбоув. Он знал ее брата. Тот не стал бы медлить, отвозить ее сперва домой, явился бы тотчас, наконец-то во всеоружии правоты после пяти лет ни на чем не основанной бешеной уверенности. Что ж, на худой конец, хотя бы это. Пусть не с нею: слов нет — с нею сорвалось, но это было бы от той же самой плоти, то же телесное, живое тепло и та же кровь, хотя бы под ударом: некий пароксизм, вроде оргазма, катарсис, ну хоть бы что-нибудь — хотя бы это. С тем он и поднялся, подошел к своему столу, сел и повернул часы циферблатом к себе (до этого они стояли под углом, чтобы можно было следить за временем с того места у доски, где он обычно выслушивал ответы учеников). Расстояние между школой и варнеровским домом было ему известно, а на коне он достаточно поездил в университет и обратно, так что не составляло труда прикинуть время поездки верхом. «Назад небось галопом бросится», — подумал он. Отмерил расстояние, которое должна пройти минутная стрелка, и сидел, смотрел, как она подползает к выбранной им отметке. Потом оторвал взгляд и оглядел единственное сравнительно свободное пространство в комнате, где стояла печка и доска на козлах. Печку не сдвинешь, доску — другое дело. Но даже и тогда... А может, лучше встретить брата во дворе: иначе кто-то может пострадать. Потом ему пришло в голову, что это как раз и требуется — чтобы кто-то пострадал, — и тут он спокойно спросил себя: «Кто? — и ответил сам себе: — Не знаю. Все равно». Тут он снова устался на циферблат. И даже когда минул целый час, он все еще никак не мог поверить, что его постигла последняя и окончательная катастрофа. «Наверное, он стережет меня в засаде, залег с револьвером. Но где? Какая засада? Какая еще ему засада удобнее этой?» — а перед глазами уже была она, как она войдет опять завтра утром, спокойная, безмятежная, уже все забывшая, со своей холодной картофелиной, которую на перемене съест, сидя на солнечном крылечке, похожая на какую-нибудь из нецеломудренных и, может, даже неизвестно от кого понесших во чреве богинь, вкушающих хлеб бессмертия на солнечном

<sup>24</sup> Не вполне точная аллюзия на новеллу американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга (1783–1859) «Легенда о Сонной Лощине». Икабод Крейн в новелле — сельский учитель, влюбленный в единственную дочь богатого фермера, которая отдает предпочтение его счастливому сопернику Брону Бонсу. Чтобы избавить ее от докучливых притязаний учителя, Бонс, прикинувшись жутким призраком Всадника без головы, ночью гонится за ним на коне, после чего напуганный Икабод бесследно исчезает из поселка.

склоне Олимпа.

И вот он поднялся, собрал свои книги и бумаги, которые вместе с часами уносил в свою голую комнатенку каждый вечер и приносил каждое утро обратно, сунул их в стол, задвинул ящик, носовым платком вытер столешницу, двигаясь неторопливо, но методично, с невозмутимым лицом завел часы и поставил их опять на стол. Пальто, которое футбольный тренер подарил ему шесть лет назад, висело на гвозде. Секунду он глядел на пальто, но все же встал, взял его и даже надел, и вышел из комнаты, наконец опустевшей, из комнаты, где все-таки всегда и было и будет впредь слишком много народу; где с того самого первого дня, когда брат привел в класс эту ученицу, всегда было слишком многолюдно и тесно, да и в любой комнате, где бы она ни очутилась, где бы ни провела она времени достаточно, чтобы вздохнуть, даже в одиночестве будешь чувствовать себя так, словно тебе тесно.

Едва он вышел, сразу же увидел чалого жеребца на привязи у столба перед лавкой. «Ну правильно, — спокойно подумал он. — Естественно, не будет же он всюду таскать револьвер с собой, да и дома хранить под подушкой тоже не очень-то к месту. Конечно. В том-то и дело. Тут-то он револьвер и держит», — продолжал убеждать себя учитель, говоря себе, что ее брату, возможно, нужны свидетели, как нужны они ему самому, и с лицом теперь уже трагически спокойным направился к лавке. «Вот, пусть это будет доказательством, — кричал он про себя. — Доказательством в глазах и в сознании всех живущих, что случилось то, чего не случилось. И это лучше, чем ничего, хоть меня уже и не будет, чтобы убедиться, что люди поверили. И в сознании всех живущих это застрянет на веки вечные, тем более неискоренимо, что только двоим ведомо иное, и один из этих двоих будет мертв».

День был серым, плотности и цвета железа, один из тех безветренных студенисто-окоченелых дней, чересчур мертвенных даже для того, чтобы разрешиться снегом, таких дней, когда даже свет не меняется, а появляется из ничего на рассвете и, испустив дух, без перехода растворяется в темноте. Поселок будто вымер: запертые ставнями и примолкшие хлопкоочиститель с кузней, почерневшая от непогоды лавка; о наличии жизни напоминал лишь неподвижно стоявший конь, да и то не потому, что шевелился, а потому, что с виду напоминал нечто заведомо признанное живым. Но в лавке-то наверняка люди есть. Он их воочию видел: в тяжелых башмаках и сапожищах, в комбинезонах и грубых рабочих куртках, оттопыренных толщей всяческого надетого под них утепления — угнездились небось вокруг ящика с песком, на рябой поверхности которого, тяжело раскорячившись, стоит печка, пышет добрым, сильным жаром, имеющим даже свой запах — мужской, почти монастырский, сгустившийся дух зимней отрешенности от женского начала, дух прицельных табачных плевков, выгорающих на железных боках печки. Добрый жар; можно войти в него — и не с сурового бесплодного мороза, но из самой жизни: ступенька за ступенькой подняться, шагнуть через порог и за пределы бытия. Конь поднял голову и смотрел на него, пока он проходил мимо. «Нет, не тебе, — сказал он коню. — Тебе стоять снаружи, здесь стоять, в стороне от крови, которой суждено пролиться. А мне вот надо идти». Он взошел по ступенькам, пересек истертые множеством каблуков доски галереи. На затворенной двери висел наполовину содранный плакат с рекламой патентованного средства: чье-то лицо, самодовольное, бородатое, лицо человека удачливого, живущего где-то далеко, с женой, с детьми, в богатом доме и вне досягаемости для страстей и кровной мести, того, кому не надо даже умирать, чтобы, распятую кнопками на двери, оставить по себе память, вездесущую и нетленную в десяти тысячах ликов, изодранных и выпцветающих на десяти тысячах потемневших под дождями некрашенных дверей, стен и заборов, увешанных ими по всей стране наперекор погодам — от дождя и лютой наледи до летней палящей жары.

Потом, уже взявшись за ручку двери, готовый нажать на нее, он помедлил. Однажды (ну да, конечно, он ехал тогда играть в футбол: он и на поезд иначе как для этого ни разу не садился, разве что в тот раз — добраться до Мемфиса) он сошел на унылую станционную платформу. В дверях вокзала вдруг поднялась какая-то суматоха. Послышались вопли, ругань, из дверей выбежал негр, за ним, с криком, белый мужчина. Негр, пригибаясь, повернулся, очевидцы отпрянули, и белый выстрелил из тупого пистолета в негра.

Запомнилось, как негр, схватившись за живот, упал ничком, потом вдруг перевернулся на спину, стал вытягиваться, словно пытаясь добавить целый ярд к своему росту; на изрыгающего ругань белого мужчину набросились, обезоружили, паровоз свистнул, и поезд потихоньку тронулся; железнодорожник в форме выскочил из толпы и побежал за поездом и, уже с подножки, все продолжал глядеть назад. А еще запомнилось, как он сам расталкивал толпу, машинально пользуясь футбольными приемами, пробился и смотрел на негра, а тот недвижимо лежал на спине, все так же держась за живот, с закрытыми глазами и совсем мирным лицом. Потом какой-то человек — врач, а может, станционный служащий, это осталось неясным, — опустившись на колени, склонился над негром. Он пытался разнять негру руки. Никаких внешних признаков сопротивления не было, просто ладони и все целиком руки негра под прикосновениями этого доктора или дежурного по станции сделались словно чугунными. Негр ни глаз не открыл, ни его мирное выражение лица не изменилось, он только сказал: «Да что ж это вы, белые люди, делаете. Вы ж меня застрелили». Но в конце концов руки негру расцепили, и запомнилось, как с него стаскивали куртку, комбинезон, под которым был какой-то драный полувоенный френч, оказавшийся старой шинелью, обрезанной по бедра чем-то острым, как видно, бритвой; под шинелью была рубаша и штатские брюки. Когда брюки расстегнули, пуля выкатилась на платформу, чистая, не окровавленная. Он отпустил ручку двери, снял пальто и перебросил его через руку. «По крайней мере с этим хлопот не доставлю», — подумал он, открыв дверь и ступая через порог. Сначала показалось, что комната пуста. Печь в ящике с рябым песком, вокруг печи бочонки из-под гвоздей и перевернутые ящики; слышался даже душный запах выгорающего табачного плевка. Но никого не было, никто не сидел на бочонках и ящиках, и, когда спустя секунду он увидел одутловатую, сердито насуспенную физиономию ее брата, поднявшегося ему навстречу со своего места за конторкой, на мгновение им овладела досада и возмущение. Пришло в голову, будто Варнер нарочно очистил помещение, всех отослал прочь специально, чтобы лишить его последней поддержки, не допустить возможности утверждения его победы, которую приходится покупать ценой собственной жизни; и вдруг он ощутил в себе яростное, просто бешеное нежелание умирать. Резко пригнувшись, ступил в сторону, уже увертываясь, рыская и поисках какого-нибудь оружия, пока Варнерово лицо вздымалось над конторкой выше, выше, словно желтушная луна.

— Ну, что вам еще надо? — заговорил Варнер. — Сказано же вам два дня назад, что стекла еще не завезли.

— Стекла? — эхом отозвался Лэбоув.

— Да приколотите там пару досок, — продолжал Варнер. — Вы что, думаете, я специально поеду в город, только чтобы вам за шиворот не надуло?

Тут он вспомнил. Стекла побили во время рождественских праздников. Временно он заколотил окно досками. И совсем забыл об этом. И о том, что ему говорили два дня назад про обещанные стекла, тоже забыл, как и о том, что сам о них справлялся. А теперь и вовсе — стекла, рамы — все это вылетело из головы. Тихо выпрямился и встал, с пальто через руку, и даже угрюмое, недоверчивое лицо перед ним словно пропало из виду. «Да, — спокойно подумал он. — Да. Понятно. Она ему вовсе ничего не сказала. И не забыла даже. А просто не поняла, что случилось то, о чем следовало бы сообщить». Варнер все еще говорил, значит, кто-то ему все же ответил.

— Ну, так что же вам тогда нужно?

— Гвоздь нужен, — проговорил он.

— Ну так возьмите, — лицо Варнера уже исчезло, растворилось в темноте над конторкой. — Молоток занесете потом...

— Молоток мне не нужен, — сказал он. — Нужен только гвоздь.

Тот дом, где в неотапливаемой пристройке он прожил теперь уже шесть лет со своими книгами и яркой лампой, был между лавкой и школой. Проходя мимо, он на него даже не взглянул. Вернулся к школе, затворил и запер дверь. Обломком кирпича вогнал гвоздь в стену около двери и повесил на него ключ. Школа была у дороги на Джефферсон. А пальто



было уже при нем.

## Глава вторая

### 1

Всю ее четырнадцатую весну и пришедшее следом долгое лето юнцы пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, учившиеся с нею в школе, да и не учившиеся тоже, роились вокруг нее словно осы вокруг спелого персика, на который были похожи ее пухлые влажные губы. Ребят было около дюжины. Из них сплотилась группа, тесная, однородная и шумливая, и в этой группе она была неподвижной осью, таким постоянно и непрерывно что-то жующим центром. Были в их компании и еще три-четыре девочки, не столь заметные, хотя нарочно ли она их держала при себе для фона, было не ясно. Все эти девочки были меньше ее ростом, хотя, как правило, годами старше. Казалось, то изобилие, что снизошло на нее еще в колыбели, дав ей возможность затмить всех вокруг чертами лица и формами тела, гладкостью кожи и великолепием волос, на том не успокоилось, нет, надо было вконец уничтожить всех ее возможных соперниц, подавив их окончательно уже просто размерами, объемом, весом.

Ребята собирались по меньшей мере раз в неделю, порою чаще. Сойдутся, бывало, в церкви воскресным утром и сядут в ряд, заняв две соседние скамьи, и вскоре эти две скамьи стали их признанным местом, с согласия как паствы, так и священника — все равно что класс или какой-нибудь изолятор. Встречались они и на общественных вечеринках, происходивших в пустовавшем помещении школы, которой предстояло почти два года служить только для развлечений, пока не дождались нового учителя. Приходили уже все вместе; в играх, где требовалось разбиваться на парочки, неизменно выбирали кого-нибудь из своих, при этом мальчишки паясничали, безжалостно-насмешливые и громогласные. Больше всего это напоминало еженедельную встречу масонов, ненароком очутившихся где-нибудь в Африке или Китае. Вместе и уходили, тесной шумливой гурьбой шагали по залитой светом луны и звезд дороге, провожали этот драгоценный центр всей компании до ворот отцовского дома и разбредались. Если между мальчишками и случались потасовки из-за того, кому именно провожать ее до дому, об этом никто не знал, тем более что никто не видел, чтобы ее откуда-нибудь провожал кто-то один; впрочем, она и вообще куда бы то ни было ходила только в случае полной невозможности уклониться.

Встречались они и на церковных празднествах, крещениях и разного рода пикниках, по всей округе. В тот год предстояли выборы, и в промежутке между окончанием сева и началом прополки и окучивания происходили не только церковные сходки и спевки по первым воскресеньям каждого месяца, но и предвыборные пикники. Теперь коляску Варнеров каждое воскресенье видели среди других экипажей то у церковной ограды, то на опушке рощицы, где женщины накрывали длинные дощатые столы, расставляя всевозможную холодную снедь, которой хватило бы на неделю, тогда как мужчины в это время стояли вокруг наспех сколоченных трибун, слушая речи кандидатов в окружное начальство, в сенат штата и в конгресс, а молодежь группками и парочками слонялась по всей рощице, и едва только удавалось заманить девиц куда-нибудь в уединенный уголок, тут же начинались неловкие попытки юношеского приставания и соблазнения. Речей она не слушала, столов не накрывала и гимнов не пела. Только и делала, что сидела в окружении двух, трех или четырех своих невзрачных подружек, словно ядро безысходности всей их шумливой компании: ядро, центр, средоточие — здесь, как и на прошлогодних школьных вечеринках, она источала тот же дурман брезжущего материнства, однако лапать себя все так же не позволяла, и, несмотря на зазывно-попустительскую ауру, внутри которой она как бы и дышала и ходила (чаще, впрочем, просто сидела), в ней ощущалось некое бескомпромиссное целомудрие, непоколебимое даже в атмосфере всеобщего возбуждения, частенько

перехлестывавшего предательскую грань между протестантским религиозным воодушевлением и чувственной горячкой. Она как будто в самом деле знала, какой миг, какая секунда ей предуготована, и пусть с этим еще не связывалось ни имени, ни лица, но она уже ждала этой своей секунды, а не той, когда позовут есть, как казалось со стороны.

Потом опять-таки собирались они и дома у девочек. Встречи эти, разумеется, назначались заранее, и, конечно же, вся подготовка была делом рук ее подружек, хотя понимала ли она, что ее приглашают специально, чтобы пришли мальчики, — это из ее поведения никто вывести бы не взялся. Иногда она к подружкам в гости ездила с ночевкой, бывало, и на два-три дня. Ходить по вечерам на танцы, которые устраивались в поселковой школе либо в других школах или лавках по соседству, ей не разрешалось. Добиться позволения она никогда и не стремилась: брат запретил это, к тому же в довольно резкой форме, еще прежде чем кто-либо мог понять, станет она туда проситься или нет. Однако против поездок в гости брат ничего не имел. Даже сам доставлял ее туда и обратно на том же коне, на котором прежде возил в школу и из школы, и тратить время на это его понуждали те же соображения, по которым когда-то ей не позволялось ходить одной к нему навстречу от школы к лавке и из-за которых он по-прежнему кипел мрачным негодованием фанатика, убежденного в необходимости своей борьбы, и все так же он одолевал милю за милей, ощущая спиной мягкие прикосновения млечных округлостей, причем рука, цепляющаяся за перекрестие его подтяжек, одновременно держала и клеенчатый ученический портфель с ночной рубашкой и зубной щеткой, захваченными по настоянию матери, а над ухом неумолчно раздавалось тихое чавканье; зато, осадив коня перед домом, куда она ехала в гости, он отводил душу: «Да перестань ты наконец жевать эту проклятую картофелину! Живо слезай, мне ведь работать надо!»

В начале сентября в Джефферсоне проводилась ежегодная окружная ярмарка. Вместе с родителями дочь поехала в город и четыре дня прожила в пансионе. Все ее мальчики и трое девочек были уже там и ждали ее. Пока отец осматривал коней, мулов и сельскохозяйственные орудия, а мать — неугомонная хлопотунья — сновала между рядов выстроенных по ранжиру кувшинов, банок и фигурных пирогов, дочь все в тех же прошлогодних платьях, только с подолу выпущенных, целый день либо бродила, непрестанно что-нибудь жуя, от тира к качелям да от качелей к эстраде, окруженная шумной ватагой грубоватых и задиристых юнцов, либо раз за разом, не слезая и все время жуя, каталась на каруселях, верхом на деревянных лошадках, обнажив до середины бедра длинные, как у олимпийской богини, ноги.

Когда ей стало пятнадцать, вокруг уже увивались мужчины. И роста соответствующего, и работу выполняющие с мужчинами наравне — восемнадцатилетние, девятнадцатилетние и двадцатилетние, те, кому в то время и в тех местах полагалось посматривать на девушек уже с мыслями о женитьбе — что до нее, то лучше бы смотрели на других, что до них самих, то им бы чуть ли не любую. Но о женитьбе они не помышляли. Их тоже было около дюжины — тех, кто, улучив мгновенье, выбрав какой-то миг этой второй весны, миг так и не замеченный братом, ворвался в ее бесперебойно-гладкую орбиту, словно понесшийся табун диких жеребчиков, безжалостно разметающий ребятню из ее прошлогоднего вчера. Ее брату еще повезло, что в том году пикники не устраивались так часто, как в прошлое, предвыборное лето; нынче он разъезжал со всей семьей в коляске, угрюмый, чуть не kloкочущий от ярости, распаренный в своем мешковатом суконном костюме с крахмальной рубашкой без воротничка, и теперь, словно онемев от изумления, больше на сестру даже не рывкал. Миссис Варнер под его нажимом стала следить, чтобы дочь носила корсет. И каждый раз, когда он видел ее вне дома, одну или на людях, он ощупывал ее, проверяя, выполняется ли распоряжение матери.

Сам отказываясь посещать церковные спевки и крещения, брат вместо себя заставлял присутствовать там родителей. Так что молодым людям было предоставлено то, что можно назвать свободой действий, только по воскресеньям. Всем скопом они набивались в церковь, приехав на лошадях и мулах, которых только накануне вечером выпрягли из плуга, а с

завтрашней зарей снова в него впрягут, и ждали там прибытия Варнеров. Только так она и встречалась прошлогодним приятелям-юнцам: на дорожке от коляски к церковной двери, неловкая и зажатая в корсете и выпущенном с подолу платье, оставшемся еще с прошлого года, с детства, — мелькнет на мгновение и исчезнет, поглощенная новой толпой, набежавшей и обездолившей их. А не пройдет и года, как утром у крыльца появится воскресный щеголь, взрослый кавалер в сияющей лаком пролетке, запряженной выездным породистым жеребцом или кобылой, и оттеснит уже и этих ее ухажеров. Но это на будущий год, а пока продолжалась все та же суматоха, сдержанная, правда, рамками если не в точном смысле слова приличий, то по крайней мере благоразумия и уважения к святости храма и воскресного дня, свистопляска вожделения, взятого на поводок, как берут псов, рвущихся к сучке, которая еще и возрастом щенков, и смысла в их намерениях явно не угадывает; все так же они друг за другом проходили в церковь, рассаживаясь на одном из задних рядов, откуда видна была золотисто-медовая головка, скромно склоненная между голов ее родителей и брата. После церковной службы брат уходил (сам, говорят, за кем-то ухаживал), и весь долгий сонный день потертые постромками мулы дремали у варнеровской изгороди, пока их владельцы сидели на веранде, упрямо и бессмысленно соревнуясь, кто кого пересидит, туповатые, горластые, обманутые в своих надеждах и начинающие злиться — не друг на друга, а на самую девушку, при том, что ее-то явно не заботило, сидят они там или нет, явно, она даже не догадывалась об этом их состязании. Люди постарше мимоходом на них поглядывали: с полдюжины ярких воскресных рубах с красными и аквамариновыми резинками на рукавах; бритые затылки, загорелые шеи, волосы напомажены, штиблеты начищены, лица грубые и простецкие, а в глазах память о неделе тяжелого труда на поле, оставшейся позади, и предчувствие такой же недели впереди; и среди них девушка, как неподвижный центр — с телом, которое просто не уместилось в детском платьице, словно ее, объятую сном, ночным паводком вынесло из рая, и случайные прохожие нашли и прикрыли чем попало это тело, все еще спящее. Так они и сидели, будто на привязи, ярясь и свирепея от тщетной быстротечности секунд, а тени удлинялись, слышны уже становились лягушки и козодой, и светляки, зажигаясь, скользили в воздухе над ручьем. Потом выходила хлопотливая миссис Варнер, что-то говорила, загоняла, не переставая тараторить, всю ораву в дом закусить холодными остатками плотного обеда, рассаживала под лампой, вокруг которой вилась мошкара, и они сдавались. Уходили всем скопом, рассерженные, но сохраняющие благопристойность, влезали на своих послушных мулов и лошадей и ехали в яростном бессловесном единении с полмили к броду через ручей, там спешивались, привязывали лошадей и мулов и дрались на кулаках ожесточенно и молча, смывали кровь в ручье, снова садились верхом и разъезжались каждый в свою сторону — ссадины на костяшках пальцев, разбитая губа, синяк под глазом, — и, отрешившись на какое-то время от ярости и неудовлетворенности, даже от желания, ехали под холодной луной через засеянные поля.

К третьему лету потертые постромками мулы уступили место рысакам и пролеткам. Теперь уже эти юнцы, которых она за год переросла и отбросила, с утра по воскресеньям ждали ее во дворе у церкви лишь для того, чтобы еще раз бессильно и горестно убедиться в своем поражении: пролетка вся блестит, чуть только пылью припорошена, в запряжке лоснящаяся кобыла или жеребчик в наборной упряжи с медными бляхами, а у того, который правит, все это его собственное — взрослый мужчина, сам себе голова, и уж никогда на льдистом рассвете отец не потащит его с чердачной лежанки доить коров и поднимать чужую зябь, а у них-то папаши всю еще — и по закону, а частенько и по праву сильного — вольны были карать и миловать. И вот в этой пролетке девушка, та, что в прошлом году — по крайней мере в некотором смысле — принадлежала им, а теперь переросла их, ускользнула вместе с прошлым отшумевшим летом, научившись в конце концов ходить так, чтобы не было заметно корсета под шелковым платьем, в котором она выглядела не девчонкой шестнадцати лет, одетой как двадцатилетняя, а тридцатилетней женщиной, одетой в платьице шестнадцатилетней сестренки.

В ту шестнадцатую весну выдался такой день (то есть, точнее говоря, конец дня и вечер), когда появились сразу четыре пролетки. Четвертая была одного коммивояжера, взятая напрокат. В поселок он попал случайно — заблудился и во Французову Балку заехал спросить дорогу, причем не знал даже, есть ли там лавка, а приехал на потрепанной колымаге, какие давали внаем приезжим на джефферсонском конном дворе. Увидел лавку, остановился и попытался приказчику, Сноупсу, сбыть что-то из своих товаров, но живенько понял, что дело у него не выгорит. Был он из городских — моложавый, с городскими манерами и по-городскому самоуверенный и настырный. Тут же выведал у завсегдатаев галереи, кто настоящий владелец лавки да где живет, и отправился домой к Варнеру, там, естественно, постучался и то ли был принят, то ли нет, уж этого знать никому не дано. Две недели спустя возвращается, в той же таратайке. На этот раз даже не попытался ничего продавать Варнеру; позднее стало известно, что он у Варнеров ужинал. Это было во вторник. В пятницу снова вернулся. Теперь он правил лучшим экипажем, какой только можно было получить в джефферсонской конюшне — конь светлой масти, нарядный шарабан, — и был не только при галстукке, но и в белых фланелевых брюках, каковое одеяние во Французовой Балке видели в первый раз. Впрочем, и в последний, да и недолго пришлось любоваться: он поужинал с Варнерами, вечером повез дочку на танцы в какую-то школу за восемь миль и исчез. Домой дочку отвез кто-то другой, а наутро, уже при свете дня, конюх нашел коня и пролетку привязанными к воротам конного двора в Джефферсоне, и тем же вечером ночной дежурный по станции уже рассказывал, как какой-то напуганный и избитый человек в испачканных кремовых брюках покупал билет на утренний поезд. Поезд шел на юг, хотя про того коммерсанта было известно, что живет он в Мемфисе, где у него впоследствии обнаружились жена и дети, но об этом во Французовой Балке никто не знал, да и не интересовался.

Так что оставались трое. Эти вертелись постоянно, какой-то каруселью, неделю за неделей, воскресенье за воскресеньем, а обездоленные банкроты прошлого лета поджидали с утра у церкви, только чтобы пронаблюдать, который из троих на этот раз подаст ей руку, помогая вылезти из пролетки. И когда она садилась обратно в экипаж, они все еще стояли там, ждали, не заголится ли ее нога, а порой, притаившись чуть подальше у дороги, вдруг злобной сворой выскакивали из кустов, и тогда вслед пролетке неслась непристойная брань, а взбаламученная пыль забивала орущие глотки. Время от времени под вечер кто-нибудь один, или двое, или трое из них, проходя мимо варнеровского дома, примечал, как бы и не глядя, коня с пролеткой у ограды, и Билла Варнера, дремлющего в своем деревянном гамаке, подвешенном в тени под деревьями, и окна гостиной с запертыми ставнями, затворенными, по местному обычаю, для защиты от жары. А то еще затаятся, бывало, в темноте, частенько с кувшином бесцветного самогонного виски, как раз там, куда не достает свет из дома, или лавки, или школы, посматривая на освещенный дверной проем и окна, где маячат силуэты танцующих пар, движениями напрочь не попадающие в лад со вскриками и стенаниями скрипок. Однажды они с гиканьем выпрыгнули из густой тени на залитую луной дорогу, прямо под колеса пролетки, отчего лошадь взвилась на дыбы и понесла, но седок, вскочив на ноги, принялся охаживать их кнутом, с хохотом глядя на их прыжки и увертки. Не братец, а эти слинявшие мертвые шкурки прошлого лета, именно они, изошедшие в яростных и тщетных усилиях, если не угадали, то, во всяком случае, заподозрили, что пролетка-то все время одна и та же. Потому что Джоди уже почти год как бросил привычку поджидать в прихожей, чтобы в тот момент, когда сестра, одетая, пойдет к стоящему у ворот экипажу, схватить ее за руку и, грубой ладонью ощупав ей спину, словно она лошадь и он проверяет, как зажили потертости от седла, сердито удостовериться, надела она корсет или нет.

Эта пролетка принадлежала юноше по фамилии Маккэррон, жившему милях в двенадцати от поселка. Он был единственным сыном вдовы, которая сама выросла одна у отца — состоятельного землевладельца. Росла без матери, а в девятнадцать лет сбежала из дому с обходительным, самоуверенным и острым на язык красавцем, появившимся непонятно зачем и словно из ниоткуда. Пробыл он в их краях около года. Занимался, похоже,



главным образом игрой в покер в задней комнатке какой-нибудь лавки или конюшни и всегда выигрывал, но совершенно честно — в этом никаких сомнений не возникало. Все женщины сходились на том, что муж из него получится непутевый. Мужчины говорили, что мужем, каким бы то ни было, он станет разве что под дулом дробовика, но даже и с такой позиции вряд ли кто-нибудь из них решился бы взять его в зятя, поскольку чувствовалось, что его влечет ночь — не ночные тени, а яркий исступленный свет, который их порождает, сама извращенность бессонной жизни. Но однажды ночью Элисон Хоук выбралась из дома через окно второго этажа. Не было там ни лестницы, ни водосточной трубы, ни связанной из простынь веревки. Говорят, она выпрыгнула, а Маккэрон поймал ее на руки, и любовники на десять дней исчезли, а потом вернулись, причем все эти десять дней старик Хоук просидел с заряженным дробовиком на коленях, а Маккэрон вошел к нему, оскалив зубы в улыбке, которую, однако, все остальное его лицо никак не подтверждало.

Всем на удивление, он стал не только пристойным мужем, но и зятем тоже. Мало что соображая в сельском хозяйстве, он и не прикидывался, будто это дело ему по душе, однако для тестя стал чем-то вроде распорядителя, запоминая устные инструкции старого хозяина не лучше, разумеется, чем диктофонная запись, зато, благодаря способности легко сходитьсь с людьми и даже верховодить ими (ведь не у всех язык так хорошо подвешен), он добился того, что негры-поденщики его слушались и уважали, и не за официальный статус хозяйского зятя, и даже не за умение ловко стрелять из револьвера, а за веселый, хоть и слегка неуравновешенный нрав и славу удачливого игрока. Однако он даже не выходил по вечерам из дома и совсем забросил покер. Кстати, никто впоследствии так и не выяснил, чья была идея торговать скотом — его или тестя, но не прошло и года, как он, к тому времени сам став отцом, уже всюду скупал по всей округе скот и каждые два-три месяца сгонял его на станцию, а оттуда по железной дороге отправлял в Мемфис. Так прошло лет десять; за это время тесть умер и все состояние завещал внуку. А тут и Маккэрон отправился в последнюю свою поездку. Спустя две ночи после его отъезда один из погонщиков подскочил к дому и разбудил его жену. Маккэрон погиб, а соседи так толком и не узнали, как это случилось, но, по всей видимости, его застрелили в игорном притоне. Жена оставила девятилетнего сына на попечение слуг-негров и отправилась за телом в простом фермерском фургоне, привезла и похоронила на холме, поросшем дубами и можжевельниковыми деревьями, рядом со своими родителями. Сразу же разнеслась сплетня, недолго, впрочем, продержавшаяся, — о том, что его застрелила женщина. Слух тут же угас (обсуждать было нечего: вот, дескать, чем он в это время занимался — и все), но осталась легенда о деньгах и драгоценностях, которые он будто бы за эти десять лет выигрывал и по ночам относил домой, где при содействии жены замуровывал в печную трубу.

Сын, Хоук, в свои двадцать три года выглядел старше. Виной тому отцовское выражение самоуверенности на лице, впрочем открытом и довольно привлекательном. При этом в его лице сквозило что-то неприятное, заметно было, что он очень избалован, хотя бросалась в глаза не так заносчивость, как нетерпимость, которой в отцовском лице не было. И юмором его лицо не освещалось, не доставало спокойной самоиронии, а может быть и ума, хотя отцовскому лицу всего этого хватало в избытке, а вот лицу того, кто после побега дочери мог просидеть десять дней с заряженным дробовиком на коленях, наверное, не хватало. В детстве единственным его приятелем был мальчонка-негр. Пока хозяйскому сыну не исполнилось десять, негр-итенок спал с ним в одной комнате, на сеннике, брошенном на пол. Негр-итенок был на год старше. Когда одному было шесть, а другому семь лет, он победил негр-итенка в честной кулачной схватке. Впоследствии у них установилась такса, по которой он платил негру из своих карманных денег за право выпороть его маленьким жокейским хлыстиком, впрочем, не очень больно.

В пятнадцать лет мать определила его в закрытую военную школу. Не по годам развитый и ловкий, он быстро схватывал все, что могло ему пригодиться, и за три года набрал достаточно зачетных баллов, чтобы поступать в колледж. Мать выбрала ему сельскохозяйственный. Он поехал и провел в городе целый год, даже не подав документы, в

то время как мать пребывала в уверенности, что он изо всех сил одолевает положенную на первом курсе премудрость. Следующей осенью он все-таки поступил, проучился пять месяцев, а потом произошла некая скандальная история с женой одного из младших преподавателей, после чего ему предоставили возможность тихо исчезнуть. Он возвратился домой и следующие два года провел делая вид, будто помогает матери вести дела на ферме — теперь у матери была хлопковая плантация. Означало это, что каждый день он некоторое время болтался туда-сюда верхом, надев для этого еще налезавшие на его маленькие ноги парадные сапоги для верховой езды, которые остались у него еще со времен учебы в военной школе — первые такого рода сапоги, появившиеся в округе. Пять месяцев назад он случайно проезжал через Французову Балку и увидел Юлу Варнер. На него-то и ополчились, вдохновленные победой над мемфисским коммивояжером, прошлогодние юнцы, слезшие с потертых постромками мулов, чтобы защитить идею девства, в которую ни они, ни ее брат, по-видимому, не верили, хотя и не смогли ее развенчать на деле, как это, видимо, не удавалось и рыцарям в старину. По двое-трое выходили на разведку, слонялись вдоль варнеровского забора, смотрели, когда и по какой дороге отъезжает пролетка. Ехали следом или, опередив, уже ждали в одном из тех мест, куда хозяин этой пролетки спешил на топот каблучков о настил пола и пиликанье скрипачек, и уже ходил у них по рукам кувшин самогонного виски, а потом они тащились сзади иногда до самого дома, иногда, недоезжая, разбредались: уж больно долог путь по ночным дорогам через лунные или безлунные спящие поля; копыта кобылицы ступают в пыль как в мягкую медлительную вату, и лошадь еле переставляет ноги — вожжи намотаны на кнутовище, вставленное в гнездо в передке повозки, — а попадется по дороге брод — она сторожко, медленно зайдет в воду и, никем не понукаемая, примется пить, купая морду и пофыркивая на колеблющиеся отражения звезд, роняя струи воды с поднятой морды, и снова начнет пить, а может только фыркать в воду, как это делают утолившие жажду лошади. Ни окрик, ни подергивание вожжей — ничто не понуждает лошадь идти дальше, так она там и стоит, долго, слишком долго... Однажды ночью на движущуюся пролетку попытались напасть, выскочив из придорожных теней, какие-то парни, но, встреченные ударами кнута, разбежались, потому что единого плана у них не было, лишь общий неуправляемый порыв ярости и тоски. Через неделю после этого, когда лошадь и пролетка стояли на привязи у забора Варнеров, они налетели, вопя и гремя кастрюлями, из-за угла неосвещенной веранды, и Маккэрон к ним сразу вышел, спокойный и собранный, появившись не с крыльца, а из-под деревьев, где у Варнера висел деревянный гамак, двоих или троих из них окликнул по имени и выругал их своим приятным, с неторопливой манерой растягивать слова, говорком, да еще вдобавок предложил двоим из них — на их выбор — выйти потолковать с ним на дороге. Заметили, что в опущенной руке он держал револьвер.

Потом ему сделали предупреждение по всей форме. Могли бы сообщить ее брату, но не сообщили, однако не потому, что брат скорее всего на этих же доносчиков и налетел бы с кулаками. Точно как учитель Лэбоув, они бы этому только обрадовались, восприняли бы с истинным наслаждением. Как для Лэбоува, для них это была бы по крайней мере та же плоть, живая и теплая, которая под их ударами покрылась бы синяками, царапинами, обагрилась бы кровью, а этого, подобно Лэбоуву, они как раз и жаждали, осознанно или нет. Здесь дело в том, что от идеи рассказать ему их защищало то обстоятельство, что вся их ярость будет тогда растрачена на орудие возмездия, а не на самого преступника, поэтому лучше уж обидчика, нанесшего им смертельное оскорбление, они встретят сами, надев на кулаки боксерские перчатки. И они послали Маккэрону предупреждение по всей форме в письменном виде, и все подписались. Один из них съездил как-то ночью за двенадцать миль к дому его матери и прицепил записку к двери. На следующий день негр Маккэрона, теперь уже тоже взрослый мужчина, доставил им пять отдельных ответов и ушел от преследования, с окровавленной головой, но без сколько-нибудь серьезных увечий.

Однако еще почти целую неделю Маккэрону удавалось водить их за нос. Они пытались перехватить его одного в пролетке — либо по дороге к Варнерам, либо когда он от них

возвращался домой. Но его кобыла бегала чересчур резво, к тому же их запуганные пахотные мулы от нее шарахались и не могли ей противостоять, а по опыту предшествующих попыток парни знали, что попробуй они остановить ее пешими, Маккэрон прямо по ним проедет, стоя в пролетке и с глумливым оскалом охаживая их свищущим кнутом. Кроме того, у него был револьвер, и они достаточно были о молодом Маккэроне наслышаны, чтобы знать, что с револьвером он никогда не расставался с тех пор, как ему исполнилось двадцать один. К тому же и у него ведь были кое-какие претензии к тем двоим, которые избили его посланника-негра.

Так что в конце концов пришлось им подстеречь Маккэрона в пролетке с Юлой, устроив засаду у брода, где кобыла останавливалась напиться. Никто так толком и не узнал, что произошло. Невдалеке от брода стоял дом, но криков и шума на сей раз не было, только наутро при свете дня на четырех из пяти физиономий обнаружили ссадины, царапины да не хватало нескольких зубов. А пятый — один из тех двоих, от которых досталось негру, — все еще лежал без сознания в ближнем доме. Кому-то попала на глаза рукоятка от кнута. Она вся была в засохшей крови и в налипших волосах, а позже, спустя несколько лет, один из нападавших рассказал, что кнутовищем орудовала девушка: выскочив из пролетки, она рукояткой кнута сдерживала натиск троих нападавших, тогда как ее спутник противопоставил рукоятку револьвера тележной спице и кастету остальных двоих. Это и все, что когда-либо стало известно, причем пролетка добралась до дома Варнеров без существенного опоздания. Из кухни, где Билл Варнер в ночной рубашке ел персиковый пирог, запивая его пахтанием, было слышно, как вернувшиеся прошли в ворота и поднялись на веранду, тихонько перешептываясь, по заведенному у Юлы с ее молодыми людьми обыкновению воркуя практически ни о чем (во всяком случае, отец так думал), а после вошли в дом и по коридору прямоком к кухонной двери. Взгляду Варнера предстало открытое привлекательное лицо, приветливый, решительный оскал, который с некоторой натяжкой можно было бы назвать улыбкой, хотя и не чересчур почтительной, заплывший глаз, длинный рубец на скуле и рука, бессильно свисающая вдоль тела.

— Он на что-то налетел в темноте, — объяснила дочь.

— Вижу, — отозвался Варнер. — Похоже, это что-то его еще и лягнуло в отместку.

— Ему надо воды и полотенце, — проговорила дочь. — Возьми вон там, — указала она и пошла к выходу. — Я на минутку, — в кухню, на яркий свет, так и не вышла.

Варнеру было слышно, как она взбегает по ступенькам и ходит по своей комнате наверху, но он о ней уже позабыл. Поглядел на Маккэрона и увидел, что зубы у того оскалены вовсе не в улыбке, а скорее в гримасе боли, да и потный он весь. Едва увидев все это, Варнер о его лице тоже сразу забыл.

— Говоришь, налетел на что-то, — буркнул он. — А пиджак снять можешь?

— Могу, — ответил тот. — Я, понимаете, кобылу свою ловил. А там дровина торчала.

— Ну и поделом тому, кто кобылу, да еще хорошую, держит в дровяном сарае, — заметил Варнер. — У тебя же рука сломана.

— Понятно, — сказал Маккэрон. — Вы, кажется, ветеринар? Не думаю, чтоб человек от мула сильно отличался.

— Это уж точно, — поддержал его Варнер. — А по уму так большинство и до мула не дотягивает.

Вошла дочь. Варнер опять слышал ее шаги на лестнице, однако не заметил, что теперь она была уже в другом платье — не в том, в котором выходила из дому.

— Ну-ка, тащи сюда мой кувшин с виски, — приказал он.

Кувшин хранился у него под кроватью, там она его и нашла. Вернулась с кувшином. Маккэрон сидел теперь, положив обнаженную руку на кухонный стол. Один раз, сидя все также прямо и напряженно, он потерял сознание, но ненадолго. После этого он только скрипел зубами и потел, пока Варнер все не закончил.

— Налей ему еще и поди разбуди Сэма, чтоб отвез его домой, — распорядился Варнер. Но Маккэрон заявил, что не надо его ни домой отвозить, ни здесь спать укладывать. В третий

раз он приложился к кувшину и вместе с девушкой вернулся на веранду, а Варнер доел пирог, допил пахту, снес кувшин на место и лег спать.

И вышло так, что ни у отца, ни у брата, в ком уже пятый или шестой год жизнь только и держалась благодаря упрямой нацеленности на предотвращение зла, которая так и не переросла стадию подозрений, но вдруг расцвела махровым цветом, вырвалась окончательным осознанием ситуации тем более пугающей, что самые неослабные старания всегда были бессильны доказать ее возможность, — и вот ни у того, ни у другого не зародилось ни малейших предчувствий. Варнер и сам отхлебнул из кувшина, задвинул его обратно под кровать, туда, где круглая проплешина в пыли отмечала положенное ему от века место, и лег спать. С привычной легкостью войдя в состояние не омрачаемого даже храпом детски счастливого сна, он не слышал, как дочь поднялась по лестнице, чтобы снова переменить платье, теперь уже со следами ее собственной крови. Кобыла, коляска, всего этого уже и след простыл, хотя Маккэрн по дороге домой еще раз, уже в пролетке, потерял сознание. На следующее утро врач обнаружил, что кость, накануне должным образом вправленная, несмотря на лубки, снова сместилась, концы чуть ли не наружу торчат, так что надо вправлять заново. Но Варнеру-папаше, славному тощему верзиле, прожженному хитрецу, все это было невдомек — спал себе за двенадцать миль в кровати, под которой хранился его кувшин виски, причем тут даже не важно, мог он читать в женском сердце вообще и в сердце дочери в частности или не мог, поскольку никак он не способен был предвидеть, что она не только пойдет на такое, но сама же и поможет, собственной рукой поддерживая покалеченное плечо.

Спустя три месяца, когда пришло время щегольским коляскам и резвым холеным лошадам больше не показываться у варнеровского забора, Билл Варнер заметил это последним. И пролетки, и молодые люди, которые в них разъезжали, исчезли в одну ночь, пропали не только из Французовой Балки, но и вообще из ближней округи. Хотя один из троих знал точно, кто виноват, а двое других, вместе взятые, знали двоих невиновных, все трое бежали скрытно, выбирая окольные дорожки и для скорости захватив с собой только то, что поместилось в чересседельных сумках или в каком-нибудь впопыхах захваченном чемоданишке. Один из них бежал потому, что Варнеры, как ему казалось, неминуемо с ним что-нибудь сделают. Двое других бежали, потому что знали: с ними Варнеры не сделают ничего. Потому что Варнеры в свою очередь теперь уже должны бы тоже знать из единственного неоспоримого источника, от самой девушки, что те двое невиновны и таким образом попадают в разряд отбросов прошлого, чешуек вчерашнего дня, отмерших и сброшенных в пучину страстной и извечной тоски и сожалений, забытые и причисленные к никчемным деревенским мальчишкам, которые самим фактом своего преследования ставили неудачников вровень со счастливецом, пусть нелепо и незаслуженно, но все же увенчивали их чужими лаврами. Теперь их бегство было последней отчаянной попыткой заявить как бы претензии на вину, которой за ними не было, стяжать славу и стыд за ту порчу, которая не ими причинена.

В общем, когда от дома к дому потихоньку стала расползаться весть о том, что Маккэрн и двое других исчезли, а Юлу Варнер постигло то, что всякая другая на ее месте (кроме нее самой — теперь это выяснилось) сочла бы несчастьем, последний, кто узнал об этом, был отец — человек здравый, всегда с иронией относившийся ко всяким отвлеченностям, в том числе и к идее женской добродетели, отказываясь ее воспринимать иначе как сказку, выдуманную для одурачивания молодых мужей, подобно тому как иные отказываются верить в беспроцентную ссуду или в действенность молитвы; о нем было хорошо известно что он — как в прошлом, так и до сих пор еще — отводил значительную долю своей жизни на то, чтобы перед самим собой отстаивать истинность своей точки зрения и в те дни как раз занят был интрижкой с женой одного из своих арендаторов, женщиной лет сорока пяти. Ей он прямо и без околичностей заявил, что слишком стар, чтобы шастать ночами хоть по чужим домам, хоть по своему собственному. В результате она встречалась с ним по вечерам, под предлогом поисков гнезд несущек забираясь в чащу



кустарника у ручья вблизи ее дома, и в этом осененном покровительством Пана уединении<sup>25</sup>, как рассказывал один четырнадцатилетний мальчишка, чьей привычкой стало подсматривать за ними, Варнер даже шляпы не снимал. И вот он оказался последним, кто услышал об этом, и, пробужденный повелительным голосом жены ото сна в деревянном гамаке, где полеживал в носках, торопливо устремился к дому — длинный, с болтающимися руками, не совсем еще проснувшийся, без сапог перебежал двор и ринулся в прихожую, а миссис Варнер, стоя в просторном старом халате и кружевном ночном чепце, в котором любила прикорнуть после обеда, гневно и обеспокоенно, голосом, перекрывавшим рев и рыканье сына, доносившиеся из комнаты дочери наверх, кричала:

— У Юлы будет ребенок! Ступай наверх и дай тому дурню по шее!

— Будет что? — задохнулся Варнер. Но не остановился. Пospешил дальше, миссис Варнер за ним, по лестнице вверх и в комнату, из которой последние пару дней дочь почти не выходила, даже поесть не спускалась, страдая тем, что Варнер, если бы утрудил себя хоть единой мыслью на эту тему, определил бы как расстройство желудка на почве переедания, возможно накопленного постепенно и вдруг кумулятивно проявившегося после шестнадцати лет надругательства над долготерпением организма. Она сидела на стуле у окна, распустив волосы и кутаясь в яркий шелковистый пеньюар, выписанный ей недавно из Чикаго по почте. Брат стоял рядом, нависая над ней, тряс ее за плечо и орал:

— Который из них? А ну, говори, который!

— Не пихайся, — отвечала она. — Мне и так нехорошо.

Медлить Варнер и тут не стал. Он вклинился между ними и плечом отодвинул Джоди.

— Оставь ее в покое, — сказал он. — И вообще марш отсюда!

Джоди повернул к отцу побагровевшее лицо.

— Как это оставь в покое? — возмутился он. И злобно хохотнул, без всякой веселости, глаза выпученные, белые от бешенства. — В том-то и беда, что и так уже слишком много ее оставляли в покое, без надзора! Все на меня одного! Я-то знал, чем дело кончится. Еще пять лет назад я вас предупреждал обоих. Все без толку. Вам было лучше знать. А теперь вот — полюбуйте! Смотрите, чего вы добились! Но она у меня запоет! Клянусь господом богом, я все равно узнаю, чья это работа. И тогда уж я...

— Ладно тебе, — сказал Варнер. — Что случилось-то?

На миг, а может и на целую минуту, Джоди, казалось, лишился дара речи. Глаза его свирепо сверкали. Стоял с таким видом, словно последние остатки воли уходят у него на то, чтобы не взорваться тут же на месте.

— И он еще спрашивает, что случилось, — наконец проговорил сын изумленным и недоверчивым шепотом. — Он спрашивает, что случилось! — одним махом он развернулся и, с рукой, все еще выброшенной вверх жестом отчаянного отречения, ринувшись прочь, налетел прямо на мамашу, которая еще едва только в дверь вошла и, открыв рот, рукой держалась за вздымающуюся грудь, чтобы, как только отступит одышка, разразиться речью. Джоди был весом фунтов двести, да и миссис Варнер, при своих пяти футах роста, весила почти столько же. Все-таки он умудрился как-то протиснуться мимо нее в дверь, и, пока она безуспешно пыталась схватить его, Варнер-старший ужом проскользнул следом.

— Останови этого дурня! — вскричала она, бросаясь за Варнером-старшим и Джоди, с грохотом несущимися вниз по лестнице в комнату на первом этаже, которую Варнер до сих пор называл своим кабинетом, несмотря на то что вот уже два года, как там на раскладушке спал приказчик Сноупс, и в этой комнате Варнер настиг наконец Джоди, когда тот склонился над выдвинутым ящиком неуклюжего (а в наши дни бесценного, хотя Варнер и не знал этого) орехового секретера, доставшегося Варнеру еще от деда, и шарил там среди высохших коробочек хлопчатника, гороховых стручков, пряжек от лошадиной сбруи, патронов и

---

<sup>25</sup> В греческой мифологии Пан — божество стад, лесов и полей. Козлоногий, покрытый шерстью, он входит в свиту Диониса и участвует в его шествиях. Известен своим сладострастием и пьяным весельем.

старых бумаг в поисках револьвера. В ближнем к секретеру окне мелькнула негритянка-повариха: она бежала к своей лачужке, закутав голову фартуком, как это заведено у негритянок, когда на их глазах скандалят белые господа. Сэм, ее муж, торопливо шел следом, правда помедленнее, и как раз оглянулся на дом, когда Варнер и Джоди одновременно его увидели.

— Сэм! Седлай моего коня! — рявкнул Джоди.

— Эй, Сэм! — закричал Варнер. Теперь они оба держались за револьвер — четыре сплетенные руки, безнадежно застрявшие в приоткрытом ящике. — Не вздумай прикасаться к коню! Марш назад сию минуту!

Шаги миссис Варнер забухали по коридору. Револьвер выпростался, и оба, не расцепляя сплетенных рук, на шаг отступили, глядят, а она уже в дверях — рука по-прежнему прижата к тяжело вздымающейся груди, а лицо, обычно оживленное и самоуверенное, теперь рассерженно побагровело.

— Придержи его, пока я за поленом сбегаю, — хватая ртом воздух, проговорила она. — Сейчас я ему задам! Я с ними разберусь с обоими! Одна брюхо нагуляла, другой орет, ругаются, шумят, когда я только собралась прилечь.

— Давай, — отозвался Варнер. — Тащи быстро.

Она вышла; казалось, вихрем гневливого раздражения ее так и вынесло, вышвырнуло за дверь. Варнер завладел наконец револьвером и отшвырнул Джоди к секретеру (несмотря на свои шестьдесят лет, отец все еще был сильным, на удивление быстрым и жилистым, к тому же действовал спокойно и здраво, тогда как сын был весь во власти слепой ярости), потом выбросил револьвер за дверь, запер ее на ключ и вернулся, почти не запыхавшись.

— Ты что это, к дьяволу, задумал?

— Ничего! — выкрикнул Джоди. — Для тебя, может быть, честь семьи — пустой звук, а для меня нет. Мне надо голову перед людьми высоко держать, а ты как знаешь.

— Ха! — сказал Варнер. — То-то ты ее так высоко задрал, что сам себе того и гляди на шнурок от ботинка наступишь.

Джоди, сопя, глядел на него.

— Будь я проклят, — сказал он. — Может, она и не скажет, но уж я найду кого-нибудь поразговорчивей. Я их всех троих разыщу. Мне...

— Зачем? Из любопытства, что ли? Чтобы вызнать, кто из них тискал ее, а кто нет?

Снова Джоди надолго онемел. Стоял, привалившись к секретеру, огромный как бык, разъяренный и обессиленный, действительно глубоко уязвленный и страдающий, но не от унижения, нанесенного дому Варнеров, а от личной обиды. По коридору снова затопали шаги миссис Варнер, тяжелые, хоть и была она в одних носках; слышались удары поленом в дверь.

— Эй, Билл! — закричала она. — Отвори сейчас же!

— Ты что, вообще ничего предпринимать не намерен? — проговорил Джоди. — Так-таки и ничего?

— А что тут сделаешь? — удивился Варнер. — Да и кому? Не понимаешь, что ли: ведь эти кобели сейчас уже на полпути в Техас! Ты-то сам где бы сейчас был на их месте? Да и я, хоть и в моем возрасте — если бы шлялся по всем крышам, да лазил куда ни попадя, где бы я был сейчас? Не хуже меня знаешь, где: как раз там же, где и они — драл бы с коня третью шкуру, — он подошел к двери и отпер ее, причем миссис Варнер со злости так оглушительно и беспрерывно барабанила поленом в дверь, что явно не услышала, как ключ повернулся в замке. — А теперь ступай на конюшню и там посиди, пока не приостынешь. Пусть Сэм тебе червей накопает, и отправляйся полови рыбку. Уж если нашей семье понадобится забота о том, чтобы от людей глаза не прятать, так предоставь это дело мне, — он надавил на ручку двери. — Будь оно все неладно! Этакий крик и тарарам из-за того, что какую-то сучку наконец кобель настиг. А ты что думал — так она всю жизнь и будет только водичку через это место сцеживать?

Это было в субботу под вечер. Наутро в понедельник те семеро, что расселись на

корточках по всей галерее, видели, как приказчик — Сноупс этот самый — пешком идет по дороге со стороны варнеровского дома, а за ним кто-то еще, с чемоданом. Флем явно приоделся: вдобавок к серой суконной кепке да крошечному галстуку бабочкой на нем был еще и сюртук, а немного погодя обитатели галереи разглядели, что чемодан в руке у того, кто шел за приказчиком, — тот самый плетеный баул, который год назад, новеньким, Сноупс отнес как-то под вечер в дом к Варнеру и там оставил. Потом все стали смотреть на человека с баулом. Обнаружилось, что за приказчиком, как собачонка, поспешал мужчина ростом чуть поменьше Флема, но с фигурой точно таких же очертаний. Словно отличие одного от другого — оптический обман, просто-напросто следствие законов перспективы. На первый взгляд даже лица их были одинаковыми, пока оба не поднялись по лестнице. Тогда оказалось, что лицом этот второй и в самом деле, конечно, вылитый Сноупс, однако от первого, хотя и в рамках родственного сходства, но все же неуловимо отличается, как некая неожиданная вариация на тему уже ставшего для всех привычным облика: в данном случае лицо незнакомца было не то что меньше, но все его черты были собраны как-то теснее, чем у Флема, стянуты к центру, и как бы не сами по себе, не по внутреннему побуждению, а словно их сжали одним быстрым движением чьей-то чужой руки; лицо было подвижное, смышленное и не столько насмешливое, сколько безоглядно и напропалую веселое, с блестящими, настороженными и блудливыми глазками, как у белки или бурундука.

Поднявшись по лестнице, они прошли с этим своим баульчиком через галерею. Сноупс, не переставая жевать, приветственно дернул подбородком, точь-в-точь как Билл Варнер, и они вошли в лавку. Немного погодя из кузницы напротив вышли еще трое мужчин, так что, когда через час подъехала коляска Варнеров, народу поблизости от галереи собралось уже человек десять. Лошадьми правил негр, Сэм. Рядом с ним на переднем сиденье стоял невероятных размеров потрепанный чемоданище, с которым еще мистер и миссис Варнер когда-то ездили на свой медовый месяц в Сент-Луис, и с тех пор если кому из Варнеров приходилось путешествовать, то этот чемодан неизменно их сопровождал; даже дочери, выходя замуж, брали его с собой, а потом присылали назад пустым, будто официальное уведомление о том, что медовый месяц кончился и пора с небес на землю, — словно символ, воплощающий собой прощальный привет от щедрой и самозабвенной страсти, подобно тому как отпечатанные пригласительные билеты возвещали ее многообещающую зарю. Варнер, с заднего сиденья, где он возвышался рядом с дочерью, обратился ко всем сразу с приветствием, безразлично, невнятной скороговоркой. Вылезать не стал, и наблюдатели с галереи спокойно глянули разок на неподвижную маску под вуалью, опущенной с праздничной шляпки, и сразу невозмутимо отвели глаза — пусть воскресное платье, пусть даже зимнее пальто — однако, даже не глядя, увидели, как Сноупс вышел из лавки с плетеным баульчиком в руке и влез на переднее сиденье рядом с огромным чемоданом. Коляска двинулась. Один раз Сноупс обернулся и сплюнул через колесо. Плетеный баул он держал на коленях, словно гробик на похоронах ребенка.

На следующее утро Талл и Букрайт возвратились из Джефферсона, куда они гоняли очередной гурт скота на железную дорогу. К вечеру того же дня вся округа была в курсе дальнейшего хода событий, начиная с того, что в понедельник под вечер Варнер с дочерью и приказчиком посетили банк, где Варнер снял со счета значительную сумму; Талл указывал даже цифру — триста долларов. Букрайт предположил, что это должно означать полтора ста, потому что Варнер даже со своих собственных операций удержит в свою пользу не меньше чем процентов пятьдесят. Оттуда варнеровская коляска отправилась к зданию суда, в нотариальную контору, и усадьба Старого Француза перешла во владение Флема и Юлы Сноупс (Варнер). Рядом помещался кабинет мирового судьи, и там они зарегистрировали брак.

Рассказывая, Талл часто помаргивал. Откашлялся.

— Сразу после церемонии жених и невеста выехали в Техас, — сказал он.

— Итого, уже пятеро, — сказал некто по имени Армстид. — Ну ничего, говорят, в Техасе места много.

- Зато и народу прибавляется, — присовокупил Букрайт. — Не пятеро, а шестеро. Талл кашлянул. Он все еще часто моргал.
- Мистер Варнер и за это ведь тоже заплатил сам, — проговорил он.
- За что за это? — спросил Армстид.
- За брачное свидетельство, — сказал Талл.

## 2

Она хорошо его знала. Она знала его настолько хорошо, что ей уже не надо было даже на него смотреть. Знала она его еще со времен ее четырнадцатого лета, когда стали говорить, будто он «обскакал» ее брата. Ей этого не говорили. Да ей и говорить-то без толку. Ей вообще это было ни к чему. Она видела его почти каждый день, поскольку в ее пятнадцатое лето он начал навещать Варнера дома, приходил обычно после ужина, сидел с ее отцом на веранде, слушал и помалкивал, аккуратно сплевывая табачную жвачку через перила. Иногда по воскресеньям под вечер он заходил, садился на корточки спиной к дереву рядом с гамаком из бочарных клепок, в котором без сапог, в одних носках, полеживал ее отец, и все так же молча слушал, жевал табак; ей он был виден с того места на веранде, где она сидела в окружении ошалелой ватаги тогдашних своих воскресных поклонников. К тому времени она уже научилась узнавать тихое посвистывание его теннисных тапочек на половицах веранды; не вставая и даже не поворачивая головы к дверям, она, бывало, только оповещала отца: «Папа, тот человек пришел!», а вскоре уже просто — «он»: «Папа, он пришел», хотя изредка она называла его мистер Сноупс, и тон ее при этом был такой же, как если бы она говорила «мистер Пес».

На следующее лето, ее шестнадцатое, она не только не смотрела на него, она его просто не видела, потому что теперь он жил в том же доме, ел за тем же столом и по всяческим нескончаемым делам — своим и ее отца — ездил на верховом коне ее брата. Проходил мимо нее в прихожей, где брат придерживал ее, одетую, готовую выйти к ожидающей пролетке, не пуская, пока злобно не удостоверится тяжелой, корявой рукой, надела ли она корсет, но и тут она его не видела. За столом она сидела с ним лицом к лицу дважды в день, потому что завтракала она одна, на кухне, в тот час уже весьма не раннего утра, когда мать в конце концов умудрялась ее разбудить, хотя, едва сон прошел, добиться от нее, чтобы она села за стол, труда не составляло; из кухни ее изгоняла негритянка или мать, и она выходила с последним недоеденным печеньем в руке, при этом вид у нее — немывтое лицо в богатом уборе распущенных волос, неряшливые и не всегда чистые одеяния, кое-как наброшенные по дороге от постели к завтраку за кухонным столом, — был такой, словно ее спугнул с ложа преступной любви наряд полиции, и тут она сталкивалась и расходилась с ним в прихожей (он забегал в полдень перекусить), но всегда он был для нее как пустое место. И вот однажды ее втиснули в праздничное платье, остальные ее вещи — безвкусовые пеньюары и ночные рубашки, выписанные из города по почте, дешевые и несуразно большие туфли, а также все, что у нее было из предметов туалета, — сунули в невероятных размеров раздвижной чемоданище, посадили ее в коляску, отвезли в город и выдали замуж — за него.

Вечером в тот понедельник Рэтлиф тоже был в Джефферсоне. Он видел, как они втроем пересекли площадь от банка к зданию суда, и двинулся следом. Проходя мимо двери нотариальной конторы, видел их там внутри; подождав немного, он мог бы проследить их переход в кабинет к мировому судье, мог бы стать свидетелем бракосочетания, но не сделал этого. Ему это было не нужно. Он уже знал, что впоследствии, а потому сразу отправился на станцию, где часок подождал прихода поезда, и не ошибся: увидел в вестибюле плетеный баул и огромный раздвижной чемоданище, и в их соседстве уже не было ничего странного, ничего невероятного; еще раз перед ним проплыло похожее на маску спокойное и прекрасное лицо под полями праздничной шляпки, уже в окне набравшего ход вагона, оно глядело в никуда, и это было все. Проживи он в самой Французовой Балке всю ту весну и лето, и то он не смог бы узнать больше: маленькое затерянное сельцо, тонкая ниточка



домиков, ничем не примечательная, безвестная, и все-таки по воле случая именно она приняла одно-единственное божественное семя из выплеска, вслепую исторгнутого расточительным обитателем Олимпа, и даже не подозревала об этом, даже вширь не раздалась, однако выносила, и наконец — роды: яркое краткое лето, сперва стадия центростремительная, когда три пролетки, запряженные великолепными лошадьми, сменяя одна другую, становились к забору из узкого штакетника либо колесили по близлежащим дорогам от дома к дому, от лавки к лавке и от школы к церкви, куда народ собирался кто ради развлечения, а кто пытаясь хоть как-то забыться, и вдруг в одну ночь пролетов как не бывало — стадия центробежная: пролетки исчезли, остался тощий, развинченно слоняющийся по дому в хлопчатобумажных носках хитрый, безжалостный старик, удивительной пышности девушка с красивым, похожим на неподвижную маску лицом и жабоподобное существо, ростом едва достигающее ей до плеча, — вот они снимают деньги со счета, оплачивают брачное свидетельство, билет на поезд, и вот уже слух об этом, в который все сразу возжаждали поверить, рожденный завистью и вековой неутолимой тоской, пошел от хижины к хижине, зашелестел шепотом над корытами с постирушкой и забытым на столах шитьем, от фургона на дороге к проезжему всаднику и от верхового к пахарю над застывшим в борозде плугом, — слух, легенда и затаенная мечта всех на белом свете мужчин, способных ко греху, — и даже юнцов, только лишь грезящих о порче, на которую они еще не способны; больных и увечных, потеющих на ложе бессонницы, желающих сотворить грех и бессильных к нему; одряхлевших, оскопленных старостью, но все еще ползающих по земле, тогда как даже на венках их пожелтевших побед и листья и цветы давно рассыпались, стали бесплодным прахом, да и сами они, эти ходячие мумии, для всего мира живых были не менее мертвыми, чем если бы лежали, замурованные в подземных склепах, а не прятались за неуязвимо-благородным ситчиком все тех же юбок, опекаемые бабушками чужих внуков; легенда, таящая в себе намек на пагубные победы и на поражения, исполненные немислимого великолепия, — да и как сказать, что лучше: ощущать эту надежду, эту мечту и легенду как нечто будущее или по воле рока опрометью бежать от той же мечты и легенды, оставив ее в прошлом. Сохранилась даже одна из пролетов — тех самых. Ее нашли пару месяцев спустя, и Рэтлиф ее видел под навесом конюшни в нескольких милях от поселка, где пролетка стояла пустая, со вздыбленными оглоблями и покрывалась пылью; куры облюбовали ее себе под насест и мало-помалу обгаживали, испещряя когда-то нарядный лак полосами своего беловатого известкового помета, пока осенью, когда после сбора урожая у всех завелись деньги, отец бывшего ее владельца не продал ее батраку-негру, после чего ее видели в год по несколько раз, когда она проезжала по поселку, и, может быть, узнавали, а может, и нет; тем временем ее новый владелец женился, стал обзаводиться семьей, потом поседел, дети разлетелись кто куда, и пролетка уже не блистала, а ее колеса пришлось одно за другим укреплять прикрученными к ним проволокой бочарными клепками, и наконец изящные колеса исчезли вместе с клепками, как будто прямо на ходу перевоплотившись в уже не новые, но крепкие колеса от фургона, диаметром чуть поменьше прежних, отчего появился крен, и крен этот потом тоже менялся от сезона к сезону вместе с переменами общего обличья пролетки, запрягаемой теперь все более тщедушными и хромоногими лошаденками или мулами в порванной и скрепленной кусками проволоки и веревок упряжи, словно владелец десять минут назад запряг этот экипаж и вывел с какой-то потайной свалки в последний прощальный пробег, причем эта лебединая песнь, этот апофеоз скорби, благодаря печальной недооценке возможностей старой пролетки, всякий раз оказывался не последним.

Но когда Рэтлиф вновь поворотил своих выносливых низкорослых лошадок к Французовой Балке, Букрайт и Талл давным-давно уже возвратились и все рассказали. Настал уже сентябрь. Коробочки хлопка раскрылись, и пух от него носился по полям; самый воздух пропах хлопком. По дороге взгляду Рэтлифа открывались все новые и новые поля, где сборщики, застыв внаклонку в нескончаемых волнах лопающихся коробочек, казались неподвижными, словно сваи в пенных волнах прибоя, и длинные полупустые мешки

змеились за ними, как задубевшие на морозе флаги. Горячий воздух был упруг и бездыханен — последняя судорожная потуга обреченного, умирающего лета. Подковы маленьких лошадок часто-часто посверкивали в пыли, а Рэтлиф сидел, расслабленно отдаваясь бегу брички, держа приотпущенные вожжи в одной руке, — невозмутимое лицо, взгляд непроницаемо-загадочный, мечтательный и насмешливо-вопрошающий: он вспоминал, он все еще видел их всех перед собой — в банке, в суде, на станции; похожее на маску спокойное и прекрасное лицо за стеклом поехавшего в сторону вагонного окна проплыло перед ним еще раз, и все, кончено. «Но это ведь ничего, — уверял он себя, — это ведь просто телка, мясная телка, и не более, а этого добра вдосталь и вчера было, и завтра будет тоже. Нехорошо, конечно, что все так понапрасну, и не то, что она Сноупсу без надобности, а пропала ведь — для всех пропала, и для меня в том числе... Да только так ли уж без надобности?» — вдруг подумал он, и вновь это лицо на миг предстало перед глазами, словно ожил в памяти не только тот вечер, но даже поезд, сам поезд, который сделал свое дело, появившись в нужный час, хоть потом он и исчез, сгинул, как не бывало, — и все его тяжелые, громоздкие вагоны, и паровоз. Снова Рэтлиф вгляделся в это лицо. Оно и раньше не было трагичным, а теперь даже обреченным не было, ибо сквозь него проглядывало очередное брэнное воплощение извечного врага мужской половины рода человеческого, — вот же в чем дело! А что до красоты, то опять-таки — в руке налетчика кинжалы и пистолеты подчас тоже сияют очень даже нарядно; и пока он вглядывался, пропащий спокойный лик исчез. Унесся быстро, словно вагонное окно куда-то отступает, тоже превращаясь в призрачную частичку все тех же мертвых сброшенных оболочек центростремительной стадии метаморфоз, и вот уже остался только плетеный баул, крошечный галстучек да непрестанно жующая челюсть...

*Пока, вконец измаявшись, не подступили они к самому Князю.*

*«Сир, — говорят, — он ни в какую. Уперся, и хоть ты тресни!»*

*«Что?!» — ревет Князь.*

*«Говорит, уговор дороже денег. Дескать, как условились, он все выполнил, честь по чести, а теперь отдавайте ее назад — мол, по закону положено. А мы ее найти не можем. Запропастилась куда-то. Где мы только не смотрели! И то сказать, не шибко она была из себя большая да заметная, так мы уж и обращались с ней с осторожностью небывалой. Запечатали в спичечный коробочек асбестовый, а коробок в особый ящичек положили, отдельно. А когда ящичек отперли, нет ее там. И коробок лежит, и печать на месте. Да только нет ничего в коробочке, разве что вроде как засохшее пятнышко с краю. А он вот пришел теперь ее назад требовать. Опять же на вечные муки нам его как отправить — без души-то?»*

*«Проклятье! — ревет Князь. — Выдайте ему какую-нибудь из завалищих. Мало, что ли, душ к нам лезет, да еще в дверь молотят, скандалы устраивают, а что городят — черт не разберет, даже письма показывают от конгрессменов, о которых мы и слыхом не слыхивали. Выдайте ему какую-нибудь из этих».*

*«Да мы пробовали, — отвечают. — Не берет. Чужого, говорит, не возьму, а нужно ему свое, кровное, не больше и не меньше, мол, закон есть закон. Сам, говорит, все как по-писаному выполнил и от вас жду, чтобы честно — дескать, уж кто-кто, как не вы».*

*«Ну так пусть проваливает тогда на все четыре стороны. Скажите, что ошибся адресом. Что у нас на него дела не заведено. Скажите, что его расписка потерялась, если и была когда-нибудь. Скажите, что у нас тут был потоп, оледенение — что угодно».*

*«Да не уйдет он, без этой своей...»*

*«Прогоните его. Вышвырните вон!»*

*«А как вышвырнешь? Он законом прикрывается».*

*«Ишь ты, — Князь говорит, — тоже мне, законник доморощенный выискался. Понятно. Вы вот что, — говорит, — дело это кончайте. А меня нечего беспокоить!» И он уселся поудобнее, бокал свой поднял и сдул с него пламя, словно решил, что они уже ушли. Да только не ушли они.*

«Как кончать?» — спрашивают.

«Как? Взяткой! — ревет Князь. — Взяткой! Не вы ли только что мне твердили, какой он большой законовед? И что — теперь думаете, он вам вручит расписку в получении?»

«Это мы пробовали, — говорят. — Взятку он не берет».

Тут Князь в кресле своем выпрямился и ну распекал их, да с издевкой, язык-то у него жгучий, слова не даст вставить: мол, вы что думали, раз взятка, так непременно кругленькая сумма чистоганом, да на ушко обещание протащить в Сенат, и пошел, и пошел, а они стоят и молча слушают — Князь как-никак! Правда, затесался там один из тех, кто помнил еще папашу нынешнего Князя. Качал, бывало, Князя на колене, когда тот был еще мальчишкой; как-то раз даже сделал ему маленькие вилы и выучил его ими пользоваться — для начала на китайцах, полинезийцах и всяких там италяшках практиковались, пока у того руки не окрепли, чтобы как следует управляться с белыми людьми. Тому все это пришлось не по вкусу, привстал он, поглядел на Князя и говорит:

«Ваш отец, между прочим, однажды допустил и большую промашку, но никто его этим не попрекал. Впрочем, остер был топор, да и сук зубаст».

«А вам, стало быть, попреки от тупого достаются?»

Совсем было рассвирепел Князь, но тоже ведь помнил он былые денечки, когда старый черт любовно и горделиво улыбался, глядя на его неуклюжие мальчишеские придумки с вулканическими бомбами размером с воздушный шар, с кусками горящей серы и прочими подобными штуковинами, а вечерами хвалился перед старым Князем, каким, дескать, малыш сметливым растет и до чего он сегодня додумался — такого перцу задал этим своим китаёзам и италяшкам, что и взрослым прежде в голову не приходило. Так что Князь сменил гнев на милость, разрешил старику сесть и говорит:

«Что вы ему предлагали?»

«Наслаждения».

«И что же?»

«У него свои есть. Говорит, что человеку, который только жует, любая плевательница подходит».

«Ну. А еще?»

«Суетные радости».

«Ну, и — ?»

«Тоже свои. Даже сюда полный чемодан притащил, специально по заказу сделанный — весь из асбеста, и застежки на нем тугоплавкие».

«Так чего же ему тогда не хватает? — орет Князь. — Что ему нужно? Может, рай?»

А старик этак смотрит на него, и сперва Князь подумал: видно, не забыл еще про разнос. Но оказалось, не в том дело.

«Нет, — старик говорит. — Ему нужен ад».

И тут на какое-то время в этом величественном тронном зале, украшенном штандартами изодранных в битвах дымов от сожженных древних мучеников, воцарилась тишина, только и слышно было, что шипенье сковородок, да приглушенно доносились неумолчные вопли подлинных христиан. Но уж Князь-то был весь в папашу — плоть от плоти. Вмиг и ленивая изнеженность, и язвительная ухмылка — куда что только подевалось, словно явился им старый Князь собственной персоной.

«Введите его, — говорит. — И оставьте нас».

И вот ввели его в зал, все вышли и затворили двери. Одежда на нем еще слегка дымилась, но он, правда, тут же пообтряс, где что затлело. Подходит к трону, во рту жвачка, а в руке все тот же плетеный баульчик.

«Ну?» — говорит Князь.

Он голову отвернул и сплюнул, а плевков только пола коснулся и сразу отскочил, взвился колечком синего дыма.

«Я, — говорит, — к вам насчет той души».

*«Это мне уже доложили, — Князь говорит. — Но у тебя нет души».*

*«А разве это моя вина?» — говорит.*

*«А разве моя? — говорит Князь. — Ты что думаешь, это я тебя сотворил?»*

*«А то кто же?» — говорит.*

Тут уж Князю деваться было некуда, и Князь это сам понимал. Так что решил Князь лично взяться за его подкуп. Развернул перед ним все искушения, наслаждения и блаженства; слаще музыки лилась речь Князя, когда он в подробностях описывал их. Но тот даже жевать не перестал, стоит себе и баульчик держит. Тогда Князь говорит: «Гляди!» — и на стену указывает, тот смотрит, а там они как пошли, как пошли одно за другим, и чем дальше, тем лучше, а для наглядности вроде как это с ним самим происходит, даже то, до чего никогда бы своим умом не додумался, и наконец иссякли — все, вплоть до самых невообразимых. Но он только голову отвернул и вновь очередной плевком табачной жвачки об пол щелкнул, а Князь откинулся опять на троне в растерянности и гнев необычайном.

*«Так что ж тогда тебе надо? — Князь говорит. — Тебе что надо? Рай?»*

*«Да я как-то на него не рассчитывал, — отвечает. — А что — он ваш, что вы его предлагаете?»*

*«А чей же еще?» — Князь говорит. И тут Князь чувствует, что тот попался. Вообще-то Князь с самого начала знал, что тот у него в руках, еще с тех пор, как ему сообщили: приперся, мол, и с порога права качать начал; Князь даже перегнулся через подлокотник и в пожарный колокол — блям! — чтобы старик, значит, своими ушами слышал и своими глазами видел, как он с нахалом расправится, а потом опять выпрямился на троне, поглядел на того сверху вниз — стоит себе с плетеным баульчиком — и сказал: «Ты признаешь и даже сам настаиваешь на том, что тебя создал я. Из этого следует, что твоя душа с самого начала принадлежала мне. А следовательно, когда ты предложил ее в залог как обеспечение твоей расписки, ты распорядился тем, что тебе не принадлежит, и тем самым возложил на себя ответственность за...»*

*«Да будто я против этого когда спорил!» — тот говорит.*

*«...за преступное деяние. Так что бери свой чемодан и... — тут Князь замешкался. — А? — говорит, — что ты сказал?»*

*«Да будто, — говорит, — я против этого когда спорил!»*

*«Против чего? — Князь говорит. — Против чего спорил?» Но только слов этих совсем не слышно, едва губами Князь шевелит, а сам все вперед клонится, и вот пол этот раскаленный ему уже колени жжёт, а руками он, себя не помня, за горло хватается и тащит, рвет, слова оттуда вытягивает, будто картофелины из запекшейся земли выковыривает.*

*«Ты кто такой?» — хрипит и воздух ртом ловит, задыхается, глаза выпучил и на того снизу смотрит, а тот уже на троне со своим плетеным баульчиком расположился, и над ним языки пламени, яркие, словно корона.*

*«Бери себе рай! — вопит Князь. — Твой он! Твой!» — и тут с ревом поднимается ветер и с ревом опускается тьма; а Князь ползет через весь зал, когтями пол царапает, скребется в запертую дверь, вопит...*

## Книга третья. Долгое лето

### Глава первая

#### 1

Оставив бричку, Рэтлиф глядел, как Варнер выехал со двора на своей старой белой



кобыле, которая свернула по улице вдоль загородки, и уже издали было слышно, как в брюхе у нее ёкает, раскатисто и гулко, словно орган гудит.

«Значит, он снова верхом, — подумал Рэтлиф. — Пришлось, видно, раскорячиться, не пешком же ходить. Значит, и это у него отняли. Мало того, что он сделал дарственную на землю, уплатив два доллара за регистрацию, купил билеты в Техас и наличные денежки выложил, так нет же, пришлось и новую коляску отдать вместе с кучером, только бы как-нибудь сплавить из лавки и из дому этот крошечный галстук бабочкой».

Лошадь, как видно, сама остановилась, поравнявшись с бричкой, где сидел Рэтлиф, скромный, сдержанный и грустный, словно приехал выразить соболезнование в дом покойника.

— Какое несчастье, — тихо сказал он.

Он не хотел уязвить Варнера. Он не думал о позоре его дочери, да и вообще о ней не думал. Он говорил о земле, об усадьбе Старого Француза. Никогда, ни на один миг он не мог поверить, что усадьба ничего не стоит. Он поверил бы этому, достанься она кому-нибудь другому. Но раз уж сам Варнер купил ее и оставил за собой, даже не пытаясь продать или еще как-нибудь сбыть с рук, — значит, тут что-то есть. Он не допускал и мысли, что Варнер может когда-нибудь попасть впросак: если он что купил, значит, дал дешевле, чем всякий другой, а если не продает, значит, знает своему добру настоящую цену. На что Варнеру эта усадьба, Рэтлиф не понимал, но Варнер ее купил и не хотел продавать, и этого было довольно. И теперь, когда Варнер наконец расстался с ней, Рэтлиф был убежден, что он взял за нее настоящую цену, ради которой стоило ждать двадцать лет, или, во всяком случае, цену немалую, пусть даже не деньгами. А принимая в соображение, кому Варнер отдал усадьбу, Рэтлиф приходил к выводу, что он сделал это не ради выгоды, а поневоле.

Варнер словно прочел его мысли. Сидя на лошади, он хмуро супил рыжеватые брови и блестящими колючими глазками исподлобья глядел на Рэтлифа, который и по духу, и по складу ума, и с виду годился ему в сыновья скорее, чем любой из собственных его отпрысков.

— Значит, по-твоему, одной печенкой этому коту глотку не заткнуть? — сказал он.

— Разве что внутри будет веревочка с узелком запятана.

— Какая такая веревочка?

— Не знаю, — сказал Рэтлиф.

— Ха! — сказал Варнер. — Нам не по пути?

— Не думаю, — сказал Рэтлиф. — Я отсюда прямо в лавку. — «Разве только ему тоже взбрела охота посидеть там, как бывало», — подумал он.

— И я туда же, — сказал Варнер. — Разбирать тяжбу, будь она трижды неладна. Между этим окаянным Джеком Хьюстоном и другим, как бишь его... Минком. Из-за его паршивой коровы, чтоб ей околеть.

— Так, значит, Хьюстон подал в суд? — сказал Рэтлиф. — Неужто Хьюстон?

— Да нет же. Просто Хьюстон держал корову у себя. Продержал ее все прошлое лето, а Сноупс помалкивал, ну, Хьюстон кормил корову всю зиму, и нынешней весной и летом она тоже паслась на Хьюстоновом выгоне. А на прошлой неделе этот Сноупс вдруг надумал забрать корову, не знаю уж зачем, видно, решил ее зарезать. Взял веревку и пошел на выгон. Стал ловить свою корову, а Хьюстон увидел это и остановил его. Говорит, пришлось даже револьвером пригрозить. А Сноупс увидел револьвер и говорит: «Стреляй, чего же ты. Знаешь ведь, что я-то безоружный». И тогда Хьюстон ему на это: «Ладно, черт с тобой, давай положим револьвер на столб загородки, сами встанем по разные стороны у ближних столбов, сосчитаем до трех, кто вперед добежит, тому и стрелять».

— Отчего ж они так не сделали? — спросил Рэтлиф.

— Ха, — хмыкнул Варнер. — Ладно, поехали. Мне бы поскорей отвязаться. Дел и так по горло.

— Езжайте, — сказал Рэтлиф. — А я поплетусь потихоньку. Мне ведь тяжбу из-за коровы не разбирать.

И старая кобыла (всегда такая чистая, словно только что из химчистки и как будто даже бензином пахнет), все так же ёкая селезенкой, двинулась дальше, вдоль обветшалой, проломанной во многих местах загородки. Рэтлиф, не трогаясь с места, сидел в бричке, провожая взглядом кобылу и сухопарого, нескладного седока, который, не меняя седла, ездил на ней двадцать пять лет, с трехлетним перерывом, когда купил коляску, и думая о том, что, попробуй теперь белая кобыла или его лошадки, как это делают собаки, обнюхать загородку, они не учуют запаха тех пролеток с желтыми колесами, думая: «И все двуногие кобели со всей округи, от тринадцати и до восьмидесяти лет, теперь могут проходить мимо, не чувствуя потребности остановиться и задрать ногу». И все же эти пролетки были еще здесь. Он знал, он чувствовал это. Осталось нечто такое, что не могло исчезнуть так быстро и бесследно, — остался дух, хмельной, щедрый, сладостный, который овевал и лелеял ту пышную, изобильную плоть, что непрерывным потоком всасывала пищу все шестнадцать лет, прожитых в полной праздности; отчего ж в конце концов этому телу было не уподобиться неприступной голой вершине, не стать первозданной цитаделью девического целомудрия, завладеть которой мужчине дано лишь дорогой ценой или даже не дано вовсе, — нет, он будет отброшен, падет, исчезнет, не оставив по себе ни следа, ни знака («А ребенок-то, верно, будет так же не похож ни на кого из здешних, как и она сама», — подумал он), и пролетки — это лишь часть от целого, ничтожная и зряшная мелочь, вроде пуговиц на ее платье, или самого платья, или дешевых бус, которые подарил ей кто-то из тех троих. Все это, конечно, было не про него, даже в самый его разгул, как сказали бы они с Варнером. Он знал это и не испытывал ни грусти, ни сожаления, он никогда и не пожелал бы этого («Все равно как если бы мне подарили орган, а я только и способен выучиться заводить старый граммофон, который недавно выменял на почтовый ящик», — подумал он) и даже о победителе, об этой жабе, вспоминал без всякой ревности; и вовсе не оттого, что знал: чего бы ни ожидал Сноупс, как бы ни называл то, что ему досталось, победы тут никакой не было. А испытывал он лишь негодование на пустое, бессмысленное расточительство; как все это нелепо от начала и до конца — словно построили западню из толстенных бревен и положили туда целого быка, чтобы поймать всего-навсего крысу, или еще хуже — словно сами боги осквернили, окропили нечистью ясный июнь, средоточие чистоты и света, обратив его в навозную кучу, где кишат черви. Впереди, за углом, там, где кончалась загородка, ответвлялась в сторону едва приметная, почти заглушённая травой дорога к усадьбе Старого Француза. Белая кобыла хотела было свернуть туда, но Варнер грубо погнал ее вперед. «Все равно что в богадельню отдать», — подумал Рэтлиф. Но там-то хоть этой заразы не было бы. Он легонько дернул вожжи.

— Н-но! — крикнул он на своих лошадок. — Вперед.

Лошади тронули, ступая по густой пыли, покрывавшей дорогу в эту пору позднего лета. Теперь вся Балка была видна как на ладони — лавка, кузня, железная крыша над хлопкоочистительной машиной и труба, над которой легкой, прозрачной дымкой струился отработанный пар. Сентябрь был в половине; сухой, пропыленный воздух чуть дрожал от быстрого стука машины, он был почти так же горяч, как пар, которого поэтому и видно не было — только неверное, трепетное марево маячило над трубой. Знойный, дрожащий воздух оглашали медленные, натужные стоны груженных повозок, всюду пахло ватой; клочки ее повисли на чахлой придорожной траве, редкие хлопья валялись на дороге, вдавленные в пыль колесами и копытами лошадей. Видны были и повозки, они выстроились неподвижной вереницей, и понурые мулы, время от времени продвигаясь вперед на длину одной повозки, покорно ждали, пока подойдет их очередь въехать на весы, а потом к хлопкоприемнику, где снова распоряжался Джоди Варнер, а в лавке уже сидел новый приказчик, как две капли воды похожий на старого, лишь ростом чуть поменьше да в плечах поуже, словно был скроен по одной с ним выкройке, только навыворот и не сразу, а когда края пообтерлись, оборвались, — у него был маленький, пухлый, ярко-розовый, как задик котенка, рот, блестящие, бегающие, блудливые барсучьи глазки, и он дышал веселой, беспредельной, непоколебимой уверенностью в том, что весь род человеческий, не исключая и его самого, от

природы неизменно и неиссякаемо бесчестен.

Джоди Варнер стоял у весов; Рэтлиф, проезжая мимо, вытянул, как индюк, шею и увидел мешковатую суконную пару, белую сорочку без воротничка, с желтыми от пота полудужьями под мышками и пропыленную, облепленную пушистыми хлопьями черную шляпу. «Что ж, теперь, видать, все довольны, — подумал Рэтлиф. — Или нет, пожалуй, все, кроме одного», — мысленно добавил он, потому что увидел, как из лавки вышел Билл Варнер и взгромоздился на свою лошадь, которую кто-то отвязал и теперь держал под уздцы, а на галерею высыпали люди, чьи повозки стояли обочь дороги напротив лавки, ожидая очереди к весам, а когда и сам он подъехал к лавке, с крыльца спустился Минк Сноупс и с ним — другой Сноупс, этот краснобай, учитель (теперь на нем был новый сюртук, хоть и не ношенный, с иголки, но словно бы с чужого плеча, точь-в-точь как тот, старый, в котором Рэтлиф видел его впервые). Мелькнуло упрямое лицо, на котором теперь застыла холодная ярость, сросшиеся брови, а следом — крысиная мордочка учителя, беспорядочный вихрь рук, рвавшихся из обшлагов нового черного сюртука, и послышался голос, который, как и движения рук, существовал словно бы сам по себе, независимо от тела, облакавшего их в плоть и кровь:

— Имей терпение! Не сразу и Рим строился, а терпенье и труд все перетрут. Дай только срок — Бог правду видит, а она глаза колет. Я сам читал закон; Билл Варнер ничего в нем не смыслит и, право слово, все перепутал. Мы подадим жалобу. Мы...

Но тут Минк сверкнул на него глазами из-под неумолимой черты бровей и злобно сказал:

— Дерьмо!

Они ушли. Рэтлиф подъехал к крыльцу. Пока он привязывал лошадей, вышел Хьюстон со своим псом, сел на лошадь и уехал. Рэтлиф поднялся на галерею, где было теперь по малой мере человек двадцать, и среди них Букрайт.

— А у истца, видать, язык хорошо подвешен, — сказал он. — Каков приговор?

— Сноупс должен уплатить Хьюстону три доллара за потраву и корм, и тогда пускай забирает свою скотину.

— Вот как, — сказал Рэтлиф. — А что же, защитника его судья и слушать не стал?

— Защитника судья оштрафовал да велел ему замолчать, и вся недолга, — сказал Букрайт. — Ежели ты именно это желаешь знать.

— Так, так, — сказал Рэтлиф. — Так, так, так. Выходит, Билл Варнер ничего не мог поделаться с очередным Сноупсом, кроме как заткнуть ему рот. Ну, да ничего не попишешь, Сноупсы приходят и уходят, но Билл Варнер, видно, осноупсился на веки вечные. Или, если угодно, он полагает, что это навеки. Как это по пословице? Старому гнить, новому цвести, а глядишь — все остается по-старому: и работа и инструмент, только человек новый, а это разве не один черт?

Букрайт поглядел на Рэтлифа.

— Ты бы встал поближе к двери, чтоб ему слышнее было, — сказал он.

— Твоя правда, — сказал Рэтлиф. — И стены имеют уши, а денежки счет любят, с сильным не борись, но не в каждой семье есть свой адвокат, не говоря уж о пророке. Не будь тороват, будешь богат, а только не надобно и пророка, чтобы сказать до срока, ежели девка с прибылью.

Теперь все смотрели на него, и было в его безмятежном, непроницаемом лице, в глазах и в складках у рта что-то такое, чего они не могли разгадать.

— Слушай, да что это с тобой, — сказал Букрайт.

— Со мной? Ровным счетом ничего. А из ничего не сделаешь нечто в этом лучшем из миров<sup>26</sup>. Небось у того, кто продает ему эти его галстучки, найдется и пара длинных черных

---

<sup>26</sup> Подразумевается афоризм из тридцатой главы философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», ставший крылатой фразой: «Все к лучшему в этом лучшем из (возможных) миров».

чулок. А любой мазилка размалюет ему ширму полками, а на них жестянки, он поставит ее у кровати, и ему будет казаться, что он в лавке...

— Слушай, — сказал Букрайт.

— ...и тогда он сумеет сделать то, о чем здесь вот уж двадцать девять дней только и думают все, кто ее хоть раз видел, от тринадцатилетних мальчишек и девчонок до старика Маккалема, которому уже стукнул сто один год. Конечно, он мог бы устроить дело иначе — залезть на крышу сарая, а оттуда в окно. Но это ни к чему, это не в его духе. Нет, брат, шалишь. Этот малый — не очумевший кот, чтоб лазить по крышам. Ему...

К крыльцу рысцой подбежал мальчик лет восьми или десяти, одетый в комбинезон, поднялся на галерею, стрельнул в них невинными голубыми, как барвинок, глазами и деловито нырнул в лавку.

— ...ему только одно и нужно — сидеть здесь, в лавке, да ждать, покуда которая-нибудь сама придет взять на пять центов сала, разумеется — в долг: надо только попросить мистера Сноупса, он даст ей и запишет в книгу, а она знает, что он там записал и для чего, не больше, чем знает о том, как это самое сало попало в жестянку с этикеткой, на которой нарисована свинья, да так похоже нарисована, что даже ей ясно, что это свинья, а он ставит жестянку на место, прячет книгу, идет и запирает дверь на засов, а она тем временем уже за прилавком и легла на пол, верно, думает, что так нужно, не для того, чтоб за сало не платить, про сало он уже записал в книгу, а для того, чтоб ее отпустили подобра-поздорову...

Новый приказчик выбежал из лавки на галерею. Он вырос словно из-под земли, и черты его, теснясь на лице и словно устремляясь к некоему центру, горели нестерпимым, лихорадочным, всепожирающим возбуждением, а мальчуган с глазами-барвинками деловито юркнул мимо него и, никого не дожидаясь, спрыгнул с крыльца.

— Ну вот, ребята, — сказал он скороговоркой, взволнованно. — Уже началось. Так что поторапливайтесь. Я сегодня пойти не могу. Мне нельзя отлучиться из лавки. А вы лучше идите задами, чтобы старуха Литтлджон не видела. Она и то уж на нас косится.

Пятеро или шестеро мужчин встали с какой-то странной, вороватой и вместе с тем вызывающей поспешностью. Один за другим они спускались с крыльца. Неугомонный мальчуган уже бежал вдоль загородки, которой был обнесен участок миссис Литтлджон.

— В чем дело? — спросил Рэтлиф.

— Если ты еще не видел, пошли, — сказал один из мужчин.

— Чего не видел? — Рэтлиф оглядел оставшихся. Среди них был Букрайт. Опустив голову, он сосредоточенно строгал сосновую веточку.

— Шагай живей, — подогнал человека, замешкавшегося на крыльце, другой, шедший следом. — А то покуда дойдем, все кончится.

И они гурьбой пошли дальше. Рэтлиф глядел, как они почти бегом шли вдоль загородки следом за мальчиком, все с тем же вороватым и вместе с тем вызывающим видом.

— Да что у вас тут такое происходит, в конце-то концов? — спросил он.

— Ступай да погляди сам, — грубо сказал Букрайт. Он даже не поднял головы от своей веточки. Рэтлиф посмотрел на него.

— А ты видел?

— Нет.

— А пойдешь?

— Нет.

— Ну а в чем дело, знаешь?

— Ступай да погляди, — снова сказал Букрайт грубо и зло.

— Да, уж видно, придется, раз никто не хочет мне сказать, что там такое, — сказал Рэтлиф.

И он вышел на крыльцо. Кучка людей была уже далеко, они быстрым шагом шли вдоль загородки. Рэтлиф не спеша начал спускаться с крыльца. Он продолжал говорить. Он говорил, сходя по ступенькам, и ни разу не оглянулся; невозможно было понять, обращается ли он к людям, оставшимся на галерее, или же вообще ни к кому не обращается:



— ...запирает он дверь на засов и идет назад к этой черномазой, что пришла к нему прямо с поля, и на теле у нее еще не просох пот, а ей и невдомек, что от нее пахнет потом, оттого что она сроду ничего другого не нюхала, все равно как мулу невдомек, что от него пахнет мулом, и лежит она в одном-единственном платишке на полу под прилавком и глядит мимо него, на жестянки, разрисованные рыбами и всякой чертовщиной, а что там внутри, не знает, потому что у нее в жизни в руках десяти центов не было, а ежели б он давал ей никель в придачу к салу, за которым она пришла, она на третий или четвертый раз, услышав от людей, как называется то, что в этих самых банках, спросила бы, лежа на полу и поглядывая на них всякий раз, как его голова не застит полку: «Мистер Сноупс, а почем у вас вон те сардины?»

## 2

Когда зима кончилась и подкралась весна, ему все меньше и меньше приходилось бежать сквозь темноту, от темноты. Вскоре темно было, лишь когда он, осторожно пятясь и шупая одной ногой землю, выбирался из упряжной клетки, где спал на соломе под ватным одеялом, и уходил, оставляя позади длинную призрачную тень дома, где в постелях, которые он теперь научился стелить не хуже самой миссис Литтлджон, на подушках храпели приехавшие накануне торговцы, а к апрелю осталась лишь тонкая и редкая завеса предрассветных сумерек, и теперь уж он ощущал себя чем-то твердым, зримым и осязаемым, не было уже бессвязного всечувствия страха, жидкого и бьющего по нервам, когда он был один и страшно свободен, брошенный в эту непроглядную, враждебную, первобытную жуть. Все это было позади. Теперь страх проходил лишь перед самым рассветом, в тот едва уловимый миг, который так безошибочно угадывают звери и птицы, — когда день наконец одолевает ночь; и тогда он пускался бежать со всех ног, не для того, чтобы поспеть вовремя, а чтобы поскорей вернуться, бежал уже спокойно, без страха, под ясным небом, которое из серого постепенно становилось сперва бледно-желтым, а потом золотым, вверх, на хребтину дальнего холма, и оттуда вниз, в надбережный туман, к ручью, и там ложился прямо в росную траву, где просыпались мириады живых существ, и, напряженно прислушиваясь, ждал ее.

Наконец из тумана доносятся ее шаги, она идет по берегу ручья. Он ждет недолго — не час, не два, не три; но заря угасает, еще не пришел тот миг, еще ее нет, но вот он слышит ее, лежа в мокрой траве, безмятежный, всем своим существом безраздельно счастливый. Он чувствует ее; этим запахом пронизан туман; те же мягкие руки тумана, что обнимают его распростертое на земле, измокшее тело, гладят и ее хребет, осыпанный жемчужными каплями, и мгновенно сочетают их обоих нерасторжимыми узами. Он не шевелится. Он лежит, затаившись, а вокруг него пробуждается целый мир мельчайших существ, у самого его лица клонятся к земле травинки, отягченные росой, темные и недвижные в тумане, и на изогнутых балках в ровно скользящих каплях росы многократно отражается розовеющая заря, крошечная и вместе с тем огромная в миниатюрном своем воспроизведении, и он чувствует и даже ощущает на вкус сладкий, густой, теплый запах хлеба, молока, чувствует приближение извечного женского начала, слышит, как чавкает и хлюпает грязь, когда она осторожно ставит на землю раздвоенное копыто, еще не видя ее в тумане, пронизанном ликующими звуками брачного гимна.

Наконец он видит ее; тонкие сверкающие копыта утреннего солнца пронзают туман, и она предстает перед ним, недвижимая, светлая, окропленная жемчужинками росы, и, стоя в расступившейся воде ручья, источает густой, теплый, пахучий молочный дух; теперь солнце уже слепит ему глаза, и он начинает ерзать в мокрой траве, издавая слабые, глухие, безгласные стоны. Он не может остаться тут до полудня, до вечера, на весь день. И не оттого что ему нужно идти работать. Ему не приходится работать, выбиваясь из сил, потеть, постоянно принуждать себя к этому физически или духовно; для него не было вчера, не будет и завтра, а сегодня — это лишь тихое и невинное удивление при виде пыли и сора,

ползущих перед щеткой, и простынь, которые от заученных движений становятся гладкими и тугими — нетрудное, привычное дело; им повелевает ласковая, но твердая рука, кроткий голос сдерживает его порывы — так обучают и заставляют повиноваться собаку.

А оттого что он не смеет. Он уже пробовал. Это было, когда он поджидал ее в третий раз; туман рассеялся, и он увидел ее, и для него не стало даже «сегодня», — ни голоса, ни руки, ни кровати, которые его ждут, побеждена была преданность и даже привычка. Он встал и пошел к ней, заговорил, протянул руку. Она подняла голову, увидела его и вышла из ручья на другой берег. Он пошел следом, робко ступил в воду и, высоко поднимая ноги, пошел через ручей вброд, с тихими стонами, сдерживая нетерпение, чтобы не испугать ее еще больше. Один раз, оступившись, он упал ничком, с головой уйдя под воду, не сделав даже попытки удержаться на ногах и лишь громко вскрикнув, потом встал, весь мокрый, и уже набрал было воздуха, чтобы крикнуть снова. Но он удержал крик и опять что-то забормотал, заговорил, выбрался на берег и опять пошел к ней, протягивая руку. Тогда она пустилась наутек, но, отбежав немного, повернулась к нему и выставила вперед рога; прежде чем он успел погладить ее, она снова шарахнулась и снова побежала, а он бежал следом и все говорил с ней, настойчиво бормотал что-то. Наконец, пробежав мимо него, она пустилась назад, к броду. Он не мог угнаться за ней; со стонами он трусил рысцой, не видя ничего, кроме беглого мелькания теней, пятнавших ее, недоступную, ускользающую, а она тем временем уже перебралась через ручей, отбежала немного по тропе и, остановившись, принялась щипать траву.

Он перестал стонать. Добравшись до ручья, он пошел вброд, при каждом шаге высоко поднимая ногу, словно всякий раз боялся, что вода не расступится, или, быть может, просто не знал, что окажется у него под ногой. На этот раз он не упал. Но едва он выбрался на берег, она пошла прочь по тропе, быстро, хоть и шагом, и ему снова пришлось бежать, все время отставая, и снова он стонал, и в его столах слышалось недоумение, и растерянность, и упорство. Она возвращалась той же дорогой, по какой пришла в это утро и приходила каждый день. А он, вероятно, и не подозревал об этом, не обращал внимания, куда бежит, не видел ничего, кроме этой коровы; он, должно быть, не понял, что они во дворе, даже когда она пересекла этот двор и вошла в коровник, из которого вышла всего час назад, хотя вообще-то он, вероятно, знал, откуда она приходит по утрам, потому что знал почти всю округу, и еще не было случая, чтобы он заблудился; в темноте все вокруг как бы рассасывалось, хоть и оставалось на прежних местах. Должно быть, он не понимал даже, что теперь она в своем стойле, он понимал только одно — наконец-то она остановилась, наконец-то не убегает больше, потому что сразу смолкли его тревожные и нетерпеливые стоны, и он вошел к ней в стойло, снова уговаривая ее, бормоча что-то бессвязное, пуская слюни, и коснулся ее рукой. Она шарахнулась; едва ли он понимал, что она не может убежать, но она не бежала, и этого было довольно. Он снова коснулся ее, и его рука дрожала, в прерывающемся голосе звучала неутоленная страсть и обещание блаженства. А потом он лежал на спине, и она все еще била копытами в дощатую стену у самой его головы, и он увидел, что над ним стоит огромный пес, еще мгновение, и кто-то, грубо схватив его за шиворот, поставил на ноги. И вот его уже выволокли из коровника, и Хьюстон все еще держит его за шиворот и осыпает бранью, а он и не знает, что это не ярость, а просто безнадежная злость. Собака стояла чуть поодаль, выжидая.

— Айк Х'моуп, — сказал он. — Айк Х'моуп.

— Тьфу, черт, — сказал Хьюстон и встряхнул его. — Убирайся! Живо! Гони его отсюда, — приказал он своему псу. — Но смотри не тронь!

Пес залаял. Не двинулся с места, а лишь один раз коротко взлаял, словно сказал «пшел!», и он, не переставая стонать, отчаянным взглядом пытаясь что-то объяснить этому человеку, заковылял к открытым воротам, в которые только что вошел. Пес следовал за ним по пятам. Он оглянулся на коровник, снова попытался что-то сказать взглядом, но только застонал, пуская слюни, а пес снова залаял на него и сделал еще шаг, всего один шаг, и он, с ужасом взглянув на него, рысцой затрусил к воротам. Пес пролаял три раза кряду, а он

закричал, хрипло и жалобно, как затравленный зверь, и побежал что было мочи, с трудом, не попадая перебирая своими толстыми непослушными ногами.

— Не тронь! — крикнул Хьюстон.

Но он не слышал этого. Он слышал лишь топот собачьих лап у себя за спиной. Подвывая со страху, он тяжело бежал к воротам.

И вот теперь он не смеет идти за ней. Он смеет только лежать на траве, ждать ее, ловить звук ее шагов, видеть ее, когда туман рассеется — и ничего больше. Поэтому он встал с земли и стоит, все еще слегка покачиваясь из стороны в сторону, с тихим хриплым стоном. А потом он поворачивается и бредет вверх по холму, спотыкаясь, потому что глаза его все еще ослеплены солнцем. Но вот под босыми ногами он чувствует дорожную пыль и снова пускается бежать во всю мочь, не переставая стонать, и тень его становится все короче на пыльной дороге, а солнце, поднимаясь все выше, печет ему спину, и мокрая грязь у него на комбинезоне понемногу подсыхает; наконец, он снова в доме, где ждут его неубранные комнаты и незастланные кровати. Вскоре он берется за свое обычное дело — метет полы, лишь изредка останавливаясь с горестным и недоуменным стоном, а потом снова с тихим и сосредоточенным удивлением следит за кучкой пыли и сора, ползущей перед щеткой. Потому что, даже метя пол, он все еще видит ее на лугу, светлую, среди алых солнечных бликов, и не просто на фоне налитой соками нежной зелени, а неотторжимую от буйного расцвета весны, в прекрасном ее венце.

Он подметал комнату наверху и вдруг увидел дым. Он сразу понял, где пожар, — там, за ручьем, на холме, поросшем осокой и вереском. И хотя его отделяло от этого холма целых три мили, он мгновенно представил себе, как она в страхе пятится от огня, услышал ее мычание. Он рванулся с места, не выпуская из рук щетки, бессмысленно ткнулся в стену, как муха или птица, попавшая в западню, потом в высокое узкое оконце, через которое увидел дым, — пролезть в него он все равно не смог бы, даже если бы решился прыгнуть с высоты восемнадцати футов. Потом перед ним оказалась дверь в коридор, и он опрометью выскочил в нее, все еще не выпуская щетку, и побежал по коридору к лестнице, но тут из другой комнаты вышла миссис Литтлджон и остановила его.

— Айзек, — сказала она. — Куда ты, Айзек?

Она не повысила голоса и даже не коснулась его, но он остановился, застонал, устремив на нее пустой, бессмысленный взгляд и поджимая то одну, то другую ногу, как кошка на горячей крыше. Тогда она протянула руку, взяла его за плечо и повернула обратно, и он покорно, со стоном, пошел по коридору назад, в комнату; он даже раз-другой взмахнул щеткой, но опять увидел в окно дым. Теперь он нашел дверь почти сразу, но не побежал к ней. Он постоял немного, тихонько скуля, поглядел на зажатую в руке щетку, потом на кровать, которую только что застелил аккуратно, без единой морщинки, перестал скулить, подошел к кровати, откинул одеяло и уложил туда щетку широким концом на подушку, словно голову, накрыл ее, оправил одеяло невероятно быстро и ловко своими непослушными руками и вышел.

На этот раз он не издал ни звука. Он шел не на цыпочках и все же проскользнул по коридору удивительно быстро и бесшумно; не успела миссис Литтлджон выйти из соседней комнаты, как он уже добрался до лестницы и начал спускаться вниз. В первый раз, три года назад, он ни за что не хотел спускаться. Наверх он тогда залез один, без посторонней помощи; никто так и не узнал, шел ли он по лестнице, или взбирался на четвереньках, или, может, лез наверх, все выше, даже не подозревая об этом, и ощущение высоты еще не проснулось в нем. Миссис Литтлджон не было, она ушла в лавку. Кто-то, проходя мимо, слышал его крики, и когда она вернулась, у нее в прихожей столпились пять или шесть человек и, задрвав головы, смотрели, как он на верхней ступеньке, зажмурившись, цепляется за перила и отчаянно ревет. Когда она попыталась оторвать его от перил и стащить вниз, он только крепче сжимал пальцы, упирался и ревел. Он просидел наверху три дня, и она носила ему туда еду, а люди приезжали издалека, чтобы полюбопытствовать: «Ну как он, все еще там?», пока наконец, после долгих уговоров, она не заставила его спуститься. Но и тогда это

продолжалось довольно долго, несколько минут, а в прихожей толпились люди и глазели, как он цепляется за перила и ревет, а ласковая, но твердая и непреклонная рука и ровный, неумолимый, терпеливый голос понуждают его спускаться со ступеньки на ступеньку. После этого случая он долго еще падал всякий раз, как пробовал спуститься с лестницы. Он знал, что упадет, и уже стонал заранее, ступая наугад, в пустоту, и летел вниз головой, ударяясь о ступени, терзаемый не болью, а удивлением, и, наконец, растягивался на полу в прихожей и ревел, устремив в пустоту испуганный и недоверчивый взгляд.

Но в конце концов он научился преодолевать лестницу. И теперь он лишь помедлил немного, прежде чем сделать первый шаг, не смело, но и не робко, и с каждым шагом он словно повисал в воздухе, почти в пустоте; всякий раз под ним на миг разверзалась неизвестность, чуть ли не бездна, но вот он уже в прихожей, выбежал на задний двор, а там снова остановился и начал со стоном раскачиваться из стороны в сторону, и на его бессмысленном лице появилось тупое удивление. Потому что отсюда не было видно дыма, а он помнил лишь пустынный холм, с которого всякий раз спускался в туман, на берег ручья, и там ждал ее, а теперь все было не так. Теперь вокруг него свет, солнце и все на виду, — и сам он, и деревья, и земля, и дом — все обрело четкие и ясные очертания; и нет больше темноты, не надо бежать сквозь и от нее, и все совсем не так. Он постоял немного в тупом удивлении, со стоном раскачиваясь из стороны в сторону, а потом пошел через двор к воротам загона. Открывать их он научился уже давно. Он отодвинул засов, и ворот перед ним как не бывало; он вышел, почти сразу нашел распахнувшуюся настежь створу у самой загородки, затворил ее, заложил засов, со стоном пересек залитый солнцем загон и вошел в конюшню.

Сперва, ослепленный солнцем, он ничего не увидел. Но каждый вечер, когда он приходил сюда спать, здесь бывало темно, и он, сразу перестав стонать, уверенно направился прямо в свою клеть, ухватился обеими руками за дверной косяк, встал одной ногой на ступеньку и, пятась, щупая другой ногой землю, вылез из темноты на свет, повернулся, и свет оглушил его беззвучным ревом, сделал его твердым и зримым, но он уже трусил рысцой туда, к холму, откуда обычно сбегал по склону в туман, на берег ручья, чтобы там лечь и ждать ее, пересек загон и протиснулся через лазейку в проволочной загородке. Он зацепился за проволоку комбинезоном, но, рванувшись, освободился и без стога побежал по дороге, быстро двигая толстыми бабьими ляжками, и его лицо, глаза выражали тревогу и нетерпение.

Пробежав три мили до холма, он все так же бегом свернул с дороги, поднялся на скат; увидев дым на другом берегу ручья, он опять издал хриплый, исполненный ужаса вопль и побежал вниз, к ручью, к броду, по уже высохшей траве, в которой он лежал на заре. Он не медлил, не колебался. С разлета он сбегал в воду, чуть подернутую рябью, и все бежал, падая, зарываясь головой в воду, пока не упал ничком, а потом встал, весь мокрый, по колена в воде, и заревел. Он поднял одну ногу и шагнул вперед, словно поднимаясь по лестнице, потом шагнул еще и еще, порываясь бежать, и снова упал. Но на этот раз его вытянутые руки коснулись берега, а когда он встал, то услышал ее мычание, слабое и испуганное, оно явственно доносилось из-за густой пелены дыма, окутывавшей ближний холм. Он поднял ногу над водой и снова побежал. На этот раз он упал уже на суше. С трудом поднявшись, он в мокром комбинезоне пустился через луг, а потом вверх по холму, окутанному пеленой дыма, которая в этот безветренный день была неподвижна, постепенно переходя под ярким солнцем от голубого оттенка к нежно-розоватому сиреневому и, наконец, медно-красному.

В миле позади осталась широкая, ровная, тучная пойма и начинались холмы — последний, едва приметный голубой след Аппалачских гор на земной поверхности. Некогда эта земля принадлежала индейцам племени чикасо<sup>27</sup>, потом ее, где только было возможно,

---

<sup>27</sup> *Чикасо* — индейское племя, некогда населявшее северные районы Миссисипи. В 1832 г. оно продало свои земли правительству США и переселилось в Оклахому. Индейская предыстория Йокпанатофы у Фолкнера целиком вымышлена.



расчистили под пашню, а после Гражданской войны забросили, и здесь остались одни маленькие передвижные лесопилки, да и тех теперь не было и в помине, на их месте высились лишь груды гниющих опилок — печальные надгробья и в то же время памятники ненасытной человеческой жадности. Мало-помалу земля вновь поросла чахлыми сосенками и дубками, под ними зацвел кизил, но потом и эти леса были сведены, пошли на веретена для прядильных станков, и прежние поля, не сохранившие ни одной борозды, словно плуг никогда и не касался их, сорок лет поливал дождь, грыз мороз, сушил зной, и постепенно они обратились в нагорье, поросшее самым обыкновенным вереском да травой, где водятся кролики и гнездятся перепела, изрезанное оврагами с осыпающимися красно-белыми склонами, в которых перемежаются пласты песка и глины. К такому склону он и бежал теперь, бежал по золе, не подозревая об этом, потому что здесь земля уже успела остыть, бежал по черным стеблям прошлогодней осоки с редкими островками свежей неопаленной зелени, где иногда мелькали растерзанные головки бело-голубых маргариток, вверх, на холм.

Дым стеной встал на его пути; а там, в дыму, слышалось неумолчное отчаянное мычание перепуганной коровы. Он бросился прямо в дым, на ее зов. Вот уже земля под ним стала горячей. Он начал быстро поджимать то одну, то другую ногу; один раз он закричал сам, хрипло и удивленно, и ему пронзительным воем откликнулись дым, кустарник, холмы. Вой этот несся отовсюду, сверху и снизу, летел со всех сторон; остановившись перевести дух, он услышал стук копыт, и появился конь, он возник прямо из дыма, — какое-то невероятное чудовище с дико горящими глазами и развевающейся гривой — и понесся прямо на него. Он тоже взвыл. Они оба взвыли, глядя друг на друга, а потом дико горящие глаза, желтые зубы и огромная красная пасть, разинутая в злобном ликующем торжестве, обрушились на него и промчались мимо, потому что конь свернул на всем скаку, и от ветра, поднятого этим огнедышащим драконом, зашевелились его волосы и одежда. Конь исчез. А он снова бросился туда, откуда доносилось мычание. И когда снова за спиной у него послышался конский топот он даже не обернулся, даже не вскрикнул. Он все бежал бежал без оглядки, а по земле, сквозь дым, снова прокатился гулкий, дробный стук копыт, и снова пронзительный нестерпимый визг настиг его, и он, обеими руками прикрывая голову, упал ничком, и вокруг снова засвистел огнедышащий ветер, и обезумевший конь, прыгнув, проплыл над его распростертым телом и скрылся из глаз.

Он встал и пустился бежать. Теперь корова была уже близко, и впереди он увидел огонь, отделявший его от нее, тонкую, нежно-розовую полоску, стлавшуюся понизу, в дыму. Всякий раз, как его подошва касалась земли, он болезненно вскрикивал и норовил отдернуть ногу, еще не успев перенести на нее вес тела, но тотчас спохватываясь, с удивлением и ужасом ощущая вторую ногу, о которой он на миг забыл, так что теперь он уже не двигался вперед, а прыгал на месте, словно в пляске, как вдруг услышал, что конь снова несется на него. Он закричал. Его крик и конское ржание слились в один дикий, неистовый, безнадежный вопль, и он бросился прямо в огонь, сквозь него, на воздух, на свет, на солнце, сбрасывая с себя пламя, которое волочил за собой, словно отрепья. Корова стояла теперь футах в десяти от него, у оврага, мордой к огню, понурившись, и мычала. Едва он успел добежать до нее и, прикрывая руками голову, заслонить ее своим телом, как ошалевший конь вырвался из дыма и устремился прямо на них.

Он даже не свернул в сторону. На всем скаку, не останавливаясь, он прыгнул. Желтые зубы, дико горящие глаза, огромная красная пасть надвигались на них, окруженные свирепым водоворотом челки и гривы, и весь конь как-то чудовищно медленно проплыл над ними. Воздух затрепетал, словно под ударами яростных крыл, сверкнули четырем полумесяцами подковы, и конь, не переставая ржать, исчез в овраге, а следом за ним — корова и он сам, словно их засосала пустота, оставленная конем на скаку. Земля вздыбилась и опрокинулась, разверзнув под ними бездну, сразу, вдруг, без постепенного, успокоительного перехода. Он не издал ни звука, когда они все трое полетели по сыпучему откосу на дно, куда конь упал на все четыре ноги и, не останавливаясь, поскакал дальше по дну оврага, а он, упав под корову, которая мычала и лягалась, почувствовал, как его заливают

навозная жижа. Наверху последний язычок пламени лизнул край оврага, съежился, угас и бледным дымным облачком взвился к ясному солнечному небу.

Сначала он никак не мог с ней совладать. С трудом встав на ноги, она повернулась к нему, выставив вперед рога, и заревела. Когда он сделал к ней шаг, она шарахнулась от него и ринулась вверх по обрушенному склону, оскользаясь на зыбком, сыпучем песке, словно в припадке слепого стыда, стремясь убежать не только от него, но и от того места, где возмутили ее покой, где на нее предательски напали из тьмы, и она опозорилась по природной своей слабости, а он тащился следом, уговаривая ее, пытаясь ей объяснить, что никто не осудит ее за такое грубое нарушение приличий, потому что это непоколебимый закон извечного естества. Но она не слушала. Она все лезла вверх, скользя по сыпучему склону, и тогда он уперся в нее плечом и стал ее подталкивать. Вместе им удалось подняться на шаг-другой, но песок все осыпался у них из-под ног, и наконец силы оставили их, и они, тесно прижатые друг к другу, съехали назад, на дно оврага, по щиколотку увязнув в плывущем пласте песка, словно две статуи на плоту. И снова он уперся плечом ей в крестец, и они снова рванулись вверх по крутизне, сделали шаг или два, но предательский песок снова обрушился под ними. Он ласково стал ее уговаривать, и оба напрягли последние силы. Но земля снова встала дыбом; дно оврага, песчаный склон, все вырвалось у них из-под ног и взметнулось вверх, к бледному небу, еще подернутому дымом, и вот уже они снова барахтаются на дне, и он снова внизу, под ней, но в конце концов она, отчаянно брыкаясь и не переставая реветь, вскочила и поскакала по оврагу, в ту же сторону, что и конь, скрывшись из виду, прежде чем он успел встать и догнать ее.

Овраг выходил прямо к ручью. Почти сразу он снова очутился на выгоне, но, вероятно, даже не заметил этого, потому что видел только корову, бежавшую впереди. Вероятно, он не узнал и брода, даже когда корова, замедляя шаг, вошла в воду, остановилась и стала пить, а он, тоже замедляя шаг, последовал за ней, с нетерпеливым, но тихим стоном, боясь опять испугать ее. И вот он выходит на берег, сдерживая стон, топчется на месте, и его красное, обожженное лицо напряженно и нетерпеливо. Она не убегает, и тогда он решается ступить в воду, или, вернее, на воду, снова позабыв о том, что она раздается под его тяжестью, вскрикивает, не столько от удивления, сколько боясь испугать ее, и идет дальше, ступая в податливую твердь воды, и поглаживает корову. Она даже не перестает пить; проходит секунда, другая, его рука лежит у нее на боку, и только теперь она поднимает морду, с которой капает вода, поворачивает голову и глядит на него задумчиво, уже не чуждаясь.

Здесь и нашел их Хьюстон. Он прискакал через выгон наметом на неоседланной лошади, с собакой, бежавшей следом, и увидел толстого нескладного человека, который, присев около коровы на корточки, неловко обмывал ей задние ноги ивовой веткой.

— Ну что, цела? — крикнул он и, так как у него не было даже поводьев, закричал на коня, чтобы остановить его: — Тпру! Тпру! Да стой же, дьявол! Эй, послушайте, чего ж вы не попробовали поймать лошадь? Ведь она могла сломать себе... — тут человек, сидевший на корточках, повернул к нему обожженное лицо, и Хьюстон узнал его. Он громко выругался, дернул лошадь за гриву, чтобы ее осадить, а сам, даже не дожидаясь, пока она остановится, перебросил ногу через круп и спрыгнул на землю, продолжая ругаться не в ярости, а просто в безнадежном негодовании. Вместе со своим псом, который не отставал от него ни на шаг, он спустился на берег, нагнулся, подобрал сухой сук, занесенный сюда половодьем, и хлестнул им корову, а обломок запустил ей вслед, когда она бросилась на другой берег ручья. — Пошла отсюда! — крикнул Хьюстон. — Пошла домой, шлюха! — корова отбежала немного, остановилась и принялась щипать траву. — Гони ее домой, — сказал Хьюстон своему псу.

Не двигаясь с места, только подняв морду, пес отрывисто залаял. Корова вскинула голову и побежала прочь, а человек в ручье, видя, что пес встает, снова издал хриплый, придушенный крик и тоже вскочил. Но пес не вошел в воду, он даже не спешил; он просто сделал несколько шагов по берегу, остановился напротив коровы и снова залаял, всего один раз, презрительно и властно. Теперь корова повернула назад и галопом пустилась вдоль

ручья к своему хлеву, а пес следовал за ней по другому берегу. Они скрылись из виду. Еще дважды корова пыталась остановиться, и всякий раз пес коротко взлаивал, словно говоря: «Пшла!»

А он стоял в воде и стонал. Вернее, теперь он сам мычал, совсем по-коровьи, негромко, недоуменно. Когда Хьюстон прискакал к ручью, он, озираясь, прежде всего поглядел на пса. В тот миг он уже открыл было рот, чтобы закричать, но вместо этого на его лице появилось почти осмысленное выражение глупого самодовольства, которое, когда Хьюстон начал ругаться, исчезло и сменилось недоверчивым и обиженным удивлением, сохранявшимся все время, пока он стоял в воде и стонал, а Хьюстон с берега смотрел на его загаженный комбинезон и ругался в тупом негодовании, повторяя: «А, в бога душу!..» — и неистово размахивал руками, а потом сказал:

— Эй, вылезай оттуда. Поди-ка сюда. — но тот, в ручье, только стонал, глядя туда, где скрылась корова, и тогда Хьюстон подошел к самому ручью, наклонился, ухватил его за помочи комбинезона, грубо выволок из воды, отчаянно сморщив нос и все еще ругаясь, отстегнул помочи и спустил с него комбинезон почти до колен. — Снимай! — сказал он. Но тот все стонал тихонько и не двигался, пока Хьюстон не дернул его за ворот, — тогда он кое-как стоптал с себя комбинезон и остался в одной рубашке, а когда Хьюстон, брезгливо взявшись за помочи, швырнул комбинезон в ручей, он снова вскрикнул, жалобно, хрипло, едва слышно. — Чего же ты стоишь, — сказал Хьюстон. — Выстирай его.

И он энергичным жестом показал, как это делается. Но тот только глядел на Хьюстона и стонал, и тогда Хьюстон нашел другой сук, намотал на него комбинезон и начал яростно окунать его в воду, полоскать, сыпля ругательствами, потом вытащил его на берег и, не снимая с палки, обтер о траву.

— Ну вот, — сказал он. — А теперь убирайся. Домой! Домой! — крикнул он. — И чтоб я тебя здесь больше не видел! Не смей ее трогать!

Когда Хьюстон стал полоскать комбинезон, идиот замолчал и тихо наблюдал. Теперь он опять начал стонать, пускать слюни, и Хьюстон уставился на него в тупом, отчаянном негодовании. Потом он вынул из кармана пригоршню монет, выбрал пятидесятицентовик, сунул ему в нагрудный карман рубашки, застегнул карман на пуговицу и пошел к коню, заговорил с ним, а потом погладил его, ухватился за гриву и вскочил к нему на спину. Идиот перестал стонать и молча смотрел, как конь, заплясав под Хьюстоном, с места взял в галоп и быстро, совсем как час назад, когда он перепрыгнул через него и корову у оврага, поскакал по берегу и скрылся.

Он снова застонал. Так он стоял и все стонал, глядя на застегнутый карман, ощупывая его. Потом он перевел взгляд на мокрый, измятый комбинезон, валявшийся у его ног. Немного погодя он нагнулся и поднял его. Одна штанина была вывернута наизнанку. Некоторое время он терпеливо, со стонами, пытался его надеть. Потом штанина как-то сразу вывернулась налицо, он натянул комбинезон, застегнул помочи и перешел ручей вброд, робея, высоко задирая ногу при каждом шаге, словно поднимался по лестнице, выбрался на берег и вышел на то место, где вот уже три месяца лежал каждое утро на рассвете, поджидая ее. На то самое место; всякий раз он возвращался сюда так же неизменно, как поршень к головке цилиндра, и здесь он постоял немного, со стоном ощупывая застегнутый карман. А потом он стал подниматься на холм, и ноги его снова почувствовали дорожную пыль, хотя сам он, пожалуй, не сознавал этого, и лишь инстинкт, не угаснув в охватившем его беспросветном, горестном отчаянье, вел его обратно к дому, откуда он ушел в то утро, и, еще не пройдя первую милю, он дважды останавливался и ощупывал застегнутый карман. Видимо, в конце концов ему как-то удалось отстегнуть пуговицу, потому что теперь монета была уже у него в руке, он смотрел на нее и все стонал. Потом он остановился на дощатом мостике над узким неглубоким, затравевшим овражком. Он никак не мог выронить монету, потому что стоял не двигаясь, даже рукой не шевельнул, и все же ладонь его вдруг опустела. Монета глухо звякнула о пыльные доски, сверкнула на солнце и исчезла, и как знать, что за неувловимый, судорожный жест наивысшего отречения сбросил ее, но порыв этот тут же

угас, потому что он с тихим удивлением уставился на пустую ладонь и даже перестал стонать, перевернул руку, чтобы взглянуть на тыльную сторону, потом разжал другую руку, поднес ее к глазам. И тогда невероятным усилием — это была почти физическая потуга, как при родах, — он связал две мысли воедино, как бы вернулся назад, в прошлое, восстановил логическую последовательность событий и еще раз пошарил в кармане, заглянул в него, но лишь мельком, словно и не рассчитывал найти там монету, а потом, несомненно, повинувшись одному только инстинкту, поглядел себе под ноги, на пыльные доски. Больше он не стонал. Он стоял молча, глядя на доски, и переминался с ноги на ногу; потом, оступившись, он упал с моста в овражек. Трудно сказать, сделал ли он это вольно или невольно, но, как бы то ни было, опять-таки инстинкт, природное неусыпное чутье к земному тяготению, заставил его искать монету под мостом, если только он искал ее, сидя на корточках в траве, все так же молча, тихонько покачивая головой. С этой минуты он не издал больше ни звука. Он посидел немного на корточках, дергая траву, и в движениях его уже не было той несообразной сноровки, благодаря которой его непослушные руки обычно справлялись с работой как бы независимо от него; глядя на него, можно было подумать, что он вовсе и не хочет найти монету. А потом всякому стало бы понятно, что он и не пытается ее найти. Когда, немного погодя, на дороге показался фургон и человек на козлах, проезжая через мост, заговорил с ним, он поднял голову, и лицо его даже не было бессмысленным, — оно дышало глубочайшим, несказанным покоем; когда его окликнули с фургона по имени, он не отозвался, не издал даже того единственного звука, который умел издавать, или, во всяком случае, единственного, который он издавал, когда с ним заговаривали.

Он не шелохнулся, пока фургон не исчез из виду, хотя и не глядел ему вслед. Потом он встал и выбрался на дорогу. И вот он уже трусит рысцей назад, туда, откуда только что пришел, под лучами полуденного майского солнца, ступая в горячей пыли по своим собственным следам, туда, где он обычно сворачивает с дороги, чтобы подняться на холм, а перевалив через него, спускается вниз, к ручью. Даже не взглянув, он миновал то место, где лежал на рассвете в мокрой траве, и повернул вверх по ручью. Была суббота, время близилось к двум. Конечно, он не мог знать, что в этот самый день и час Хьюстон, бездетный вдовец, живший с собакой и негром-поваром, сидел в трех милях от своего дома на галерее лавки Варнера; конечно, он и не думал о том, что Хьюстона, быть может нет дома. И уж само собой, он не остановился, чтобы убедиться в этом. Он вбежал в ворота и бросился прямо к закрытой двери коровника. Рядом с дверью на гвозде висела веревка. Возможно, он снял веревку случайно, нашаривая засов. Но обротал он корову по всем правилам, так, как это делали у него на глазах другие.

К шести часам вечера они были уже далеко, пройдя добрых пять миль. Он не знал, сколько миль они прошли. Да и какое это имело значение; для них больше не существует расстояния на земле, в пространстве, они перестают ощущать время, не чувствуют и усталости, которая отмечала бы пройденный путь. Они движутся не в пространстве, а во времени, к причудливой вершине заката, где вечер и утро сливаются воедино; сверкающий май связывает их не в будущем, не завтра, а сегодня, сейчас, когда, обернувшись к ней, он тянет ее за веревку, настойчиво бормочет, уговаривает ее идти дальше, а она упирается, хочет сбросить с себя веревку и мычит. Вот уже полчаса она противится, потому что набухшее вымя тяготит ее, тянет назад, домой. Но он не пускает ее, понемногу перехватывает веревку и наконец гладит свободной рукой сначала морду, потом холку, уговаривая ее, и наконец она перестает упираться и идет дальше. Они уже идут среди холмов, поросших сосняком. Хотя послеполуденный ветер стих, косматые вершины деревьев все еще неумолчно шептались о чем-то в ясной вышине. Стволы деревьев и густая хвоя были струнами арфы, по которым ударял день; а вверх одна за другой проплывали причудливые, неверные тени уходящего дня; когда они перевалили через гряду холмов и спустились в тень, в синюю чашу вечера, в тихий колодезь ночи, решетчатые ворота заката затворились за ними. Сперва она не давала ему даже притронуться к своему вымени. Да и потом она брыкнула его, но лишь потому, что почувствовала чужую, неумелую руку, и наконец парное



молоко потекло у него меж пальцами, по рукам и запястьям, со звонким журчанием проливаясь на землю.

Ночи стояли лунные. Каждую ночь луна понемногу убывала; а на заре рядом с ней ярко загоралась утренняя звезда, знаменуя конец ночи, и он чувствовал, как наступает миг пробуждения, видел, как она поднимается сначала на задние ноги, возникая из темноты, колебля, а потом и вовсе разматывая клубок сна, пахнувший молоком. Тогда он тоже вставал, привязывал конец веревки к суку, находил корзину по запаху вчерашнего корма и уходил. С опушки он оглядывался. Ее еще не было видно в сумерках, но он слышал ее, а это было почти одно и то же, — теплое дыхание было зримо над ползучими корнями травы, теплый пар брызжущего из сосков молока плотен и отчетлив на расплывчатой безликой земле.

До ближнего хлева было всего полмили. Вот он уже маячил смутным прямоугольником на фоне беспредельного свитка небес, покрытого таинственными письменами. Собака молча встречает его у ворот, она рассекает темноту, незримая и неслышная, двигаясь где-то на грани зрения и слуха. В первое утро она бросилась на него, заливаясь яростным лаем. Он остановился. Быть может, ему вспомнился другой пес, который остался далеко, в пяти милях отсюда, но всего лишь на миг, ибо таково уж счастье, не изменяющее счастью, таково могущество победы, которая изгоняет предательский дух всех прошлых поражений; теперь собака подходит к нему, виляя хвостом, невидимая, мягко льнет к его ногам, и от прикосновения ее теплого, влажного, мягкого языка на мгновение становится ощутимой его собственная, взмахивающая на ходу рука.

В аммиачной духоте хлева, где, просыпаясь, ревет и стучит копытами скот, он совсем теряет ощущение пространства. Но он не останавливается. Отыскав дверцу, он входит в стойло; незрячей рукой он привычно и безошибочно находит ясли. Он ставит корзину на пол и принимается ее наполнять, торопливо и усердно, черпая корм пригоршнями, просыпает половину, и сегодня, как и вчера и позавчера, сам оставляя против себя улику. Встав и повернувшись к двери, он уже различает ее сереющий проем, менее темный и вместе с тем, как это ни странно, ничуть не более светлый, чем все окружающее, словно, едва он отвернулся, в черную пустоту вставили прямоугольный кусок непрозрачного стекла, чтобы сделать тьму еще фантастичнее. Теперь он слышит голоса птиц. Скотина ревет все громче, без умолку: он уже явственно видит собаку, поджидающую его у стойла, и понимает, что надо спешить, так как скоро придет кто-нибудь, чтобы задать корм скоту и подоить коров. Он выходит из стойла, медлит немного у двери, словно прислушивается, вдыхает приятный запах коров и лошадей, как счастливый любовник вдыхает запах женского тела, испытывая торжествующее чувство близости ко всей безликой, безымянной женской плоти, способной любить на лоне матери-земли.

Он и собака снова переходят двор в черно-белых рассветных сумерках, наполненных громким, нестройным птичьим гомоном. У загородки, которая теперь отчетливо видна, собака отстает. Он поспешно пролезает сквозь загородку, неуклюже держа корзину обеими руками прямо перед собой и оставляя на сырой траве явственный темный след. На его глазах снова совершается чудо, которое он впервые увидел три дня назад: заря, свет вовсе не льются на землю с неба, а, напротив, источаются самой землей. Под плотным пологом, сотканным из слепых ползучих корней деревьев и трав, в первозданной тьме, среди праха времен и бесчисленных останков, где, не ведая усталости и сна, копошатся сонмища червей и сметены в одну кучу славные кости — Елена Прекрасная<sup>28</sup> и нимфы, усопшие епископы, спасители, и жертвы, и короли, — свет пробуждается, сочится, пробивается кверху по бессчетным тонким каналцам: сперва по корням, потом по былинкам — и, срываясь с них,

---

<sup>28</sup> *Елена Прекрасная* — в греческой мифологии спартанская царица, прекраснейшая из женщин, — чьей руки добивались десятки героев Эллады. Была выдана замуж за Менелая, но увлеклась сыном троянского царя Парисом и бежала с ним в Трою, из-за чего началась Троянская война. После падения Трои Елена, прощенная Менелаем, возвращается в Спарту.

словно легчайший пар, рассеивается и окропляет скованную сном землю сонным жужжанием насекомых; а потом, просачиваясь все выше, ползет по узорчатой коре, по веткам, по листьям; все стремительней, ширясь и нарастая, наполненный трепетом крыл и хрустальными птичьими голосами, он взмывает ввысь и озаряет безмолвный свод ночи желто-розовыми раскатами. А далеко внизу, в прозрачной дымке, уже встрепенулся провозвестник-петух, и вслед за ним весь курятник, и хлев, и конюшня приветствуют наступающий день. Флюгера на колокольнях ловят юго-западный ветер, и поле ждет пахаря с той поры, как закат благословил воткнутый в землю безлошадный плуг, а теперь неоконченные борозды всплывают из темноты, словно притихшие в полусне волны. И, наконец, встает солнце: оно настигает его, прежде чем он успевает пройти назад полмили. Беззвучный медный рев, пылая, катится по сырой траве, и его одинокая тень, метнувшись далеко вперед, распростершись по земле, неуловимая, убегает все дальше из-под самых ног; земля словно отражает его нелепую, жалкую фигуру, и это отражение, эта тень, возносится на последний холм и, неподвижно повиснув в пространстве, витает в нем до тех пор, пока он сам не поднимется на вершину, а потом она как бы перекидывает невидимый мост через убывающее половодье ночи, и снова движется впереди него, через топкую болотистую низину, и, коснувшись опушки, начинает укорачиваться, вползая на плотную стену листы, — сначала голова, потом плечи, туловище, шагающие ноги, и, наконец, вся тень выпрямляется на полотнище трепетной листы на какой-то неуловимый миг, и он, не останавливаясь, пробегает сквозь нее.

Корова стоит на том самом месте, где он ее привязал, и жует жвачку. В огромных, влажных, лишенных зрачков глазах он видит себя — два крошечных одинаковых отражения; из глаз волоокой Юноны он глядит на себя, созерцающего ее такой, какой она некогда представлялась людям<sup>29</sup>. Он ставит перед ней корзину. Она начинает есть. Трепетные тени неугомонной листы делают ее призрачной и такой же бесплотной, какой только что была его бегущая тень, но это ему только кажется: одно беглое прикосновение удостоверяет и подтверждает ее весомость и объемность в зыбкой путанице теней; одно прикосновение ладони возвращает ее, осязаемую и осязаемую, из бездонности надежды. Присев рядом с ней на корточки, он начинает ее доить.

Потом они вместе едят из корзины. Ему и раньше приходилось есть коровий корм — и жмыхи, и отруби, и овес, и кукурузные початки, и силос, и мякину, — понемногу, но довольно часто, потому что просыпался он вместе с птицами, едва притрагивался к завтраку, оставляя на тарелке больше половины того, что давала ему миссис Литтлджон, а через час ел что-нибудь еще, без разбора, ел то, что спокон веку догмы и предрассудки приучили всех двуногих считать «поганым», безразличный ко вкусу всего на свете, кроме вкуса земли, осыпавшейся штукатурки, расплывшейся краски на изжеванных клочках газеты и жгучей муравьиной кислоты, непоколебимый лишь в одном; он всегда был травоядным, и если ел что живое, то только растения. Потом он убирает корзину. Корм съеден не весь. Остается ровно, почти до грамма, половина того, что он принес, и он отнимает у коровы корзину, вытаскивает ее из-под вздрагивающей морды, которая не перестает жевать, выражая крайнее удивление, вешает на сук, и ему все дается легко, он уже изведal удачу, научился соблюдать осторожность, таиться, красть и даже проявлять предусмотрительность; и не изведal он только страсть, алчность, жажду крови и муки совести, не дающие спать по ночам.

Сперва они идут к роднику. Этот родник он нашел в первый же день — мутная влага по капле сочилась из земли там, где переплелись кроны ольхи и бука, непроницаемые для солнца, и, растекаясь, исчезала в сумраке среди корней ближнего ивняка и ольховника. Он расчистил родник, вырыл маленький водоем, который теперь каждое утро бывает полон

---

<sup>29</sup> В античной мифологии Юнона (Гера) — верховная олимпийская богиня, жена Юпитера (Зевса). Известно, что в некоторых частях Греции ее почитали в виде коровы. Постоянный эпитет Геры в «Илиаде» Гомера — «волоокая».

прозрачной воды, и в него глядится листва, и они, склоняясь над родником, расплескивают ее зеленый узор, и пьют, и их отражения сливаются, и каждый запечатлен навечно, неповторимо, в этом своем дробящемся образе. Потом он встает, берет веревку, и они идут через топкую низину к опушке и входят в лес.

Заря померкла. Приходит день во всей своей откровенной наготы. Солнце стоит теперь высоко в небе. В воздухе по-прежнему не смолкает птичий гомон, но это уже не таинство, не торжественный хорал, возносящийся к небесам у зеленых алтарей, а стелющийся над землей будничный аккомпанемент к будничному делу — добыванию пищи. Птицы, словно цветные молнии, проносятся среди сосен, чьи косматые вершины глухо и неумолчно шепчутся на ветру. Теперь ее уже не надо тянуть за веревку; с этой минуты и до самого вечера они будут идти вслед за светом дня, не обгоняя его. У них та же цель — закат. Они стремятся к ней вместе с солнцем по той же извечной орбите. Они следуют за пылающим и беспечным солнцем такие же беспечные, но не пылая, как оно, под сенью стволов, мелькающих, словно спицы, с помощью которых солнце вращает земной шар на его оси, мощно, неторопливо исторгая его из недр тьмы, и брезжит рассвет, и занимается заря, наступает утро, ленивым потоком разливается полдень, поднимается все выше, к апогею, и венец света украшает чело безвозвратно падших серафимов. Солнце высится отвесным желтым столбом. Оно тяжело давит на плечи, когда он, с трудом сгибая непослушные, разъезжающиеся ноги, наклоняется и срывает сперва сочную траву, потом цветы. Он рвет яркие дикие маргаритки, эти щедрые дары новорожденного лета, изобильного и расточительного. Порой его неловкая, плохо повинующаяся рука, вместо того чтобы обломить стебелек, скользит по нему, и на ладони остается лишь горстка смятых, изуродованных лепестков. Но прежде чем вернуться к ней, в недвижную полуденную тень, он успевает собрать много цветов. У него их даже больше, чем нужно; ему и двух цветков хватило бы с избытком. Он кладет траву перед ней, и из-под его неуклюжих, вслепую шарящих рук возникает, тут же расползаясь, жалкое подобие венка. Когда он надевает венок ей на голову, цветы рассыпаются, катятся по ее крутому лбу и жующей морде; трава и цветы смешиваются, превращаясь в нескончаемую жвачку. Челюсти мерно двигаются, и с губ свисает последний цветок.

В тот день полил дождь. Это началось неожиданно. Он смотрел, как капают капли, смотрел равнодушно, бессмысленно, безучастно, не зная, как быть, а дождь тем временем усилился и хлестал по земле редкими косыми струями, с разных сторон, во всю ширь горизонта, словно из чрева облаков вываливалась прозрачная петлистая пуповина, а в вышине вскормленные летом овцы, позвякивая солнечными колокольцами, щипали, как траву, юго-западный ветер. Казалось, дождь нарочно искал их обоих, шарил под деревом, где они стояли, и, наконец, найдя, обрушился на них без всякой пощады. Ветер, ревеливший в соснах, утих, но тут же налетел снова; в разверзшейся, обессиленной пустоте косматая шкура земли встала дыбом, как у кобылы в неистовстве страсти, и короткая оплодотворяющая гроза, все еще бушуя, с невыносимым сверкающим грохотом обсеменила землю и исчезла, канула неведомо куда; а потом уж небо прорвалось, словно разрешившись наконец от бремени, и хлынул настоящий проливень, дико заметался среди поникшей листвы, и то были не капли, а жгучие льдистые иглы, которые, казалось, совсем не летели к земле, а, напротив, чуждые ей и неподвластные силе тяжести, торопились вслед за реющим ветром, породившим их, вдохнувшим в них жизнь, — острые и хрупкие, они залетали в волосы, кололи сквозь рубашку, жалили лицо, обращенное к небу, и в каждом их сверкании была быстротечность, как быстротечны светлые и сладостные слезы девушки, плачущей над увядшим цветком — а потом и они исчезли, унеслись на север и на восток, где как недостижимое знамя перемирия сверкала радуга, и оставили после своего шумного карнавала забытое конфетти которое осыпалось с листка на листок, с ветки на ветку, с травинки на травинку, собираясь в говорливые ручейки и бесконечное число раз отражая небо, все в золотисто-голубых бликах, полоненное падающими каплями.

И вот все кончилось. Он снова берет в руки веревку, они выходят из-под дерева и продолжают свой путь, двигаясь так же неторопливо, как и раньше, но впервые с тех пор, как

они вступили в лес, целеустремленно. Потому что близится закат. Хотя дождь был недолг, теперь кажется, что в этом беспорядочном и безвредном грохоте, в этой ярости было нечто такое, что нарушило непоколебимое и размеренное течение дня, — так внезапный, истощный плач ребенка, такой громкий и требовательный, что медлить невозможно, словно подстегивает время. Он вымок до нитки. Его комбинезон отяжелел, стал сырым и холодным — жалкие остатки, презренные следы щедрого великолепия, эта мертвенная сырость не сродни лживой влаге неугомонной воды, которая унесла с собой в землю и сохранила даже там безбрежное приволье золотистого воздуха, и этот же воздух сверкает на листьях и ветвях, которые несметное число раз повторяют в миниатюре единую, сверкающую всеми цветами радуги вселенную. Они шествуют среди этого блеска. Скованные златой цепью мокрой веревки, они идут туда, где разливается несказанное сияние, прямо в закат. Они по-прежнему движутся за солнцем. Вот они поднимаются на последнюю вершину. Они придут вместе. В один и тот же миг все трое, одолев последний подъем, спускаются в синюю бездонность вечера и исчезают.

Быстрые сумерки стирают их с поблекшей страницы дня. Крошечные, словно еще не родившиеся на свет, сперва неотвратимые, а потом неотступные, безглазые, спускаются они с холма. Он по запаху находит корзину, снимает ее с сука и ставит перед ней. Она сует туда морду, сладко сопит, вдыхая сладкий запах еды, который вскоре сливается с запахом настойчиво и нетерпеливо рвущегося на волю молока, и оно течет по его пальцам, ладоням, запястьям, теплое и густое, словно кровь самой жизни, неистощимая, самовозрождающаяся. Потом он оставляет на земле корзину, невидимую в темноте, примечает место, чтобы найти ее наутро, и идет к роднику. Здесь светлее, и он опять обретает способность видеть. И снова лицо его дробится, а потом возникает из осколков, когда он пьет и вместе с ним пьет его перевернутое мутнеющее отражение. Этот колодезь дней, тихий, бездонный, уходит в самые недра земли. Непостижимым образом удерживая в себе стремительный бег времени, он поглощает весь день, от зари до зари, — и вчера, и сегодня, и завтра; в нем теряется звездная россыпь и таинственные письма ночного неба, ослепительно жаркий румянец зари, стремительный неудержимый разлив утра и сладострастно ленивое половодье полдня. А там послеполуденный отлив, и вот уже утро, день и вечер схлынули, стекли с неба, сползают на землю по притихшей листве, по веткам, сучьям и стволам, по траве, все вниз, вниз, в дремотном жужжании насекомых, пока наконец замирающий вздох нежных безмолвных уст родника не поглотил последние капли света. Он встает. Над болотом не утихает беспорядочная толчея светлячков. В вышине светится лишь яркая вечерняя звезда, но тотчас же на небо выходят стройные ряды созвездий, они петляют и кружатся, свершая свой неизменный путь. Вся лучистая в их слабом лучистом свете, она кажется невесомой, призрачной среди призрачно поблескивающей травы. Но она здесь, осязаемая на фоне нереальной земли. Он возвращается, легко ступая по этой земле, попирая безнадежно запутанный полог подземного сна — где Елена, и епископы, и короли, и непокорные серафимы. Когда он подходит, она уже ложится — подгибает сперва передние ноги, потом задние, в два приема погружаясь в утихшие воды вечера, снова свивая клубок сна, среди сладкого млечного фимиама. Они засыпают рядом.

### 3

Когда Хьюстон пришел домой и хватился коровы, уже начало смеркаться. Хьюстон был вдов и бездетен. С тех пор как три или четыре года назад он потерял жену, корова была на его ферме единственным существом женского пола. У него даже повар был мужчина, негр, он-то и доил корову, но в ту субботу он отпросился на негритянский праздник, обещав вернуться пораньше, чтобы подоить корову и приготовить ужин, только Хьюстон, конечно не поверил этим обещаниям, он уже давно был сыт ими по горло, иначе он, пожалуй, вовсе не пришел бы домой ночевать и не хватился бы коровы до самого утра.

Как бы то ни было, он вернулся засветло не ужинать, потому что к еде он был



совершенно равнодушен, а подоить корову. Мысль о том, что это необходимо сделать, не давала ему покоя весь день. По этой причине он и выпил в ту субботу чуть больше обычного, а человек он был хоть и крепкий, здоровый, но угрюмый от природы, да еще до крайности ожесточившийся против женщин, с тех пор как понес такую тяжкую утрату; и так как теперь ему не только предстояло тащиться домой и еще раз соприкоснуться с женским естеством, на которое он три года назад наложил заклятие, но вдобавок ко всему — в тот самый сумеречный час, после заката, особенно тягостный для него, когда по всему дому витал призрак жены, а иной раз даже сына, так и не родившегося у них, то, естественно, он был не в очень-то веселом расположении духа, когда пришел в хлев и увидел, что коровы нет.

Сначала он подумал, что, должно быть, она сама удрала, просто колотила в дверь рогами и копытами до тех пор, пока не соскочил засов. Но если так, непонятно, почему она, отягощенная полным выменем, не дожидается, мыча, у ворот. Там ее тоже не было, и он, ругая ее на чем свет, а заодно и себя за то, что не закрыл ворота, от которых тропа вела на выгон, свистнул своего пса и пошел назад к ручью. Еще не совсем смерклось. Следы можно было различить, и действительно он увидел следы босых человеческих ног, а поверх — отпечатки коровьих копыт, но решил, что их отделяет друг от друга по меньшей мере шесть часов, но никак не шесть футов. Он сперва толком и не взглянул на них, так как был уверен, что знает, где корова, он был уверен в этом, даже когда у брода пес свернул в сторону от ручья и бросился вверх, на холм. Он сердито отозвал его. Даже когда пес остановился и с удивлением повернул к нему свою серьезную, умную морду, им все еще владела эта сердитая уверенность, порожденная хмелем, раздражением и давним, острым, неутихающим горем, и он кричал на пса, пока не заставил его вернуться, а потом пинком погнал его к броду и сам перешел ручей следом за ним, а пес отстал было и пошел сзади, недоумевающий и настороженный, но он снова пинком погнал его вперед.

На выгоне коровы не было. Теперь, убедившись в этом, он понял, что ее свели со двора; сорвав злобу на собаке, он словно вернул себе какое-то подобие здравого смысла. Он пошел назад через ручей. В кармане штанов у него торчала еженедельная местная газета, которую он вынул из своего почтового ящика еще днем, по дороге в лавку. Он свернул ее и поджег. При свете этого факела он увидел следы слабоумного и коровы у самого брода, там, где они свернули к холму и, перевалив через него, вышли на дорогу, а потом газета догорела, и он снова у дороги при свете первых звезд (луна еще не взошла), ругаясь ожесточенно, не со злобой, а с отчаянным негодованием и жалостью ко всей слепой плоти, способной надеяться и скорбеть.

Чтобы оседлать коня, ему нужно было пройти почти целую милю. Без толку кружа по выгону, он уже прошел в два раза больше и теперь кипел бессильной яростью, сам не зная против чего, еще сильнее распаляясь от бессилия, оттого что не на кого эту ярость излить; ему казалось, что он снова стал жертвой бессмысленной, но хитро подстроенной шутки, которую сыграло с ним все то же извечное, глумливое Коварство с единственной целью заставить его тащиться в темноте целую милю. Но хотя он никак не мог вразумить слабоумного, покарать его, зато мог вселить в него если не страх Божий, то, по крайней мере, страх перед воровством и, уж конечно, страх перед ним, Джеком Хьюстоном, чтобы ему впредь неповадно было сводить со двора корову, и тогда ему, Джеку Хьюстону, уходя из дому, не придется больше гадать, будет корова в стойле или нет, когда он вернется. Однако, сев наконец на своего коня и тронув его с места, овеваемый свежим ветерком, он почувствовал, что холодная, непреклонная ярость сменилась другим, более привычным чувством — злой насмешливостью, пожалуй, несколько грубоватой и тяжеловесной, но неодолимой, упорной, неподвластной даже безутешному горю; и поэтому задолго до того, как он добрался до Французовой Балки, он уже знал, что сделает. Он навсегда излечит этого дурачка от пристрастия к коровам верным и безотказным способом: заставит его выдоить ее и задать ей корм; сегодня он уедет домой, а завтра утром вернется и опять заставит его подоить ее и задать ей корм, а потом пешком отвести корову обратно. Поэтому он даже не остановился у гостиницы миссис Литтлджон. Он завернул за угол и поехал прямо к загону;

но миссис Литтлджон сама окликнула его из-за загородки, отбрасывавшей длинную густую лунную тень:

— Кто там?

Он остановил лошадь. «Ослепла она, что ли, даже пса моего не узнала», — подумал он. И в ту же секунду он понял, что и ей ничего не скажет. Теперь он видел ее, высокую, длинную, как жердь, и почти такую же тощую, у самой загородки.

— Это я, Джек Хьюстон, — сказал он.

— Тебе чего?

— Да вот, хотел напоить лошадь из вашей колоды.

— А что, у лавки уж и воды не стало?

— Я из дому.

— Вот как, — сказала она. — А ты не... — Она говорила хриплой скороговоркой, запинаясь. И он почувствовал, что сейчас скажет ей это. А слова уже сами сорвались у него с языка:

— Об нем не беспокойтесь. Я его видел.

— Когда?

— Когда уезжал из дому. Он был там сегодня утром и вечером тоже. У меня на выгоне. Так что не беспокойтесь. Надо же и ему отдохнуть в субботу.

— А негр твой небось ушел на гулянку? — проворчала она.

— Да, мэм.

— Так зайди закусить. У меня кое-что осталось от ужина.

— Спасибо, я уже поужинал, — он начал заворачивать лошадь. — Вы не волнуйтесь. Если он еще там, я прогоню его домой.

— Но ты, кажется, хотел напоить лошадь, — снова проворчала она.

— Правильно, — сказал он и въехал в загон. Для этого ему пришлось слезть с лошади, отворить ворота, потом затворить их и снова отворить и затворить их за собой, а потом сесть в седло. Она все еще стояла у загородки, но не откликнулась, когда он пожелал ей спокойной ночи.

Он поехал домой. Полная луна висела теперь высоко над деревьями. Он поставил лошадь в стойло, пересек двор, весь словно выбеленный, пройдя мимо коровника, зиявшего лунно-белой пустотой, вошел в дом, пустой и темный под серебристой крышей, разделся и лег на свою жесткую, как у монаха, железную койку, на которой он теперь спал, и пес лег рядом, а лунно-белый квадрат света, падавшего из окна, накрыл его, как накрывал их обоих, когда была жива его жена и вместо жесткой койки здесь стояла широкая кровать. Он больше не ругался, и в душе его уже не было ярости, когда на заре он вывел коня на то самое место, где накануне потерял след, и сел в седло. Он разглядывал землю, испещренную бледным, непроницаемым узором, который оставили здесь за субботний вечер колеса, копыта и человеческие ноги — тут сама первобытная простота слабоумного, его неумение прятаться в нужную минуту обернулись беспредельной хитростью, так порой человек живет и даже не подозревает, сколько мужества сможет он найти в своей душе в нужную минуту, — разглядывал землю, ругаясь, охваченный не злобой, но свирепым презрением и жалостью к этой немошной, бессильной, но такой несокрушимой плоти, которая была обречена и проклята еще до того, как появилась на свет и издала свой первый крик.

А между тем хозяин хлева уже нашел предательскую горку просыпанного корма и полукруглый след там, где стояла корзина; с одного взгляда он убедился, что и корзина украдена у него. След вывел его через двор к воротам и там потерялся. Но все было на месте, пропало лишь немного корма да старая корзина. Он собрал просыпанный корм, бросил его обратно в ясли, и вскоре первая вспышка бессильной злобы, праведного возмущения столь грубым посягательством на его собственность угасла, и за весь день только раз или два в нем снова просыпалось сердитое, мучительное недоумение; но на другое утро, когда он вошел в стойло и увидел безмолвную горку просыпанного корма и полукруглый след корзины, он чуть не задохнулся от изумления, за которым последовал яростный взрыв злобы, как это

бывает с человеком, который выскочил из-под самых копыт взбесившейся лошади, избежав смертельной опасности, и вдруг поскользнулся на банановой корке. В этот миг он готов был на смертоубийство. Это было вторичное вопиющее нарушение древней библейской заповеди, гласящей, что человек должен трудиться в поте лица своего<sup>30</sup> или ничего не иметь (заповеди, в которой он видел источник честности, смысл жизни, основу всего сущего), поругание моральной твердыни, которую он отстаивал более двадцати лет, сначала в одиночку, а потом вместе с пятью детьми, и победа его обернулась поражением. Теперь он был уже не молод, а когда начинал жизнь, у него не было ничего, кроме железного здоровья да неистощимого терпения и пуританской воздержанности и умеренности, и он превратил участок тощей кочковатой земли, которую купил, заплатив меньше доллара за акр, в прекрасную ферму, женился, растил детей, кормил их, одевал, обувал и даже дал им кое-какое образование, во всяком случае, научил их работать не покладая рук, и как только они подросли и вышли из повиновения, все, и сыновья и дочери, разбрелись кто куда (одна стала сестрой милосердия, другой — агентом у какого-то мелкотравчатого политика, третья — проституткой, четвертый — цирюльником в городе, а старший сын и вовсе сгинул без следа), так что теперь у него только и осталась небольшая, хорошо обработанная ферма, политая потом, которую он ненавидел лютой ненавистью, и она, казалось, молчаливо платила ему тем же, зато уж она-то не могла уйти от него и прогнать его тоже не могла, но словно бы знала, что переживет его, переживет непременно, и его самого, и его жену, в которой было столько же если не упорства, то, во всяком случае, сил и терпения, чтобы все переносить.

Он выбежал из хлева, клича жену по имени. Когда она появилась в дверях кухни, он крикнул, чтобы она шла доить, а сам бросился в дом, потом выскочил оттуда с дробовиком, снова пробежал мимо жены в конюшню, выбравив ее за то, что она замешкалась, взнуздal одного из мулов и, захватив ружье, доехал до загородки, где след потерялся. На этот раз он не отступился и быстро отыскал след снова, — темная полоса еще виднелась в примятой, отягченной росой траве у него на покосе, пересекала поле и уходила в лес. Здесь, в лесу, след снова потерялся. Но он не отступился и теперь. Хоть он и был слишком стар для всего этого, слишком стар для столь долгой изнурительной злобы и кровожадной ненависти. Он еще не завтракал, дома его ждала работа, бесконечная работа, все та же изо дня в день, изнашивающая нервы и тело, — единственное, чем его мог доконать этот клочок земли, ставший его заклятым врагом, та самая работа, которую он делал вчера и должен делать сегодня, и завтра, и послезавтра, один как перст, или покориться, признать себя побежденным, отказаться от своей воображаемой победы над детьми; и так до тех пор, пока не пробьет его час, и тогда (он знал и это) он споткнется и упадет с еще открытыми глазами, руки его заостенеют, скрюченные, словно все еще сжимая рукояти плуга, и он останется лежать на свежей борозде за плугом или в густой траве, на лугу, все еще не выпуская из рук серп или топор, и эту последнюю победу над ним отпразднует каркающее воронье, и наконец какой-нибудь любопытный прохожий набредет на него и похоронит его останки. Но он не повернул назад. Ему даже посчастливилось вскоре снова напасть на след, он нашел три отпечатка на песке, в овраге, где бежал ручеек, нашел по чистой случайности, так как потерял след в миле от этого места; он имел все основания усомниться в том, что это те самые следы, хотя это были именно они. Но он не усомнился ни на миг. День еще не наступил, а он уже узнал, чья это корова. В лесу ему встретился негр Хьюстона, тоже верхом на муле. В бешенстве и даже пригрозив негру ружьем, он крикнул, что не видел никакой коровы, ее здесь нет и не было, что это его земля, хотя в пределах трех миль ему не принадлежало ничего, кроме разве припрятанной где-то корзины, и велел негру убираться вон, чтоб и духу его здесь не было.

С тем он и вернулся домой. Но от своего не отказался: теперь он знал, что делать и

---

<sup>30</sup> Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «...в поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, 3,19).

каким путем достичь цели. У него созрел план, как не только проучить и наказать вора, но и возместить убытки. Он оставил мысль захватить вора врасплох; нет, уж лучше поймать корову и либо потребовать деньги прямо с хозяина, либо, если тот откажется платить, воспользоваться своим законным правом и взыскать с него штраф за приبلудную скотину, — хотя один-единственный законный доллар едва ли возместит ему потерянное время, не то время, которое он потратит, чтобы изловить корову, а то, которое уже потерял, оторвал от бесконечной, неумолимой работы, и батрака нанять он не мог — не потому, что заплатить был не в состоянии, а потому что во всей округе ни один человек, будь то белый или негр, ни за какие деньги не стал бы на него работать, а он знал, что если дать работе забрать над ним власть, тогда ему крышка. Он даже в дом не зашел, поехал прямо в поле, запряг мула в плуг, который с вечера оставил в борозде, и пахал до самого полудня, пока его жена не позвонила в колокол; поев, он снова вернулся в поле и пахал дотемна.

На другое утро еще не погасла луна, а он уже снова был в хлеву, и оседланный мул ждал в своем стойле. На фоне бледной зари он увидел приземистую, косолапую фигуру с корзиной в руках, она скользнула к яслям, и его собака молча шла следом, а потом вор снова вынырнул, облапил корзину обеими руками, как медведь, и заторопился назад к воротам, а собака все шла за ним по пятам. Увидев собаку, хозяин чуть не задохнулся от неудержимой ярости. В первое утро он слышал, как она заливалась лаем, но спросонья ничего не разобрал, а когда стряхнул наконец сон, она уже успокоилась; теперь-то он понимал, почему собака не лаяла на второе и третье утро, и знал, что попытаться он сейчас выйти из хлева, даже если вор не оглянется, то она может, чего доброго, залаять на него самого. А когда он наконец решил, что можно без риска вылезти из засады, во дворе никого не было, кроме собаки, которая стояла у ворот, глядя вслед вору сквозь загородку и не замечая хозяина, пока он злобным пинком не прогнал ее домой.

Правда, на росистой траве снова остался темный след, но когда он добрался до леса, то оказалось, что он повторил ошибку Хьюстона, недооценив всемогущество страсти, которая, видимо, так же как бедность и невинность, каким-то непостижимым образом изыскивает средства для самозащиты. Он проездил чуть ли не все утро натошак, кипя злобой, по лесной глухомани, среди веселой майской зелени, а позади него все выше и выше поднималось неумолимое светило, словно знамение, напоминая ему о враждебном изнуряющем поле. В то утро ему удалось снова напасть на след — он был почти у цели и даже видел лужицу пролитого молока и примятую траву там, где стояла корзина, пока корова ела из нее. Он нашел бы и саму корзину, висевшую на суку, ее ведь никто не пытался спрятать. Но ему в голову не пришло взглянуть вверх, потому что теперь он видел коровий след. Он поехал дальше, внешне спокойный и сдержанный, хотя внутри у него все кипело, теряя след, находя его и снова теряя, и так целое утро, почти до полудня — этого средоточия света и тепла, которое, казалось, подогревало не только его кровь, но и те недостижимые ходы и пути, по которым растекалась его злоба. Но в тот же день он понял, что солнце тут ни при чем. Он тоже стоял под деревом, пока бушевала гроза, сверкала молния и холодный дождь беспощадно хлестал его брненное тело, которое робко съеживалось, но не теряло стойкости, а потом снова скакал по улыбочатому, девственно чистому лику земли, омытому золотистыми слезами. Теперь он был уже в семи милях от дома. До темноты оставался всего час. Он поехал назад мили четыре, и, только когда загорелась вечерняя звезда, ему вдруг пришло в голову, что беглецы могли просто-напросто вернуться на то самое место, где он видел лужицу молока. Он снова повернул мула без всякой надежды на успех. Даже злоба его оставила.

До дому он добрался за полночь, пешком, ведя в поводу мула и корову. Сначала он боялся, что вор убежит. Потом сам не знал, как от него избавиться. И пока тащился пешком до своего хлева, тщетно пытался прогнать это нелепое существо, этого слабоумного, который лежал у коровы под боком и вскочил с хриплым, испуганным криком, по которому он узнал, что это, а теперь, спотыкаясь, со стонами, плелся следом, не отставая ни на шаг, даже когда он, слишком старый для всего этого, истомленный не столько голодом, сколько



неотступной, ни на миг не отпускавшей его злобой, оборачивался, кричал и ругался. Жена ждала у ворот с фонарем. Войдя во двор, он бережно передал ей веревку и недоуздок, аккуратно затворил за собой ворота, нагнулся, по-старчески медленно нашарил на земле палку, потом вдруг быстро выпрямился, накинудся на слабоумного и стал бить его, изрыгая проклятия хриплым, иступленным, задыхающимся голосом, а жена бросилась к нему, выкрикивая его имя.

— Перестань! — кричала она. — Слышишь, перестань! Ты что, хочешь себя в гроб вогнать?

— Ха! — сказал он, задыхаясь и дрожа. — Еще мило-другую пройду, не помру. Ступай принеси замок.

Замок был висячий. Это был единственный замок на всей ферме. Он висел на главных воротах, которые хозяин запер на другой день после того, как ушел последний из его детей. Жена принесла замок, а он тем временем все пытался прогнать идиота со двора. Но это странное существо было неуловимо. Двигалось оно неуклюже и неловко, не переставая стонать и пускать слюни, но он никак не мог ни схватить его, ни отпугнуть. Оно все время было у него за спиной, вне круга света, отбрасываемого фонарем, который держала жена, и не уходило, даже когда он поставил корову в стойло и, пропустив цепь в дверную ручку, замкнул замок. А наутро, когда он отомкнул цепь, это существо было в хлеву, рядом с коровой. Оно даже задало ей корм, хотя для этого ему пришлось вылезти из стойла, а потом снова залезть обратно, и все пять миль, до самой фермы Хьюстона, оно шло за ним по пятам, со стонами, пуская слюни, но когда они подошли к самому дому, старик обернулся и увидел, что его нет. Когда именно оно исчезло, он не знал. Возвращаясь назад со штрафным долларом в кармане, он осмотрел дорогу, чтобы понять, куда оно девалось. Но никаких следов он не нашел.

Корова не пробыла у Хьюстона и десяти минут. Сам Хьюстон сидел в это время дома и первым делом хотел было приказать негру отвести корову. Но тотчас передумал и вместо этого велел оседлать лошадь, а сам стоял, ждал и снова ругался с тем отчаянным и холодным презрением, в котором не было ни отвращения, ни злобы. Когда он привел на двор корову, миссис Литтлджон запрягла лошадь в коляску, и ему даже не пришлось объяснять ей что к чему. Они просто взглянули друг на друга, не как мужчина на женщину, а как две цельные натуры, которые, хоть и различными путями, обрели свой бесполой внутренний мир, неподвластный страстям. Она вынула из кармана чистую тряпицу, завязанную узелком.

— Не нужны мне ваши деньги, — грубо сказал он. — Я просто хочу убрать ее с глаз долой.

— Но это его деньги, а не мои, — сказала она, протягивая ему тряпицу. — Возьми.

— Откуда у него деньги?

— Не знаю. Их дал мне В. К. Рэтлиф. Они его.

— Видно, и впрямь его, раз Рэтлиф их отдал. Но все равно они мне не нужны.

— Да посуди, ему-то они на что? — сказала она. — Разве может ему еще что-нибудь захотеться?

— Ну, ладно, — сказал Хьюстон и взял тряпицу. Он даже не развязал ее. Вздумай он спросить, сколько там денег, она не смогла бы ответить, потому что тоже ни разу их не считала. А он, кипя яростью, но внешне по-прежнему спокойный, с каменным лицом, сказал: — К чертовой матери, смотрите же, чтоб они и близко не подходили к моему дому. Слышите?

Загон для скота был устроен с задворья, позади дома, и задняя стена конюшни не была видна ни из самого дома, ни с дороги. Собственно говоря, из Балки она ниоткуда не была видна, и в то сентябрьское утро Рэтлиф понял, что это и не нужно. Он шел по тропинке, которой не замечал раньше, которой не было тогда, в мае. Но вот наконец показалась эта задняя дощатая стена, одна доска в ней, как раз на уровне человеческого роста, была выломана и свисала к земле, — гвозди аккуратно загнуты остриями внутрь, и перед ней ряд неподвижных, словно окаменевших спин и голов. Теперь он знал, что ему предстоит

увидеть, знал, как и Букрайт, что не хочет видеть этого, но, в отличие от Букрайта, все же решил посмотреть... А когда на него стали оглядываться, он уже держал оторванную доску в руках, держал так, словно готов был ударить их. Но голос его прозвучал лишь насмешливо, даже мягко, привычно, когда он выругался, совсем как Хьюстон: без злобы и даже без возмущения оскорбленной добродетели.

— Я вижу, и ты пришел полюбопытствовать, — сказал один из зрителей.

— Конечно, — сказал Рэтлиф. — Я ведь не вас ругаю, братцы мои. Я ругаю нас всех и себя тоже, — он поднял доску и вставил ее на место. — А что этот... Как бишь его? Ну, этот новый... Лэмп. Он всякий раз берет с вас особую плату, или же вы приобрели абонементы на все спектакли? — возле стены валялась половина кирпича. Под их пристальными взглядами Рэтлиф стал приколачивать доску кирпичом, кирпич трескался и крошился, осыпая его руки мелкой пылью — сухой, горячей, мертвенной пылью, немощной, как жалкий грех и жалкое покаяние, а не яркой и великолепной, как кровь, как судьба. — Вот и все, — сказал он. — Конец. Дело сделано.

Он не стал дожидаться, пока они разойдутся. В ярком, подернутом легкой дымкой сиянии сентябрьского солнца он пересек загон и вышел на задний двор. Миссис Литтлджон была на кухне. И снова, как тогда с Хьюстоном, она все поняла без слов.

— Как по-вашему, о чем я думаю, когда смотрю из окна и вижу, что они крадутся вдоль загородки? — сказала она.

— Однако, как я погляжу, дальше раздумий дело у вас не пошло, — сказал он. — А все этот новый приказчик. Сноупсов подголосок. Ланселот. Лэмп. Я знал его мамашу.

Он знал ее и сам, и с чужих слов. Это была худенькая, энергичная, простая женщина, учительница, она всю жизнь прожила впроголодь, не скрывала этого и даже не подозревала, что живет впроголодь. Она росла среди целого выводка братьев и сестер, отец их, прирожденный неудачник, в промежутках между бесчисленными малыми банкротствами, которые не всегда сходили ему с рук, умудрился прижить со своей плаксивой и неряшливой женой столько детей, что ему не под силу было прилично их одеть и прокормить. А потом, пройдя за один летний семестр курс в педагогическом колледже штата, она попала в деревенскую школу с одной-единственной комнатой для занятий и, прежде чем кончился первый учебный год, вышла замуж за человека, который был в то время под следствием, потому что у одного коммивояжера пропал из камеры хранения ящик с образцами туфель, причем все были на правую ногу. Она принесла ему в приданое свое единственное достояние и оружие — умение мыть, кормить и одевать целый рой братьев и сестер, даже когда не хватает мыла, еды или одежды, и веру в то, что в книгах можно найти достойные подражания примеры чести, гордости, спасения и надежды; она родила единственного сына и нарекла его Ланселотом, бросив этот дерзкий вызов у самой пасти западни, которая готова была захлопнуться, и отдала богу душу.

— Ланселот! — воскликнул Рэтлиф. Он даже не позволил себе выругаться, но не потому, что это пришлось бы не по вкусу миссис Литтлджон, она бы, пожалуй, и не услышала. — Лэмп! Подумать только, какой это был стыд и срам, когда он подрос и понял, как поступила мамаша с его именем и семейной гордостью, раз он предпочел прозываться просто Лэмпом! Это он выломал доску! И ведь знал, какую доску выламывать! Не вровень с головой ребенка или женщины, а так, чтобы в самый раз было заглянуть мужчине! Это он велел тому мальчугану следить за ними, а когда начнется, прибежать к лавке и сказать ему. Правда, он пока еще не принуждает их смотреть насильно, и тут он дал маху. Этого я никак не пойму. И этого пуще всего боюсь. Потому что ежели он, Лэмп Сноупс, Ланселот Сноупс... Я сказал подголосок! — воскликнул он. — А хотел сказать — отголосок. В общем — жулик.

Он умолк, истощив запас своего красноречия, смешался, онемел в сердитом недоумении, уставившись на эту женщину, высокую, как мужчина, и по-мужски суровую, в выпцетшей кацавейке, которая ответила ему таким же пристальным взглядом.

— Вот-вот, — сказала она. — Вас ведь совсем не то зудит. Вам не дает покоя, что

человек по имени Сноупс, или, вернее, этот самый Сноупс придумал что-то такое, а вам и не понять для чего. Или, может, вас смущает, что люди приходят и глазают на них? Пусть, мол, будет как есть, лишь бы никто не знал, не видел, так, что ли?

— Надо это прекратить, — сказал Рэтлиф. — Пусть я фарисей, против этого я никогда и не спорил. И пожалуйста, не говорите мне, что у него ничего на свете нет. Сам знаю. Или зачем, мол, отнимать у него единственную радость. Я и это знаю. Или что это не мое дело. Знаю, знаю и то, что я не оставляю ему эту единственную его радость просто-напросто потому, что у меня хватит силы отнять ее. Я сильнее его. Не добродетельнее. И быть может, ничуть не лучше. Просто сильнее.

— Как же вы хотите с этим покончить?

— Не знаю. Может, я и не могу этого. А может, и не хочу. Может, все, чего я хочу, — это показать, какой я, мол, порядочный, чтобы иметь право сказать себе: я сделал, как считал нужным, теперь совесть моя чиста и сегодня, по крайней мере, я могу спать спокойно.

Но он, видимо, знал, что делать. Правда, он постоял немного на крыльце миссис Литтлджон, но лишь для того, чтобы взвесить все возможности или, вернее, перебрать в памяти лица Сноупсов: вот злое упрямое лицо со сросшимися бровями; вот вытянутая, румяная, открытая, безлобая физиономия — словно ломоть арбуза над кожаным фартуком кузнеца; и еще одно, третье, которое, казалось, не имело никакого отношения к черному сюртуку, а было просто привязано к нему ниткой, как воздушный шарик, его черты словно беспорядочно разбегались от длинного унылого профессорского носа, как будто это размалеванное, похожее на воздушный шарик лицо только что вытащили из-под проливного дождя, — Минк, Эк и А. О.; а потом он, чертыхаясь, почти физическим усилием заставил себя снова сосредоточиться на важном, не терпящем отлагательства деле, и все это время он неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца, и по его знакомому всем, спокойному, скрытному лицу скользила едва заметная улыбка, а перед внутренним его взором снова проходили все те же три лица, и он снова молча их разглядывал. Первый и слушать его не станет; второй даже не поймет, о чем речь; а третий при таких обстоятельствах будет вести себя как автомат на вокзале, в который, чтобы привести его в действие, надо опустить медную монетку или металлический жетон, — тогда вы получите взамен неизвестно что, с одной лишь гарантией, что вещь эта будет стоить меньше, чем монета или жетон. Он подумал даже о старшем или, по крайней мере, первом из них — о Флеме, подумал, что, должно быть, впервые там, где люди живут, дышат и строят свою жизнь на денежной основе, кто-то желает, чтобы Флем Сноупс был здесь, близко, а не за тридевять земель, все равно где, все равно зачем.

Близился полдень, и человек, который был ему нужен, вот уже целый час как вышел из лавки, он видел это своими глазами. Справившись у лавки, где он живет, Рэтлиф через десять минут свернул с дороги к воротам в новой проволочной загородке. Дом был тоже новый, одноэтажный, некрашенный. На неровной, кое-как разбитой высохшей клумбе перед крыльцом и в ржавых жестянках и кадках по обе стороны от него увядали пыльные летние цветы — канны и герани, все сплошь красные. На заднем дворе играл знакомый Рэтлифу мальчик. Дверь отворила рослая, сильная молодая женщина со спокойным лицом, — один ребенок сидел у нее на закорках, а другой выглядывал из-за ее юбки.

— Он у себя, занимается, — сказала она. — Идите прямо к нему.

Стены в комнате тоже были некрашенные, дощатые, и вся она была похожа на сейф — такая же тесная и душная, но все же Рэтлиф сразу заметил, что пахнет в ней не как на квартире у холостого дядюшки, а скорее как в чулане, где стареющая вдова хранит свои платья. Ему тотчас бросился в глаза сюртук, лежавший в ногах кровати, потому что хозяин — в руках у него действительно была книга, а на носу очки, — как только отворилась дверь, встрепенулся, вскочил со стула, схватил сюртук и начал его надевать.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал Рэтлиф. — Я на минутку. Насчет вашего двоюродного брата Айзека. — Но тот уже надел сюртук и поспешно застегивал его на все пуговицы поверх бумажной манишки, заменявшей ему рубашку (манжеты были подшиты

прямо к рукавам сюртука), потом снял очки, все так же суетливо, словно спешил надеть сюртук только для того, чтобы снять очки, причем Рэтлиф заметил, что в оправе нет стекол. Он уставился на гостя тем пристальным, уже знакомым Рэтлифу взглядом, который должен был выражать одновременно озабоченность и глубокий ум, взглядом, который, казалось, существовал сам по себе, независимо от его глаз, зрения — скорее, это была плесень у него на зрачках, какой-то случайный налет, вроде того пушка, который дети сдувают с одуванчиков.

— Я насчет этой коровы, — сказал Рэтлиф.

Теперь черты лица пришли в движение. Они разбежались в разные стороны от длинного носа, который торчал карикатурой на глубокомысленную рассудительность и решимость, но в то же время с наглой издевкой выражал холодное любопытство, растекавшееся по ослабленному лицу. А потом Рэтлиф заметил, что глаза вовсе и не смеются, а изучают его, и в них таится какая-то умная настороженность или, во всяком случае, затаенное, пусть не вполне твердое, подозрение.

— Да, там, кажется, есть на что поглядеть! — Сноупс визгливо хохотнул. — С тех пор как Хьюстон подарил ему корову, а миссис Литтлджон отвела им стойло, я часто думал — жаль, что никто из его родственников не баллотируется на государственную должность. Хлеба и зрелищ, как говорится, — и карьера обеспечена.

— Не выйдет, — сказал Рэтлиф. Он сказал только эти два слова, спокойно, не повышая голоса. Сноупс тоже остался невозмутим: неизменная гримаса, длинный, неподвижный нос, глаза, которые жили словно сами по себе. Помолчав, Сноупс сказал:

— Не выйдет?

— Не выйдет, — сказал Рэтлиф.

— Не выйдет, — сказал и Сноупс. «Одно из двух — то ли он в самом деле умный, то ли здорово притворяется», — подумал Рэтлиф. — Но я-то тут ни при чем.

— Разве? — сказал Рэтлиф. — Ну, а как вы полагаете, что будет, если через какой-нибудь месяц вы пойдете к Биллу Варнеру просить оставить за вами место учителя, и тут-то окажется, что жена Цезаря<sup>31</sup>, которая должна быть выше подозрений, не без греха?

Сноупс не переменялся в лице, потому что черты его все время были в движении, каждая сама по себе, хотя все это была одна плоть, утвержденная на одном черепе.

— Очень благодарен, — сказал Сноупс. — Как вы думаете, что нам теперь делать?

— Нам — ничего, — сказал Рэтлиф. — Я ведь не претендую на место учителя.

— Но должны же вы помочь. В конце концов, покуда вы не ввязались, все было в полном порядке.

— Нет, — сурово сказал Рэтлиф. — На меня не рассчитывайте. Но одно я сделаю. Я останусь здесь и погляжу, что предпримут его родственники. Допустят ли они, чтобы люди смеялись над этим несчастным.

— Да, конечно, — сказал Сноупс. — Это никуда не годится. Вот в чем вся и суть. Плоть слаба, ей немного надо. Глаз искушает грешника; надо помочь ближнему избавиться от бревна в глазу, да к тому же с глаз долой — из сердца вон. Нельзя, чтобы наше доброе имя трепали зря. Слишком долго Сноупсы высоко держат голову в здешних краях, чтобы теперь их упрекали в попустительстве.

— Не говоря уж о месте учителя, — сказал Рэтлиф.

— Конечно. Мы устроим совет. Семейный совет. Соберемся сегодня же в лавке.

Когда Рэтлиф пришел в лавку, все уже были в сборе — кузнец, учитель и с ними приходской священник, здешний фермер, человек семейный, простой, недалекий, честный, суеверный и добродетельный, он не учился в семинарии, не имел сана, не был утвержден

---

<sup>31</sup> Подразумевается апокрифическая фраза: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений», якобы произнесенная Юлием Цезарем, когда он потребовал развода со своей женой Помпеей, заподозренной в неверности.



собором духовенства, — просто много лет назад Билл Варнер назначил его священником, подобно тому как назначал школьных учителей и шерифов.

— Все улажено, — сказал А. О., когда Рэтлиф вошел. — Брат Уитфилд знает способ. Только...

— Да нет же, я просто сказал, что знаю случай, когда это средство подействовало, — поправил его священник.

И тогда он, учитель, объяснил:

— Надо зарезать ту скотину, которая ему полюбилась, сварить кусок мяса и дать ему съесть. Но это непременно должно быть мясо той самой коровы, или овцы, или от чего там его отвадить, и чтоб он обязательно знал, что ест; нельзя заставлять его есть силой или хитростью и подсунуть мясо другой коровы тоже нельзя. Тогда он успокоится и больше не будет для всех посмешищем. Только... — и тут Рэтлиф увидел, как его расплывающееся лицо на миг стало задумчивым и злым, — только миссис Литтлджон не отдаст нам корову задаром. Вы, кажется, говорили, что ее подарил ему Хьюстон?

— Нет, не я, — сказал Рэтлиф. — Это вы мне говорили.

— Но ведь так оно и было?

— Спросите миссис Литтлджон, или самого Хьюстона, или своего двоюродного брата.

— Ладно, не все ли равно. Так или иначе, даром она корову не отдаст. Так что придется за нее платить. И вот чего я никак не возьму в толк — она говорит, что не знает, какая ей цена, велела у вас спросить.

— Да ну, — только и сказал Рэтлиф. Теперь он не смотрел на Сноупса. Он смотрел на священника.

— А вы наверняка знаете, что это средство подействует, ваше преподобие? — сказал он.

— Знаю только, что был случай, когда оно подействовало, — сказал Уитфилд.

— Выходит, вы знаете, что были и другие случаи, когда оно не подействовало?

— Я знаю только один случай, когда его пробовали.

— Ну что ж, — сказал Рэтлиф. Он взглянул на обоих Сноупсов — двоюродных братьев, дядю с племянником, или кем там они друг другу приходились. — Это обойдется вам в шестнадцать долларов восемьдесят центов.

— Шестнадцать долларов восемьдесят центов? — сказал А. О. — Сто чертей! — его маленькие, бесцветные глазки быстро забегали, заскользили по лицам. Наконец он повернулся к священнику. — Послушайте, что я вам скажу. Корова не из одного мяса состоит. На ней еще много всякогоросло, чего при рождении не было. Все это тоже часть коровы — рога, шерсть. Почему бы не взять клочок шерсти и не сварить суп, что ли; можно бы и крови малость добавить, чтобы уж совсем без обмана...

— Нет, нужно ее тело, мясо, — сказал священник. — Я так понимаю это лечение, что если надо его отвадить, пусть поймет, что ее уж на свете нет.

— Но шестнадцать долларов восемьдесят центов... — сказал А. О.. Он взглянул на Рэтлифа. — Не думаю, чтобы вы согласились уступить хоть сколько-нибудь.

— Нет, — сказал Рэтлиф.

— И Минк ничего не дает, тем более что Билл Варнер сегодня утром постановил взыскать с него штраф, — сказал А. О. желчно. — И Лэмп тоже. Вообще-то и Лэмпу скоро придется выложить денежки, но за что — это уж не ваше дело, — сказал он Рэтлифу. — И Флема нет. Так что останемся мы с Эком. Если только брат Уитфилд не пожелает помочь нам из нравственных соображений. В конце концов, что порочит одного из паствы, порочит и все стадо!

— Нет, — сказал Рэтлиф. — Ему нельзя. Я и сам слышал об этом средстве. Все должна взять на себя кровная родня, иначе оно не подействует.

Маленькие блестящие глазки все так же перебегали с лица на лицо.

— А ведь вы ничего об этом не говорили, — сказал он.

— Я сказал все, что знаю, — сказал Уитфилд. — Откуда мне знать, на какие деньги

тогда купили корову.

— Но шестнадцать долларов восемьдесят... — пробормотал А. О. — Сто чертей.

Рэтлиф посмотрел на него — теперь глаза А. О. были гораздо хитрее, чем казалось раньше; нет, он не умен, поправил себя Рэтлиф. Хитер. Только теперь А. О. в первый раз взглянул на своего брата, или племянника.

И тогда брат, или племянник, в первый раз открыл рот.

— Ты хочешь сказать, что мы должны ее купить?

— Да, — сказал А. О. — Ты, конечно, не откажешься принести эту маленькую жертву ради имени, которое носишь.

— Ладно, — сказал Эк. — Раз уж мы должны...

Он достал из-под кожного фартука огромный кожаный кошелек, открыл его и держал в закопченном кулаке, — так держит ребенок бумажный пакет, собираясь надуть его воздухом. — Сколько?

— Я ведь живу бобылем, — сказал А. О. — А у тебя трое детей.

— Четверо, — поправил его Эк. — Мы ждем еще одного.

— Значит, четверо. Так что я полагаю, единственный способ — это разложить издержки в соответствии с той пользой, которую получит каждый из его излечения. Ты должен уплатить за себя и за четверых детей. Это выходит пять к одному. Значит, я плачу доллар восемьдесят центов, а Эк — пятнадцать долларов, потому что трижды пять — пятнадцать и пятью три — тоже пятнадцать.

И пускай Эк возьмет себе шкуру и все мясо, какое останется.

— Но мясо и шкура не стоят пятнадцать долларов, — сказал Эк. — А если бы и стоили, мне они все равно без надобности. На что мне столько — на целых пятнадцать долларов.

— Но ведь это не просто мясо и шкура. Так уж сложились обстоятельства. Мы свое доброе имя защитим.

— А с какой стати мне это доброе имя должно влететь в пятнадцать долларов, а тебе — всего в один доллар восемьдесят центов?

— Честь Сноупсов — вот что всего дороже. Можешь ты это понять? До сих пор на ней не было ни единого пятнышка. Ее надо хранить чистой, как мраморный памятник, чтобы твои дети могли носить нашу фамилию не краснея.

— Но все же я никак не пойму, почему я должен заплатить пятнадцать долларов, а ты всего только...

— Потому что у тебя четверо детей. Ты сам — пятый. А пятью три — пятнадцать.

— Но у меня пока только трое, — сказал Эк.

— А я что говорю? Пятью три! Если бы у тебя родился еще один, то было бы четыре, а пятью четыре — двадцать, и мне вообще не пришлось бы ничего платить.

— Но кому-то пришлось бы дать Эку три доллара двадцать центов сдачи, — сказал Рэтлиф.

— Что-о? — сказал А. О.. Но тут же снова повернулся к своему брату, или племяннику. — Кроме того, ты получишь мясо и шкуру, — сказал он. — Пожалуйста, не забывай об этом.

## Глава вторая

### 1

Жена Хьюстона была некрасива. Умом она не блистала да еще была бесприданница. Круглая сирота, невзрачная, почти дурнушка и даже не такая уж молоденькая — ей было двадцать четыре года, — она жила в доме у дальней родственницы, которая воспитала ее как сумела, в меру своего крестьянского ума, происхождения и житейского опыта, и он взял ее оттуда вместе с небольшим сундучком, где было скромное простенькое белье сурового

полотна, простыни и полотенца, подрубленные вручную, скатерть, которую она вышила своими руками, да с неисчерпаемым запасом верности и постоянства — единственным ее достоянием. Они поженились, а через полгода ее не стало, и вот уже больше четырех лет он горевал о ней, дикий, угрюмый, неотступно верный ее памяти, и ничего другого у него не было.

Они знали друг друга с детства. Оба были единственными детьми у родителей, оба родились на фермах, в каких-нибудь трех милях друг от друга. Они принадлежали к тому же приходу и ходили в ту же школу с одним-единственным классом для занятий, и хотя она была младше на пять лет, когда он поступил в школу, она училась уже во втором классе, и, несмотря на то, что, проучившись два года, он так и не перешел в следующий класс, она по-прежнему была лишь на класс выше, а потом он исчез, ушел не только из отчего дома, но и вообще из Балки, уже в шестнадцать лет убегая от извечных пут, и пропадал целых тринадцать лет, а потом вдруг объявился, причем, решив вернуться, знал (должно быть, даже проклиная себя), что, когда приедет, застанет ее дома и не замужем; и он не ошибся.

В школу он пошел четырнадцати лет. Он не был диким, а просто необузданным, и руководила им не столько отчаянность, сколько неодолимая жажда, но жажда не жизни или даже движения, а вольной неподвижности, именуемой свободой. К учебе он отвращения не питал; его возмущало лишь неизбежное принуждение, необходимость повиноваться. Он отлично справлялся с хозяйством на отцовской ферме, а мать научила его подписывать свое имя и вскоре после этого умерла и перестала наконец пилить мужа, добиваясь, чтобы тот определил мальчика в школу, которой он счастливо избегал целых четыре года, используя материнскую любовь к баловню сыну для защиты против суровости гордого отца; он по-настоящему радовался, когда ему поручали все более ответственные дела, и даже любил трудную работу, которую отец давал ему, желая сделать его человеком. Но в конце концов он сам пал жертвой своей хитрой тактики: даже отцу стало ясно, что на ферме ему учиться больше нечему. Пришлось ему пойти в школу, где он был отнюдь не примерным, а скорее беспримерным учеником. Он был сознательным гражданином еще до того, как получил право голоса на выборах, и мог бы быть отцом до того, как выучился читать по складам. В четырнадцать лет он уже знал вкус виски и завел любовницу — негритянскую девушку на два или три года старше него, дочь отцовского арендатора, — и вот теперь он вынужден был зубрить азы на четыре, пять, а потом и на все шесть лет позже своих сверстников, слишком взрослый для этого; великан среди лилипутов, поневоле искушенный во многом, он, естественно, презирал одноклассников и был решительно неисправим, и не то чтобы упорствовал в своем нежелании учиться, а просто был уверен, что ему это не интересно, не дается, да и вообще ни к чему.

Потом ему казалось, что, когда он вошел в класс, первое, что он увидел, это скромно склоненную головку с гладко зачесанными каштановыми волосами. А еще позже, когда он уже считал, что убежал от нее, ему казалось, что она была с ним всю его жизнь, даже те пять лет между его и ее рождением; не то чтобы она каким-то непостижимым образом жила на свете эти пять лет — нет, сам он начал жить, только когда она родилась и с этого часа они были на веки вечные связаны друг с другом не любовью, но непреклонной верностью и упрямым отпором: с одной стороны — твердая, несокрушимая воля переделывать, улучшать, совершенствовать, с другой — яростное, отчаянное сопротивление. Это была не любовь, не то обожание, преклонение, какое открыла ему страсть в опыте, ограниченном, конечно, но не таком уж невинном. Он признал бы, принял это чувство как должное, покорился бы ему, как покорялся, сталкиваясь с этим чувством, которое он называл добровольным рабством, в тех женщинах — матери и любовнице, — с какими до тех пор имел дело. Но он даже не подозревал, даже понятия не имел о том, что такое настоящее рабство, — то упорное, постоянное, деспотичное стремление раба не только безраздельно владеть, поглотить без остатка, но и тиранить, переделывать поработителя по своему образу и подобию. Пока что он даже не был ей нужен, и не потому, что она была слишком молода, а потому, вероятно, что не считала его готовым для этого. Она выбрала его из всего людского муравейника не

как человека, который отвечает всем ее требованиям, а как настоящего мужчину, с которым она могла бы создать и построить настоящую жизнь.

Она пыталась помочь ему в занятиях, вытянуть его не для того, чтобы он кончил школу или хотя бы чему-то научился, стал умнее и образованнее; видимо, ей хотелось только, чтобы он своевременно переходил из класса в класс, как все ученики. Сначала он думал, что она, вероятно, хочет дотянуть его до того класса, где ему следовало быть по годам, и если бы ей это удалось, она, пожалуй, предоставила бы его самому себе, пусть переходит в следующий класс или остается на второй год — как требует его характер и натура. Быть может, она так и сделала бы. Или, быть может, у нее, у которой хватило доброты попытаться ему помочь, хватило и ума понять, что он не только никогда не догонит своих сверстников, но не сможет поспеть и за теперешними своими одноклассниками, и даже более того: все это не имеет никакого значения, и даже если он останется на второй год, это тоже не имеет значения, коль скоро она приложила к этому руку.

Это была борьба, поединок, молчаливый и упорный, между несокрушимым стремлением не к любви или страсти, а к браку, и яростным непреклонным стремлением к свободе и одиночеству. В эту первую зиму он должен был остаться на второй год. Он и сам этого ждал. И не только он — этого ждала вся школа. А она никогда даже не заговаривала с ним, проходила мимо на площадке для игр, даже не взглянув на него, но каждый день на его парте непременно появлялось яблоко или кусок пирога, который она уделяла ему из своего завтрака, а в одном из его учебников — засунутый украдкой листок с решенными задачками, или исправленными грамматическими ошибками, или упражнениями, написанными круглым, твердым детским почерком — обещание и награда, которую он отвергал, помощь, которую он отталкивал, и он злился и потому, что видел в этом злоупотребление своей наивностью и доверчивостью, но потому, что не мог выразить свое презрение и негодование открыто и не был уверен, что скрытое проявление его чувств — он яростно вышвыривал еду и рвал листки бумаги — хоть как-то проникало в эту скромно потупленную, упрямую головку, обращенную к нему в профиль, или вполоборота, или даже затылком, а он даже никогда не слышал, чтобы она назвала его по имени. А потом один малыш, раза в три меньше него, пропел дразнилку, в которой вместо обычного «Люси Пейт и Джек Хьюстон жених и невеста» говорилось, что Люси Пейт тащит Джека Хьюстона за уши во второй класс. Он ударил малыша так, словно дрался со своим ровесником, четверо старшеклассников сразу же схватили его, а он отчаянно вырывался, и вдруг мальчишки попятились, и она пробилась к нему, молотя его врагов ранцем по головам. Он ударил ее с той же слепой яростью, что и малыша, и она отлетела в сторону. Еще минуты две он был в совершенном неистовстве. Даже когда его повалили на землю, четверым мальчикам пришлось скрутить его куском проволоки, сорванным с загородки, а потом, развязав его, они бросились врассыпную.

Это была его первая победа. Он остался на второй год. Осенью, когда он пришел в школу, в тот же самый класс, великан среди карликов, которые были ему по колено, и его окружил рой малышей, еще младше, чем в прошлом году, он решил, что совсем избавился от нее. Конечно, он по-прежнему видел ее лицо, и оно ничуть не стало дальше или меньше. Но он надеялся, что теперь разделявшая их бездна увеличилась еще на один класс. Так что он считал, что игра выиграна, и торжествовал победу; целых два месяца прошло, прежде чем он узнал, что и она тоже срезалась на весенних испытаниях и осталась на второй год.

Теперь его охватил почти панический страх. Он понял, что размах и характер борьбы между ними изменился. Она не стала ожесточеннее — дальше уж было некуда, — но теперь это была борьба зрелых людей. До сих пор, при всей ее полнейшей серьезности, в ней было что-то детское, что-то последовательное в своей нелепости, разумное в своей бессмысленности. Теперь же это была борьба между взрослыми; в это лето, когда они и виделись-то лишь в церкви на богослужениях, в какой-то миг древняя, изодранная перчатка биологического различия полов была брошена и поднята. Словно бы, сами того не сознавая, оба разом узрели исконного Змея и вкусили от Древа Познания, уже готовые и жаждущие



насладиться его плодом<sup>32</sup>, но не умеющие сделать это, хотя он к этому времени уже успел кое-чему научиться. Он больше не находил на парте яблок и пирогов — только листки, неизбежные, без единой ошибки, в учебниках, в карманах пальто, в почтовом ящике на воротах своего дома; каждый месяц, когда класс писал контрольную работу, он сдавал чистый листок и получал назад другой с отличной оценкой, исписанный тем же почерком, который все больше и больше становился похож на его руку — даже подпись не отличишь. И всегда это ее лицо, хотя она по-прежнему ни разу с ним не заговорила, даже не взглянула на него, это лицо, склоненное к парте, обращенное к нему в профиль или в три четверти, спокойное и невозмутимое. И он не только видел его весь день, но уносил его вечером с собой и утром, просыпаясь, снова видел его, все такое же безмятежное и непреклонное. Он пытался избавиться от него, вспоминая свою любовницу-негритянку, но оно все стояло перед ним, неизменное, безмятежно спокойное, и не было в нем ни злобы, ни печали, ни даже укоризны, оно заранее все прощало, прежде чем он решался подумать о прощении или мог заслужить его, оно ждало, спокойное, путающее. Однажды в этом году ему взбрела в голову отчаянная мысль — избавиться от нее навсегда, лишив ее возможности помогать ему, засесть за учебу и наверстать потерянные годы, догнать класс, в котором ему следовало учиться. Он даже пытался сделать это, но его хватило ненадолго. Всегда и всюду было это лицо. Он знал, что никогда не сможет уйти от него, — оно не будет тянуть его назад, нет, теперь уж ему, в свою очередь, придется нести его с собой, подобно тому как оно держало его вне времени и пространства все эти пять лет, когда она еще не родилась; и он не только не сможет уйти, но не сможет даже преодолеть этот один-единственный год, разделяющий их, и чего бы он ни достиг в жизни, она всегда будет тут как тут, на год впереди, и ее не обойти, не обогнать. Так что выход был только один, тот же самый: идти назад он не мог, назад было уж некуда, но мог тормозить, вонзая незримые, сдерживающие шпоры в бока скачущей во весь опор школьной премудрости.

Так он и сделал. Ошибка его была в том, что он думал — есть же предел женской беспощадности. Каждый месяц он сдавал учителю чистый листок и получал назад безукоризненно выполненные контрольные, и сверху было аккуратно надписано его имя; месяц проходил за месяцем, и близились переводные испытания. Он сдал учителю чистые листки, на них не было ничего, кроме его имени да грязных следов пальцев на сгибе, в последний раз закрыл учебники, которые не успел даже замусолить, и вышел из школы, свободный, если не считать маленькой подробности — учитель не сказал ему, что оставляет его на второй год. Весь день, до самого вечера, его не покидало это чувство свободы. Он уже раздевался, чтобы лечь спать, и стянул было одну штанину, но вдруг, не мешкая ни секунды, решительно сунул ногу обратно и босой, без рубашки выбежал из дома. Отец его уже спал. Школа была не заперта, но чтобы залезть в учительский стол, ему пришлось сломать замок. Все три его контрольные были там — листки, точно того же формата, какие он сдал чистыми, — по арифметике, по географии и сочинение, — если бы он не знал, что подал вместо сочинения пустой листок, да еще не отдельные слова в нем, которые он видел в первый раз в жизни и не мог даже произнести, и не все остальные слова, которые он знал, но не мог понять, он сам не поручился бы, что не он написал это сочинение.

Он вернулся домой, собрал кое-какую одежку, взял револьвер, который был у него уже три года, и разбудил отца; в эту летнюю полночь, при свете лампы, они виделись в последний раз — испуганный, но полный решимости юноша и желчный, сухой, жилистый человек, почти на целую голову ниже сына, небритый, с густой копной спутанных седых волос, в ночной рубашке до пят, который вынул из кармана штанов, валявшихся на стуле, потертый бумажник и, отдав сыну все, что там было, надел на нос очки в железной оправе, написал вексель на выданную сумму с процентами и заставил его подписаться.

---

<sup>32</sup> По ветхозаветному преданию, змей-искуситель уговорил Еву нарушить запрет и съесть плод с дерева познания добра и зла, которое росло в раю. За это Адам и Ева были изгнаны из рая.

— Ну вот, — сказал он. — А теперь катись ко всем чертям. Ты все-таки мой сын и шестнадцать лет должен суметь себя прокормить. Я, по крайней мере, сумел. Но держу пари еще на столько же, сколько я тебе сейчас выдал, что не пройдет и полугода, как ты запросишь помощи.

По дороге он зашел в школу и положил контрольные на место, вместе с чистыми листками; если бы ему удалось, он починил бы и сломанный замок. Он даже рассчитался с отцом, хотя пари не проиграл. Он возвратил деньги через год, выиграв как-то субботним вечером в кости втрое больше того, что был должен, в Оклахоме, на строительстве железной дороги, где он работал табельщиком.

Он бежал не от своего прошлого, а от будущего. И лишь через двенадцать лет понял, что нельзя убежать ни от того, ни от другого. Он работал кочегаром на паровозе и скоро должен был получить повышение, стать машинистом, а жил он в то время в Эль-Пасо, в маленьком, чистом, каменном домике, арендованном на четыре года, с женщиной, которую соседи, лавочники и прочий люд считали его женой и которую он взял семь лет назад из Голвестонского публичного дома<sup>33</sup>. А до того он убирал пшеницу в Канзасе, пас овец в Нью-Мехико, снова работал на строительстве железных дорог в Аризоне и западном Техасе, потом был грузчиком в Голвестонских доках; и если он все еще бежал от нее, то сам того не подозревая, потому что прошло много лет с тех пор, как он и думать перестал о том, что наконец-то забыл ее лицо. Он не подозревал об этом, когда убедился, что с помощью одного лишь расстояния нельзя убежать ни от прошлого, ни от будущего. (Расстояние — что за скудость воображения, что за нелепая вера в разлуку у человечества, которое не сумело изобрести лучшего способа для бегства; и в первую очередь у него самого, думавшего, будто расстояние — не обыкновенное пространство, но среда, воздух, без чего нечем дышать свободному бродяге.) И если он оставался верен себе — убегая от одной женщины, залезал под юбку к другой, как в юности бежал от матери к негритянке, — то не подозревал этого, почти силой вытащив из публичного дома на рассвете женщину, которую впервые увидел накануне в полночь; при тусклом свете газового рожка между ним и хозяйкой в папильотках разыгралась душераздирающая сцена, словно он похищал из дома единственную дочь, наследницу всего состояния.

Они прожили вместе семь лет. Он перестал скитаться, снова поступил на железную дорогу и даже продвинулся по служебной лестнице; он был верен ей душой и, за редкими исключениями, телом, а она, в свою очередь, была предана ему, благоразумна, неприязнительна и не сорила попусту его деньгами. Она жила под его фамилией в меблированных комнатах, где они поселились вначале, а потом — в арендованном доме в Эль-Пасо, который они называли своим и обставляли как могли. Хотя она и не заикалась об этом, он даже подумывал о женитьбе на ней, — настолько влияние Запада, который был тогда еще так молод, что поощрял свободу личности, смягчило, а потом и вовсе вытеснило наследственное фанатическое представление о браке, женской чистоте и грехах Марии Магдалины<sup>34</sup>, свойственное протестантам провинциального Юга. Правда, оставался еще отец. С ним он не виделся с той самой ночи, когда ушел из дома, и не чаял свидеться снова. Нет, отец для него не умер, не стал еще более далеким, чем старый дом в штате Миссисипи, где они виделись в последний раз; просто он не мог представить себе, что они встретятся где-нибудь еще, кроме Миссисипи, а возвращение туда он мыслил лишь в старости. Но он знал, как отнесся бы отец к его женитьбе на бывшей проститутке, а до сих пор, что бы он ни делал, он не совершил ни одного поступка, который, по его мнению, не мог бы совершить

---

<sup>33</sup> Голвестон — морской порт в Техасе.

<sup>34</sup> В христианских преданиях Мария Магдалина — женщина из Галилеи, последовательница Иисуса Христа, исцеленная им от одержимости бесами. В западной традиции отождествляется с грешницей, омывшей ноги Христа своими слезами, и становится образом кающейся блудницы.

или, по крайней мере, не одобрил бы отец. А потом пришло известие, что отец умер (с той же почтой он получил письмо от соседа, который предлагал ему продать ферму. Он отказался. В то время он сам еще не знал почему), и это препятствие отпало. Но по сути дела его никогда и не было. Он решил этот вопрос наедине с собой давным давно, ночью, когда темный паровоз несся сквозь мрак, лязгая на стыках рельсов: «Может, она и была не бог весть что, да ведь и я не святой. Зато вон уже сколько лет она лучше меня». Возможно, со временем у них родится ребенок. И он решил подождать этого, как знамения. Сначала он даже не допускал такой возможности — в нем говорил все тот же фанатик-протестант: десница Божия тяготеет над грешником даже после духовного возрождения<sup>35</sup>; вавилонской блуднице<sup>36</sup> Всевышний затворил утробу навеки. Он не знал, сколько должно пройти времени, сколь долгий искус целомудрия может принести ей очищение и отпущение грехов, но рисовал себе это так: в какой-то миг, таинственный и неисповедимый, короста, оставленная безымянными и безликими мужчинами, спадет, язвы, выжженные продажной страстью, зарубцуются и изгладятся на ее оскверненном теле.

Но теперь это было позади — не тот непостижимый миг, который должен был принести очищение, но тот час, тот день, в который, как ему казалось, она должна была сказать ему, что беременна и что им надо пожениться. Теперь это осталось далеко позади. Этого не будет никогда. И как-то ночью, на двенадцатом году своего бегства из дому, устраиваясь на ночлег в меблированных комнатах на конечной станции, где он ночевал между сменами, он вынул письмо трехлетней давности и понял, почему он тогда не принял предложение соседа. «Поеду домой», — сказал он себе. И это все, никаких объяснений; ему даже не представилось лицо, которое он до того дня, как пришел в школу, не мог бы описать, а теперь не мог и вспомнить. На другой день, сделав рейс до Эль-Пасо, он взял из банка деньги, накопленные за семь лет, и разделил их поровну. Но женщина, которая семь лет была ему женой, едва взглянула на деньги и стала его ругать.

— Я знаю, ты жениться надумал, — сказала она. Слез не было, она просто кляла его на чем свет стоит. — На что мне деньги? Погляди на меня. Думаешь, я так не проживу? Возьми меня с собой. Буду жить в каком-нибудь городке по соседству. А ты приезжай когда вздумается. Разве я тебе мешала?

— Нет, — сказал он.

Тогда она принялась проклинать его, их обоих. «Пусть бы она лучше толкнула меня, ударила, чтоб я взбесился и побил ее», — подумал он. Но до этого не дошло. Она ругала не столько его, сколько ту женщину, которую никогда не видела, которую даже он едва мог вспомнить. И тогда он поделил свою долю денег — тех денег, что всегда сами шли к нему в руки, он был счастливее, не потому, что эти деньги достались ему легко, не потому, что он нашел их, выиграл или заработал без труда, а потому, что пороки и удовольствия, которые были ему нужны, обходились недорого и от этого не слишком тощал кошелек, — и уехал домой, в Миссисипи. Впрочем, и тогда, как видно, ему понадобился еще целый год, чтобы убедиться, что он и не хочет бежать от прошлого и будущего. Соседи решили, что он приехал продать ферму. Но проходили недели, а он и не думал ее продавать. Пришла весна, а он ни в аренду ее сдавать не собирался, ни сам работать не начинал. Он жил себе в старом, построенном еще до Гражданской войны доме, который хоть и не походил на дворец с колоннадой, но и раньше был велик для троих, и месяц проходил за месяцем, но, видно, он был в отпуске и за ним сохранялось место на Техасской железной дороге, где, как они слышали от его отца, он работал, и он все жил один-одинешенек, и если с кем встречался, то

---

<sup>35</sup> Имеется в виду один из догматов кальвинистского учения об «абсолютном предопределении», согласно которому все люди изначально разделены на «избранных» к спасению и «проклятых».

<sup>36</sup> Образ из «Откровения святого Иоанна Богослова»; великая блудница, сидящая на звере багряном, имя которой «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (17, 5).

лишь со своими сверстниками за бутылкой виски или за картами, да и то не часто. Летом он изредка появлялся на пикниках, а по субботам всегда сидел вместе с другими на галерее лавки Варнера, разговаривая, или, вернее, отвечая на расспросы, что да как на Западе, нисколько не замкнутый или скрытный, а просто они как бы говорили на разных языках, не понимая вопросов и ответов друг друга. Жизнь его обуздала, хоть это и не очень-то было видно по нему. Лицо его еще было отмечено печатью скитаний и одиночества, но оно уже как-то потухло, стало разумнее, в нем появилась даже какая-то осознанная, хоть и бесстрашная настороженность; этого дикого зверя, всегда одинокого, вдруг потянуло в западню, и он знал, чувствовал, что это западня, и хоть не понимал, почему он обречен, но знал, что это неизбежно, и уже не боялся, уже становился почти ручным.

Они поженились в январе. Деньги, привезенные из Техаса, давно растаяли, хотя все в округе еще считали его богачом, — иначе как мог бы он жить целый год, не работая, а потом жениться на сироте, бесприданнице. Поскольку он за все платил наличными, соседи раз и навсегда уверовали, что он при деньгах, подобно тому как сперва все были убеждены, что домой его пригнала нищета. Он заложил часть земли у Билла Варнера и на полученные деньги стал строить новый дом, поближе к дороге. И еще он купил жеребца — это был как бы свадебный подарок невесте, хотя сам он никогда этого не говорил. А может быть, эта горячая кровь, эти кости и мышцы воплощали и для него то многобрачие, то необузданное мужское начало, от которого он отрекся, но он и этого никогда не говорил. И если кое-кто из соседей и знакомых — Билл Варнер или, скажем, Рэтлиф — поняли, что он действительно искал в этом себя, намеренно старался заполнить пустоту своего отречения, то и они ничего не сказали.

Через три месяца после свадьбы дом был отстроен, и они переехали туда, наняв негритянку для стряпни, хотя из всех соседей единственная наемная повариха, белая или негритянка, была только у Варнеров. Со всей округи к ним стали съезжаться гости, мужчины — взглянуть на жеребца, женщины, — полюбоваться светлыми комнатами, новой мебелью, всякой хозяйственной утварью и машинами для облегчения труда и экономии времени, о которых они только мечтали, листая каталоги. Они смотрели, как она без усталости хлопочет, устраиваясь на новом месте, в простом скромном платье, скромно причесанная, и ее скромное лицо расцвело, стало почти красивым, — она не удивлялась своему счастью, не наслаждалась воздаянием за свое постоянство и верность, а лишь вспыхивала радостным, ярким, откровенным румянцем, когда гости говорили, что дом, мол, поспел к самому сроку, и в окно спальни заглянет полная апрельская луна.

А потом жеребец ее убил. Она искала в конюшне куриное гнездо. Слуга-негр предупредил ее: «Это не просто лошадь, мисси. Это конь, мужчина. Не ходите туда». Но она не испугалась. Она словно бы поняла, угадала это его перевоплощение, эту раздвоенность, и если не сказала вслух, то подумала: «Глупости. Ведь теперь мы — муж и жена». Он вбежал в стойло ошалевшего жеребца с ножом, но негр удержал его, уговорил подождать, пока из дому принесут револьвер, и, пристрелив жеребца, он четыре года и два месяца прожил в новом доме с собакой и негром-поваром. Он продал кобылу, купленную для жены, продал корову, которая была у него в то время, рассчитал повариху и раздал кур соседям. Новая мебель была куплена в рассрочку. Он свалил ее в сарай около старого дома, где он родился, и написал торговцам, чтобы те приехали и забрали ее. В новом доме осталась только печь, кухонный стол, за которым он ел, и койка, заменившая кровать у окна спальни. В первую ночь, когда он лег на койку, тоже было новолуние, поэтому он перенес койку в другую комнату и поставил ее у северной стены, куда не достигал лунный свет, а еще через две ночи даже попробовал переночевать в старом доме. Но там он потерял все — не только покой, но даже ту жестокую, неистребимую тоску, в которую можно было уйти с головой.

Тогда он вернулся в новый дом. Луна была уже на ущербе, до следующего новолуния был целый месяц, и оставался лишь этот единственный час между закатом и ночной тьмой, когда он глушил свою тоску усталостью. А усталость стоила дешево; ему не только предстояло выкупить землю, которую он заложил у Билла Варнера, но и пришлось



улаживать неприятности с торговцами, у которых была куплена в рассрочку мебель, — они не хотели брать ее обратно. Пришлось ему снова заняться фермой, и с каждым днем он все больше убеждался в том, что многое позабыл. Так что иной раз он и не замечал, как подкрадывался этот страшный час, пока не чувствовал, что он близится, подступает и вот уже набрасывается на него и начинает его душить. В этот час ее неукротимый дух и порой даже дух сына, который, быть может, родился бы у них в будущем году, витали по всему дому, построенному для нее, хотя теперь в нем уже не было ни одной вещи, которую она бы трогала, держала в руках или видела, кроме печи, кухонного стола и одного платья — не сорочки или ночной рубашки, а клетчатого платьишка, похожего на то, в котором он впервые увидел ее в школе, да еще этого окна, из-за которого он даже в самые жаркие летние вечера, пока негр готовил ужин, сидел в душной кухне, пил виски из каменного кувшина, разбавляя его тепловатой водой из дубовой кадки, и разговаривал вслух, все больше ожесточаясь, богохульствуя яростно и непримиримо, но ему не на кого было броситься, некого было одолеть, победить.

Но рано или поздно луна снова начинала прибывать. Бывали ночи почти безлунные. И все же в конце концов серебристо-белый прямоугольник света опять падал на него из окна всю ночь, которой, казалось, не будет конца, как когда-то падал на них обоих, помнивших старинное поверье, что в апреле полная луна способствует зачатию. Но теперь рядом с ним в лунном свете не было никого, да и места ни для кого не оставалось. Потому что койка была слишком узка, и лишь резкая черная тень падала вниз, на пол, где, невидимый, спал его пес, а он лежал навзничь, неподвижный, непримиримый, и скрежетал зубами. «Не знаю, не знаю, — шептал он. — Не понимаю и не пойму никогда. Но Тебе меня не одолеть. Я не слабее Тебя. Тебе меня не одолеть».

Он был еще жив, когда начал падать с седла. Сперва он услышал грохот, а еще через миг понял, что, вероятно, почувствовал удар, прежде чем услышал выстрел. И тут обычное течение времени, к которому он привык за тридцать три года своей жизни, нарушилось. Ему показалось, что он ударился о землю, хотя он знал, что еще не долетел до нее, еще падает, а потом он перестал падать, очутился на земле и, вспомнив все раны в живот, какие ему доводилось видеть, подумал: «Если я сейчас не почувствую боль, значит, конец». Он жаждал почувствовать ее и никак не мог понять, почему она медлит. Потом он увидел провал, бездну, где-то над тем местом, где должны быть его ноги, и, лежа на спине, он видел, как через эту бездну тянутся оборванные и спутанные концы нервов и чувств, слепые, как черви, тоньше волоса, они ищут друг друга, чтобы снова соединиться, срастись. Потом он увидел, как боль, словно молния, прочертила пустоту. Но она пришла не изнутри, а откуда-то извне, из такой знакомой, уходящей от него земли. «Постой, погоди, — прошептал он. — Подступай потихоньку, не вдруг, тогда я, может быть, тебя вынесу». Но она не желала ждать. Она с ревом обрушилась на него, подбросила его и скорчила. Она не желала ждать. Она желала немедленно ввергнуть его в пустоту, и тогда он вскрикнул: «Скорей! Скорей же!» — глядя из кровавого рева вверх, на лицо, с которым его навеки связал, сочетал этот выстрел, этот патрон десятого калибра — мертвец, который унесет живого за собой в могилу, — живой, которого не приемлет земля, должен будет вечно носить с собой убиенного в его бессмертии — а потом, видя, что переломленная двустволка неподвижна: «Сволочь, не мог выклянчить два патрона, ты, голь перекатная...» — и осекся. Глаза его, все еще открытые уходящему солнцу, вдруг подернулись влагой, и по чужим, бесчувственным щекам покатились, сразу же высыхая, блестящие капли, словно накипевшие, истовые слезы.

## 2

Выстрел был слишком громким. И не потому, что это был выстрел, — слишком громок был самый звук, громче громкого. Казалось, даже пространство и эхо, подхватившее этот звук, ополчились против него, когда он встал на защиту своих прав, против несправедливости, и грохот вздымался все выше и выше над кустами, где он притаился, и

над темной, едва видной дорогой, еще долго после того, как он плечом почувствовал отдачу, и запах черного пороха рассеялся, а лошадь, шарахнувшись, поскакала прочь, и пустые стремяна бились о пустое седло. Он не брал в руки ружья вот уже четыре года и даже не был уверен, что хотя бы два из тех пяти патронов, что у него были, выстрелят. Выстрелил второй — первый дал осечку: курок щелкнул впустую, и этот щелк был оглушительней грома, и он должен был снова прицелиться и нацелить второй спуск, а потом раздался грохот, которого он и не слышал после нового оглушающего щелчка, дым и вонь пороха заставили его попятиться назад, в чашу, и припасть к земле, на миг ему стало дурно, так что даже если бы он и мог выстрелить еще раз, все равно было бы уже поздно, и пес тоже исчез, предательски бросив его здесь, в лесу, где он дрожал и задыхался, притаившись за поваленным деревом.

Теперь нужно было покончить с этим делом, покончить не так, как ему хотелось, но так, как вынуждала необходимость. Ему не пришлось преодолевать, обуздывать слепой, безотчетный, отчаянный страх, побуждающий бежать без оглядки. Напротив. Больше всего на свете ему хотелось бы оставить на груди убитого печатный плакат: *«Вот что бывает с теми, кто отбирает скотину у Минка Сноупса»* — и подпись. Но сделать этого он не мог, и снова, вот уже в третий раз с того мгновения, как он спустил курок, он наталкивался все на тот же заговор с целью ущемить, попортить его человеческие права и надругаться над его чувствами. Нужно было встать, выйти из кустов и сделать то, что теперь необходимо, даже не для того, чтобы покончить с этим, а чтобы как-то завершить начатое, потому что, еще прежде чем он услышал стук копыт и вскинул ружье, он уже знал, что так будет: прицелился он, чтобы убить врага, а попал всего-навсего в труп, который теперь надо куда-то спрятать. Он сел около дерева, закрыл глаза и стал медленно считать вслух, чтобы унять дрожь, а когда стук копыт и этот возмутительно громкий выстрел замерли в его ушах, он встал и, не выпуская из рук переломленное ружье с негодным патроном в одном стволе, вышел на дорогу, уже почти бегом. Но все равно, домой он мог вернуться, только когда стемнеет.

Стало темнеть. Он выбрался из балки, взглянул на холм, где было его тощее и жалкое поле, а потом увидел и ее — некрашеную лачугу из двух комнат, со сквозным коридором, с пристроенной кухонькой, — лачуга ему не принадлежала, он платил за нее не налог, а аренду, и за один год это обходилось ему почти во столько же, сколько стоило бы построить новую; лачуга была не очень ветхая, но крыша уже текла, дощатые стены попортила непогода, и она как две капли воды была похожа на ту лачугу, где он родился, тоже не принадлежавшую его отцу, и в такой же точно лачуге он умрет, если только ему суждено умереть под крышей, вероятно, так оно и случится, — беспокойное, неукротимое сердце вдруг, неожиданно, остановится, когда он будет где-нибудь между кроватью и столом или, быть может, даже на пороге, — и она как две капли воды похожа на шесть или семь других лачуг, в которых он жил с тех пор, как женился, и еще на двенадцать или четырнадцать других, в которых, он знал это, ему еще предстоит жить, прежде чем он умрет, но теперь он хотя бы был уверен, что платит аренду собственному двоюродному брату, и это все, чего он, Минк, может достичь, собственного крова над головой у него никогда не будет. Во дворе играли двое детей, — завидев его, они вскочили, не сводя с него глаз, повернулись и побежали к дому. А потом ему показалось, что он видит ее, она стоит у открытой двери, почти на том же месте, где стояла восемь часов назад, уставившись ему в спину, а он сидел тогда у холодного очага, смазывая ружье растопленным свиным салом, — ничего другого у него не было, а сало, пропитанное сухой солью, вместо того чтобы смазывать металл, застывало на нем твердыми подтеками, словно мыло; она стояла у двери, словно за все это время не шелохнулась ни разу, в дверном проеме, словно в раме, и хотя лампа не была зажжена, казалось, что она залита ослепительным светом, как в тот день, когда она стояла среди гула хриплых, невидимых мужских голосов в открытых дверях столовой, там, на юге Миссисипи, в исправительном лагере, где десять лет назад он увидел ее в первый раз. Он перестал глядеть на дом; он только мельком взглянул на него и побрел через желтые и чахлые всходы кукурузы, желтые и чахлые, потому что у него не было ни денег на удобрение, ни тягла, ни орудий, чтобы как следует обработать поле, и некому было помочь

ему, и он трудился один, надрывая силы и здоровье, а тут еще погода стояла просто невероятная, — после неслыханно дождливой весны, когда с середины мая и до самого июля не переставая лил дождь, началась засуха, словно все силы небесные были заодно с его врагами. Он брел среди пустых, пожелтевших стеблей, неся ружье, такое большое, что ему и нести-то его, казалось, было нелегко, не то что прицелиться и выстрелить, — семь лет назад он отдал за него последние гроши, да и то оно ему досталось лишь потому, что никто другой не хотел его брать — калибр слишком крупный, так что охотиться с ним стоило только на оленей или, по крайней мере, на диких гусей, да и патроны к нему дорогие, так что тратить их стоило только на человека.

Больше он на дом не глядел. Он прошел мимо, за трухлявый забор, к колодцу, прислонил ружье к сруб, разулся, зачерпнул ведро воды и принялся мыть башмаки. Вдруг он почувствовал, что она стоит у него за спиной. Он сидел на ветхой скамеечке и даже не обернулся — маленький, в чистой линялой рубашке и заплатанном комбинезоне, и, наклонив ведро над башмаком, тер башмак кукурузным початком. Она засмеялась, хрипло, долгим смехом.

— Я тебе что говорила нынче утром, — сказала она. — Что ежели ты выйдешь за порог с этим ружьем, я уйду из дому, — он не поднял головы, склонившись над мокрым башмаком, засунул в него руку, словно сапожную колодку, и тер его кукурузным початком. — Не твое дело — куда. И узнать не пытайся, где я, когда они придут за тобой, — он не ответил. Покончив с одним башмаком, он поставил его на землю, сунул руку в другой, плеснул на него воды из ведра и начал тереть. — Но далеко я не уйду! — воскликнула она вдруг глухо, не повышая голоса. — Своими глазами я хочу видеть, как тебя повесят!

Он встал. Аккуратно поставил на землю недомытый башмак, положил рядом с ним початок и встал, маленький, почти на полголовы ниже ее, босой, и двинулся на нее неторопливо, чуть избочившись, нагнув голову и даже не глядя на нее, а она стояла в проломе забора, — крашенные волосы снова потемнели у корней, потому что вот уже год она не могла наскрести денег на краску, лицо, глядевшее на него с хриплым, неумолчным смехом, глаза, в которых поблескивало любопытство. Он ударил ее по зубам. Он глядел, как его рука словно бы нехотя, с трудом, ударила по лицу, которое не уклонялось, не сморгнуло глазом.

— Ты ублюдок, душегуб окаанный! — сказала она, и изо рта у нее брызнула алая кровь. Он ударил ее снова, пачкая в крови руку, потом еще и еще, расчетливо, не спеша, и в этом не было умысла, а только бесконечное, терпеливое упорство и неодолимое изнеможение.

— Уходи, — сказал он. — Уходи, уходи.

Он пошел за ней через двор, поднялся на крыльцо, но через порог не перешагнул. Хотя в комнате было почти темно, он видел ее с порога на фоне узкого серого прямоугольника окна. Потом чиркнула спичка, вспыхнул язычок пламени и задрожал над фитилем, так что теперь она была освещена резким светом, а вокруг нее незримо метались шумные и безгласные тени мужчин, без имени, без числа, — временами, даже когда он видел своих детей, ему казалось, что оно никогда не рожало, это ее тело, пришедшее к нему еще до того, как за два доллара был зарегистрирован их брак, который не освятил, а лишь закрепил их отношения, и всякий раз, как он к ней подходил, ему мешала не одежда, а эти похотливые тени, которые стали частью его прошлого, словно он сам, а не она, прежде покорно отдавался им; и, несмотря на ее грязную мешковатую одежду, он даже из холодных беззвездных ночных далей, где нет ни страсти, ни ненависти, готов был созерцать это, повторяя: «Это как хмель. Это для меня как дурман». Потом, при свете той же спички, поднесенной к фитилю, он увидел лица обоих детей, словно этой единственной спичкой она прикоснулась ко всем троим разом. Они сидели в уголке на полу, не таясь, не прячась, сидели в темноте, должно быть, с тех самых пор, как он поднялся со дна балки, и они убежали от него, и во взглядах их было то же, что жило в нем самом: не приниженность, а лишь упрямство, и древняя, усталая мудрость, и прятие непримиримого противоречия

между желаемым и действительным, неизбежного из-за того, что все трое были слабые и щуплые, и уж от этого никуда не денешься, и, отвернувшись от него, они без удивления посмотрели на окровавленное лицо матери и не сказали ни слова, когда она сняла с гвоздя платье, расстелила его на соломенном тюфяке и завернула в него нехитрые пожитки — кое-что из одежды, единственную пару подростковых ботинок, которую они по очереди надевали в зимнюю стужу, треснутое зеркальце, деревянную гребенку, щетку с отломанной ручкой.

— Пошли, — сказала она.

Он посторонился, давая им дорогу, — дети жались к ее юбке, и когда они выходили из комнаты, он на миг потерял их из виду, а потом увидел снова, они шли впереди нее по коридору, и он двинулся следом, но, не подходя вплотную, опять остановился на пороге, когда они вышли на крыльцо и спустились по ветхим, трухлявым ступеням. У крыльца она замешкалась, и тогда он снова двинулся вперед, все так же неумолимо и устало, но остановился, когда увидел, что старшая девочка, бесшумная и бесплотная в темноте, потому что была уже почти ночь, перебежала двор, быстро подобрала что-то с земли и вернулась к матери, прижимая к груди деревяшку, к которой были прибиты вместо колес четыре крышки от круглых жестянок из-под табака. Они пошли дальше. Теперь он остался на месте. Казалось, он даже не смотрел на них, когда они вышли через сломанные ворота.

Он пошел в дом, задул лампу, и вокруг сразу стало темным-темно, словно слабый, дрожащий язычок пламени унес с собой последние остатки дня, так что, вернувшись к колодцу, он ощупью нашарил кукурузный початок и башмак и соскреб с него остатки грязи. Потом он вымыл ружье. Когда оно впервые попало ему в руки, когда оно было новое, или, по крайней мере, новое для него, при нем был и шомпол. Он сам сделал этот шомпол, вырезал его из камыша, тщательно обстругал и выровнял, а на конце просверлил аккуратное отверстие для ветоши, и почти целый год, пока у него были деньги на порох, дробь и капсули, чтобы снаряжать патроны и хоть иногда охотиться, он берег шомпол даже больше ружья, потому что ружье он купил, а шомпол сделал своими руками. Но теперь шомпол потерялся, неизвестно где и когда, вместе с другими вещами, нажитыми с тех пор, как он вышел в люди, вещами, которые некогда были ему дороги, но он растерял их где-то по пути до того, как стал взрослым, и теперь у него нет ничего, кроме пустого дома, не принадлежащего ему, и ружья, да еще воспоминания о том непоправимом миге, когда он вскинул двустволку, прицелился и заставил себя нажать на спуск, о миге, который ничто, кроме смерти, не изгладит из его памяти. Он плеснул на ружье воды из ведра, снял рубашку, вытер ружье насухо, взял башмаки, вернулся в дом и, не зажигая лампы, стоя в темноте у холодной печи, стал есть руками из горшка холодные бобы, а потом пошел и лег прямо в комбинезоне на кровать с соломенным тюфяком в комнате, которая наконец опустела, исчезли даже шумные тени, лег навзничь, не смыкая глаз, вытянув руки вдоль туловища, ни о чем не думая. А потом он услышал собачий вой.

Сначала он не шелохнулся: если бы не его мерное, ровное дыхание, его можно было бы принять за труп, так неподвижно он лежал, а вой замер вдали, и спустилась ночная тишь, пронизанная мириадами звуков, а потом ее снова разорвал вой — громкий, тягучий, горестный. Он не шелохнулся. Он словно был готов, словно ждал этого, и лег, уgomонился, выбросил все из головы не для того, чтобы уснуть, а чтобы собраться с духом и силами, как бегуны и пловцы, перед отчаянным усилием, с каким ему теперь предстояло жить, и пролежал так минут десять, прежде чем со дна балки донесся тягучий вой, словно знал, что эти десять минут — последние минуты покоя в его жизни. Потом он встал. Все так же в темноте он натянул на себя еще сырую рубашку и башмаки, которые только что вымыл, снял с гвоздя, вбитого за дверь, новую веревку, которая так и висела кольцом, как скрутил ее две недели назад его двоюродный брат, приказчик в лавке Варнера, и вышел из дома.

Ночь была безлунная. Он спустился вниз меж сухими, невидимыми в темноте кукурузными стеблями, находя дорогу по звездам, пока не добрался до леса, черную стену которого усеивали дрожащие искорки светлячков, а из глубины доносилось кваканье



лягушек и собачий вой. Войдя в лес, он уже не мог видеть неба, но только теперь понял то, что должен был понять уже давно: можно идти на вой собаки. Он пошел на вой, оскользаясь и падая в грязь, ползком продираясь сквозь колючие кусты и спутанные ветви буйного подлеска, наталкиваясь на невидимые стволы, прикрывая лицо рукой, обливаясь потом, а неумолчный собачий вой все надвигался и вдруг смолк на полуноте. На миг ему показалось, что он видит горящие собачьи глаза, хотя у него не было фонаря, свет которого они могли бы отразить, и вдруг, сам не зная, что делает, он бросился туда, где ему померещились эти глаза. Он больно ударился плечом о первое же дерево, отлетел в сторону, но удержался на ногах, вытянув руки и все еще по инерции двигаясь вперед. Он почувствовал, что падает. «Если впереди дерево, мне крышка», — мелькнула у него мысль. И вдруг он коснулся рукой пса. Он почувствовал на себе его дыхание и услышал лязг зубов, когда пес прыгнул на него и тут же отскочил, а он остался на четвереньках в грязи, пока не смолк вдали треск веток под невидимыми лапами.

Он стоял на коленях у самого откоса. Нужно было только встать и, пригнувшись, все еще прикрывая рукой лицо, спуститься вниз, в глубокую, по щиколотку, хлюпкую, недоступную солнечным лучам жижу, полную гниющих растений, и сделать еще шаг или два, чтобы добраться до кучи веток. Он сунул свернутую веревку за пазуху, нагнулся и начал разгребать гнилые осклизлые сучья. Что-то закопошилось среди веток, испустив сдавленный, по-детски жалобный крик; зверек, обезумев от страха, уцепился за его ногу, когда он пнул его, успокаивая себя: ведь это только опоссум. Опоссум, и все. И он снова нагнулся над ворохом смрадных, мокрых веток, расшвыривая их, пока не добрался до трупа. Потом он вытер испачканные грязью и илом руки о рубашку и комбинезон, подхватил труп под мышки и стал пятиться, волоча его за собой понизу. Это был не овраг, а старая лесосека, поросшая молодыми деревьями и теперь почти невидимая, фута на два ниже уровня земли. Так он прошел добрую милю, волоча за собой тело, которое было тяжелее его фунтов на пятьдесят, и лишь изредка останавливаясь, чтобы вытереть потные руки о рубашку и убедиться, что он идет правильно, если был виден хоть клочок неба и кроны знакомых деревьев.

Потом он свернул в сторону, вытащил труп наверх и, по-прежнему пятясь, прошел еще сотню шагов. Видимо, он точно знал, где находится, потому что ни разу даже не обернулся, а потом наконец выпустил труп, выпрямился и нащупал то, что искал, — остов некогда могучего дуба, без верхушки, высотой футов в десять, — таким сделала его молния, или время, или тлен. Два года назад он проследил, как туда залетела дикая пчела; слега, которую он тогда вырубил и приставил к стволу, чтобы добраться до меда, была на месте. Он вынул из-за пазухи веревку, обвязал одним концом труп, разулся и, держа другой конец в зубах, взобрался на ствол, сел на закраину и, перехватывая веревку, подтянул кверху труп, чуть не вдвое больше него, и тело билось и скребло о кору, пока не легло на край ствола, словно полупустой мешок. Узел на веревке затянулся намертво. Потеряв терпение, он вынул нож, перерезал веревку и сбросил труп в дупло. Но труп тут же застрял, и только теперь, когда было уже слишком поздно, он сообразил, что следовало перевернуть его вниз головой. Он попытался втиснуть его, нажимая на плечи, но труп не просто застрял, его заклинила вывернутая рука. Тогда он привязал конец веревки к обломку сука, который был у него под ногой, обмотал ее вокруг запястья, встал на плечи трупа и начал прыгать на нем, и труп неожиданно провалился, а он повис на веревке. Он стал карабкаться вверх, перехватывая веревку руками, соскребая костяшками пальцев трухлявую древесину, и мелкая, едкая, сухая пыль набилась ему в ноздри, словно табак. Потом он услышал, как сук треснул, веревка соскочила, и он отчаянно рванулся вверх, теряя опору, и одной рукой, самыми кончиками пальцев, ухватился за верхнюю закраину ствола. Но когда он повис на ней всей тяжестью, гнилое дерево не выдержало, он уцепился за закраину второй рукой, но и под ней дерево крошилось, и он карабкался яростно, бесконечно долго и тщетно, ловя ртом воздух и устремив горящие глаза в далекое сентябрьское небо, где стрелки на звездных часах давно уже переползли за полночь, пока наконец дерево не перестало крошиться, и он повис на руках, тяжело дыша, а потом ему наконец удалось подтянуться и сесть верхом на край.

Отдышавшись, он слез на землю, взвалил слегу, прислоненную к стволу, на плечо и оттащил ее шагов на двадцать от полянки, а потом вернулся назад и обулся. Когда он добрался до дому, уже занималась заря. Он стянул с себя облепленные грязью башмаки и лег на соломенный тюфяк. И тогда, словно она только и ждала, чтобы он лег, собака снова завyla. Ему показалось, что он даже слышал, как она набрала воздуха, прежде чем ее вой в первый раз донесся из балки, где еще царилась ночь, тишь, размеренная, гулкая, нескончаемая.

Дни его теперь превратились в ночи. Он выходил из балки, когда загоралась утренняя звезда или даже всходило солнце, и шел к дому через свою запущенную, чахлую кукурузу. Теперь он уже не мыл башмаки. Он и снимал-то их не всегда, и не разводил огня в печи, ел стоя прямо из горшка холодные бобы, покуда не съел все до крошки, и пил холодный, выдохшийся кофе, покуда не выпил все до капли, а потом, когда не стало ни того, ни другого, съедал пригоршню муки из почти пустого бочонка. День-другой он страдал от голода, потому что такая жизнь с непривычки была тяжелее самой каторжной работы, да и покоя он не знал ни на минуту. Но постепенно он привык и тогда понял, что конец может быть только один, а значит — конца не будет, и голод больше не мучил его. Он просыпался, вставал и говорил себе: «Надо поесть», — и ел сухую муку (скоро в бочонке ничего не осталось, кроме жесткой корки на стенках, ее приходилось соскабливать ножом), которая не лезла в глотку и, очевидно, была ему даже не нужна, словно тело его питал твердый, неукротимый дух, заменяя организму запасы жира. Потом он ложился на соломенный тюфяк прямо в комбинезоне и башмаках, заляпанных свежей, еще даже не начавшей подсыхать грязью, не переставая жевать, и небритая щетина топорщилась вокруг его рта, набитого мучным крошечком, словно, ложась, он не забывался, а лишь ненадолго нырял в слепое и немое безмолвие, чтобы освежиться и обновить силы, как порой человек окунается в ванну, и просыпался на исходе дня, будто по звонку будильника, всегда в одно и то же время, словно и не ложился, потому что лишь тело, но не дух, было обременено усталостью и нуждалось в отдыхе. Потом он растапливал плиту, хотя варить ему было нечего, кроме поскребышей в бочонке из-под муки. Ему хотелось не есть, а выпить горячего, но кофе тоже весь вышел. Он наливал в горшок воду, кипятил ее и пил кипяток, подслащенный сахаром, а потом садился на крыльце в плетеное кресло и смотрел, как ночная тьма выползает со дна балки, гонит, теснит солнце, поднимается все выше и выше по холму, засеянному кукурузой, в сумерки такой же желтой и чахлой, как среди бела дня, и наконец окутывает дом. А потом пес начинал выть, и он сидел еще минут десять или пятнадцать, как пассажир с сезонным билетом спокойно сидит на своей всегдашней скамье и читает газету, когда паровоз уже дал свисток, подходя к станции.

На второй день, когда он проснулся, на крыльце сидел мальчик — круглоголовый, голубоглазый сынишка его родича, работавшего в Варнеровой кузнице, — который, заслышав в коридоре его шаги, встрепнулся, а когда он вышел на порог, уже соскочил на землю, отбежал на несколько шагов от крыльца и оглянулся.

— Дядя Лэмп велел, чтоб вы пришли в лавку, — сказал мальчик. — Говорит, есть важное дело.

Он не ответил. Он стоял на крыльце в башмаках и комбинезоне, заляпанном вчерашней грязью, и крошки от съеденной утром муки — так спокоен был его сон — не осыпались со щетины вокруг рта, а мальчик пошел прочь, потом припустился бегом, оглянулся, застыл на миг у опушки леса, побежал дальше и исчез из виду. А он даже не шелохнулся, и лицо его не дрогнуло. «Если он хочет дать мне денег, мог бы просто прислать их», — подумалось ему. Но нет, какие там деньги. Дождешься от них, держи карман. А на третье утро он вдруг почувствовал, что кто-то стоит в дверях и смотрит на него. Даже из небытия, которое было не сном, а как бы пустошью, где его воля, мозг бодрствовали, словно неукротимый, не знающий усталости и голода конь, пока всадник — его тщедушное тело — обновляет силы, он почувствовал, что это пришел уже не мальчик, а на дворе еще утро, и он спит еще совсем недолго. «Они спрятались здесь и видели, как я вылез из балки», — подумал он вслух, стараясь говорить громче, чтобы стряхнуть сон, словно сам наклонился над кроватью и тряс

себя за плечо: «Проснись! Проснись же!» — и наконец очнулся и сразу понял, что уже поздно, ему даже незачем было смотреть на тень от оконной рамы на полу, чтобы убедиться, что теперь все тот же обычный предвечерний час. Он развел огонь в плите, поставил на нее горшок, наскоблил из бочонка пригоршню мучных крошек со щепками и съел их, выплевывая и смахивая щепки с губ рукой. При этом он заметил, что крошки застревают у него в бороде, и съел их тоже, утирая пальцами углы жующего рта. Потом он выпил кружку подслащенного кипятка и вышел на двор. Как он и ожидал, здесь были следы. Он сразу узнал следы шерифа — большие, глубокие, уверенные, отпечатавшиеся даже на спекшейся от зноя земле, — следы этой туши в двести сорок фунтов веса, носившей металлическую бляху чуть поменьше игровой карты, на которую он поставил не только свою свободу, но, быть может, и свою жизнь, и рядом — следы его помощников. Он видел отпечатки рук и коленей там, где один из них ползал на четвереньках, обыскивая подпол, пока он спал наверху, и в конюшне, у стены, он нашел свою собственную лопату, которой они разгребли кучу лошадиного навоза, накопившегося за год, чтобы осмотреть земляной пол под нею, а за домом, под деревьями, отыскал то место, где стояла пролетка. Но лицо его по-прежнему было бесстрастно — ни тревоги, ни смутения, ни страха, ни даже презрения или торжества, а лишь холодное и непреклонное, почти миролюбивое упорство.

Он вернулся в дом и взял ружье, стоявшее в углу. Оно было почти сплошь покрыто тонким табачным налетом ржавчины, словно в ту первую ночь, когда он так заботливо его тер, он перестарался, и вода с ружья, впитавшись в рубашку, потом снова перешла на дустволку. Она не переломилась легко и сразу, а медленно, с трудом поддаваясь нажиму, приоткрылась, обнаружив толстый шоколадный слой похожего на мыло застывшего сала, так что ему пришлось разобрать ее, вскипятить воду в горшке для кофе, смыть кипятком сало и разложить разобранные части на заднем крыльце, где они сохли до самого заката. Потом он снова собрал ружье, зарядил его двумя из трех оставшихся патронов, прислонил к стене около стула и снова стал смотреть, как ночная тьма выползает из балки, крадется вверх по холму, застилая его жалкое поле, и постепенно окутывает дом, поднимаясь все выше, словно две раскрытые, воздетые к небу ладони наконец выпускают на волю птицу вечера, и она летит на запад. Внизу, за полем, мерцали светлячки, ползая по черной груди темноты; а дальше, в глубине ее, надрывались лягушки, словно мерно стучал пульс и билось черное сердце ночи, а когда наконец настал неизбежный миг — такой же неизбежный из вечера в вечер, как и то мгновение на исходе дня, когда он просыпался, — биение этого сердца тоже как будто затихло, и в мертвой тишине раздался тоскливый, горестный вой. Он протянул руку и взял ружье, стоявшее у него за спиной.

Теперь он сразу пошел прямо на вой. Спустившись с холма, он остановился, чтобы определить, с какой стороны ветер. Но ветра не было, и он пошел напрямик, в ту сторону, откуда доносился вой, не торопясь, чтобы не шуметь, но и не мешкая, чтобы поскорей покончить с этим, вернуться домой и лечь до полуночи, задолго до полуночи, и осторожно, шаг за шагом, идя на вой, он твердил про себя: «Теперь-то я наконец выплюсь». Вой слышался уже совсем близко. Он вскинул ружье, положив палец на оба спуска. Но тут вой оборвался, опять на полуноте, в темноте вспыхнули две желтые точки глаз, и стволы ружья тотчас прикрыли их. При вспышке выстрела он отчетливо увидел огромного пса, всего целиком, в прыжке. Видел, как дробь хлестнула по нему, отшвырнула его назад, в шумный водоворот нахлынувшей тьмы. Почти физическим усилием он удержал палец, готовый нажать на второй спуск, и, все еще с ружьем наперевес, припал к земле, затаив дыхание, вглядываясь в слепую тьму, и наконец беспредельная тишина, которая была нарушена три ночи назад, когда он впервые услышал вой этого пса, и не возвращалась, не наступала ни на минуту, даже во сне, оглушила его и, все такая же оглушительная, начала стучаться, твердеть, как цемент, не только в его ушах, но и в легких, в горле, снаружи и внутри его, застывая между деревьями в чаще, где рассыпалось осколками эхо выстрела, отдалось приглушенным ропотом и замерло, увязло в этой стынущей массе, еще не успев умолкнуть. Он видел, где упала собака, и с заряженным ружьем наперевес пошел к этому месту, тяжело,

со свистом дыша сквозь стиснутые, оскаленные зубы и нащупывая дорогу. Вдруг он понял, что уже прошел нужное место и все еще идет дальше. Он почувствовал, что вот сейчас побежит, что уже бежит опрометью, вслепую, в непроглядной тьме, и он говорил, шипел себе: «Стой! Стой, болван! Голову размозжишь!» Он остановился, с трудом переводя дух. Определив, где он, по просвету в листве, сквозь который было видно небо, он все-таки заставил себя остановиться, пока не отдышится. Потом разрядил ружье и пошел дальше, уже шагом. Дорогу ему теперь указывало надрывное кваканье лягушек, оно глохло, затихало, а потом возобновлялось, все громче, громче, и каждый голос звучал не на одной ноте, а покрывал целую октаву, звучал почти как аккорд, — басистые, они заливались все громче, все ближе, потом вдруг смолкли, застыли на миг в напряженной тишине, которую тут же нарушили негромкие, беспорядочные всплески, словно множество ладоней зашлепали по воде, и когда он вышел на берег, вода уже дробилась на тонкие, сверкающие полосы, меж которыми скользили отражения звезд, исчезая и появляясь вновь. Он швырнул ружье в воду. Оно мелькнуло у него перед глазами, медленно переворачиваясь в воздухе. Потом раздался всплеск, и оно не утонуло, а как бы растворилось в звонкой сутолоке звездных осколков.

Домой он вернулся еще до полуночи. На этот раз он не только разулся, но скинул и комбинезон, который не снимал трое суток, и лег на кровать. Но тут же понял, что не заснет, не из-за того, что за эти трое суток день превратился для него в ночь, не из-за напряженных, измученных нервов и мускулов, с которыми никак не совладать, а из-за этой тишины, разбитой первым выстрелом и возрожденной вторым. И вот он снова лежит навзничь, неподвижный и спокойный, вытянув руки вдоль туловища, с открытыми глазами, а его голова и легкие полны оглушительной тишиной, в которой мягко мерцают бархатные светлячки, а в глубине мерно квакают неугомонные лягушки, и вот уже небо в покосившемся прямоугольнике двери и в конце сквозного коридора сперва сереет, потом начинает желтеть, и вот уже видны три парящие коршуна. «Надо встать, — сказал он себе. — Сегодня весь день не прилягу, чтоб ночью заснуть». И он стал твердить себе: «Проснись! Проснись же!» — пока в самом деле не проснулся наконец, а золотой квадрат, падавший из окна, в которое заглядывало солнце, виднелся на полу, как и каждый вечер. На стеганом одеяле, в каком-нибудь дюйме от его лица, лежал сложенный клочок оберточной бумаги, а когда он встал, то на пыльном полу, у двери увидел след босой мальчишечьей ноги. На клочке, оторванном от бумажного пакета, было нацарапано без подписи: *«Приходи сюда, у твоей жены есть для тебя деньги»*. Он стоял, небритый, без комбинезона, и, моргая, глядел на записку. «Теперь можно пойти туда», — подумал он, и что-то шевельнулось в его сердце. Он поднял голову и, мучительно моргая, впервые за три дня сквозь стены своего пустого дома — этого тупика, в который зашла его жизнь, — взглянул в бездонность солнечного неба.

— Теперь можно... — сказал он вслух. А потом он снова увидел коршунов. На заре их было три. Теперь он тоже мог бы их сосчитать, но не стал. Он просто следил за их спиральным полетом, они словно спускались по невидимой трубе, один за другим исчезая за деревьями. Он снова заговорил вслух. — Наверно, над псом кружат, — сказал он, зная, что вовсе не над псом. Но это не имело значения. «Все равно меня здесь уже не будет», — подумал он. Нет, у него не отлегло от сердца; он теперь только понял, какой на нем лежит камень.

День уже клонился к вечеру, когда он, побрившись и отмыв башмаки и комбинезон, поднялся на пустую галерею и вошел в лавку. Его двоюродный брат стоял возле открытого ящика и что-то положил в рот.

— Где... — начал он.

Двоюродный брат жевал, закрывая ящик.

— Я посылаю за тобой еще два дня назад, болван, чтоб ты убрался подобру-поздорову, прежде чем этот толстобрюхий Хэмптон начнет рыскать всюду со своими легавыми. Один негр шлялся около того болота и достал твое сволочное ружье, оно и ко дну пойти не успело.

— Оно не мое, — сказал он. — У меня нет ружья. Где...

— Да ведь все знают, что оно твое, сто чертей твоей матери. Такого старья системы



Хэдли десятого калибра со скошенными курками во всей округе ни у кого больше нет. Я и отпираться не стал, этот подлюга Хэмптон здесь сидел на скамье, когда негр приволок ружье. Я и говорю: «Конечно же, это ружье Минка. Он его с самой осени ищет». А потом напустился на негра. «Ты что ж это, черная обезьяна, говорю, еще по осени выпросил у мистера Сноупса ружье, чтобы настрелять белок, а потом утопил его в болоте и врал, что достать не можешь!» На, держи.

Он нырнул под прилавок, достал ружье и положил его перед Минком. Оно было тщательно обтерто, только на прикладе осталось пятно засохшей грязи.

Минк даже не взглянул на ружье.

— Оно не мое, — сказал он. — А где...

— Не бойся, теперь все в порядке. Я вовремя уладил это дело. Хэмптон думал, что я буду отпираться, скажу, что ружье не твое. Тогда ты был бы у него в руках. Но я это дело уладил. Хэмптон и рта не успел раскрыть, как я все свалил на негра. Пожалуй, нынче или завтра вечером схожу к нему с несколькими ребятами да исполосую ему спину вожжами или пятаки поджарю. И даже ежели он ни в чем не сознается, люди услышат, что к нему приходили ночью, а Хэмптон потеряет здесь слишком много голосов, ежели станет сидеть сложа руки, так что хочешь не хочешь, пускай он даже не рискнет повесить этого негра, он, по крайности, должен будет упечь его в тюрьму, и сам Хэмптон это прекрасно знает. Так что все в порядке. А еще я посылал к тебе из-за твоей жены.

— Да, — сказал он. — Где...

— Она доведет тебя до беды. Уже довела. Не зря этот подлюга шериф, который спит и видит, как бы набрать побольше голосов на выборах, торчит здесь и все принимает. Негр Хьюстона нашел его лошадь, а сам Хьюстон вместе со своим псом как сквозь землю провалился, но это бы еще полбеды, да только люди припомнили, как в эту самую ночь она пришла сюда с обоими детьми и с узелком, а губа расквашена, и даже кровь еще не подсохла, так что тут уже все поневоле узнали, что ты выгнал ее из дому. Но и это бы еще ничего, не вздумай она уверять встречного и поперечного, что ты не виноват. Ни тела, ни следов крови пока не нашли — только лошадь с пустым седлом, а она знай старается тебя выгородить, всем говорит, что ты не виноват, а в чем — никто еще толком и не знает, может, вообще ничего и не было. Какого дьявола ты не убрался отсюда? Неужели у тебя не хватило ума уехать в тот же день?

— А на какие деньги? — сказал он.

Разговаривая с ним, двоюродный брат быстро моргал.

Теперь его маленькие глазки перестали моргать.

— На какие деньги? — переспросил он.

Минк не отвечал. Он стоял не шевелясь с тех самых пор, как вошел, маленький, неподвижный, стоял посреди лавки, против двери, в которую заглядывало угасающее солнце, пятная его всего, с головы до ног, словно кровью, розовыми брызгами.

— Хочешь сказать, что у тебя денег нет? Хочешь соврать мне прямо в глаза, будто у него в карманах было пусто? Так я тебе и поверил! Не на таковского напал. В то самое утро он у меня на глазах открывал бумажник. Ей-богу, у него было всегда при себе не меньше полусотни...

Голос его оборвался, замер. Потом он спросил шепотом, полным недоверчивого удивления:

— Так, значит, ты даже не поглядел? *Даже не поглядел?*

Минк не отвечал. Быть может, он даже не слышал вопроса, не двигаясь, глядя в пустоту, а последние медно-красные блики света, как прилив, поднимаясь по его телу, на мгновение обагрили яркой вспышкой бесстрастную, застывшую, упрямую маску его лица и угасли, и серый сумрак пополз по рядам полок, по темным углам, а у него над головой, под потолком, словно туман забвения, сгустились, собрались застарелые, неистребимые запахи сыра, кожи и керосина. Казалось, голос его двоюродного брата доносился из этого тумана, ниоткуда, из ничего, не облаченный даже легкой плотью дыхания.

— Куда ты его девал? — двоюродный брат, выйдя из-за прилавка, уже стоит перед ним почти вплотную и горячо, едва сдерживаясь, дышит ему прямо в лицо. — Ей-богу, у него было никак не меньше полусотни долларов. Я знаю. Своими глазами видел. Вот здесь, в лавке. Скажи, куда ты его...

— Нет, — сказал он.

— Скажи.

— Нет.

Лица их были в каком-нибудь футе одно от другого, оба дышали часто и громко. А потом то, другое лицо, которое было шире и выше, чем его, отодвинулось и расплылось в сумерках.

— Ну ладно, — сказал двоюродный брат. — Раз деньги тебе не нужны, тем лучше. Потому как ежели ты у меня разжиться думал, то ждать тебе придется долгонько. Сам знаешь, сколько Билл Варнер платит своим приказчикам. Вот и считай, много ли тот, кто работает на Варнера, может нажить даже за десять лет, не то что за два месяца. Выходит, тебе не нужны и те десять долларов, что припасены у твоей жены. Чего уж лучше.

— Да, — сказал он. — Где...

— Она у Билла Варнера.

Он круто повернулся и пошел к двери. Двоюродный брат сказал ему вдогонку из темноты:

— Скажи ей, пусть попросит у Билла или Джоди еще десятку вдобавок к тому, что уже получила.

Хотя еще не совсем стемнело, у Варнера в окнах горел свет. Это было видно даже издалека, и он, словно сторонний наблюдатель, глядел, как постепенно сокращается расстояние между ним и светом в окнах. «А там — конец, — подумал он. — Все эти дни и ночи, которые, казалось, будут тянуться вечно, теперь сошлись здесь, на этой пыльной дороге, между мною и освещенной дверью». И когда он подошел к воротам, взялся за них рукой, ему показалось, что все это время она ждала его, глядя на дорогу. Она выбежала на крыльцо, мелькнув в раме освещенной двери, как в ту ночь, когда он в первый раз увидел ее в лагере, — как он туда попал, по какой несчастной случайности, он не любил вспоминать даже теперь, девять лет спустя. Но и сейчас ощущение было все то же, оно ничуть не ослабло. И он не боялся этого воспоминания, не пытался от него избавиться и не жалел о том, что сделал, потому что ему не нужно было прощение, он не искал его. Он просто не хотел, чтобы ему насильно напоминали о беде которая его постигла вслед за тем случаем, оскорбительным для тела и для души, когда ему не достало ни сил, ни решимости, но он не терзался бесполезным раскаянием и не огрызался, потому что он никогда не огрызался, а неизменно оставался холоден, упрям и своеволен. В детстве он кочевал из одной наемной лачуги в другую, сменил их более десятка, ветхих, кое-как сколоченных, так как отец его переезжал с фермы на ферму, понятия не имея, куда едет, потому что, прежде чем переехать, не подходил ни к одной из них ближе, чем на пятнадцать, а то и двадцать миль. А потом, однажды ночью, ему пришлось покинуть лачугу, которую он звал своим домом, и ту единственную землю, тех единственных людей, которых он знал, не успев ни собрать свои пожитки, если они вообще у него были, ни даже сказать последнее прости, если у него вообще было с кем проститься, и за несколько недель пройти пешком больше двухсот миль. Он шел к морю; в то время он был еще молод, ему было всего двадцать три года. Моря он никогда не видел; он не знал даже наверняка, где оно, знал только, что на юге. Прежде он совсем не думал о море и сам теперь не понимал, что гонит его именно туда, почему он отрекается от земли, от суши, где у него не достало сил и ума сделать то, к чему вела его холодная, непреклонная воля, чего он хочет от этой соленой безбрежности, от этой беспредельности забвения — забвения, которого он не искал и никогда не найдет, словно нарочно не желая обрывать нити памяти, он наказывал тело и ум, которые ему изменили. Быть может, ему нужен был лишь этот посул, это обещание беспредельного простора и неисцелимого забвения, перед которым презренная суeta всего земного трепетала и робко

отступала, не для того, чтобы воспользоваться им, а чтобы исчезнуть в многоликой безымянности, в той недоступной гавани, где находят приют все затонувшие золотые ладьи и обитают неуловимые, бессмертные сирены. А потом, когда он был почти у цели и уже больше суток не ел, он вдруг увидел свет, пошел на огонек, услышал громкие голоса и увидел ее в открытой двери, словно в раме, она стояла там неподвижная, прямая, безучастная, а громкие, хриплые голоса мужчин, казалось, плыли к ней, как волны фимиама. И дальше он не пошел. На другое утро он уже работал там дровосеком, не зная даже, на кого работает, и лишь равнодушно осведомившись у надсмотрщика, который его нанял и при этом без церемоний сказал, что он слишком хил и тщедушен, чтобы справиться с поперечной пилой, сколько ему будут платить. Раньше он никогда не видел полосатой арестантской одежды, а потому не сразу, лишь через несколько дней, сообразил, где он, — целый массив девственного леса сводил здесь какой-то крикливый человек лет под пятьдесят, ростом не выше него самого, с жесткими, как проволока, короткими седеющими волосами и толстым брюшком, который с помощью всяких интриг или взяток или каким-то иным путем откупил у правительства штата право использовать труд арестантов, обязавшись кормить и содержать их; он был вдовец, жена его умерла много лет назад, рожая их первенца, и он открыто жил с красавицей-квартиронкой, у которой чуть ли не все зубы были золотые, она распоряжалась на кухне, где тоже работали арестанты, и занимала вместе с вдовцом отдельный дом, выстроенный среди дощатых, врытых брезентом бараков. Женщина, стоявшая в освещенной двери, была его дочка. Она жила в одном доме с отцом и квартиронкой, в пристройке с отдельным входом, и волосы у нее тогда были черные, как вороново крыло, великолепные, пышные, и каждый из надзирателей, охранников, арестантов и он сам, когда подошла его очередь — к тому времени он прекрасно понял, для чего ей нужен отдельный вход, — помогал ей подрезать их бритвой почти по-мужски коротко. Волосы торчали густые и жесткие, он видел это и в тот первый вечер, при свете лампы, и на завтра, в солнечный день, когда он, занеся топор, вдруг обернулся и увидел ее на огромном стройном холеном коне, в комбинезоне, и глядела она на него не с затаенным бесстыдством, а пристально и нагло, как наглый, привыкший добиваться своего мужчина. Да, вот что он увидел, — привычку добиваться своего, полное слияние воли с чувством, непреодолимую целеустремленность, что придавало ей облик не женский, а мужской, как и ее одежда, высокий рост, короткие волосы; перед ним была не одержимая страстями женщина, но властный повелитель гарема. Она не заговорила с ним в тот раз. Она ускакала прочь, и он понял, что отдельным входом пользуются не только ночью. Иногда она подъезжала на своем коне, останавливалась, что-то коротко бросала надзирателю и скакала дальше. А иногда на лошади приезжала квартиронка, называла какое-нибудь имя и поворачивала назад, а десятник громко выкрикивал это имя, и вызванный бросал топор или пилу и шел следом за лошадью. А он, не переставая работать топором и даже не разгибая спины, словно бы провожал этого человека взглядом, видел, как он входит в боковую дверь, а потом выходит оттуда и снова берется за работу, и так все они без различия, разбойник с большой дороги, убийца, вор — среди них не было ни соперничества, ни ревности. Как видно, это был лишь его удел. Но еще до того, как подошла его очередь, он обуздал ревность и безропотно покорился своей судьбе. Он был воспитан в традиционной вере, что каждому мужчине, каково бы ни было его прошлое, как бы низко он ни пал, уготована, по крайней мере, одна непорочная невеста, одна девушка, которую он сам лишит невинности. А здесь он видел, что ему нужно бороться лишь за то, чтобы на него обратили внимание, бороться с людьми, среди которых он чувствовал себя не только ребенком, но ребенком другой расы и породы, и, когда наконец он предстанет перед ней, ему придется сбросить с нее не только одежду, но и незримые объятия тридцати или сорока мужчин; и не только в этот единственный раз, но и впредь (он уже тогда предвидел свою судьбу), без конца, всегда; никакая комната, никакая тьма, даже никакая пустыня не могла вместить их обоих и жеребячье ржание этих вездесущих теней. Наконец настала и его очередь, его вызвали, как он и ожидал. Он повиновался, зная все наперед, но без сожаления. Он очутился не на жарком, никогда не остывающем ложе бесплодной распутницы, а в

простом и жутком логове львицы — ее плоть не поддавалась, не просила пощады, и он навеки стал однолюбом, подобно тому как человек, однажды отведавший опиума или крови, становится наркоманом или убийцей. Это было днем. Горячее июльское солнце лилось сквозь окна без ставень, даже без занавесок, открытые всем взглядам, на грубую, сколоченную из неоструганных шестидюймовых досок кровать со стальной проволоочной сеткой, и эта огромная кровать, словно легкая, неустойчивая качалка, короткими, непрерывными скачками ездила по полу. А через пять месяцев они поженились. Это не входило в их намерения. С тех пор он никогда не упускал случая уверить всех и даже себя самого, что она и не думала, не собиралась идти за него замуж. Ее вынудило к этому разорение ее отца, — даже он понимал, что дело обречено на крах, который приближало каждое сваленное дерево. Позже ему казалось, что, сойдясь в тот день, они как бы подали сигнал, по которому вся эта чудовищная громада из незаконно присвоенной земли, охраняемых стражниками барачных, надрывающихся людей и мулов, воздвигнутая в одну ночь из пустоты, рухнула тоже в одну ночь, снова превратилась в пустоту, в мертвый хлам, — груды опилок, почерневшие сучья, пни, разоренный и разграбленный лес. Он почти целиком сохранил деньги, заработанные за пять месяцев. Они дошли пешком до ближайшего городка и зарегистрировались; мировой судья вынул изо рта мокрую табачную жвачку, зажал ее в кулаке, позвал с улицы двоих прохожих, и они стали мужем и женой. Они поехали к нему на родину, где он взял в аренду часть маленькой фермы. У них была старая печь, соломенный тюфяк, брошенный прямо на пол, бритва, которой он по-прежнему подрезал ей волосы, и еще кое-какой скарб. В то время им больше ничего и не нужно было. Она сказала ему:

— Я знала сотню мужчин, по никогда еще не жила с осой. Из тебя яд идет. От него во мне все горит. Он во мне и детей выжигает. Я от тебя никогда не рожу.

Но через три года ребенок родился. А через пять лет у них было уже двое; он смотрел, как они идут по его жалкому полю или покосу, неся ему вместо обеда кувшин холодной воды, или играют деревянными чурками, или ржавыми пряжками от сбруи, или сломанными плужными болтами, которые даже ему уже не могли пригодиться, в пыли у крыльца наемной лачуги, на котором он сидел, потный, остывая после работы, и в нем снова вспыхивала прежняя, жгучая, неодолимая злоба, такая же мгновенная, лютая и свирепая, как в первый раз, и он думал: «Не дай бог, ежели они не мои». А потом, успокоившись немного, лежа на соломенном тюфяке, когда она уже крепко спала, а его измученное тело все еще дрожало и корчилось, он думал, что даже если они не его, какая разница. Зато они и ее связывали еще сильнее, чем был связан он сам, и она покорила своей судьбе и в знак своей покорности даже отрастила длинные волосы и стала их красить.

Теперь она бежала по дорожке ему навстречу, бежала тяжело, но быстро. Она была у ворот, прежде чем он успел их отворить, выбежала, чуть не сбив его с ног, и ухватила его за комбинезон.

— Нельзя! — крикнула она, но голос ее был не громче шепота. — Нельзя! Да как ты можешь? Тебе нельзя сюда!

— Куда захочу, туда и пойду, — сказал он. — Лэмп говорит...

Он хотел высвободиться, но она уже сама выпустила его комбинезон и, схватив его за руку, торопливо, почти силой потащила вдоль загородки, подальше от света. Он снова стал вырываться, упираясь.

— Постой, — сказал он.

— Дурак! — сказала она хриплым, сдавленным шепотом. — Дурак! Дьявол окаянный, нет на тебя погибели, — он сопротивлялся с холодной, сосредоточенной злобой, которая переполняла его, но, видно, еще не пришло ей время излиться наружу. Вдруг он пнул ее ногой, пока еще не желая причинить ей боль, а лишь для того, чтобы освободиться. Но она держала его обеими руками, повернув лицом к себе. — Почему ты не уехал в ту же ночь? Господи, я-то думала, ты выйдешь из дому следом за мной! — вне себя она трясла его, словно ребенка, почти без всякого усилия. — Почему? Почему, скажи, ради всех святых!



— А на какие деньги? — сказал он. — И куда? Лэмп говорит...

— Да, я знаю, у тебя не было денег, да и жрать тоже нечего было, кроме этого мусора в мучном бочонке. Но ты мог спрятаться! Схоронился бы где-нибудь в лесу, а я бы покуда... Погибели на тебя нет, на дьявола. Да будь моя воля, я бы тебя своими руками удавила! — она трясла его, почти прижавшись лицом к его лицу, и он чувствовал ее тяжелое, горячее, прерывистое дыхание. — Нет, не за то, что ты его убил, а за то, что сделал это, когда у тебя денег ни гроша, и уехать не на что, и жрать дома нечего. Будь моя воля, я бы тебя удавила, а потом вынула из петли да снова удавила, и снова...

Он опять пнул ее, на этот раз сильно и яростно. Но она уже отпустила его и стояла на одной ноге, а другую поджала, чтобы удобней было дотянуться. Она достала что-то из башмака и сунула ему. Он сразу понял, что это деньги, бумажка, сложенная в несколько раз, маленькая, квадратная, еще сохранявшая тепло ее тела. Всего одна бумажка. «Это доллар», — подумал он, зная, что это не доллар. «Это А. О. и Эк», — сказал он себе, зная, что это не они, и что лишь у одного человека во всей округе, — ну, самое большее, у двоих, — может оказаться десять долларов в одной бумажке; только теперь до него дошло то, что сказал ему двоюродный брат, когда он выходил из лавки четверть часа назад. Он даже не поглядел, что у него в руке.

— Ты продала Биллу что-нибудь или просто вытащила деньги у него из штанов, когда он заснул? А может, у Джоди?

— А хоть бы и так! Я и еще могу кое-что продать нынче ночью, получить еще десятку! Только ради бога не ходи домой. Спрячься в лесу. А завтра утром... — он не двигался; только рука его быстро разжалась, но в ней была не монета, которая звякнула бы, падая в пропыленную придорожную траву, облепленную клочьями грязного хлопка. Наконец он зашагал прочь, и она побежала следом. — Минк! — сказала она. А он все шел, не прибавляя шагу, и она бежала рядом с ним. — Ради бога, — сказала она. — Ради бога...

Потом, схватив его за плечо, она силой повернула его к себе. Тогда он пинком отшвырнул ее, отскочил на обочину, нагнулся, нашарил в траве палку и, занеся палку, пошел прямо на нее, все так же терпеливо, устало и неумолимо, пока она не повернула назад. Он опустил палку, но не двигался с места до тех пор, пока тень ее не слилась с бледной дорожной пылью. Потом он швырнул палку в траву и обернулся. У него за спиной стоял двоюродный брат. Будь Лэмп поменьше или он, Минк, покрупнее, он бы просто прошел по нему, втоптал его в землю. Лэмп посторонился и зашагал рядом, хрипло дыша ему в самое ухо.

— Значит, ты и эти денежки бросил, — сказал Лэмп. Минк не ответил. Они шли рядом в глубокой, по щиколотку, пыли, заглушавшей их шаги. — У него было не меньше полусотни долларов. Говорю тебе, я сам видел. И ты хочешь убедить меня, что не брал их, — он снова ничего не ответил. Они все шли, не спеша, словно гуляя. — Ну ладно. Я сделаю то, чего на моем месте не сделал бы никто на свете; я, так и быть, поверю, что ты этих денег не брал и даже не видел. Куда ты его девал? — он не отвечал и даже не остановился. Двоюродный брат удержал его за плечо; теперь в его тяжелом, надрывном дыхании, в хриплом шепоте сквозило не только удивление, но и холодное, бессильное бешенство, как у человека, у которого лопается терпение, когда он бьется, втолковывая что-нибудь идиоту. — Ты что ж, хочешь, чтоб эти полсотни лежали там до тех пор, покуда Хэмптон и его легавые поделят их промеж собой?

Минк стряхнул его руку со своего плеча.

— Отвяжись.

— Ну ладно. Давай сделаем так. Я сейчас же выкладываю тебе двадцать пять долларов. А потом мы пойдем вместе, и ты отдаешь мне бумажник, не заглядывая в него. Или отдаешь его штаны, если не хочешь рыться в карманах. Тебе даже дотронуться до этих денег не придется, ты их и не увидишь, — он повернулся, чтобы идти дальше. — Ну ладно. Ежели тебя с души воротит, сам не можешь, так скажи мне, где он. А я, когда вернусь, дам тебе десять долларов, хотя раз человек швыряется десятками... — он все шел. Снова рука легла

ему на плечо и заставила его повернуться; злобный, дрожащий голос исходил ниоткуда и отовсюду, из затаившейся, настороженной темноты. — Постой. Слушай меня. Слушай внимательно. А что, ежели я пойду к Хэмптону, он околачивался здесь весь день и сейчас где-нибудь неподалеку. Ежели я скажу ему, что теперь вспомнил, что ты не мог потерять ружье прошлой осенью, потому что на той неделе купил в лавке на никель пороху? Тогда тебе придется сознаться, что ты решил уплатить Хьюстону штраф за корову не деньгами, а порохом...

На этот раз он не стряхнул его руку с плеча. Он сразу пошел прямо на него, терпеливо, неумолимо и устало, но тому это было невдомек, и шел так, не останавливаясь, пока тот не отступил. И заговорил он тоже не громко, а как-то вяло, равнодушно.

— Прощу тебя, оставь меня в покое, — сказал он. — Не требую, а прошу. Тебе же хуже будет. Устал я. Оставь Меня в покое.

Двоюродный брат, отступая, пытался все быстрее, и расстояние между ними стало возрастать. Минк остановился, а оно все росло, и, наконец, тот скрылся из виду, и до него доносился только шепот, угрожающий и злобный:

— Ну погоди у меня, гаденыш, душегуб проклятый! Посмотрим, как ты станешь выкручиваться...

Идя назад к балке, он неслышно ступал по пыльной дороге, и в темноте ему казалось, что он топчется на месте, хотя свет в кухонном окне у миссис Литтлджон рядом с темными контурами лавки — это было единственное освещенное окно во всем поселке — приближался. А чуть подальше дорога сворачивала к его дому, до него еще четыре мили. «Вот бы куда мне идти, прямо в Джефферсон, к железной дороге», — подумал он; и теперь, когда было уже поздно, когда уже нечего надеяться, что он сам сможет выбирать между хитро рассчитанным побегом и слепым, отчаянным, паническим бегством, когда ему предстояло блуждать по лесной чащобе и болотной топи, как блуждает отощавший, голодный зверь, отрезанный от своей берлоги, он вдруг понял, что все эти три дня не просто надеялся, но твердо верил, что у него будет возможность выбора. А теперь он не только потерял это преимущество, но по воле слепого случая, из-за того, что его двоюродный брат видел или догадался, что у Хьюстона в бумажнике, даже худший выход в эту ночь был для него закрыт. Ему стало казаться, что этот слабый, одинокий огонек не только не указывает путь к конечной цели, пускай даже к худшему, но там, около него, кончается! надежда, и с каждым шагом все сокращается срок его свободы. «Я-то думал, убьешь человека, и на этом точка, — сказал он себе. — Не тут-то было. Теперь только оно и началось».

В дом он не пошел, а сразу свернул к поленнице, взял топор и постоял немного, глядя на звезды. Был десятый час; он мог ждать до полуночи. Он обогнул дом и спустился на поле. На полпути он остановился, прислушиваясь, потом пошел дальше. Но в балку спускаться не стал; он спрятался за первое же толстое дерево; положил топор около ствола, чтобы потом сразу его найти, притих, затаился и услышал, как грузный человек, крадучись, пересек поле, ломая кукурузу, и все ближе раздавалось частое, натужное дыхание, потом бегущий поравнялся с ним, быстро перевел дух и остановился, увидев, что он вышел из-за дерева и пошел вверх, на холм.

Они шли через поле, футах в пяти друг от друга. Он слышал у себя за спиной неуклюжие, спотыкающиеся шаги, треск и шелест кукурузы, и дыхание, яростное, kloкочущее, сдавленное. Сам он шел неслышно, словно был бесплотен, даже чуткие сухие стебли ни разу не дрогнули.

— Послушай, — сказал его двоюродный брат. — Давай потолкуем как умные люди... — они поднялись на холм, пересекли двор и вошли в дом, все так же в пяти футах друг от друга. Он пошел на кухню, засветил лампу и присел на корточки у плиты, чтобы развести огонь. Двоюродный брат стоял на пороге, тяжело дыша, и глядел, как он набросал в топку щепок, вздул огонь, взял с плиты горшок для кофе, налил в него воды из ведра и поставил горшок обратно. — Неужто у тебя и есть нечего? — спросил брат. Он не ответил. — Но ведь кормовая кукуруза для скотины найдется? Давай хоть ее поджарим, —

огонь в плите разгорелся. Он пощупал горшок, хотя вода и никак не могла нагреться так быстро. Брат глядел ему в затылок. — Слышишь, — сказал он. — Пойдем принесем.

Минк убрал руку с горшка. Он не оглянулся.

— Неси, — сказал он. — А я не голоден.

Брат сопел, стоя в дверях, глядя на его спокойное, потупленное лицо. Теперь его сопение походило на слабый скрежет.

— Ну ладно, — сказал он. — Схожу на конюшню, принесу.

Он шагнул за порог, тяжело затопал по коридору, вышел на заднее крыльцо, а едва ступив на землю, побежал. Он бежал сломя голову в слепой тьме, на цыпочках, обогнул дом и притаился, глядя из-за угла на переднее крыльцо, не дыша, потом подбежал к крыльцу и заглянул в коридор, тускло освещенный лампой из кухни, и на миг снова остановился, — замер, глядя во все глаза. «Ах сукин сын, перехитрил меня, — подумал он. — Удрал черным ходом», — и он взбежал по ступеням, спотыкаясь и чуть не падая, прогрохотал по коридору к кухне и, когда добежал до кухонной двери, увидел, что Минк стоит у плиты, на том же месте, и снова щупает горшок. «Вот гаденыш, сукин сын, душегуб, — подумал он. — Просто не верится. Не верится, что человек может столько вытерпеть, даже за пятьсот долларов».

Но порог он переступил как ни в чем не бывало, словно и не уходил никуда, только дыхание участилось и стало еще более хриплым, скрежещущим. Он глядел, как Минк принес треснутую фарфоровую чашку, толстый стеклянный стакан, жестянку с сахаром на донышке и ложку; и заговорил он таким тоном, словно беседовал за чайным столом с супругой своего хозяина:

— Ну, кажется, наконец вскипел, а?

Но Минк не ответил. Он налил в чашку кипятку, положил сахару и стал помешивать воду, стоя у плиты, потом повернулся боком к двоюродному брату и, наклонив голову, начал прихлебывать из чашки. Подождав немного, брат подошел к плите, налил в стакан воды, положил сахару и отхлебнул с кислой миной, все его лицо — глаза, нос, даже рот — побежало от края стакана куда-то вверх, ко лбу, словно кожа была прикреплена к черепу только в одном месте, где-то на затылке.

— Послушай, — сказал он. — Давай взглянем на дело разумно. Эти полсотни лежат там, теперь они ничьи. Ты не можешь пойти и взять их без меня, потому что я тебя не пушу. А я не могу взять их без тебя, потому что не знаю, где они. И мы здесь зазря теряем время, а этот подлюга шериф со своими легавыми каждую минуту может их найти. Тут уж никак невозможно отступить. Хочешь не хочешь, а надо их взять. Если б я мог, то, конечно, взял бы себе все, как и ты. Но ни ты, ни я этого не можем. Только зря торчим здесь и теряем...

Минк допил чашку и перевернул ее вверх дном.

— Который час? — спросил он.

Двоюродный брат достал из-за широкого, потертого пояса дешевые часы на замусоленном кожаном ремешке, взглянул на них и сунул их обратно в кармашек.

— Двадцать восемь минут десятого. Нельзя же тянуть без конца. Мне в шесть утра лавку открывать. А ведь еще надо пять миль пешком идти, покуда доберусь до постели. Но это неважно. Ты об этом не думай, мало ли у кого какие заботы, а дело есть дело. Подумай о...

Минк поставил пустую чашку на плиту.

— Сыграем в шашки?

— ...о себе. Ведь у тебя... Что-о?.. — он осекся. Он смотрел, как Минк пошел куда-то в темный угол и достал короткую широкую доску. С полки он снял какую-то жестянку и положил все на стол. Доска была расчерчена углем на кривые черные и белые квадратики; в жестянке оказалась горсть фарфоровых и стеклянных осколков двух цветов, — видимо от разбитой тарелки и бутылки синего стекла. Он пододвинул доску к лампе и начал расставлять шашки. Двоюродный брат смотрел на него, не донеся стакан до рта. На миг у него перехватило дыхание. Потом он совладал с собой.

— Ну что ж, давай, — сказал он. Он поставил стакан на плиту и сел напротив Минка.

Казалось, его дряблое, обрюзгшее тело, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух, сейчас накроет не только стул, но и весь стол. — Разыграем эти пятьдесят долларов по пяти центов партия, — сказал он. — Идет?

— Ходи, — сказал Минк.

И они начали играть — один неторопливо, холодно, рассчитывая каждый ход, другой — рискованно, с какой-то неловкой поспешностью. Было в его игре то любительское, почти детское отсутствие обдуманного плана и даже простой предусмотрительности, какое бывает у игрока, который в азартных играх полагается не на свой ум, а на ловкость рук, и даже в простой игре, в шашках, где подтасовать нечего, пытается мошенничать, и теперь он, не теряя веры в успех, так как жульничество давно стало для него чистейшим рефлексом и совладать с собой он, как видно, уже не мог, делал быстрые нелепые ходы и сразу отдергивал сжатый кулак и пристально, не мигая, глядел прямо в спокойное, изможденное лицо партнера, склоненное над столом, болтая без умолку о чем угодно, кроме денег и смерти, а кулак лежал на краю стола, все еще сжимая шашку или дамку, которую он стянул с доски. «Наказание с этими шашками, — думал он. — Ну что с них возьмешь». Через час он обставил Минка на тринадцать партий.

— Давай играть по двадцать пять центов, — сказал он.

— Который час? — спросил Минк. Двоюродный брат снова вытащил из кармашка часы, а потом сунул их обратно.

— Без четырех минут одиннадцать.

— Ходи, — сказал другой. Игра продолжалась. Брат теперь молчал. Он вел счет огрызком карандаша на краю доски. И когда через полчаса он подвел итог, карандаш написал уже не число выигранных партий, а сумму, с десятичными долями и значком доллара в конце, и эта цифра вдруг словно подпрыгнула и оглушила его, так что он почти услышал удар; он вдруг оцепенел и даже дышать перестал, думая: «Сто чертей! Сто чертей! Понятно, почему он ни разу меня не поймал. Это он нарочно. Потому что, когда я отыграю у него всю его долю, ему незачем будет рисковать и идти за деньгами». Теперь ему пришлось переменить тактику. И впервые за все это время движение стрелок по циферблату часов, которые он теперь сам вынул и положил около доски, приобрело для него настоящий смысл. «Не может же это тянуться без конца, — подумал он, и его снова захлестнула бессильная злоба. — Не может. У него сил не хватит это выдержать, даже за все пятьдесят долларов». И он пошел на попятный. Казалось, он даже изменил своей натуре. Он делал нелепые, намеренно опрометчивые ходы; теперь он зажимал в кулаке собственную шашку или дамку. Но худая, цепкая рука ловила его кулак, и партнер холодным, ровным, бесстрастным голосом доказывал, что эта шашка никак не могла оказаться на том поле, где она теперь стоит, а иногда сам даже удар по кулаку, лежавшему на столе, и кулак разжимался. Но его брат не оставлял своих попыток, все так же легкомысленно, в отчаянье цепляясь за соломинку, и попадался снова и снова, и еще через час его ходы стали даже не детскими, они походили на игру слабоумного или слепого.

Он снова заговорил:

— Послушай. Там лежат эти пятьдесят долларов, они же ничьи, родных у него нет, некому их требовать. Они лежат там, и кто их найдет...

— Ходи, — сказал Минк. Он двинул шашку. — Не так, — сказал тот. — Бери, — он взял. Тот двинул еще одну шашку.

— А тебе нужны деньги, может, они тебя от петли спасут, а тебе их не взять, я ведь не отступлюсь. Разве я могу сейчас пойти домой, лечь спать, а утром встать и пойти в лавку, если ты не хочешь показать мне, где эти деньги...

— Ходи, — сказал тот. Брат двинул шашку.

— Нет, — сказал тот. — Бери, — он взял. И увидел, как худые волосатые пальцы, державшие осколок синего стекла, взяв пять шашек подряд, очистили доску.

— Сейчас уже за полночь. В шесть начнет светать. И тогда Хэмптон со своими легавыми...



Он осекся. Минк теперь стоял на ногах, глядя на него сверху вниз; он тоже быстро вскочил. Они смотрели друг на друга через стол.

— Ну? — сказал брат. Он дышал хрипло, с присвистом, чувствуя, что радоваться еще рано. — Ну? — сказал он снова. — Ну? — но Минк уже не смотрел на него, он опустил голову, и лицо у него было неподвижное, пустое и осунувшееся, как у мертвеца.

— Прошу тебя, уйди, — сказал он. — Прошу, оставь меня в покое.

— Как бы не так, — сказал брат, тоже не повышая голоса. — Значит, мне уйти? После всего, что я вытерпел? — Минк повернулся к двери. — Постой, — сказал брат. Но он не остановился. Брат задул лампу и догнал его в коридоре. Он снова заговорил, теперь уже шепотом: — Зря ты не послушался меня шесть часов назад. Мы бы давно все сделали, вернулись бы и легли спать, а не торчали бы здесь за полночь. Не понимаешь разве, что обоим нам это не выгодно? Ты без меня шагу не можешь ступить, а я без тебя. Да куда ж ты? — тот не отвечал. Не останавливаясь, он шел через двор, к конюшне, а двоюродный брат за ним; он снова слышал у себя за спиной тяжелое насморочное сопение и шепот: — Сто чертей, ты, может, не хочешь отдавать мне половину, так и ведь я, может, не хочу ни с кем делиться. Но пусть уж лучше половина, я как подумаю, что этот подлюга Хэмптон со своими легавыми...

Минк вошел в конюшню, шагнул в стойло — брат остался у двери — и снял с гвоздя короткую, гладко оструганную дубовую палку с петлей из пеньковой веревки, пропущенной в дырку на конце — с ней Хьюстон объезжал своего жеребца, и он нашел ее, когда взял в аренду у Варнера заложенную часть Хьюстоновой фермы, а потом резко повернулся, одним ударом сшиб брата с ног, бросил палку и подхватил тяжелое тело, которое само падало в стойло, и ему оставалось только оттащить его на какой-нибудь фут, чтобы можно было закрыть дверь. Он отстегнул гужи с плуга, связал двоюродного брата по рукам и ногам, оторвал от подола рубахи лоскут и сделал кляп.

Спустившись с холма, он никак не мог найти дерево, у которого оставил топор. И он знал почему. Словно теперь, когда смолкла эта бесконечная болтовня, он услышал не тишину, а потерянное время, словно, когда она смолкла, он вернулся к той минуте, когда все это началось в лавке, в шесть часов вечера, и осознал, что потеряно целых шесть часов. «Больно уж ты надрываешься, — сказал он себе. — Нельзя так спешить». Он постоял на месте, пока не сосчитал до ста, оглянулся назад, соображая, где он — выше или ниже дерева, справа или слева от него. Потом он вернулся на середину поля и оттуда оглянулся на балку, стараясь найти дерево, под которым он оставил топор, по форме верхушки и другим приметам, оглушенный теперь уже не тишиной, а шорохом времени. Он решил было спуститься и, начав заведомо ниже того места, которое искал, обшарить по очереди все деревья. Но поступь времени была слишком громкой, и когда он сделал первый шаг, побежал, то побежал не к дому и не к балке, а в сторону, через холм, через поле, прямо на дорогу, проходившую в полумиле от его дома.

Он пробежал по дороге с милю и очутился у лачуги, еще более тесной и убогой, чем его собственная. Здесь жил тот самый негр, который нашел ружье. У него была собака, нечистокровный терьер, немногим больше кошки, шумный и визгливый; он сразу выскочил из-под дома, захлебываясь лаем, и накинулся на него с яростным визгом. Он знал собаку, и она тоже должна была его знать; он стал ее успокаивать, но она не унималась, и ее лай несся на него из темноты разом со всех сторон, и тогда он бросился к ней, и визгливый лай стал быстро удаляться к дому. Не останавливаясь, он побежал к поленнице, — он знал, где она; топор был тут. Когда он схватил топор, голос из темного дома окликнул его:

— Кто там?

Он не ответил. Он бежал без оглядки, а терьер все лаял ему вслед, теперь уже из-под дома. Он очутился на поле, кукуруза здесь была лучше, чем у него. Пробежав поле, он спустился к балке.

У края балки он остановился и определил дорогу по звездам. Он понимал, что отсюда ему не найти гнилое дерево, и решил выбраться на старую лесосеку; там ему нетрудно было

бы ориентироваться. Вернее всего было выйти вдоль балки на знакомое место, хоть и пришлось бы сделать крюк, а оттуда уже подниматься к дереву, но, поглядев на небо, он подумал: «Уже второй час».

Прошло еще полчаса, а он все не мог отыскать лесосеку. Небо он видел лишь изредка, а еще реже мог видеть звезду, по которой ориентировался. Но он был уверен, что не уклонился слишком далеко. Он предостерег себя: «Ты можешь дойти скорее, чем ожидаешь; не зевай». Но к этому времени он уже прошел вдвое больше, чем следовало. Поняв, убедившись наконец, что он запутался, он не испытал ни тревоги, ни отчаяния, только злость. Казалось, подобно тому как часа два или три назад бесчестность его брата вдруг против него же и обернулась, так и сейчас жестокость отступилась от своего ученика, на миг ей изменившего; а ведь из-за этого проклятого человеколюбия он потерял три часа, надеясь, что брат устанет и уйдет, вместо того чтобы стукнуть его по голове, когда тот пробежал мимо дерева, где он оставил топор, а теперь вон куда завела его эта промашка.

Первым его побуждением было бежать, бежать не в страхе, а чтобы опередить эту лавину множившихся секунд, которая теперь стала его врагом. Но он, слабо и непрестанно дрожа всем своим измученным телом, принудил себя остаться на месте до тех пор, пока наконец не убедился, что теперь мускулы не подведут его, не заставят бежать. И тогда он стал медленно и осторожно поворачивать, пока ему не показалось, что он стоит лицом в ту сторону, откуда пришел, и двинулся назад по своему же следу. Вскоре он набрел на прогалину, откуда было видно небо. Звезда, по которой он заметил направление, когда спускался в балку, была прямо впереди. «А ведь уже третий час ночи», — подумал он.

Теперь он пустился бегом, верней, старался бежать как можно быстрее. Он не мог совладать с собой. «Надо найти лесосеку сейчас же, — думал он. — Не то пойдешь назад, все придется начинать сызнова, рассветет, а я не успею выбраться из балки». И он все бежал, молча продираясь сквозь колючие кусты, заслоняя лицо рукой, задыхаясь, ничего не видя, мускулы около глаз ныли от напряжения, но глаза были бессильны перед мрачным, непроницаемым ликом тьмы, и вдруг земля исчезла у него из-под ног; он сделал еще шаг в пустоту, почувствовал, что падает, а через мгновение он уже лежал на спине, тяжело дыша. Он был на лесосеке. Но в каком месте — этого он не знал. «Я ведь ее не переходил, — подумал он. — Я еще на западной стороне. И уже третий час».

Теперь он снова знал направление. Если встать к лесосеке спиной и идти все прямо, то скоро будет балка. И тогда станет ясно, куда он забрел. Еще раньше, почувствовав, что падает, он отбросил топор. Теперь, ползая на четвереньках, он нашарил его, выбрался вверх по откосу и пошел дальше. Больше он не бежал. Он знал, что заблудиться еще раз ему нельзя. Когда через час он поднялся по холму, то очутился на краю поля. Поле было его собственное: земля, до сих пор зыбкая и ненадежная, снова отвердела и застыла, все обрело прежние размеры и встало на свои места. Он увидел низенькую крышу своей лачуги и снова побежал, спотыкаясь, меж рядами шелестящей кукурузы, ловя воздух сухими губами и вдыхая его сквозь сухие, стиснутые зубы, и увидел, узнал то дерево, под которым оставил топор, и снова как бы вернулся к какой-то мертвой точке во времени, но только время было упущено. Он свернул и подошел к дереву, прошел было уже мимо, как вдруг в окружавшей его тени обозначилась тень более темная, не спеша поднялась во весь рост, и голос двоюродного брата спросил хрипло и негромко:

— Позабыл топор, сволочь? Вот он. Бери.

Он остановился молча — ни звука, ни проклятия, ни вздоха. «Только не топором», — подумал он, не двигаясь, не шевелясь, а брат хрипло дышал у него над ухом, и злобный, негромкий голос хрипел:

— Ты, гаденыш, братоубийца, да я тут столько вытерпел, сколько не то что за двадцать пять — даже за двадцать пять тысяч не выдержишь, а не то я огрел бы тебя топором по башке и швырнул в Хэмптонову коляску. И ей же богу, не твоя заслуга, что не Хэмптон, а я сидел и караулил тебя здесь. Сто чертей, да ты и порадоваться не успел этим деньгам, а Хэмптон со своей сворой уж был тут как тут, они развязали меня и в лицо водой побрызгали. А я опять

врал, чтобы тебя выгородить. Я сказал, что ты оглушил меня, связал, обобрал и убежал на станцию. Ну говори, долго мне еще врать, спасая твою шею от петли? А? Чего мы ждем? Хэмптона?

— Ладно, — сказал он. — Ладно, — и подумал: «Только не топором». Он повернулся и пошел в лес. Брат не отставал, шел за ним по пятам, свирепое насморочное сопение и злобный шепот раздавались у него прямо над головой, так что, когда он нагнулся и стал шарить по земле, брат чуть не наступил на него.

— Какого еще черта тебе надо? Опять топор потерял? Отдай его мне, как найдешь, да живой покажи, где он, покуда не только солнце, но и этот охотник за голосами...

Он нашарил палку потяжелее. «Ничего не видать, так что, может, с первого разу и не попадешь», — сказал он себе, вставая. Он ударил, не глядя, на хриплый злобный голос, занес палку и ударил снова, хотя и одного удара было довольно.

Место было знакомое. Не нужно было никакого ориентира, но тут же оказалось, что ориентир у него все-таки есть, и он пошел быстро, вынужден был идти быстро, чуя слабое зловоние. «Уже четвертый час, — подумал он. — А я совсем позабыл... Позабыл, что, ежели человек человека убьет, против него всё ополчится». Потом он понял, что не ошибся, потому что теперь запах уже не был сосредоточен в одном месте, он был всюду; и вот перед ним поляна, гнилой дуб без кроны, торчащий на фоне обрамленного листьями просвета. Он подошел на длину вытянутой руки, размахнулся. Топор по самый обух ушел в трухлявую древесину. Он с трудом вытащил топор и снова занес его. И тут — шума он не услышал, просто сама темнота охнула и всколыхнулась у него за спиной, и он хотел обернуться, но было уже поздно, — что-то навалилось ему на плечи. Он сразу понял, что это. Он даже не удивился, когда, падая, почувствовал горячее дыхание и услышал лязг зубов, перевернулся, стараясь нашарить топор, снова услышал лязг зубов у самого горла, почувствовал горячее дыхание и, отбросив пса локтем, встал на колени и схватил топор обеими руками. Пес снова прыгнул, и теперь он видел его глаза. Они плыли на него, и секунды казались вечностью. Он рубанул по ним и попал в пустоту; топор вонзился в землю, и он чуть не упал ничком. Но когда эти глаза показались снова, он был уже на ногах. Он бросился вперед, занеся топор. Он рубил вслепую, даже когда глаза исчезли, круша и ломая кусты, а потом остановился, снова занеся в воздухе топор, задыхаясь, прислушиваясь, ничего не видя и не слыша. Потом он вернулся к дереву.

При первом же ударе топора пес снова прыгнул. Минк ожидал этого. На этот раз он не стал прятать голову и, повернувшись, держал топор наготове. Он ударил по глазам, почувствовал, что не промахнулся, топор, насмешливо блеснув, вырвался у него из рук, и он прыгнул в кусты, туда, где бился и визжал пес, прыгнул на звук, яростно топча все кругом, потом припал к земле, вслушиваясь, снова прыгнул, услышав визг, и стал топтать землю, но опять без толку. Тогда он встал на четвереньки и пополз вокруг дерева, все расширяя круги и стараясь нашарить топор. Когда он наконец нашел его, над зубчатыми краями трухлявого ствола уже горела утренняя звезда.

Он снова принялся рубить дерево под корень и после каждого удара, уже занеся топор для следующего, прислушивался, готовый к прыжку. Но все было тихо. Тогда он стал рубить без передышки, вонзая топор по самый проух, словно рубил песок или опилки. Наконец топор вместе с топорщиком ушел в гнилое дерево, и теперь, убедившись, что нюх его не обманывал, он бросил топор и начал рвать дерево руками, отвернув голову, с присвистом дыша сквозь оскаленные, стиснутые зубы, то и дело освобождая одну руку, чтобы отогнать пса, но пес, скуля, кидался на него снова и снова и наконец всунул голову в растущее отверстие, откуда шел трупный смрад, — казалось, было слышно, как он вырывался наружу.

— Убирайся, дьявол! — прохрипел он, словно разговаривая с человеком, и снова попытался отшвырнуть пса. — Пусти!

Он рванул труп, чувствуя, как мясо отделяется от костей, словно тело было для них слишком велико. Пес с воем протиснулся в дыру по самое брюхо.

Внезапно труп поддался, и он упал на спину, в грязь, и труп придавил ему ноги, а пес

выл, стоя над своим хозяином. Он встал и пнул его ногой. Пес отскочил, но когда он нагнулся, схватил труп за ноги и, пятась, поволок его за собой, снова подступил к нему вплотную. Пока они двигались, пес не сводил глаз с трупа и молчал. Но когда он остановился, чтобы перевести дух, пес снова начал выть, и он снова изловчился, пнул его ногой и только теперь заметил, что ясно его видит, что уже рассвело, и он видит его — ободранного, тощего, воющего, со свежей кровоточащей раной на морде. Не сводя с него глаз, он нагнулся и шарил по земле до тех пор, пока не нашел палку. Она была мокрая, осклизлая, но крепкая. Когда пес поднял морду, собираясь снова завывать, он ударил его. Пес завертелся на месте, потом прыгнул, и он увидел на косматом боку длинный рубец — след выстрела. На этот раз палка угодила псу прямо между глаз. И тогда он снова схватил труп за ноги и, теперь уже не пятась, попытался бежать.

Когда он выбрался из зарослей к реке, восток уже заалел. Сама река была еще невидима — длинный вал тумана плотно, словно вата, лежал на воде. Он нагнулся, снова подхватил тело, которое было чуть не вдвое больше него, и швырнул в туман, а выпустив его из рук, даже прыгнул за ним следом и едва не сорвался с берега, и пока оно не кануло в туман, успел увидеть, как медленно и неуклюже мелькнули в воздухе три конечности вместо четырех, и, удержав равновесие, повернулся и сразу же побежал, а позади слышался глухой, дробный топот собачьих лап, и вот уже пес рядом. Не останавливаясь, пес прыгнул. Стоя на четвереньках, Минк увидел его в воздухе, — словно огромная бескрылая птица, пес пролетел над ним и исчез в тумане. Он вскочил и побежал дальше. Потом он споткнулся и упал, вскочил и снова побежал. И тут он услышал за собой топот мягких, быстрых лап, снова припал к земле и, стоя на четвереньках, снова увидел, как пес пролетел над ним и повернулся в воздухе так, что, приземлившись, оказался с ним нос к носу, и глаза его сверкали, как две горящих сигары, и он набросился на Минку, прежде чем тот успел встать. Он ударил пса по морде обоими кулаками, вскочил и побежал. До гнилого дерева они добежали вместе. Пес опять прыгнул и вскочил ему на плечи, но он уже нырнул в дыру, пробитую топором, и стал лихорадочно искать недостающую руку, а пес рвал ему рубашку и штаны. Потом он исчез. Чей-то голос сказал:

— Эй, Минк. Мы держим его. Можешь вылезать.

Коляска ждала за домом, в рощице, где он два дня назад видел следы колес. Его посадили сзади, рядом с помощником шерифа, к которому он был прикован наручниками. Шериф сел рядом с другим своим помощником, который правил лошадьё. Тот хотел развернуть коляску, чтобы ехать назад к лавке Варнера, а оттуда — по дороге на Джефферсон, но шериф остановил его.

— Погоди-ка, — сказал он и обернулся — громадный мужчина с короткой шеей, в расстегнутом жилете и крахмальной сорочке без воротничка. Холодные колючие глазки на его широком обрюзгом лице напоминали два осколка черного стекла, вдавленных в сырое тесто.

— Куда ведет дорога, ежели ехать в ту сторону? — спросил он, обращаясь к обоим.

— На старый Уайтглифский мост, — сказал помощник, — до него четырнадцать миль. А оттуда еще девять миль до Уайтглифской лавки. А от лавки еще восемь до Джефферсона. А через Варнеровскую лавку будет всего двадцать пять миль.

— На этот раз мы, пожалуй, объедем Варнера стороной, — сказал шериф. — Езжай прямо, Джим.

— Верно, — сказал другой помощник. — Езжай прямо, Джим. Чего нам экономить, денежки-то все равно не наши, а окружного совета, — шериф, который уже было отвернулся, ничего не сказал и только поглядел на помощника. Некоторое время они глядели друг на друга. — Разве я неправду говорю? — сказал помощник. — Трогай!

Все утро, до самого полудня, они петляли среди холмов, поросших сосняком. У шерифа в коробке из-под ботинок был холодный завтрак и даже кувшинчик с пахтаньем, завернутый в мокрую рогожу. Они перекусили не останавливаясь, только напоили лошадей в ручье, который пересекал дорогу. Потом холмы остались позади, и вскоре после полудня они



проехали Уайтлифскую лавку, и вокруг раскинулась широкая, плодородная равнина, на которой волновалась тучная зелень, кукурузные початки налились зерном, вдоль рядов облетающего хлопка еще ходили сборщики, и он увидел, как люди, сидевшие на галерее под рекламами патентованных лекарств и табака, вдруг встали.

— Эге, — сказал помощник шерифа. — Смотри-ка, и здесь есть люди, которые, видно, не прочь бы иметь фамилию Хьюстон хотя бы минут на десять — пятнадцать.

— Погоняй, — сказал шериф. И они поехали дальше, по густой мягкой пыли вслед за знойным летним днем, но не могли поспеть за ним, и вот уже жаркое солнце припекло ту сторону коляски, где сидел он. Шериф сказал, не поворачивая головы и не вынимая изо рта трубки: — Джордж, поменяйся с ним местами. Пусть сядет в тень.

— Не надо, — сказал он. — Мне солнце не мешает.

Вскоре оно и впрямь перестало ему мешать, во всяком случае, он чувствовал себя не хуже, чем остальные, потому что дорога снова пошла холмами, то вверх, то вниз, а длинные тени сосен неторопливо кружили над неторопливой коляской под косыми лучами солнца; а там, за последней долиной, показался и Джефферсон, и раскаленный шар солнца закатывался уже за городом, оно было почти у самой земли и слепило им глаза. К дереву была прибита доска с надписью «Джефферсон — 4 мили» и с фамилией какого-то торговца, она приблизилась, потом осталась позади, но коляска словно стояла на месте, и он осторожно подвинул ноги вбок, напряг прикованную руку для рывка, изготовился и на ходу бросился из коляски ногами вперед, защищаясь рукой от удара, но было уже поздно, и хотя он не попал под колеса, голова его угодила между двумя стойками, поддерживавшими верх, и тело с разлету, всей тяжестью, повисло на шее, зажатой словно в тисках. Вот сейчас он услышит, как хрустнет кость, позвонки, и он весь изогнулся, вытянул ноги назад, туда, где, как ему казалось, вертится колесо, думая: «Вот если бы попасть ногой между спицами, тогда или нога не выдержит, или спицы», — и, чувствуя, как каждое его движение отдается болью в шее, все тянул ноги к колесу, словно хотел убедиться, как бы глядя со стороны, с холодной яростью, что прочнее — живая кость или мертвый металл. Потом у него помутилось в глазах от страшного удара где-то у самых плеч, и вот уж это больше не удар, а невыносимая тяжесть, которая навалилась на него, упорная, сокрушительная, беспощадная. Он смутно слышал хруст кости и явственно голос помощника шерифа:

— Тормози! Да тормози же, чтоб тебя черти взяли! Тормози! — и он почувствовал, что коляска остановилась, и даже видел, как шериф, перегнувшись через спинку сиденья, удерживает обезумевшего помощника; задыхаясь, судорожно ловя воздух, он пытался закрыть рот и не мог, пытался уклониться от холодной, твердой струи воды, а над ним склонились три лица, и на фоне солнечного неба колыхалась под легким ветерком зеленая ветка. Но понемногу он отдышался, и ветерок на ходу высушил его мокрое лицо, только рубашка еще была чуть сырой, а ветерок еще не стал прохладным, просто освободился наконец от нещадного солнечного зноя и тянул из предвечернего сумрака, а коляска теперь катилась под сплошным сводом пронизанных солнцем ветвей, мимо аккуратных, подстриженных лужаек, где в лучах заката перекликались, играя, дети в ярких костюмчиках и сидели в качалках женщины, щеголяя новыми нарядами, а в свежевыкрашенные ворота сворачивали мужчины, возвращаясь с работы домой, где в долгих ранних сумерках их ждал ужин и кофе.

Они обогнули тюрьму и через задние ворота въехали за ограду.

— Вылезайте, — сказал шериф. — Несите его.

— Ничего, — сказал он. Но ему пришлось дважды напрячься, прежде чем удалось выдавить из себя хоть звук, и все равно голос был какой-то чужой. — Я и сам дойду.

Когда врач ушел, он лег на койку. В стене было высокое, узкое, зарешеченное оконце, но за стеклом — ничего, кроме сумерек. Потом он почуял запах еды, где-то готовили ужин — ветчину, гренки и кофе, — и вдруг рот ему наполнила теплая, солоноватая жидкость, но когда он попытался глотнуть, ему стало так больно, что он сел, проглатывая теплую соль, мотая головой, медленно, осторожно, не двигая шеей, чтобы легче было глотать. Потом за

решетчатой дверью послышался громкий топот, все ближе и ближе, он встал, подошел к двери и сквозь прутья решетки заглянул в общую камеру, где ели и спали негры — эти жертвы тысячи мелких беззаконий, совершенных белыми. Ему видна была лестничная площадка; топот доносился оттуда, и он увидел, как беспорядочный поток голов в поношенных шляпах и кепках, тел в поношенных комбинезонах и ног в рваных башмаках хлынул в пустую камеру, наполнив ее приглушенным шарканьем и мягким неясным гулом певучих голосов, — это была кандальная команда человек в семь или восемь, сидевших за бродяжничество, или поножовщину, или за то, что играли в кости на десять или пятнадцать центов, и теперь освободившихся от лопат и тяжелых молотов, по крайней мере, часов на десять. Он смотрел на них, ухватившись за решетку.

— Все... — сказал он.

Но голос его был беззвучен. Он приложил руку к горлу и заговорил снова, издавая сухое, трескучее карканье. Негры притихли, уставившись на него, белки их глаз неподвижно блеснули на черных лицах, уже расплывавшихся в темноте.

— Все шло хорошо, — сказал он. — Покуда он не начал разваливаться на куски. С этим псом я бы справился, — он держался за горло, и голос у него был хриплый, сухой, каркающий. — Но он, сукин сын, начал разваливаться...

— Кто? — спросил один из негров.

Они стали перешептываться. Потом белки глаз снова обратились к нему.

— Я все сделал правильно, — повторил он. — Но этот сукин сын...

— Молчи, белый человек, — сказал негр. — Молчи. Не морочь нам голову.

— Все было бы правильно, — сказал он хриплым шепотом. И тут голос совсем изменил ему, и он, не выпуская решетки, другой рукой держался за горло, а негры глядели на него, сбившись в кучу, и глаза их неподвижно сверкали в меркнувшем свете. А потом они все разом повернулись и побежали к лестнице, он услышал чьи-то неторопливые шаги, и почуял запах еды, и прильнул к решетке, чтобы увидеть лестничную площадку. «Неужто они хотят накормить этих черномазых раньше, чем белого человека?» — подумал он, вдыхая запах кофе и ветчины.

### 3

Под эту зиму выдалась осень, которая долго была памятна людям, по ней отсчитывали годы и припоминали события. Засушливая летняя жара — ослепительные дни, когда даже листья на дубах пожухли и увяли, ночи, когда стройные ряды звезд словно бы в холодном, немигающем удивлении взирали на землю, задышающую в пыли, — наконец спала, и три недели бабьего лета истомленная зноем земля, древняя Лилит<sup>37</sup>, царствовала, повелевала и владычествовала в эту пору мнимого небытия старой, неумирающей куртизанки. В эти голубые, сонные, пустые дни, полные тишины и запаха сжигаемых листьев и сухостоя, Рэтлиф, проходя между своим домом и городской площадью, видел в тюремном окне две маленькие грязные руки, вцепившиеся в решетку немногим выше, чем мог бы дотянуться ребенок. А позже, перед вечером, он видел, как трое посетителей — его жена и двое детей — входят в тюрьму или выходят оттуда после очередного свидания. В первый день, когда он привез ее к себе домой, она непременно хотела помогать по хозяйству, делать все, что позволит его сестра: подметать полы, мыть посуду, колоть дрова, — словом, то, что до тех пор делали его племянницы и племянники (и тем снискала их юношеское презрение), забывая, как видно, о безмолвной, негодующей добродетели его сестры; крупная, но не толстая, даже стройная, как Рэтлиф понял наконец с брезгливой и сдержанной жалостью... нет, скорее, с участием, — она почти всегда ходила босиком, простоволосая, распустив

---

<sup>37</sup> *Лилит* — согласно преданию, первая жена Адама. В европейской традиции приобретает облик прекрасной, обольстительной женщины, перед чарами которой никто не в силах устоять.

крашенные, давно уже почерневшие у корней волосы, с холодным лицом, в котором была какая-то суровая, не совсем еще увядшая красота, хотя, возможно, держаться ей помогала лишь давняя, непоколебимая уверенность в себе или же просто упрямство. Потому что арестант не только отказался выйти на поруки (если бы даже удалось найти поручителя), но даже от защитника отказался. Он стоял между двумя конвоирами, маленький, щуплый, худой как скелет, с упрямым, словно из дерева вырезанным лицом, стоял перед судьей так, словно его здесь и не было, и слушал, а может быть, и не слушал обвинительное заключение, а потом один из конвоиров тронул его за плечо, и он вернулся в тюрьму, в свою камеру. И дело это, как пьеса, где еще не все роли распределены, потому что некому взять роль вдовы, сжигающей себя вместе с покойником мужем<sup>38</sup>, было отложено, перенесено с октябрьской судебной сессии на весеннюю, майскую; и раза три в неделю Рэтлиф видел, как она с детьми, одетыми в обноски его племянников и племянниц, входила в тюрьму, и представлял себе, как они вчетвером сидят в тесной камере, пропитанной вонью креозота и извечных человеческих экскрементов — пота, мочи, блевотины, извергнутых извечными человеческими муками — страхом, бессилием, надеждой. «Сидят и ждут Флема Сноупса, — думал он. — Флем Сноупса».

А потом наступила зима, морозы. Она тем временем нашла работу. Он не хуже ее знал, что дольше так тянуться не может, ведь как-никак, а это был дом его сестры, пусть даже лишь по праву большинства голосов. Так что он не только не удивился, но даже почувствовал облегчение, когда она пришла и сказала, что скоро съедет с квартиры. Но едва он услышал это, что-то в нем дрогнуло, и он понял, что жалеет детей.

— Насчет работы — это правильно, — сказал он. — Это превосходно. А вот съезжать незачем. Ведь тогда придется платить и за жилье и за харчи. А вы должны экономить. Деньги вам понадобятся.

— Да, — сказала она хрипло. — Понадобятся.

— А он что, все еще думает... — он остановил себя. Потом сказал: — Не слышать, Флем скоро вернется? А?

Она не ответила. Да он и не ждал ответа.

— Вы должны экономить на чем только можно, — сказал он. — Оставайтесь здесь. Платите ей доллар в неделю за детей, если так у вас будет спокойнее на душе. Едва ли малыши за семь дней съест больше, чем на пятьдесят центов. Живите пока тут.

И она осталась. Он отдал ей и детям свою комнату, а сам перебрался к старшему племяннику. Работала она на окраине, в захудалом грязном пансионе с весьма двусмысленной репутацией, именовавшемся «Отель Савой». Она уходила на рассвете, а кончала работу уже затемно, иногда поздней ночью. Она подметала комнаты, стелила постели, стряпала, а мыть посуду и растапливать плиту обязан был негр-привратник. Платили ей три доллара в неделю на хозяйских харчах.

— Только вот мозоли она себе набьет, ежели будет ночью бегать босиком по комнатам всяких там барышников, судейских да страховых агентов, что облапошивают черномазых, — сказал один городской остряк.

Но это уж была ее забота. Рэтлиф ничего об этом не знал, мало интересовался сплетнями и, к его чести, верил им еще меньше. Ее он теперь почти совсем не видел, разве только по воскресеньям, когда дети в новых пальтишках, которые он им купил, и она сама в его старом пальто, за которое она чуть не силой заставила его взять пятьдесят центов, входили в ворота или выходили оттуда. И однажды он подумал: а ведь никто из родственников — ни старый Эб, ни учитель, ни кузнец, ни новый приказчик — ни разу его не навестили. «И ежели разобраться в этом деле как следует, — подумал он, — то одного из них надо бы упрятать за решетку вместе с ним. Или рядом, в соседнюю камеру, потому что

---

<sup>38</sup> По древнему индийскому обычаю, соблюдавшемуся до начала XIX в., овдовевшие женщины сжигали себя на погребальном костре мужа.

нельзя повесить одного человека дважды — если только не считать, что один Сноупс может понести наказание за другого».

В день Благодарения выпал снег, и хотя он не пролежал и двух дней, в начале декабря ударил лютый мороз, который так сковал землю, что через какую-нибудь неделю она потрескалась и покрылась пылью. Дым белел, едва выходя из трубы, бессильный даже подняться кверху, и сливался с туманной пеленой, которая целый день окутывала солнце, бледное и холодное, как сырая лепешка. «Теперь им даже и думать не приходится, что надо съездить повидать его, — сказал себе Рэтлиф. — Никому, даже Сноупсу, незачем оправдываться, ежели он не едет с Французовой Балки, за двадцать миль, из одного только человеколюбия». Теперь между решеткой и руками появилось стекло; руки не были видны, даже если специально остановиться перед тюрьмой, чтобы поглядеть на них. Но Рэтлиф теперь быстро проходил мимо, сгорбившись в своем пальто, прикрывая то одно, то другое ухо рукой в шерстяной перчатке, и дыхание белым инеем оседало на покрасневшем кончике его носа и вокруг слезящихся глаз, шел через пустую площадь, где лишь изредка попадалась навстречу почтовая коляска, — пассажиры сидели, прикрывшись полостью, поставив между собой на сиденье зажженный фонарь, а лавки, казалось, тарасились на них замерзшими окнами, словно слепые старики.

Прошло Рождество, а небо по-прежнему было словно посыпано солью, и скованная земля ничуть не оттаяла, но в январе подул северо-западный ветер, и небо очистилось. Солнце разбросало по замерзшей земле длинные тени, и три дня подряд к полудню земля оттаивала кое-где на дюйм-другой, — проталины были словно лужицы масла или колесной мази; в полдень люди выползали, как говорил себе Рэтлиф, словно крысы или тараканы из своих щелей, удивленно и недоверчиво глядя на солнце и на подтаявшую землю, затвердевшую с давних, почти незапамятных времен, а теперь ставшую вдруг снова мягкой и способной сохранять следы. «Нынче ночью мороза не будет, — говорили люди друг другу. — На юго-западе собираются тучи. Быть дождю, а он смое мороз, и все опять будет хорошо». И дождь был. Ветер подул с юго-запада. «Он снова задул с северо-запада, и тогда жди мороза. Но пусть уж лучше мороз, чем снег», — говорили они друг другу, но пошел снег с ледяной крупой, а к ночи он уже так и валил, шел не переставая два дня и таял, едва коснувшись земли, превращаясь в грязь, которая вскоре заледенела, а снег все шел, но в конце концов перестал, и наступило морозное безветрие, и даже холодная облатка солнца не вставала над закованной в ледяную броню землей; прошел январь, за ним февраль, все вокруг словно вымерло, только низко стлался нескончаемый дым, да редкие прохожие, не в силах удержаться на тротуарах, ползли в город или из города по мостовой, где не могла пройти ни одна лошадь, и нигде ни звука, только стук топоров да сиротливые свистки ежедневных поездов, и Рэтлиф словно бы видел их — черные, пустые, бесконечные, окутанные редющим паром, они мчатся неведомо куда по белой суровой пустыне. По воскресным дням, сидя дома у камелька, он слышал, как женщина заходила после обеда за детьми, надевала на них новые пальто поверх кургузых одежек, в которых они бегали, несмотря на мороз, в воскресную школу (за этим следила его сестра) вместе с его племянником и племянницами, которые их чурались, и представлял себе, как они все четверо сидят в пальто вокруг маленькой, бесполезной печурки, которая не обогревает камеру, а только исторгает из стен, словно слезы, давний пот давних мук и горестей, таившихся здесь. А потом они возвращались. Она никогда не оставалась ужинать и раз в месяц приносила ему восемь долларов, которые ей удавалось выкраивать из двенадцати долларов месячного жалованья, и еще монеты и бумажки (однажды их набралось на целых девять долларов), и он никогда не спрашивал, откуда они. Он был ее банкиром. Знала его сестра об этом или нет — трудно сказать, скорее всего знала. Сумма все росла.

— Но придется ждать еще много недель, — сказал он как-то. Она молчала. — Может, он хоть ответит на письмо, — сказал он. — Все-таки родная кровь.

Морозы не могли держаться вечно. Девятого марта снова пошел снег и стоял, даже не заледенев. Люди опять могли ходить по городу, и как-то в субботу, войдя в ресторанчик,



которым он владел на паях, он увидел Букрайта, — по обыкновению, перед ним стояла тарелка, на которой была крошена всякая всячина вперемешку с яйцами. Они не виделись почти полгода. Но они даже не поздоровались.

— Она уже дома, — сказал Букрайт. — Приехала на прошлой неделе.

— Быстро же она переезжает, — сказал Рэтлиф. — Всего пять минут назад я видел, как она выносила ведро золы с черного хода «Отеля Савой».

— Да я не об ней, — сказал Букрайт с набитым ртом. — Я о Флемовой жене. Билл поехал в Моттстаун и привез обоих на прошлой неделе.

— Обоих?

— Да нет, не Флема. Ее и ребенка.

«Видно, он уже пронюхал об этом, — подумал Рэтлиф. — Кто-нибудь написал ему». Он сказал:

— Ребенок... Ну-ка, ну-ка. Февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август. И начало марта. Да, пожалуй он еще маловат, чтобы жевать табак.

— Он и не будет никогда жевать табак, — сказал Букрайт. — Это девочка.

Сначала он не знал, как быть, но колебался недолго. «Лучше сразу», — сказал он себе. Все равно, даже если она надеялась, сама того не подозревая. На другой день, когда она пришла за детьми, он ждал ее.

— Его жена приехала, — сказал он. На миг она словно окаменела. — Но ведь вы ничего другого и не ожидали, правда? — сказал он.

— Да, — сказала она.

И вот даже этой зиме пришел конец. Она кончилась, как и началась, дождем, не холодным ливнем, а шумливыми бурными водопадами теплых струй, смывших с земли лютый, упорный холод, а запоздавшая весна уже бежала по их сверкающим следам, и всюду пошла кутерьма, все появилось разом — почки, цветы, листья, все ожило — пестрый луг, и зеленеющий лес, и широкие поля, пробудившиеся от зимней спячки, готовые принять плуг, ведущий борозду. Школа уже закрылась на лето, когда Рэтлиф проехал мимо нее к лавке и, привязав лошадей у знакомого столба, поднялся на галерею, где сидели на корточках и на скамьях все те же семь или восемь человек, словно просидели так с тех самых пор, как он оглянулся на них в последний раз почти полгода назад.

— Ну, друзья, — сказал он, — я вижу, школа уже закрыта. Теперь ребята пойдут в поле, глядишь, вам и отдохнуть можно будет.

— Она закрыта с самого октября, — сказал Квик. — Учитель удрал.

— А. О.? Удрал?

— Его жена явилась. А он только завидел ее — и давай бог ноги.

— Кто, кто? — переспросил Рэтлиф.

— Его жена, — сказал Талл. — По крайней мере, так она сказала. Такая толстая, седая...

— Что за чушь, — сказал Рэтлиф. — Да он и не женат вовсе. Ведь он прожил здесь три года. Наверно, это была его мать.

— Да нет же, — сказал Талл. — Она была молодая. Просто у нее волосы все седые. Приехала в коляске вместе с ребенком месяцев шести.

— С ребенком? — сказал Рэтлиф. Моргая, он глядел то на одного, то на другого. — Послушайте, что все это значит? Откуда у него взялась жена, да еще с шестимесячным ребенком? Разве он не прожил здесь, у всех на глазах, целых три года? Что за чертовщина. Да когда же он успел, ведь ни разу и не уезжал надолго.

— Уоллстрит говорит, что это его жена и ребенок, — сказал Талл.

— Уоллстрит? Это еще кто такой?

— Сынишка Эка.

— Тот мальчуган лет десяти? — Теперь Рэтлиф, моргая, уставился на Талла. — Да ведь

про нее в первый раз шуметь начали только два или три года назад, когда там была паника<sup>39</sup>. Откуда же у десятилетнего мальчика такое имя — Уоллстрит?

— Не знаю, — сказал Талл.

— А ребенок, видно, и в самом деле его, — сказал Квик. — По крайности, он как глянул на эту коляску, только его и видели.

— Еще бы, — сказал Рэтлиф. — Ребенок — это такой подарочек, от которого всякий мужчина побежит, если только еще есть куда бежать.

— Видно, он знал, куда бежать, — сказал Букрайт хриплым резким голосом. — Уж этот ребеночек его бы не выпустил, если, конечно, кто-нибудь прежде повалил бы А. О., а ему дал бы ухватиться как следует. Он и то был больше папаша.

— Может, он еще ухватится, — сказал Квик.

— Да, — сказал Талл. — Она пробыла здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы купить банку сардин и галеты. А потом ей кто-то показал, куда ушел А. О., и она поехала по дороге в ту сторону. Он-то пешком ушел. Они оба ели сардины, она и малыш.

— Так, так, — сказал Рэтлиф. — Вот они, Сноупсы. Так, так, — он умолк. Молча смотрели они, как по дороге едет коляска Варнера. Правил негр; а сзади, рядом со своей матерью, сидела миссис Флем Сноупс. Она даже не повернула свою красивую голову, когда коляска поравнялась с лавкой. Ее лицо проплыло мимо них в профиль — спокойное, беспмятное, равнодушное. Оно не было трагично, на нем была лишь печать проклятия. Коляска проехала.

— А тот вправду дожидается в тюрьме, покуда Флем Сноупс вернется и его вызволит? — спросил еще кто-то.

— Да, он все еще в тюрьме, — сказал Рэтлиф.

— Но он дожидается Флема? — сказал Квик.

— Нет, — сказал Рэтлиф. — Потому что Флем не вернется, покуда того не засудят, — но тут миссис Литтлджон, выйдя на веранду, зазвонила в колокольчик, зовя к обеду, и все встали и начали расходиться. Рэтлиф и Букрайт вместе спустились с крыльца.

— Ерунда, — сказал Букрайт. — Даже Флем Сноупс не даст повесить своего собственного двоюродного брата ради того, чтоб деньги сберечь.

— Сдается мне, Флем знает, что до этого дело не дойдет. Джек Хьюстон был убит выстрелом в грудь, а всякий подтвердит, что он никогда не расставался с револьвером, да и револьвер нашли на дороге, на том самом месте, где лошадь шарахнулась и убежала, так что неизвестно, выронил он его из рук или из кармана, когда падал. Я думаю, Флем все разнюхал. И теперь он не приедет, пока все не будет кончено. Какой ему расчет приезжать, ведь жена Минка сразу в него вцепится, а люди скажут, что он хочет сгноить брата в тюрьме. Бывает такое, чего даже Сноупс не сделает. Не скажу точно, что именно, но, право же, иногда и такое бывает.

Букрайт пошел своей дорогой, а Рэтлиф отвязал лошадей, ввел их во двор гостиницы миссис Литтлджон, распряг и отнес упряжь в конюшню. Он не видел идиота с того самого сентябрьского дня, и теперь что-то словно подталкивало, подгоняло его; он повесил сбрую на гвоздь и пошел по темному вонючему проходу между пустыми стойлами, к самому крайнему стойлу, заглянул туда и увидел на полу толстые бабьи ляжки, бесформенную фигуру, неподвижную в полумраке, ублюдочное лицо, которое повернулось и взглянуло на него, и в бессмысленных глазах что-то мелькнуло, словно он смутно узнал его, но не мог вспомнить, слюнявый рот приоткрылся и издал хриплый, жалобный, едва слышный звук. На коленях, обтянутых комбинезоном, Рэтлиф увидел обшарпанную деревянную корову,

---

<sup>39</sup> Имеется в виду финансовая паника на Уоллстрит в мае 1893 г., когда размер золотого запаса США сократился ниже официально установленного минимума. По этому упоминанию действие «Поселка» следует датировать 1895–1896 гг., что, как уже отмечалось, противоречит хронологии «Города» и «Особняка» (см. преамбулу к комментариям).

игрушку, какие дарят детям на Рождество.

Подходя к кузнице, он услышал удары молота. Потом молот повис в воздухе; тупое, открытое, здоровое лицо взглянуло на него без удивления, почти не узнавая.

— Как поживаешь, Эк? — сказал Рэтлиф. — Не можешь ли сразу после обеда сбить старые подковы у моих лошадок и подковать их наново? Вечером мне нужно съездить кое-куда.

— Ладно, — сказал кузнец. — Веди, сделаю.

— Ладно, — сказал и Рэтлиф. — А скажи-ка, этот твой сынишка... Ты ведь недавно переименовал ему имя, правда? — Кузнец поглядел на него, не опуская молота. На наковальне медленно остывала раскаленная докрасна поковка. — Я про Уоллстрита.

— А-а, — сказал кузнец. — Ну нет. Мы ничего не меняли. До прошлого года у него вообще никакого имени не было. Когда померла моя первая жена, я оставил его у бабки, покуда сам устроюсь; мне об ту пору всего шестнадцать лет было. Она назвала мальчишку в честь деда, но настоящего имени у него все-таки не было. А в прошлом году я пристроился и послал за ним, вот тогда и подумал, что, может, ему лучше дать имя. А. О. вычитал в газете про панику на Уолл-стрите. Ну он и порешил, что ежели назвать его «Уоллстрит-Паника», он, может, разбогатеет, как те люди, что эту панику устроили.

— Вот как, — сказал Рэтлиф. — Шестнадцать лет. Значит, одного ребенка тебе мало было, чтобы устроить свою жизнь? Сколько же их потребовалось?

— У меня их трое.

— Значит, еще двое, кроме Уоллстрита. И что же...

— Еще трое, кроме Уолла, — сказал кузнец.

— Вот как, — сказал Рэтлиф.

Кузнец немного помедлил. Потом снова занес молот. Но не ударил, а постоял, глядя на остывшее железо на наковальне, потом положил молот и пошел к горну.

— Значит, тебе пришлось уплатить все двадцать долларов сполна, — сказал Рэтлиф. Кузнец обернулся. — Ну, прошлым летом, за эту корову.

— Да. И еще двадцать центов за игрушку.

— Так это ты купил ее?

— Да. Меня жалость взяла. Я и решил, — может, он еще войдет когда в разум, так, по крайности, ему будет над чем поразмыслить.

## Книга четвертая. Земледельцы

### Глава первая

#### 1

День уже клонился к закату, когда люди, сидевшие на галерее лавки, увидели, что с юга по дороге приближается фургон, запряженный мулами, а за ним длинная вереница каких-то странных, по-видимому, живых фигур, — в косых лучах заходящего солнца они походили на пестрые, причудливые лоскутья, оторванные от каких-то огромных плакатов, — быть может, цирковых афиш, — привязанные позади фургона, они двигались каждая самостоятельно и всем скопом, словно хвост воздушного змея.

— Это что за чертовщина? — сказал кто-то.

— Цирк едет, — сказал Квик.

Все зашевелились, вставая, чтобы взглянуть на фургон. Теперь уже было видно, что позади него привязаны лошади. На козлах сидели двое.

— Мать честная, — сказал первый по фамилии Фримен. — Да ведь это Флем Сноупс.

Все были уже на ногах, когда фургон остановился, Сноупс слез на землю и подошел к

крыльцу. Он словно уехал только нынешним утром. На нем была все та же суконная кепка, крошечный галстук бабочкой, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся на крыльцо.

— Здорово, Флем, — сказал Квик. Тот на ходу скользнул по всем, сидевшим на галерее, небрежным взглядом, никого не замечая. — Что это ты, цирк завел?

— Здравствуйте, джентльмены! — сказал он.

Все расступились, и он прошел в лавку. Тогда все спустились с крыльца и подошли к фургону, позади которого, настороженно сбившись в кучу, стояли лошадки, маленькие, почти как кролики, разноцветные, как попугаи, прикрученные одна к другой и к фургону кусками колючей проволоки. С узкими крупами, покрытыми ситцевыми попонами, с изящными ногами и розовыми мордами, они злобно и нетерпеливо косили разноцветными глазами, жались друг к другу, настороженно неподвижные, дикие, как олени, опасные, как гремучие змеи, кроткие, как голуби. Люди стояли на почтительном расстоянии. Раздвинув их плечом, подошел Джоди Варнер.

— Эй, док, поаккуратней, — сказал голос откуда-то сзади.

Но было уже поздно. Крайняя лошадь с быстротой молнии взвилась на дыбы и дважды взбрыкнула передними копытами, проворнее боксера, норовя садануть Варнера в лицо и сильно рванув проволоку, отчего словно волна прошла по табуну, — лошади били копытами и становились на дыбы.

— Тпру-у, балуй, кургузые твари, дьяволы бешеные! — сказал тот же голос, принадлежавший спутнику Флема.

Он был не здешний. Из-под светлой широкополой шляпы торчали густые, черные как смоль усы. Когда он спрыгнул на землю и, повернувшись спиной, встал между ними и лошадьми, все увидели, что из заднего кармана его узких, в обтяжку, бумазейных штанов торчит перламутровая рукоятка внушительного револьвера и цветная коробочка, в каких продают печенье.

— Держитесь от них подальше, ребята, — сказал он. — Они малость норовисты, на них давно никто не ездил.

— А как это давно? — спросил Квик.

Незнакомец взглянул на Квика. Лицо у него было широкое, обветренное и холодное, глаза тоже холодные и бесцветные. Его плоский живот был туго, как втулка, вбит в узкие штаны.

— Сдается мне, скорее они сами на пароме через Миссисипи ехали, — сказал Варнер. Незнакомец взглянул на него. — Моя фамилия Варнер, — сказал Джоди.

— А моя — Хиппс, — сказал незнакомец. — Зовите меня просто Бэк, — через всю его левую щеку, от уха до подбородка, тянулся свежий кровавый рубец, залепленный чем-то черным, вроде колесной мази. Все поглядели на рубец. А потом увидели, что незнакомец вынул из кармана коробочку, вытряхнул оттуда на ладонь имбирное печенье и сунул его в рот, под усы.

— Видать, ты с Флемом не поладил? — сказал Квик.

Незнакомец перестал жевать. Когда он смотрел на кого-нибудь в упор, его глаза становились похожи на два осколка кремня, вывернутые плугом из земли.

— Это почему же?

— А вон у тебя что с ухом, — сказал Квик.

— Ах, ты об этом! — незнакомец коснулся своего уха. — Нет, это я сам виноват. Зазевался как-то вечером, когда ставил их в загон. Задумался и позабыл, что проволока-то длинная, — он снова принялся жевать. Все глядели на его ухо. — Со всяким бывает, кто неосторожен с лошадьёю. Смажешь колесной мазью, на другой день все как рукой снимет. Сейчас они горячатся, застоялись без дела. Но через день-другой вы их не узнаете, — он положил в рот еще одно печенье и стал жевать. — Не верите, что они будут как шелковые? — никто не ответил. Все смотрели на лошадей угрюмо и с недоверием. Джоди повернулся и пошел назад к лавке. — Лошадки добрые, послушные, — сказал незнакомец. — Вот поглядите, — он сунул коробку с печеньем в карман и пошел к лошадям,



протянув руку. Ближняя стояла, приподняв одну ногу. Казалось, она спала. Синий, как небо, глаз задернуло веко; голова была плоская, как гладильная доска. Не открывая глаз, лошадь вскинула голову и оскалила желтые зубы. Казалось, на миг она и человек слились в одном яростном усилии. Потом оба замерли, высокие каблуки незнакомца глубоко ушли в землю, одна рука, стиснувшая ноздри лошади, была неловко вывернута, а лошадь дышала хрипло, шумно, с натужными стонами. — Видали? — сказал незнакомец, с трудом переводя дух, жилы у него на шее и на висках вздулись и побелели. — Видали? Нужно только не давать им спуску, повыбить из них дурь. Ну-ка, ну-ка, осади!

Люди подались назад. Он изловчился и отскочил. В тот же миг другая лошадь саданула его копытом по спине, разодрав жилет во всю длину, совсем как фокусник одним ударом рассекает подброшенный в воздух платок.

— Ничего себе, — сказал Квик. — А ежели на человеке жилетки нет, тогда как?

Тут сквозь толпу снова протолкался Джоди Варнер. Следом за ним шел кузнец.

— Ну вот что, Бэк, — сказал он. — Пожалуй, лучше отвести их в загон. Вот Эк тебе пособит.

Незнакомец, у которого свисали с плеч лохмотья, залез вместе с кузнецом на козлы.

— Но-о, страстотерпцы, живые мощи! — крикнул он. Фургон тронулся, лошадки, привязанные к нему, пестрой вереницей поплелись вслед, а за ними, на почтительном расстоянии, гуськом потянулись люди, прямо по дороге, а потом в проулок, мимо дома миссис Литтлджон, к воротам загона. Эк слез и отворил ворота. Фургон въехал во двор, но едва лошади увидели загородку, как они попятись, натягивая проволоку, и все разом взвились ни дыбы, норовя повернуть обратно, так что фургон откатился назад на несколько футов, пока техасец, отчаянно ругаясь, не ухитрился заворотить мулов и таким образом затормозить фургон. Люди, шедшие сзади, отпрянули. — Слушай, Эк, — сказал техасец. — Полежай-ка сюда да поддержи вожжи.

Кузнец залез обратно на козлы и взял вожжи. А потом они увидели, как техасец с ремненным кнутом в руке спрыгнул на землю, зашел сзади и загнал лошадей в ворота — кнут размеренно гулял по разноцветным спинам, щелкая оглушительно, как выстрелы. Зрители почти бегом перешли двор миссис Литтлджон и поднялись на веранду, одна сторона которой примыкала к загону.

— Интересно, как это он ухитрился связать их? — сказал Фримен.

— А по мне куда интереснее поглядеть, как он их станет развязывать, — сказал Квик. Техасец опять залез в фургон. И сразу же они с Эком появились у задней дверцы. Техасец ухватился за проволоку и стал подтягивать к фургону первую лошадь, а она приседала и упиралась, словно хотела удавиться на этой проволоке, заражая беспокойством остальных лошадей, пока все они не начали одна за другой приседать и пятиться, натягивая проволоку.

— Ну-ка, пособи мне, — сказал техасец. Эк тоже ухватился за проволоку. Лошади упирались, вскидывали розовые морды над водоворотом пятящихся крупов. — Тяни, тяни сильнее, — сказал техасец отрывисто. — Им сюда не залезть, даже если б они и вздумали, — фургон потихоньку откатывался назад, пока первая лошадь не уперлась лбом в заднюю дверцу. Техасец быстро обернул проволоку вокруг одной из стоек кузова. — Поддержи-ка, чтоб не размоталась, — сказал он. Потом исчез и мигом появился снова со здоровенными клещами в руках. — Держи проволоку вот так, — сказал он и спрыгнул на землю. Его широкополая шляпа, развевающиеся лохмотья жилета, клещи — все исчезло в калейдоскопическом хаосе оскаленных зубов, сверкающих глаз, мелькающих в воздухе копыт, и оттуда тотчас же, одна за другой, словно куропатки, стали выпархивать лошади, каждая с ожерельем из колючей проволоки на шее. Первая бешеным галопом понеслась напрямик через загон. С разбегу она наскочила на загородку. Проволока поддалась, спружинила, и лошадь, опрокинутая, некоторое время лежала на земле, сверкая глазами и перебирая ногами в воздухе, словно все еще скакала во весь опор. Потом она встала, все так же вскачь пересекла загон, снова налетела на загородку и снова упала. Тем временем были отпущены на свободу остальные лошади. Они шарахались и носились по загону, словно

ошалевшие рыбы в аквариуме. До сих пор загон казался большим, но теперь самая мысль о том, что все это яростное движение может быть сосредоточено за какой-то загородкой, представлялась нелепым фокусом, словно трюк с зеркалом. Наконец из последних клубов пыли вынырнул техасец, держа в руках клещи, жилета на нем как не бывало. Он не бежал, он просто двигался легко и осторожно, лавируя среди ситцевых попон, делая ложные броски и увертываясь, как боксер на ринге, пока не добрался до ворот, а оттуда прошел через двор на веранду. Один рукав его рубашки висел на ниточке. Он оторвал его, вытер им лицо, потом отшвырнул его, вынул коробочку и вытряхнул на ладонь печенье. Дышал он лишь чуть чаще обычного. — Здорово горячатся, — сказал он. — Ничего, через день-другой присмирят.

Лошади все еще металась взад и вперед по загону в сгущавшихся сумерках, как ошалевшие рыбы, постепенно успокаиваясь.

— Что ты дашь человеку, который тебе малость пособит? — сказал Квик. Техасец взглянул на него бесцветными, дружелюбными, спокойными глазами, под которыми медленно двигались челюсти и густо чернели усы. — Который заберет у тебя одну? — сказал Квик.

На веранде появился голубоглазый мальчуган.

— Папа, папа! Где папа? — звал он.

— Кого ты ищешь, сынок? — сказал один.

— Это мальчик Эка, — сказал Квик. — Твой отец еще там, в фургоне. Помогает мистеру Бэку.

Мальчик в своем маленьком комбинезоне прошел через всю веранду — миниатюрная копия здешних мужчин.

— Папа, — звал он. — Папа.

Кузнец все стоял, перегнувшись через дверцу фургона, и держал в руках конец проволоки. Лошади, на миг сбившись в кучу, теперь рассыпались, шарахнулись от фургона, побежали, и казалось, будто их стало вдруг вдвое больше против прежнего; из густой пыли доносился дробный, частый, легкий стук некованных копыт.

— Мама зовет ужинать, — сказал мальчик.

Близилось полнолуние. И когда после ужина зрители снова собрались на веранде, было почти так же светло. Просто быструю резкость дня сменила зыбкая серебристая глубь, в которой, причудливо сливаясь с нею, барахтались лошади, разбегались, поодиночке или парами, зыбкие, призрачные, неугомонные, и снова сбивались в похожие на мираж табунки, откуда доносилось визгливое ржание и зловещие удары копыт.

Вместе с другими пришел и Рэтлиф. Он приехал перед самым ужином. Ввести своих лошадей в загон он не рискнул. Они стояли на конюшне у Букрайта в полумиле от лавки.

— Значит, Флем вернулся, — сказал он. — Так, так. Билл Варнер за свой счет отправил его в Техас, и, по-моему, будет только справедливо, ежели вы, друзья, оплатите ему обратную дорогу.

Из загона донеслось пронзительное, визгливое ржание. Появилась лошадь. Казалось, она не скачет, а плывет, неосязаемая, бесплотная. Но копыта ее часто и мелко стучали по утрамбованной земле.

— Он не сказал, что лошади его, — сказал Квик.

— И что они не его, тоже не сказал, — сказал Фримен.

— Понимаю, — сказал Рэтлиф. — Вот, значит, чего вы дожидаетесь: чтобы он сказал, его они или не его. А может, вы подождете, покуда кончатся торги и разделитесь — одни пойдут за Флемом, другие за этим парнем из Техаса, чтобы поглядеть, который из них станет тратить ваши денежки? Да только когда тебя уже ощипали, какая разница, кому от этого прибыль.

— А ежели Рэтлиф уедет нынче же вечером, завтра его уж никак не заставят купить одну из этих лошадок, — сказал третий.

— Факт, — сказал Рэтлиф. — Даже от Сноупса можно унести ноги, надо только шевелить ими попроворнее. Ей-богу, я просто уверен, что он ошиплет первого же, кто ему

подвернется, а уж второго наверняка. Но вы, ребята, ведь не собираетесь покупать этот его товар, верно я говорю?

Никто не ответил. Люди сидели на крыльце, прислонившись спиной к столбам веранды, или прямо на перилах. Только Рэтлиф и Квик сидели на стульях, так что остальные казались им лишь черными силуэтами на фоне лунного света, сонно заливавшего веранду. Грушевое дерево за дорогой, будто иней, усеяли белые цветы, молодые побеги и веточки не тянулись во все стороны, но стояли торчмя над прямыми сучьями, словно растрепанные, взметнувшиеся кверху волосы утопленницы, мирно спящей на дне спокойного, недвижимого моря.

— Энс Маккалем тоже раз пригнал пару лошадей из Техаса, — сказал кто-то на крыльце. Он не шевельнулся. Он говорил, ни к кому не обращаясь. — Хорошая была запряжка. Только немного легковата. Он на ней десять лет работал. Легко было работать, одно удовольствие.

— Как же, помню, — сказал другой. — Энс еще говорил, будто за них четырнадцать ружейных патронов отдал — так, что ли?

— А я слышал, что и ружье с патронами, — сказал третий.

— Нет, он отдал только патроны, — сказал первый. — За ружье тот парень предлагал еще четверку, но Энс сказал, что они ему без надобности. Себе дорожке станет — пригнать шестерку лошадей сюда в Миссисипи.

— То-то и оно, — сказал второй. — Когда покупаешь по дешевке лошадь или запряжку, нечего и ждать толку.

Все трое говорили вполголоса, они толковали меж собой, словно были одни. Рэтлиф, невидимый в темном углу, засмеялся, тихонько, лукаво, хрипловато.

— Рэтлиф смеется, — сказал четвертый.

— Ладно, вы на меня не глядите, — сказал Рэтлиф.

Трое говоривших не шевелились. Они не шевельнулись и теперь, но было в их темных фигурах какое-то упорство и молчаливое ожесточение, словно у детей, получивших нагоняй. Птица черной стремительной дугой прочертила лунный свет, вспорхнула на грушу и запела; это был пересмешник.

— Первого пересмешника слышу в этом году, — сказал Фримен.

— Около Уайтлифа они каждую ночь поют, — сказал первый. — Я слышал одного в феврале. Помните, когда снег повалил. Он пел на каучуковом дереве.

— Каучуковое дерево всех раньше распускается, — сказал третий. — За это его птицы и любят. Им петь хочется, когда оно зеленеет. Оттого пересмешник на нем и пел.

— Каучуковое дерево всех раньше распускается? — сказал Квик. — А ива как же?

— Ива не дерево, — сказал Фримен. — Она вроде бурьяна.

— Ну не знаю, что она такое, — сказал четвертый, — а только никакой это не бурьян. Потому что бурьян можно выполоть, и дело с концом. А вот ивняк я лет пятнадцать корчевал у себя на весеннем выгоне. А он на другой год опять вырос такой же высокий. Да еще всякий год этих ивок становилось на одну или две больше против прежнего.

— Вот я бы на твоём месте и ушел завтра на выгон чем пораньше, — сказал Рэтлиф. — Но ты, конечно, и не подумаешь сделать это: уж я-то знаю, что ни на Француской Балке, ни во всем мире ничто не помешает вам, ребята, отдать Флему Сноупсу и этому техасцу свои кровные денежки. Но я бы, по крайней мере, узнал точно, кому они достанутся. Пожалуй, Эк мог бы вам в этом помочь. Пожалуй, он мог бы сказать вам это по-соседски, а? Как-никак он двоюродный брат Флема, да к тому же он и его сынишка, Уоллстрит, сегодня помогли техасцу натащить для них воды, а завтра поутру Эк поможет задать им корм. А потом он, может, станет их ловить и подводить по одной, куда вы, ребята, будете набавлять цену. Так, что ли, Эк? — Не знаю, — сказал он.

— Ребята, — сказал Рэтлиф. — Эк знает об этих лошадях всю подноготную, Флем ему сказал, во сколько они обошлись и сколько он с этим техасцем собирается заработать, нажить на них. Ну-ка, Эк, выкладывай.

Кузнец не шевельнулся, он сидел на верхней ступеньке крыльца, боком к ним, и их напряженное, выжидательное молчание капля за каплей падало на него сверху.

— Не знаю я, — сказал он.

Рэтлиф рассмеялся. Он сидел на стуле и смеялся, а другие сидели на крыльце и на перилах, и смех его падал на них сверху, подобно тому как падало на Эка их напряженное молчание. Рэтлиф перестал смеяться. Он встал. Зевнул громко, во весь рот.

— Ну ладно. Вы, ребята, можете покупать этих лошадок, ежели хотите. А я скорей купил бы тигра и гремучую змею. Да и то ежели бы их мне Флем предложил, я б и дотронуться до них побоялся, — а вдруг они окажутся перекрашенной собакой и куском шланга. Желаю вам всем спокойной ночи.

Он ушел в дом. Никто не посмотрел ему вслед, но немного погодя все зашевелились и стали глядеть на загон, на пестрый, лихорадочный лошадиный водоворот, откуда время от времени долетало короткое ржание и глухие удары копыт. С груши лились нескончаемые дурацкие рулады пересмешника.

— Энс Маккалем сделал из той пары добрую запряжку, — сказал первый. — Они были малость легковаты. А так ничего.

На другое утро, едва взошло солнце, у гостиницы миссис Литтлджон уже стоял фургон и три верховых мула, а к загородке прильнули шестеро мужчин и сынишка Эка Сноупса, они не сводили глаз с лошадей, которые тесно сбились в кучу у двери конюшни и тоже глядели на людей. Подъехал еще один фургон, свернул с дороги и остановился, и вот уже восемь мужчин выстроились рядом с мальчиком у загородки, за которой стояли лошади, их карие с синим глаза быстро бегали на пестрых мордах.

— Так вот он, значит, Сноупсов цирк? — сказал кто-то, подходя. Он глянул на лошадиные морды, потом прошел вдоль загородки и встал с краю, рядом с кузнецом и его сыном. — Выходит, это Флемовы лошади? — спросил он у кузнеца.

— Эк знает не больше нашего, чьи они, — сказал один. — Он знает, что Флем приехал сюда в фургоне, а за ним — лошади, это он видел. А больше он ничего не знает.

— И не узнает, — сказал второй. — Родственник Флема Сноупса всегда узнает о его делах последним.

— Ну нет, — сказал первый. — Он и тогда не узнает. Первым, кого Флем посвятит в свои дела, будет тот, кто останется в живых, когда умрет последний человек на земле. Флем Сноупс даже себе самому не говорит, что он замышляет. Даже если лежит темной ночью один в доме, где, кроме него, живой души нет.

— Это точно, — сказал третий. — Флем облапошит Эка и всякого другого своего родственника не хуже, чем нас. Правда, Эк?

— Не знаю я, — сказал Эк.

Они смотрели на лошадей, которые в этот миг, насторожив уши и напружив ноги, вдруг завертелись волчком и понеслись пятнистой волной по загону, а потом вернулись назад и стали глядеть на людей сквозь загородку, и никто не слышал, как появился техасец, пока он не подошел к ним вплотную. Он был в новой рубашке и другой жилетке, которая была ему тесновата, и как раз прятал коробку с печеньем в задний карман брюк.

— Доброе утро, — сказал он. — Раненько же вы встали сегодня. Может, хотите купить у меня пару лошадок до начала торгов, покуда цены не вскочили?

Они уже не смотрели на техасца. Теперь они снова смотрели на лошадей, которые, опустив головы, нюхали землю.

— Нет уж, мы сперва поглядим, — сказал один.

— Ну что ж, во всяком случае, сейчас самое время поглядеть, как они будут завтракать, — сказал техасец. — Они тут всю ночь бегали и здорово оголодали, — он открыл ворота и вошел в загон. Лошади разом вскинули головы и уставились на него. — Вот что, Эк, — сказал техасец через плечо, — пусть двое или трое из ваших ребят помогут мне загнать их в конюшню.

Эк и еще двое мужчин подошли к воротам, и вместе с ними мальчик, шедший по пятам



за отцом, который заметил его, только когда повернулся, чтобы затворить ворота.

— Не лезь сюда, — сказал Эк. — А то, не ровен час, расшибут тебе голову, как скорлупку, ахнуть не успеешь.

Он закрыл ворота и побежал догонять остальных, техасец расставил их подковой, а сам пошел к лошадям, которые теперь сбились в беспокойный табунок и, глядя на людей, начали потихоньку кружиться на месте. Миссис Литтлджон вышла из кухни и пошла через двор к поленнице, поглядывая на лошадей в загоне. Она взяла два или три полена и остановилась, чтобы снова взглянуть на загон. У загородки появились еще два человека.

— Смелей, ребята! — сказал техасец. — Не бойтесь, они вас не тронут. Просто они сроду не бывали под крышей.

— А по мне, так пусть здесь и остаются, ежели им охота, — сказал Эк.

— Возьмите палки, вон там у загородки целая куча фургонных осей, и как только которая-нибудь кинется на вас, огрейте ее хорошенько по башке, она живо в чувство придет.

Один из мужчин подошел к загородке, взял три палки, вернулся и роздал их. Миссис Литтлджон, теперь уже с целой охапкой дров, на полпути к дому еще раз остановилось, глядя на лошадей в загоне. Мальчик снова увязался за отцом, но теперь тот его не видел. Мужчины начали наступать на лошадей, и табунок разбился на пестрые подвижные кучки. Техасец весело крыл их громким бодрым голосом:

— Пошли в конюшню, чучела проклятые, чертовы куклы! Не подгоняйте их. Пускай чуть пообвыкнут. Эй! Заходи, не бойся. Это же конюшня, а не суд! И не церковь, тут с вас не станут собирать пожертвования.

Лошади медленно пятились назад. Время от времени какая-нибудь из них пробовала отбиться от других, но техасец, ловко бросая в нее комья земли, загонял ее обратно. А потом задняя лошадь оказалась у самых ворот конюшни, и техасец, не давая лошадям опомниться, выхватил у Эка палку, бросился на них с одним из помощников и принялся лупить их по головам и спинам, безошибочным чутьем выбирая жертву и ударяя ее сначала по морде, а потом, заворотив, по холке и напоследок по крестцу, так что им удалось завернуть весь табун, и лошади, вбежав в длинный коридор, ударились об стену с глухим раскатистым грохотом, словно где-то в шахте рухнули крепления.

— Ну, кажется, стенка выдержала, — сказал техасец. Он и его помощник захлопнули низкие воротца и заглянули поверх них в конюшню, в дальнем конце которой табун казался теперь пятнистым призраком, и оттуда доносился треск деревянных перегородок и постепенно замирающие гулкие удары копыт. — Ага, выдержала стенка, — сказал техасец.

Остальные двое подошли к воротам и тоже заглянули поверх створок в конюшню. Мальчик подошел вслед за отцом, намереваясь заглянуть в щелку, и тут Эк увидел его.

— Сказано тебе было, не лезь в загон! — крикнул он. — Затопчут тебя до смерти, ты и пикнуть не успеешь, понял? Ступай за ворота и стой там.

— Почему ты не попросишь папашу купить тебе лошадку, Уолл? — сказал один из мужчин.

— Чтоб я купил такую дрянь? — сказал Эк. — На что она мне, если я могу хоть сейчас пойти на реку и изловить задаром зубастую черепаху или гадюку? Ну, ступай отсюда. Стой за воротами и не лезь.

Техасец уже вошел в конюшню. Один из мужчин закрыл за ним ворота, заложил засов, и они, глядя поверх створок, видели, как техасец прошел через всю конюшню к лошадям, которые сгрудились в темном углу, словно пестрые призраки, и, уже успокоившись, начали даже принюхиваться к длинной обрызганной кормушке у задней стены. Мальчик только обошел вокруг отца и стоял теперь по другую сторону от него, глядя сквозь дырку от выпавшего сучка. Техасец открыл маленькую дверцу в стене и вошел в нее, но почти сразу же появился снова.

— Там нет ничего, кроме лущеной кукурузы, — сказал он. — А Сноупс вчера обещал прислать сена.

— А разве кукурузы они не едят? — спросил кто-то.

— Не знаю, — сказал техасец. — Знаю только, что они ее никогда и не нюхали. Ну да ладно, сейчас увидим.

Он исчез, и было слышно, как он ходил по стойлу. Потом он снова появился с большой корзиной и нырнул в темноту, где пестрые лошадки теперь преспокойно выстроились у кормушки. Миссис Литтлджон опять вышла из дома, на этот раз на веранду, неся большой медный колокольчик. Она подняла его, чтобы позвонить к обеду. Когда техасец подошел к лошадям, они заволновались, но он быстро, громко и бесстрастно заговорил с ними, осыпая их смесью ругани и ласковых слов, и исчез в самой их гуще. Люди, стоявшие у двери, слышали сухой шорох кукурузных зерен в кормушке, а потом какая-то лошадь испуганно всхрапнула. С громким треском обломилась доска, и у них на глазах конюшня превратилась в кромешный ад, и пока они глядели поверх ворот, словно зачарованные, не в силах шевельнуться, внутри, будто языки пламени, заматались яростные тени.

— Сто чертей, — сказал один. — Бежим! — заорал он вдруг.

Все трое повернулись и со всех ног побежали к фургону. Эк бежал последним. Люди из-за загородки что-то кричали, но он их даже не слышал и только карабкался, не помня себя, на фургон, а потом оглянулся и увидел мальчика — он все стоял, припав к дыре в воротах конюшни, и в тот же миг ворота исчезли, разнесенные в щепы, и самой дыры словно не бывало, а мальчик остался стоять, неподвижный в своем маленьком комбинезоне, все еще слегка нагнувшись, пока его не захлестнула широкая многоцветная волна бегущих ног, сверкающих глаз и оскаленных зубов, которая, взметнувшись, рассыпалась на множество отдельных частиц, обнажив наконец зияющий зев пустоты, и в нем мальчика, неведимого, без единой царапинки, по-прежнему глядевшего в исчезнувшую дыру.

— Уолл! — завопил Эк.

Мальчик повернулся и побежал к фургону. Лошади метались взад и вперед, и казалось, теперь их стало вдвое больше; две из них одна за другой перемахнули через мальчика, не задев его, а он бежал, маленький, серьезный, бежал, казалось, на одном месте, но все же добрался наконец до фургона, и Эк, чье загорелое лицо побелело, как полотно, протянул руку, втащил мальчика внутрь за помочи комбинезона, зажал его голову между колен и схватил со дна фургона вожжу.

— Сказано тебе было, не лезь в загон, — сказал Эк дрожащим голосом. — Сказано было...

— Если ты хочешь его выпороть, лучше уж всыпь нам всем, а потом кто-нибудь из нас высечет тебя, — сказал один из мужчин.

— А еще лучше, возьми веревку да вздерни вон того дьявола, — сказал другой. Техасец стоял теперь у разломанных ворот конюшни и доставал из кармана коробку с имбирным печеньем. — А не то он всю Французovu Балку изничтожит.

— Ты про Флема Сноупса, да? — сказал первый.

Техасец, перевернув коробку, вытряхивал на ладонь печенье. Лошади все еще метались по загону, но уже начали успокаиваться, они трусили рысцей на высоких прямых ногах, хотя по-прежнему дико и злобно косили белыми глазами.

— Я знал, что от этой поганой кукурузы добра не жди, — сказал техасец. — Но зато они, по крайности, видели, какая она есть. Кое-чему они тут научились, им грех жаловаться, — он встряхнул коробку. На ладонь не выпало ничего. Миссис Литтлджон зазвонила на веранде в колокольчик; услышав звон, лошади снова заматались, земля слегка задрожала от дробного стука копыт. Техасец скомкал коробку и бросил ее. — Ладно, — сказал он.

В проулке появились еще три фургона, и у загородки стояли человек двадцать или больше, когда техасец с тремя своими помощниками и мальчиком вышел за ворота. Ясное утреннее солнце светило с безоблачного неба, играя на перламутровой рукоятке револьвера, торчавшей у него из заднего кармана, и на медном колокольчике, в который все звонила миссис Литтлджон, настойчиво, властно, громко.

А когда минут через двадцать техасец, ковыряя в зубах спичкой, снова появился на

крыльце, фургоны, верховые лошади и мулы растянулись от ворот до самой лавки Варнера, а у загородки толпилось больше пятидесяти человек, они молча украдкой глядели, как он идет, чуть враскачку, на своих кривоватых ногах и высокие каблуки его фасонистых ботфортвов оставляют в пыли отчетливый след.

— Доброе утро, джентльмены, — сказал он. — Ну-ка, малыш, — он повернулся к мальчику, который молча стоял позади него, не спуская глаз с рукоятки револьвера. Он вынул из кармана монету и дал мальчику. — Сбегай в лавку, купи мне коробку имбирного печенья, — он пристально оглядел непроницаемые лица, посасывая спичку, которой чистил зубы. Потом перебросил спичку из одного угла рта в другой, не прикоснувшись к ней рукой. — Вы, ребята, конечно, уже присмотрели себе лошадок. Можно начинать, а?

Никто не ответил. Теперь на него уже не смотрели. Или, верней, ему начинало казаться, что он просто не успевает поймать ничей взгляд, потому что люди поспешно отводят глаза. Немного погодя Фримен спросил:

— А Флема ждать не будешь?

— Зачем? — сказал техасец. Тогда и Фримен отвел взгляд. Лицо его тоже было непроницаемо. Техасец продолжал все тем же ровным, спокойным голосом: — Эк, ты ведь уже облюбовал себе лошадок. Так что начнем, когда захочешь.

— Нет уж, уволь, — сказал Эк. — Не стану я их покупать, к ним и подойти-то страшно.

— Страшно подойти к этим маленьким лошадам? — сказал техасец. — Да ведь ты же помогал их поить и кормить. Бьюсь об заклад, что твой мальчуган к любой не побоится подойти.

— Пусть только попробует, — сказал Эк.

Техасец окинул равнодушным и вместе с тем настороженным взглядом спокойные лица, непроницаемые, словно высеченные из кремня, твердые и бесстрастные.

— Эти лошадки кроткие, как голуби, ребята. Кто их купит, потом не нахвалится, таких ни за какие деньги не достанешь. Конечно, они не без норова: я ведь не торгую падалью. Кому нужна техасская падаль, когда в Миссисипи и своей хватает? — взгляд его оставался равнодушным, в голосе не было ни веселья, ни задора, да и в смешке, прозвучавшем в толпе, тоже не было ни веселья, ни задора. Еще два фургона одновременно съехали с дороги и остановились у загородки. Люди вылезли, привязали лошадей и подошли к толпе. — Сюда, ребята, — сказал техасец. — Вы успели в самое время, чтобы задешево купить хорошую, смирную лошадь.

— Вроде той, что разодрала тебе вчера жилет? — сказал чей-то голос.

На этот раз засмеялись трое или четверо. Техасец взглянул на них пустым, немигающим взглядом.

— Ну и что? — сказал он. Смех, если только это можно было назвать смехом, смолк. Техасец подошел к воротам и залез на столб, неторопливо перебирая сильными ногами в узких штанах и поблескивая перламутровой рукояткой револьвера. Усевшись на столб, он поглядел вниз, на лица у загородки, настороженные, серьезные, непроницаемые, избегающие его взгляда.

— Ну ладно, — сказал он. — Кто хочет начать торг? Выходите прямо сюда; выбирайте товар и назначайте цену, а когда последняя будет продана, смело идите в загон, обротаеете отличную лошадь, такой в другом месте ни за какие деньги не купишь. Любой из них цена не меньше пятнадцати долларов. Глядите, они все как на подбор — молодые, здоровые, годятся и под седло, и для пахоты, ручаюсь, любая из них стоит четырех ваших лошадей; такую огреешь тележной осью, а ей хоть бы что... — Задние ряды вдруг всколыхнулись. Появился мальчик. Протискиваясь меж неподвижных комбинезонов, он пробрался к столбу и подал техасцу новую непечатую коробку. Техасец наклонился, взял коробку, распечатал ее и вытряхнул три или четыре печенья мальчику на ладонь, маленькую и черную, почти как у негритенка. Потом снова заговорил, держа коробку в руке и указывая ею на лошадей. — Поглядите вон на ту, у которой три ноги в белых чулках и подпалина на ухе; глядите хорошенько, сейчас она пробежит у самой загородки. Обратите внимание, как ходят у ней

лопатки. За такую лошадь всякий охотно даст двадцать долларов. Кто сколько предложит за нее для почину? — он говорил громко, убедительно, как заправский оратор. А внизу под ним, у загородки, стояли люди, у которых под нагрудниками комбинезонов были аккуратно приколоты кисеты и потертые кошельки, а в них лежало жалкое серебро и истрепанные бумажки — деньги, скопленные по монетке в печных трубах или в щелях бревенчатых стен. Лошади то и дело разбегались в разные стороны, бесцельно метались по загону, потом снова сбивались в кучу, глядя на лица у загородки дикими разноцветными глазами. Проулок был теперь запружен фургонами. Подъезжавшие вынуждены были останавливаться далеко в стороне и идти по дороге пешком. В дверях кухни появилась миссис Литтлджон. Она перешла двор, поглядывая на лошадей в загоне. В углу двора на четырех кирпичках стоял почерневший от копоти стиральный котел. Она развела под ним огонь, подошла к загородке и постояла там немного, подбоченившись, а голубой дым костра лениво плыл у нее за спиной. Потом она повернулась и пошла обратно к дому. — Ну так как же, ребята, — сказал техасец. — Кто сколько даст за нее?

— Пятьдесят центов, — сказал кто-то.

Техасец даже не взглянул на голос.

— Ну, а ежели она вам не подходит, как тогда насчет вон той лошади, — смотрите: голова узкая, гривы почти не видать? Сказать по совести, под седло она скорей годится, чем та в белых чулках. Я слышал, как кто-то сейчас предложил пятьдесят центов. Наверное, он хотел сказать — «пять долларов». Ну как, даете пять долларов?

— Пятьдесят центов за всех гуртом, — сказал тот же голос. Но эти слова уже не вызвали в толпе смеха. Засмеялся сам техасец, резко, заученно, одними губами, словно твердил наизусть таблицу умножения.

— Пятьдесят центов за кучу ихнего навоза, вот что ты хочешь сказать, — сказал он. — Может, кто накинёт доллар за настоящие техасские колючки? — миссис Литтлджон вынесла из кухни половинку распиленного пополам бочонка, поставила ее на пень возле стирального бака и, подбоченившись, постояла немного, глядя на лошадей в загоне, но не подходя к загородке. Потом она ушла в дом. — Что же вы, ребята? — сказал техасец. — Послушай, Эк, ведь ты мне помогал, сам знаешь, какие это лошадки. Сколько ты дашь вон за ту с белой лысинкой, что приглянулась тебе вчера? Ну ладно. Погодите-ка, — он сунул коробку в другой карман, перекинул ноги через загородку и мягко, как кошка, спрыгнул в загон. Лошади, глядя на него, жались друг к другу. Не подпуская его к себе, они отпрянули и медленно подались вдоль загородки. Он преградил им путь, они повернули и побежали назад через загон; тогда техасец, словно он только и дожидался, чтобы они повернулись к нему задом, тоже побежал, так что когда лошади остановились в конце загона и опять стали жаться друг к другу, он их почти настиг. Земля содрогнулась; пыль поднялась облаком, и из этого облака, одна за другой, словно вспугнутые перепелки, начали стремительно вылетать лошади, а он, все с той же несокрушимой верой в свою неуязвимость, бросился вперед. Одно мгновение зрители видели их сквозь пыль — лошадь пятилась в угол между загородкой и конюшней, человек наступал на нее, сунув руку в карман. Потом лошадь ринулась прямо на него в каком-то иступлении и безнадежном отчаянье, а он ударил ее промеж глаз рукояткой револьвера, свалил ее и обеими ногами прыгнул на нее. Лошадь вмиг оправилась от удара, отчаянным усилием встала на колени и приподняла голову вместе со стоявшим на ней человеком; сквозь пыль видно было, как он отделился от земли, сильно качнувшись в сторону, словно тряпка, привязанная к лошадиной голове. Но вот ноги техасца снова коснулись земли, ветер развеял пыль, и замершая толпа увидела, что острые каблуки техасца глубоко ушли в землю, одна рука крепко сжимает лошадиную холку, другая — ноздри, длинная злобная морда вывернута назад, к ободранной спине, и лошадь дышит трудно, с глухим стоном. Миссис Литтлджон уже снова была на дворе. На этот раз никто не видел, как она вышла. Держа в руках охапку белья и стиральную доску, она постояла неподвижно на кухонном крыльце, глядя на лошадей в загоне. Потом, все так же глядя на лошадей в загоне, пошла через двор и, все еще глядя на лошадей в загоне, бросила белье в корыто. — Вы



только взгляните, ребята, — выдохнул техасец, обернув к загородке побагровевшее лицо и горящие, выпученные от натуги глаза. — Взгляните живей. Какие ноги, какие... — видимо, хватка его ослабла. Лошадь снова яростно рванулась, и снова техасец на миг отделился от земли, не переставая говорить: — ...какие бабки, тпру, а не то я тебе башку оторву, глядите скорей, ребята, пятнадцать долларов — это же совсем задаром, ну, говорите, кто из вас даст эту цену, тпру, лупоглазый заяц, тпру-у! — теперь они оба двигались — это был какой-то фантастический, яростный клубок, который безостановочно, со злобной медлительностью катился по земле, и металлические застёжки на подтяжках техасца в непрерывном вращении поблескивали на солнце. Потом широкополая, цвета глины шляпа словно нехотя отлетела в сторону; а через мгновение вслед за ней отлетел и сам техасец, но он не упал, удержался на ногах, а лошадь, вырвавшись на волю, умчалась бешеными скачками, как олень. Техасец поднял шляпу, отряхнул с нее пыль, ударив ею о колено, вернулся к воротам и снова залез на столб. Он тяжело дышал. Люди у загородки все так же глядели на него, а он вынул из кармана коробку, вытряхнул оттуда печенье, положил его в рот и, дыша хрипло, со свистом, стал жевать. Миссис Литтлджон отвернулась и принялась черпать ведром воду из бака, наполняя корыто, но после каждого ведра оборачивалась и глядела на загон. — Ну, ребята, — сказал техасец. — Скажите сами, разве эта лошада не стоит пятнадцати долларов? Разве купишь на пятнадцать долларов столько динамита? Любая пробежит мило за три минуты; можете выгнать ее на пастбище, и она сама себя прокормит; можете работать на ней весь день до упаду, только почаще охаживайте ее оглоблей по башке, и двух дней не пройдет, как она станет совсем смирной, ее палкой придется выгонять из дома на ночь, как кошку, — он вытряхнул из коробки еще одно печенье и съел его. — Давай, Эк. Начинай торг! Ну как, даешь десять долларов за эту лошада, Эк?

— На что мне лошада, которую можно поймать только в медвежий капкан? — сказал Эк.

— Да разве ты не видел, как я сейчас ее поймал?

— Видеть-то видел, — сказал Эк. — Да только не нужна мне такая зверюга, ежели я должен затевать целую войну всякий раз, как окажусь с ней по одну сторону загородки.

— Ну ладно, — сказал техасец. Он все еще не мог отдышаться, но усталость и напряжение с него как рукой сняло. Он вытряхнул на ладонь еще печенье и сунул его себе под усы. — Ладно. Я хочу, чтобы торг наконец начался. Я ведь приехал сюда к вам не на жительство, хоть вы, верно, не нахвалитесь своей округой. Я дарю тебе эту лошада.

На миг все стихло, даже дыхание все затаили, слышно было только, как дышит техасец.

— Ты мне ее даришь? — спросил Эк.

— Да, если ты назначишь цену на следующую лошада.

И снова вокруг ни звука, только слышно было, как дышит техасец, да миссис Литтлджон звякнула ведром о край котла.

— Я только назначу цену, — сказал Эк. — Но я не обязан покупать лошада, ежели никто больше не даст.

Подъехал фургон. Он был некрашенный и ободраный. Одно колесо было укреплено планками, прикрученными крест-накрест к спицам тонкой проволокой, на паре тощих мулов была драная упряжь, связанная кусками хлопковой веревки; вожжами тоже служили две обыкновенные, сильно растрепанные веревки. В фургоне сидели женщина в сером, висевшем мешком платье и выцветшей шляпе и мужчина в линялом и заплатанном, но чистом комбинезоне. По улице проехать было нельзя, и мужчина, оставив фургон посреди дороги, слез и пошел к загону, невысокий, щуплый, и в глазах у него было какое-то затаенное беспокойство, смутное и вместе с тем напряженное. Он протолкался через толпу, спрашивая:

— Что такое? Что здесь происходит? Ему подарили лошада?

— Идет, — сказал техасец. — Эта лошада с белой лысинкой и ссадиной на шее твоя. Ну а теперь скажи, сколько ты даешь вон за ту белолобую, что словно вывалила голову в бочке с мукой. Сколько? Десять долларов?

— Ему подарили эту лошада? — снова спросил подошедший.

— Доллар, — сказал Эк.

Техасец как говорил, так и остался с открытым ртом; лицо его с твердыми суровыми глазами вдруг как-то слиняло.

— Один доллар? — сказал он. — Всего один доллар? Я не ослышался?

— Ладно, черт с ней, — сказал Эк. — Два доллара. Но я не...

— Погоди, — сказал подошедший. — Эй, ты там, на столбе.

Техасец повернул к нему голову. Остальные обернулись и увидели, что женщина тоже вылезла из фургона, хотя до сих пор они и не подозревали, что она там, потому что не видели, как фургон подъехал. Она подошла к воротам и встала позади мужчины, изможденная, в платье, которое висело на ней мешком, в шляпе и грязных парусиновых тапочках. Она подошла к нему вплоть, но не дотронулась до него, а остановилась у него за спиной, спрятав руки под серым передником.

— Генри, — сказала она пустым голосом. Мужчина оглянулся через плечо.

— Ступай в фургон, — сказал он.

— Послушайте, хозяйка, — сказал техасец. — Генри сейчас сделает самую выгодную покупку в своей жизни. Эй, ребята, дайте хозяйке подойти поближе, чтобы ей все было видно. Генри выберет верховую лошадь, о которой давно мечтает его супруга. Кто дает десять...

— Генри, — сказала женщина. Она не повысила голоса. И ни разу не взглянула на техасца. Она взяла мужа за рукав. Он обернулся и сбросил ее руку.

— Ступай в фургон, тебе говорят, — сказал он.

Женщина стояла позади него, все так же спрятав руки под передником. Она ни на кого не смотрела, ни к кому не обращалась.

— Мало нам забот, так он надумал купить эту лошадь, — сказала она. — У нас только и есть пять долларов, а потом хоть в богадельню. Мало нам забот...

Мужчина повернулся к ней с каким-то странным выражением подавленной, дремлющей ярости. Остальные стояли у загородки, мрачные, с рассеянным, почти отсутствующим видом. Миссис Литтлджон до сих пор терла белье о доску, размеренно сгибаясь и разгибаясь над полным пены корытом. Теперь она выпрямилась, уперла в бока белые от пены руки и поглядела на лошадей в загоне.

— Заткнись и ступай в фургон, — сказал мужчина. — А не то я прогоню тебя отсюда палкой, — он повернулся и посмотрел на техасца. — Так ты подарил ему эту лошадь? — сказал он.

Техасец глядел на женщину. Потом он перевел взгляд на ее мужа; все еще не сводя с него глаз, он перевернул коробку. На ладонь ему выпало последнее печенье.

— Да, — сказал он.

— Ну, а ежели кто его сейчас переторгует, ему тогда и первая лошадь достанется?

— Нет, — сказал техасец.

— Так, — сказал Генри. — Ну а тот, кто назначит цену на следующую лошадь, получит еще одну задаром?

— Нет, — сказал техасец.

— Но ежели ты отдал задаром лошадь только для того, чтоб начать торг, почему ты не обождешь, покуда мы все соберемся?

Техасец отвернулся. Он поднес к лицу пустую коробку и осторожно заглянул в нее, словно там была какая-нибудь драгоценность или ядовитое насекомое. Потом он скомкал коробку и бросил ее у столба, на котором сидел.

— Эк дает два доллара, — сказал он. — Видно, он думает, что торгует у меня не лошадь, а кусок проволоки у нее на шее. Что ж, я возьму и два. Но ежели вы, ребята...

— Выходит, Эк хочет заполучить две лошади по доллару за каждую, — сказал Генри. — Три доллара.

Женщина потянула его за рукав. Не оборачиваясь, он отшвырнул ее руку, и она снова застыла на месте, сложив руки под передником на впалом животе, ни на кого не глядя.

— Люди добрые, — сказала она. — Наши дети всю зиму ходили разутые. Нам скотину и кормить-то нечем. У нас есть пять долларов, чтобы заработать их, я ткала ночами у очага. Мало у нас забот...

— Генри дает три доллара, — сказал техасец. — Накинь еще доллар, Эк, и лошадь твоя. Лошади почему-то вдруг сорвались с места и так же внезапно остановились, глядя на людей сквозь загородку.

— Генри, — сказала женщина. Ее муж не сводил глаз с Эка. Верхняя губа его дрогнула, обнажив желтые гнилые зубы. Руки, торчавшие из выцветших коротких рукавов старой рубашки, сжались в кулаки.

— Четыре доллара, — сказал Эк.

— Пять долларов! — сказал Генри, поднимая сжатую в кулак руку. Он протиснулся к самому столбу. Женщина не пошла за ним. Теперь она в первый раз взглянула на техасца. Глаза у нее были водянисто-серые, словно выцветшие, как платье и чепец.

— Мистер, — сказала она. — Если вы отнимете у нас эти пять долларов, которые я заработала для своих детей по ночам, будьте прокляты вы и все ваше семя во веки веков.

— Пять долларов! — крикнул Генри. Он рванулся к столбу и дотянулся стиснутым кулаком до коленей техасца. Разжав руку, он протянул комок истрепанных бумажек и серебряной мелочи. — Пять долларов! И кто набавит еще, пускай лучше разобьет мне голову, или я ему разобью.

— Идет, — сказал техасец. — Пять долларов. Продано. Только не тычь в меня кулаком.

В пять часов дня техасец скомкал третью коробку и бросил ее на землю. Медно-красное солнце уже клонилось к закату, освещая косыми лучами белье, развешанное на заднем дворе у миссис Литтлджон, и тень столба, вместе с тенью самого техасца, сидевшего на нем, падала далеко в загон, через который то и дело, без цели и без усталости, словно волны, проносились лошади, когда техасец распрямил одну ногу, сунул руку в карман, достал монету и, наклонившись, протянул ее мальчику. Голос у него был сиплый, усталый.

— Ну-ка, малыш, — сказал он. — Сбегай в лавку и купи мне коробку имбирного печенья.

Люди все стояли у загородки, — непоколебимая стена комбинезонов и выцветших рубашек. Флем Сноупс теперь тоже был здесь, словно из-под земли вырос, он стоял у загородки, совсем близко, но окруженный непроницаемой пустотой, по обе стороны от него оставалось место еще для троих или четверых, стоял и жевал табак, в тех же серых штанах и крошечном галстуке бабочкой, в которых уехал отсюда прошлым летом, в новой кепке, тоже серой, как и старая, но только в клетку, какие носят игроки в гольф, и глядел на лошадей. Все они, кроме двух, были распроданы по цене от трех с половиной до одиннадцати или двенадцати долларов. Покупщики как бы невольно образовали особую группу по другую сторону ворот, они стояли там, положив руки на верхнюю жердину загородки, и еще рассудительнее, еще пристальнее смотрели на своих лошадей, — кое-кто из них владел лошастью вот уже семь или восемь часов, но до сих пор не мог ее забрать. Генри стоял у самого столба, на котором сидел техасец. Жена его ушла и сидела в фургоне, вся неподвижная, серая, в серой одежде, глядя куда-то мимо всего, словно какая-то вещь, которую он бросил в фургон, чтобы увезти, дожидаясь, покуда он не покончит дело, чтобы ехать дальше, терпеливая, безжизненная, чуждая, словно время для нее не существовало.

— Я купил лошадь и выложил за нее деньги, — сказал Генри. Голос у него тоже был сиплый, усталый, безумный блеск в глазах потускнел, они словно ослепли. — И ты хочешь, чтоб я стоял здесь и ждал конца торгов, чтобы взять свою лошадь? Нет уж, торчи здесь хоть до завтра, дело твое. А я хочу забрать свою лошадь и ехать домой.

Техасец взглянул на него со столба. Его рубашка взмокла от пота. Широкое лицо было холодным и спокойным, голос звучал ровно.

— Что ж, бери!

Помедлив, Генри отвернулся. Он понурил голову и стоял, изредка глотая слюну.

— Так, значит, ты мне ее не поймаешь?

— Она не моя, — сказал техасец все тем же ровным голосом. Немного погодя Генри поднял голову. На техасца он не смотрел.

— Кто поможет поймать мою лошадь? — спросил он. Никто не отозвался. Они стояли у загородки, молча глядя на загон, где сбились в кучу лошади, уже не такие яркие там, где длинная, густеющая тень дома покрыла их. Из кухни донесся запах жареной ветчины. Шумная стайка воробьев пролетела над загонем и уселась на дерево у самого дома, а в нежной, прозрачной голубизне неба взмывали и падали ласточки, беспорядочно, с пронзительными криками, словно кто-то как попало дергал струны. Не оборачиваясь, Генри громко сказал:

— Эй ты, принеси веревку.

Помедлив немного, его жена зашевелилась. Она слезла с фургона, достала моток новой хлопковой веревки и подошла к мужу. Тот взял веревку и пошел к воротам. Когда Генри взялся за засов, техасец начал медленно спускаться со столба.

— Ступай за мной, — сказал Генри жене. Женщина стояла на том самом месте, где муж взял у нее веревку. Теперь она двинулась дальше, покорная, сложив руки на животе под передником, и прошла мимо техасца, не глядя на него.

— Не ходите туда, хозяйка, — сказал он.

Она остановилась, не глядя на него, не глядя никуда. Муж отворил ворота, вошел и повернулся, оставив ворота открытыми, но не поднимая глаз.

— Ступай за мной, — сказал он.

— Лучше не ходите туда, хозяйка, — снова сказал техасец. Женщина неподвижно стояла между ними, лица ее почти не было видно под шляпой, руки сложены на животе.

— Нет, я уж лучше пойду, — сказала она. Все остальные и вовсе не глядели ни на нее, ни на Генри. Они стояли у загородки молчаливые, притворно равнодушные, почти оцепеневшие. Потом жена вошла в загон; муж затворил за ней ворота, повернулся и пошел туда, где сбились в кучу лошади, а жена шла следом в своей серой мешковатой одежде, казалось, она даже не шевелит ногами, а словно стоит на движущейся платформе или на плоту. Лошади смотрели на них. Они жались друг к другу, вертелись и топтались на месте, готовые разбежаться, но не разбежались. Генри крикнул на них. Потом с руганью стал подходить ближе. Жена шла за ним по пятам. Табунок вдруг рассыпался, лошади помчались на своих длинных прямых ногах, огибая людей, но когда они, отбежав на другой конец загона, снова сбились в кучу, люди снова пошли на них.

— Вон она, — сказал муж. — Гони ее сюда, в угол, — лошади бросились в разные стороны; та, которую купил Генри, поскакала, почти не сгибая ног. Женщина крикнула на нее; она повернулась, бросилась прямо на Генри, который огрел ее по морде свернутой веревкой, и тогда она шарахнулась и уперлась в угол загородки. — Держи ее там, — сказал муж. Он на ходу разматывал веревку. Лошадь следила за ним дикими, горящими глазами; потом снова сорвалась с места и ринулась на женщину. Та крикнула и замахала на нее руками, но лошадь одним прыжком перемахнула через нее и врезалась в табун. Они побежали следом и загнали ее в другой угол, но женщина снова не сумела преградить путь лошади, и муж, повернувшись, хлестнул ее свернутой веревкой. — Почему ты ее не остановила? — сказал он. — Почему не остановила? — он снова хлестнул ее; она не шевельнулась, даже не подняла руку, чтобы защититься от удара. Люди у загородки стояли молча, потупившись, пристально глядя себе под ноги. Только Флем Сноупс продолжал смотреть на загон, — если только он вообще смотрел туда, — стоя особняком, словно на необитаемом острове, в своей новой клетчатой кепке, и жевал на свой особый манер, двигая челюстями из стороны в сторону.

Техасец сказал что-то, негромко, хрипло и отрывисто. Он отворил ворота, подошел к мужчине и вырвал у него из поднятой руки веревку. Тот круто повернулся, словно хотел броситься на него, слегка присел, согнув колени и растопырив руки, но так и не поднял взгляда выше запыленных ботфортвов техасца. Тогда техасец взял его за руку и повел к воротам, а женщина пошла следом, и, когда они вышли, он подождал, пока выйдет и она, а



потом закрыл ворота. Вынув из кармана пачку денег, он выбрал одну бумажку и сунул женщине в руку.

— Посадите-ка его в фургон да отвезите домой, — сказал он.

— Это зачем же? — сказал Флем Сноупс. Он тем временем подошел к воротам. Теперь он стоял у столба, на котором раньше сидел техасец. Техасец не глядел на него.

— Он думает, что купил лошадь, — сказал техасец. Он говорил глухо, едва слышно, будто после быстрого бега. — Уведите его, хозяйка.

— Отдай назад деньги, — сказал муж каким-то неживым, обессиленным голосом. — Я купил эту лошадь и заберу ее, даже если мне придется ее пристрелить, прежде чем обротать.

Техасец даже не взглянул на него.

— Уведите его отсюда, — сказал он.

— Забирай свои деньги, а я возьму свою лошадь, — сказал Генри. Он дрожал медленной, неумной дрожью, словно от холода. Кулаки, торчавшие из обтрепанных рукавов рубашки, судорожно сжимались и разжимались. — Отдай ему деньги, — сказал он жене.

— Ты не покупал у меня никакой лошади, — сказал техасец. — Везите его домой, хозяйка.

Генри поднял измученное лицо с безумными, потускневшими глазами. Он протянул руку. Женщина крепко прижимала бумажку обеими руками к животу. Дрожащей рукой муж долго нашаривал бумажку. Наконец он вырвал ее.

— Эта лошадь моя, — сказал он. — Я купил ее. Вот свидетели. Я заплатил за нее. Лошадь моя. Вот, — он повернулся и протянул деньги Сноупсу. — Ты имеешь до этих лошадей какое-то касательство. Я купил лошадь. Вот деньги. Я купил ее. Спроси вон у него.

Сноупс взял деньги. Люди стояли у загородки, хмурые, безразличные, делая вид, будто ничего не замечают. Солнце село; теперь только сиреневые тени ползли по фигурам людей и по загону, где снова неизвестно почему всполошились и забегали лошади. Прибежал мальчик, все такой же резвый и неутомимый, с новой коробкой печенья. Техасец взял ее, но распечатал не сразу. Он бросил веревку на землю. Генри нагнулся и долго шарил, прежде чем поднять ее. Теперь он стоял понурившись и так стиснув веревку, что пальцы побелели. Женщина не шевелилась. Сумерки быстро густели, высоко в голубое, меркнувшее небо в последний раз взмыли ласточки. Техасец оторвал доньшко у коробки и вытряхнул себе на ладонь одно печенье; казалось, он внимательно разглядывал свою руку, которая медленно сжималась в кулак, пока сквозь пальцы не посыпалась мелкая, табачного цвета крошка. Он тщательно вытер руку о штаны, поднял голову, нашел глазами мальчика и отдал ему коробку.

— Бери, малыш, — сказал он. Потом поглядел на женщину и сказал все так же глухо, едва слышно: — Завтра мистер Сноупс отдаст вам ваши деньги. А сейчас посадите-ка его в фургон и везите домой. Никакой лошади я ему не продавал. Деньги получите завтра у мистера Сноупса.

Женщина повернулась, пошла к фургону и залезла в него. Никто не взглянул ей вслед, даже муж, который все стоял, понурился и бесцельно перекидывая веревку из руки в руку. Все стояли, прислонясь к загородке, серьезные и молчаливые, словно у границы чужой земли, чужой эпохи.

— Сколько их у тебя еще? — спросил Сноупс. Техасец оживился; оживились и остальные, подошли поближе, прислушиваясь.

— Теперь три, — сказал техасец. — Я бы всех трех обменял на коляску, либо...

— Она уже на дороге, — сказал Сноупс, пожалуй, слишком отрывисто, слишком поспешно, и отвернулся. — Веди своих мулов.

И он ушел. Все смотрели, как техасец отворил ворота и перешел загон, а лошади шарахнулись от него, но уже без прежней слепой ярости, словно и они тоже были измотаны, обессилены после долгого дня, и вошел в конюшню, а потом вышел оттуда, ведя двух взнузданных мулов. Фургон стоял под навесом рядом с конюшней. Техасец скрылся в фургоне и через секунду вылез оттуда, держа скатанную постель и пальто, и повел мулов к

воротам, а лошади снова сбились в кучу и глядели на него своими разноцветными глазами, теперь уже совсем спокойно, словно и они поняли, что между ними не только заключено наконец перемирие, но что они больше никогда в жизни не увидят друг друга. Кто-то отворил ворота. Техасец вывел мулов, и все потянулись за ним, оставив Генри одного у закрытых ворот, а он все стоял, понутив голову, с веревкой в руке. Они прошли мимо фургона, в котором сидела его жена, серая и неподвижная, растворяясь в сумерках, сливаясь с ними и ни на что не глядя; мимо веревки, на которой сушилось мокрое, обвислое белье, сквозь острый горячий запах ветчины, шедший из кухни гостиницы миссис Литтлджон. Когда они дошли до конца проулка, показалась луна, почти полная, огромная, бледная, она совсем не светила с неба, на котором еще не померкли последние отблески дня. Сноупс стоял возле пустой коляски. Это была та самая коляска с блестящими колесами и бахромчатым верхом, в которой обычно ездили он сам и Билл Варнер. Техасец тоже остановился, глядя на нее.

— Так, так, — сказал он. — Значит, вот она такая.

— Если не нравится, поезжай обратно в Техас верхом на муле, — сказал Сноупс.

— Ладно, — сказал техасец. — Только уж тогда мне нужна пуховка или, на худой конец, мандолина.

Он осадил мулов, ввел их в оглобли и взял хомут. Два человека подошли и застегнули постромки. Все смотрели, как он садится в коляску и берет вожжи.

— Куда теперь? — спросил один. — Домой, в Техас?

— На этой колымаге? — сказал техасец. — Да в первом же техасском кабаке, только завидят ее, сразу созовут комитет бдительности. К тому же я не хочу, чтобы этакая красота пропадала зря в Техасе — этот кружевной верх и шикарные колеса. Раз уж я заехал так далеко, то заверну на денек-другой поглядеть северные города: Вашингтон, Нью-Йорк, Балтимору. Где тут у вас самая ближняя дорога на Нью-Йорк?

Этого никто не знал. Но ему объяснили, как доехать до Джефферсона.

— Так и езжай, все прямо, — сказал Фримен. — Держи по дороге, мимо школы.

— Ладно, — сказал техасец. — Смотрите же, не забудьте, этих лошадок надо почаще охаживать по башке, покуда они к вам не привыкнут. Тогда у вас не будет с ними никаких хлопот.

Он снова натянул вожжи. Сноупс подошел и сел в коляску.

— Подвези меня до дома Варнера, — сказал он.

— А я не знал, что поеду мимо его дома, — сказал техасец.

— Так тоже можно проехать в город, — сказал Сноупс. — Трогай.

Техасец дернул вожжи. Но вдруг он остановил мулов.

— Тпру, — он распрямил ногу и сунул руку в карман. — Ну-ка, малыш, — сказал он мальчику. — Беги в лавку и купи... Или, ладно, не надо. Я остановлюсь и куплю сам, мне все равно по пути. Ну, всего, друзья, — сказал он. — Не скучайте.

Он развернул мулов. Коляска покатила. Все глядели ей вслед.

— Похоже, что он решил подъехать к Джефферсону совсем не с того бока, — сказал Квик.

— Он доберется дотуда налегке, — сказал Фримен. — Так что ему не трудно будет подъехать с какого хочешь бока.

— Да, — сказал Букрайт. — В карманах у него не больно-то будет звенеть.

Они пошли обратно к загону меж двумя рядами терпеливых, неподвижных фургонов, по узкому проходу, в самом конце почти загороженному фургоном, где сидела женщина. Муж ее все еще стоял у ворот с мотком веревки, а тем временем спустилась ночь. Светло было почти по-прежнему; пожалуй, свет стал даже ярче, но приобрел неземную, потустороннюю, лунную яркость, и теперь, когда они снова стояли у загородки, пятнистые шкуры лошадей были ясно видны и даже как бы светились, но они сделались плоскими и похожими одна на другую, — это были уже не лошади, не существа из костей и мяса, и трудно было себе представить, что они способны бить и калечить, ранить и причинять боль.

— Ну, чего ж мы ждем? — сказал Фримен. — Покуда они спать лягут?

— Я думаю, надо каждому взять по веревке, — сказал Квик. — Эй вы, берите веревки.

Но веревка оказалась не у всех. Некоторые, выйдя утром из дому, даже не слышали о конских торгах. Они просто случайно заехали на Французову Балку, узнали об этом и остались.

— Сходите в лавку и купите, — сказал Фримен.

— Лавка уже закрыта, — сказал Квик.

— Нет, не закрыта, — сказал Фримен. — Иначе Лэмп Сноупс был бы здесь.

Пока те, кто привез с собой веревки, доставали их из фургонов, остальные пошли к лавке. Приказчик как раз запирает ее.

— Значит, вы еще не начали их ловить? — сказал он. — Вот здорово. А то я боялся, что не успею вовремя.

Он снова отпер дверь, из которой пахло застарелыми, острыми запахами сыра, кожи и патоки, отмерил куски веревки, и они всей гурьбой, окружив приказчика, пошли назад, говоря без умолку, хотя он их и не слушал. Груша у гостиницы миссис Литтлджон была словно отлита из лунного серебра, пересмешник, тот же самый или другой, уже пел на ней, а к загородке были привязаны лошади с бричкой Рэтлифа.

— То-то мне весь день чего-то не хватало, — сказал один. — А это Рэтлифа не было, не слышать было его советов.

Когда они проходили мимо загородки, миссис Литтлджон на заднем дворе снимала белье с веревки; запах ветчины еще стоял в воздухе. Остальные ждали у ворот, за которыми лошади снова сбились в кучу, похожие на призрачных рыб, плавающих в ярком неверном свете луны.

— Пожалуй, верней всего ловить их по одной, — сказал Фримен.

— По одной, — сказал и Генри. Он, видимо, не сходил с места с тех самых пор, как техасец вывел своих мулов из загона, только положил руки на створку ворот, одной рукой все еще сжимая моток веревки. — По одной, — сказал он. И стал ругаться хрипло, монотонно, устало. — После того как я простоял здесь целый день, дожидаясь, покуда этот... — он скверно выругался. Потом начал трясти ворота с усталой яростью, пока кто-то не отодвинул засов, и тогда ворота распахнулись, и Генри вошел в загон, а за ним все остальные. Мальчик не отставал от отца, но Эк заметил его и обернулся.

— Ну-ка, — сказал он. — Дай сюда веревку. А сам ступай за ворота.

— Ну-у, па! — сказал мальчик.

— Нет, брат. Они тебя затопчут. И так уж чуть не затоптали нынче утром. Стой у ворот.

— Но ведь нам надо двух поймать.

Эк постоял немного, глядя на мальчика.

— Верно, — сказал он. — Нам надо двух. Ладно, идем, только не отставай от меня. И когда я крикну «беги», ты беги. Слышишь?

— Встаньте цепью, ребята, — сказал Фримен. — Не давайте им прорваться.

Они двинулись через загон широкой подковой, каждый с веревкой в руке. Лошади были теперь в дальнем конце загона. Одна тревожно всхрапнула; весь табун заволновался, но остался на месте. Фримен оглянулся и увидел мальчика.

— Уберите отсюда мальчишку, — сказал он.

— И впрямь, иди-ка ты отсюда, — сказал Эк сыну. — Полезай вон в тот фургон. Оттуда тебе все будет видно.

Мальчик повернулся и побежал к навесу, под которым стоял фургон. Цепочка людей медленно продвигалась по загону, и Генри шел впереди всех.

— А теперь не зевай, — сказал Фримен. — По-моему, лучше нам сперва загнать их в конюшню...

Лошади вдруг сорвались с места. Они пустились бежать в обе стороны вдоль загородки. Люди по концам подковы тоже побежали, крича и размахивая руками.

— Заходи наперерез, — сказал Фримен срывающимся голосом. — Гони их назад.

Они заставили лошадей повернуть назад и снова погнали их впереди себя; лошади сгрудились и метались отчаянно, создавая призрачную и суевлившую неразбериху.

— Держите их, — сказал Фримен. — Не давайте им удрать.

Люди снова двинулись вперед. Эк обернулся; он сам не знал, что его заставило это сделать — какой-то звук или что-нибудь еще. Мальчик опять шел за ним по пятам.

— Тебе что сказано? Ступай в фургон и сиди там, — сказал Эк.

— Гляди, па? — сказал мальчик. — Вон она, наша! Вона! — Это была лошадь, которую техасец подарил Эку. — Поймай ее, па!

— Не путайся под ногами, — сказал Эк. — Ступай в фургон.

Цепь не останавливалась. Лошади кружились на месте и все теснее жались в кучу, шаг за шагом оттесняемые к открытым воротам конюшни. Генри по-прежнему шел впереди, чуть пригнувшись, и его тощая фигура даже в неверном свете луны излучала все ту же обессиленную ярость. Пятнистая куча лошадей откатывалась перед наступающими людьми, как снежный ком, толкаемый невидимой рукой, все ближе и ближе к черному зеву конюшни. Как потом стало ясно, лошади, не сводившие глаз с людей, только тогда поняли, что их гонят к конюшне, когда, пытаясь, вступили в ее тень. Вопль неопишуемой ярости вырвался из их гущи, и они ринулись вперед, отчаянные и сеющие отчаяние; один лишь миг, застыв в безмолвном ужасе, люди смотрели на них, а потом повернулись и побежали, а цветная волна длинных свирепых морд и пятнистых грудей настигла и разметала их, совершенно поглотив Генри и мальчика, которые застыли на месте, только Генри поднял обе руки, все еще сжимая веревку, а потом схлынула, и лошади пронеслись через загон прямо к воротам, которые тот, кто вошел последним, забыл запереть и оставил приотворенными, вломились в них, сорвав створы с петель, и понеслись среди запрудивших улицу фургонов и запряженных лошадей, которые тоже заволновались, вставая на дыбы и грызя постромки и дышла. Эта бешеная лавина промчалась по улице, забурлила, обтекая тот фургон, где сидела женщина, и понеслась дальше, на дорогу, где, разделившись надвое, стремительно ринулась в разные стороны.

Все, кроме Генри, вскочили на ноги и побежали к воротам. Мальчик снова остался невредим, его даже не сбили с ног; отец схватил его, приподнял над землей и стал трясти, как тряпичную куклу.

— Сказано тебе было, сиди в фургоне! — кричал Эк. — Сказано тебе!

— Гляди, па! — выкрикивал мальчик между встрясками. — Вон наша лошадка! Вона!

Это снова была та лошадь, которую техасец подарил Эку. О второй они не вспоминали, ее словно и не было вовсе; как будто кровь, которая текла в жилах у обоих, властно и мгновенно заставила их забыть о той лошади, за которую они уплатили деньги. Они бросились к воротам и побежали вслед за другими. Они видели, как лошадь, подаренная техасцем, вдруг повернула назад, вбежала через ворота во двор миссис Литтлджон, одним махом вскочила на крыльцо, вломилась на деревянную веранду и исчезла внутри дома. Эк и мальчик вбежали на веранду. На столе, прямо за дверью, стояла лампа. В ее мягком свете они видели, как лошадь, словно шутиха, заполнила собой весь длинный коридор, разноцветная, неистовая, грозная. В дальнем углу прихожей стояла желтая лакированная фисгармония. Лошадь налетела на нее; фисгармония издала один звук, почти аккорд, низкий, звучный и торжествующий, полный глубокого и сдержанного удивления; лошадь снова круто повернула и вместе со своей огромной, причудливой тенью исчезла в другой двери. Это была спальня; там, спиной к двери, стоял Рэтлиф в нижнем белье и в одном носке, держа другой в руках и высунувшись в открытое окно, выходившее к загону. Он обернулся через плечо. Одно мгновение он и лошадь таращили друг на друга глаза. Потом Рэтлиф выпрыгнул в окно, а лошадь попятилась из комнаты назад в коридор, повернулась и увидела Эка с мальчиком — они как раз вбежали с веранды, и в руках у Эка была веревка. Она снова повернулась и, пробежав по коридору, выскочила на заднее крыльцо, куда в этот миг поднималась миссис Литтлджон, неся охапку белья, снятого с веревки, и стиральную доску.



— Пошла вон, сукина дочь, — сказала она и ударила доской по длинной ошалевшей морде; доска развалилась на две аккуратные половинки, а лошадь ринулась назад по коридору, где теперь стояли Эк и мальчик.

— Прячься, Уолл! — заревел Эк.

Он бросился на пол ничком, прикрывая голову руками. Мальчик остался на месте, и в третий раз лошадь пронеслась над ним, а он даже не пригнулся, даже не сморгнул, и снова выскочила на веранду, и в тот же миг там появился Рэтлиф, все еще с носком в руке, он обежал вокруг дома и поднялся на крыльцо. Лошадь повернула на всем скаку и, пробежав веранду, перемахнула через перила и вырвалась на свободу, мелькнув в свете луны, словно какая-то страшная нежить. Она спрыгнула в загон и, не останавливаясь, поскакала дальше через сорванные с петель ворота, меж опрокинутых фургонов, среди которых один стоял невредимый, и в нем по-прежнему сидела жена Генри, а оттуда на дорогу.

В четверти мили от перекрестка дорога пошла под уклон, белея в свете луны меж лунными тенями придорожных деревьев, а лошадь все скакала, стараясь настичь и втоптать в пыль свою тень, вниз, к мосту через ручей. Мост был деревянный и узенький — едва впору проехать одной повозке. Когда лошадь добежала до ручья, по мосту ей навстречу ехал фургон, запряженный парой мулов, которые дремали на ходу, убаюканные неторопливым движением. На козлах сидел Талл с женой, а на плетеных стульях — их четыре дочери: они возвращались от кого-то из родственников миссис Талл, где провели весь день и загостились допоздна. Лошадь не остановилась, не свернула в сторону. Она вломила прямо на мост и втиснулась между мулами, которые мигом проснулись и рванули в разные стороны, а лошадь, как очумевшая белка, уже лезла прямо по дышлу и скребла передними копытами передок фургона, словно хотела забраться в него, а Талл орал и лупил ее по морде кнутом. Мулы старались развернуть фургон посреди моста. Фургон подался вбок, круто накренился, перила обломились с громким треском, заглушившим вопли женщин; лошадь наконец подмяла под себя одного из мулов, а Талл, встав в фургоне, саданул ее в морду каблуком. Тут передок фургона взлетел вверх, и Талл, который крепко, несколько раз накрутил вожжи на руку, грохнулся на дно фургона среди перевернутых стульев и задранных юбок женщин. Лошадь вырвалась на волю и поскакала дальше, круша деревянный настил. Фургон снова накренился; мулы все-таки развернули его на мосту, хотя развернуть его было негде, и теперь били копытами, обрывая постромки. Освободившись, они выволокли Талла из фургона. Он ударился лицом о доски, и мулы протащили его несколько футов, покуда не лопнули накрученные на руку вожжи. А лошадь тем временем исчезла из виду, оставив далеко позади обезумевших мулов. Пять женщин еще причитали над бесчувственным телом Талла, когда подросли Эк, все не выпускавший из рук веревку, и мальчик. Эк тяжело дышал.

— Куда она побежала? — спросил он.

А в опустевшем, залитом лунным светом загоне жена Генри, миссис Литтлджон, Рэтлиф, приказчик Лэмп Сноупс и еще три человека подняли Генри с изрытой копытами земли и перенесли на задний двор. Лицо у него побелело и застыло, глаза были закрыты, голова тяжело свесилась вниз, кадык торчал, оскаленные зубы тускло поблескивали. Они понесли его к дому мимо высоких деревьев, тень которых полосами ложилась на землю. Сквозь дремотную, серебристую тишину ночи донесся слабый шум, словно раскат дальнего грома, и затих.

— Это которая-нибудь из них на мосту, — сказал один из мужчин.

— Это лошадь Эка Сноупса, — сказал другой. — Та, что забежала в дом.

Миссис Литтлджон первой вошла в прихожую. Когда внесли Генри, она уже взяла со стола лампу и, высоко подняв ее, стояла у открытой двери.

— Несите его сюда, — сказала она. Она прошла вперед и поставила лампу на тумбочку. Они последовали за ней, пыхтя и тесня друг друга, и положили Генри на кровать, а миссис Литтлджон подошла и взглянула на умиротворенное бескровное лицо Генри. — Ну и дела, — сказала она. — Эх вы, мужчины, — они чуть попятись, теснясь, переминаясь с

ноги на ногу, не глядя ни на нее, ни на жену Генри, которая стояла в ногах кровати, неподвижная, сложив руки под передником. — Пусть все выйдут отсюда, В. К., — сказала миссис Литтлджон Рэтлифу. — Ступайте на двор. Поглядите, не найдется ли там другой игрушки, такой, чтоб уколошила еще кого-нибудь из вас.

— Ладно, — сказал Рэтлиф. — Идем, ребята. Здесь в доме уже ловить некого.

Все пошли за ним к двери на цыпочках, наступая друг другу на ноги, и их огромные тени ползли по стене.

— Ступайте позовите Билла Варнера, — сказала миссис Литтлджон. — Скажите, мул занемог.

Они вышли, не оглядываясь. На цыпочках прошли коридор, веранду и окунулись в море лунного света. Только теперь они заметили, что серебристый воздух словно бы пронизан слабыми, неизвестно откуда исходящими звуками — тонкие и далекие крики, потом снова стук копыт на деревянном мосту, похожий на дальний гром, и снова крики, слабые, тонкие, взволнованные и звонкие, как колокольчики. Один раз можно было даже расслышать слова: «Тпру. Держи ее».

— Быстро она через этот дом пробежала, — сказал Рэтлиф. — Теперь, наверное, зашла в гости к другой хозяйке, — позади них, в доме, громко закричал Генри. Они оглянулись назад, в темноту прихожей, куда из двери спальни падал прямоугольник света, и услышали, как крик перешел в хриплый, одышливый стон: «А-а, а-а, а-а», — на все более высокой ноте, а потом стон снова перешел в крик. — Идем, — сказал Рэтлиф. — Надо позвать Варнера, — и они гурьбой пошли по дороге, выбеленной лунным светом, сквозь трепетную апрельскую ночь, пронизанную журчанием бродящих соков, влажным шорохом лопающихся почек, несмолкающими, тонкими, тревожными криками и короткими, замирающими раскатами копыт. В доме Варнера было темно, в свете луны он казался тусклым и плоским. Они стояли темной кучей посреди поблескивавшего серебром двора и кричали под темными окнами до тех пор, пока в одном не показалась чья-то фигура. Это была жена Флема Сноупса. Она была вся в белом, и на этом фоне ее тяжелая коса казалась почти черной. Она не высунулась наружу, а просто стояла у окна, вся в лунном свете, как видно ослепленная им, во всяком случае, вниз она не глядела — тяжелые, золотые волосы, на лице — не трагическое и даже, пожалуй, не обреченное выражение, а просто печаль проклятия; плавные округлости крепких грудей выступали под мраморно-белыми складками одежды; какой Брунгильдой, какой Лорелеей на фальшивой скале из папье-маше, какой Еленой, вернувшейся в призрачный, обманный Аргос<sup>40</sup>, никого не ждущей, казалась она стоявшим внизу. — Добрый вечер, миссис Сноупс, — сказал Рэтлиф. — Мы пришли за дядюшкой Биллом. Генри Армстид ранен, он у миссис Литтлджон.

Она исчезла. Мужчины ждали в лунном сиянии, прислушиваясь к слабым, далеким крикам и возгласам, пока не вышел Варнер, который появился быстрее, чем они ожидали, накинув пальто поверх ночной рубашки и на ходу застегивая штаны, а подтяжки двумя петлями болтались под полами пальто. Он нес потертый чемодан с похожими на паяльники инструментами, которыми он вливал лекарства, резал, пускал кровь и вскрывал нарывы или рвал зубы лошадям и мулам; он сошел с крыльца, худой и нескладный, и его хитрое, жестокое лицо чуть насторожилось, когда и он прислушался к слабым, звонким крикам, которыми был пронизан серебристый воздух.

---

<sup>40</sup> *Брунгильда* — героиня германско-скандинавской мифологии и эпоса. В немецкой «Песни о Нибелунгах» — дева-воительница, правящая сказочной страной Исландией; к ней сватается Гунтер, который становится ее мужем при помощи Зигфрида, выдержавшего за него все брачные испытания и лишившего деву невинности. *Лорелея* — водяная нимфа Рейна, живущая на одноименной скале и увлекающая моряков своим волшебным пением. Легенда о ней не имеет фольклорных источников и восходит к произведениям немецких романтиков (К. Брентано, Г. Гейне и др.). Аллюзия на миф о *Елене Прекрасной* здесь неточна, поскольку Елена после Троянской войны возвратилась не в Аргос, а в Спарту. С Аргосом связан другой миф — об убийстве царя Агамемнона его неверной женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом.

— Что они, все травят этих своих кроликов? — сказал он.

— Да, кроме Генри Армстида, — сказал Рэтлиф. — Этот уже свое получил.

— Ха, — сказал Варнер. — Это ты, В. К.? Сам-то много ли накупил?

— Я опоздал, — сказал Рэтлиф. — Никак не мог поспеть вовремя...

— Ха, — сказал Варнер. Они вышли за ворота и зашагали по дороге. — Что ж, ночь сегодня ясная и прохладная, для охоты в самый раз, — луна теперь светила прямо над головой — жемчужно-дымчатая, она сияла над бледными звездами и меж бледных звезд, в мягком небе, которое медленно, виток за витком, свертывалось по краям. Они шли тесной гурьбой, топча свои тени на мягкой дорожной пыли и тени распускавшихся деревьев, кроны которых летели к бледному небу, вонзаясь в него красивыми острыми верхушками. Они миновали темную лавку. Потом впереди показалась груша. Она высилась в туманной серебристой неподвижности словно застывший снежный каскад; пересмешник все пел на ее ветке. — Поглядите на эту грушу, — сказал Варнер. — Видать, богато уродит в нынешнем году.

— Да и кукуруза тоже, — сказал один.

— Такая луна хороша для всякого плода, — сказал Варнер. — Помню, как мы с миссис Варнер ждали рождения Юлы. У нас уже была тогда целая куча детишек, и, может, лучше бы на этом и успокоиться. Но я хотел еще дочерей. Старшие повыскочили замуж и разъехались, а мальчишки, те едва подрастут и становятся хоть на что-нибудь годны, глядишь, работать и не думают, некогда им. Знай сидят возле лавки да языки чешут. А девчонка останется и будет работать, покуда замуж не выйдет. Одна старуха сказала раз моей матушке, что ежели женщина, как затяжелеет, покажет живот полной луне, то будет девочка. Ну, миссис Варнер и лежала каждую ночь под луной с голым животом, покуда не понесла, да и потом тоже. А я приложу ухо и слышу, как Юла там брыкается и ворочается, как дьяволенок, луну, значит, чувствует.

— Вы думаете, это и взаправду луна помогала, дядюшка Билл? — спросил кто-то.

— Ха, — сказал Варнер. — Можете попытать сами. Мало, что ли, баб, которые подставляют голый живот луне, или солнцу, или даже просто вашим рукам, чтобы вы их лапали, и очень даже может статься, что малость погода там появится кое-что, и можно будет приложить ухо и послушать, ежели только вы сами к тому времени не зададите дёру. Как по-твоему, В. К.?

Кто-то засмеялся.

— Меня не спрашивайте, — сказал Рэтлиф. — Я всюду опаздываю, даже лошадь по дешевке купить и то не успел.

На этот раз засмеялись двое или трое. Но, услышав хриплые стоны Генри: «А-а! А-а! А-а!», они резко оборвали смех, словно не ожидали этого. Варнер шел впереди, худой, волоча ноги, но быстрым шагом, хотя все еще прислушивался, склонив голову, к слабым, тревожным, неумолчным крикам, которые неслись сквозь серебристое сияние неведомо откуда, по временам почти мелодичные, словно замирающий звон колокольцев; снова слышался короткий, частый грохот копыт по деревянным доскам.

— Еще одна лошадь на мосту, — сказал кто-то.

— Ну что ж, хозяйева, видно, хоть так расходы окупят, — сказал Варнер. — Хоть порезвятся за свои деньги, и то развлечение. Взять, к примеру, человека, у которого целый год нет других развлечений, кроме как разбрасывать навоз по полю. Ежели он еще не так стар, чтобы спокойно спать на своей кровати, но не так молод, чтобы, как блудливый кот, лазить в чужие окна, в такую ночь развлечение вроде этого ему в самую пору. По крайности, завтра ночью будет спать как убитый, ежели только к тому времени попадет домой. Кабы знать заранее, можно было бы натаскать на лошадей свору собак. Устроили бы тогда настоящую охоту.

— Конечно, все зависит от того, как на это взглянуть, — сказал Рэтлиф. — Право же, Букрайту, и Квику, и Фримену, и Эку Сноупсу, и всем другим новоиспеченным лошадиникам было бы все равно как маслом по сердцу, ежели б их выучить так смотреть на дело, потому

что скорей всего ни одному из них это просто не приходит в голову. Сдается мне, никто из них уже не надеется излечиться от техасской болезни, которую занесли сюда этот Дик Вырви Глаз и Флем Сноупс.

— Ха, — сказал Варнер. Он отворил ворота и вошел во двор гостиницы миссис Литтлджон. Тусклый свет все еще падал в прихожую из дверей спальни; там, не умолкая, стонал Армстид: «А-а! А-а! А-а!» — У всякой лекарки свои припарки, только от смерти излечить нельзя.

— Даже если лечить загодя, — сказал Рэтлиф.

— Ха, — снова сказал Варнер. Остановившись, он быстро оглянулся на Рэтлифа. Но его блестящие колючие глазки не были видны; виднелись только косматые, низко нависшие брови, которые застыли резким изломом, насупленные сосредоточенно, но не хмуро, а с какой-то едкой насмешкой. — Даже если лечить загодя. А уж если дышать больше неумогу, значит, твоему векселю срок вышел.

А на второй день, в девять часов утра, на галерее лавки сидели на скамейке или на корточках пятеро мужчин. Шестым был Рэтлиф. Он говорил стоя:

— Может, в ту ночь, как говорит Эк, в гостинице у миссис Литтлджон и вправду была всего одна лошадь. Но тогда это был самый большой табун из одной лошади, какой мне доводилось видеть. Она была у меня в комнате и на крыльце веранды, и в то же самое время я слышал, как миссис Литтлджон огрела ее по башке стиральной доской на заднем дворе. И все же она удрала от всех и отовсюду. Я так думаю, что техасец это самое и имел в виду, когда говорил, что нам от них прямая выгода: надо быть черт знает каким невезучим, чтобы суметь подойти к которой-нибудь из них близко и получить удар копытом.

Засмеялись все, кроме Эка. Он и его сын ели. Поднявшись на галерею, Эк сразу зашел в лавку, вынес оттуда бумажный пакет, достал из него кусок сыра, аккуратно разрезал сыр перочинным ножом на две равные части, дал одну мальчику, потом вынул из пакета пригоршню галет и тоже дал мальчику, и теперь они сидели рядом на корточках у стены, похожие друг на друга как две капли воды, только один побольше, а другой поменьше, и ели.

— Интересно, что эта лошадь подумала о Рэтлифе? — сказал один. Во рту он держал персиковую веточку. На ней было четыре цветка, точь-в-точь крошечные балетные юбочки из пунцового тюля. — Выпрыгнул в окно в одной рубашке и снова вбежал через дверь. Интересно, сколько Рэтлифов она видела?

— Не знаю, — сказал Рэтлиф. — Но если она видела хоть в половину столько Рэтлифов, сколько я лошадей, она была в осаде, ей же богу. Куда ни гляну, отовсюду эта тварь кидается на меня или крутится волчком, чтобы после еще разок перемахнуть через мальчишку. А мальчишка каков, один раз он простоял прямо под ней ровно полторы минуты по часам, даже не пригнув головы, и глазом не сморгнул. Да, братцы, когда я обернулся и увидел в дверях этого зверя с горящими глазами, я готов был бы поклясться, что Флем Сноупс привез из Техаса тигра, если б не знал, что один тигр никак не может занять всю комнату, — они снова тихо засмеялись. Лэмп Сноупс, приказчик, сидя на единственном стуле в дверях лавки и загораживая вход, вдруг фыркнул.

— Знай Флем, как быстро вы, ребята, расхватаете его лошадей, он и впрямь привез бы парочку тигров, — сказал он. — Да и обезьян тоже бы прихватил.

— Так, значит, это Флемовы лошади, — сказал Рэтлиф.

Смех смолк. Остальные трое от нечего делать строгаги складными ножами палочки и щепки. Теперь все их внимание, казалось, было поглощено ловким и почти механическим движением ножей. Приказчик быстро поднял голову и поймал пристальный взгляд Рэтлифа. Всегдашняя недоверчивая ухмылка теперь исчезла с его лица; остались только неподвижные морщины вокруг рта и глаз.

— Да разве Флем говорил, что лошади его? — сказал он. — Только вы, городские, умнее нас, деревенских. Похоже что вы наперед знаете мысли Флема.

Но Рэтлиф уже не смотрел на него.

— И все-таки мы их всех раскупили, — сказал он. Теперь он снова смотрел на



сидевших сверху, умный, спокойный, пожалуй, чуть хмурый, но по-прежнему совершенно непроницаемый. — Вот Эк, к примеру. Ему надо кормить жену и детей. Он купил двух лошадок, хотя, как вы знаете, уплатил только за одну. Говорят, люди ловили этих зверюг вчера до полуночи, а Эк с сыном и вовсе два дня не были дома.

Все, кроме Эка, снова засмеялись. Эк отрезал кусок сыра, поддел его кончиком ножа и отправил в рот.

— Эк одну поймал, — сказал еще кто-то.

— В самом деле? — сказал Рэтлиф. — Которую же, Эк? Дареную или купленную?

— Дареную, — сказал Эк, прожевывая сыр.

— Так, так, — сказал Рэтлиф. — А я и не знал. Но все-таки одной лошади Эку не хватает. Как раз той, за которую деньги плачены. А это верное доказательство, что лошади не Флемовы, — кто же всучит своему родичу то, что и поймать невозможно?

Они снова засмеялись, но сразу же смолкли, как только заговорил приказчик. Голос его звучал совсем невесело.

— Послушай, — сказал он. — Пусть так. Мы не спорим, что ты умнее нас всех. Ты не покупал лошади ни у Флема, ни у кого другого, а ежели так, не твое это дело, и не лучше ли будет на этом покончить.

— Конечно, — сказал Рэтлиф. — На этом и покончили позавчера вечером. По милости того, кто забыл запереть ворота. Все, кроме Эка. Оно и понятно: ведь мы знаем, что эта лошадь не была Флемова, потому что досталась Эку задаром.

— И, кроме Эка, есть еще такие, которые по сю пору дома не были, — сказал человек с веточкой во рту. — Букрайт и Квик все гоняются за своими лошадами. Вчера в восемь вечера их видели в Бертсборо<sup>41</sup>, в трех милях от Старого Города. А лошадь неизвестно чья, она их и близко не подпускает.

— Конечно, — сказал Рэтлиф. — С той самой секунды, как кто-то оставил ворота открытыми, только одного из этих лошадиников и можно сыскать без ищеек — Генри Армстида. Он лежит у миссис Литтлджон, оттуда и загон виден, так что когда его лошадь воротится, ему надо будет только крикнуть жене, чтобы та выбежала с веревкой и обротала ее... — он запнулся, но лишь на мгновение, и тут же сказал: «Доброе утро, Флем», — не меняя тона, так что заминка прошла незамеченной. Все, кроме приказчика, который вскочил, уступая стул с подобострастной поспешностью, и Эка с сыном, продолжавших есть, смотрели в пол, мимо своих неподвижных рук, а Сноупс в серых штанах, крошечном галстуке и новой клетчатой кепке взошел на крыльцо. Он жевал; в руке он держал наготове белую сосновую дощечку; он кивнул, ни на кого не глядя, сел на стул, открыл нож и принялся строгать свою дощечку. Приказчик прислонился к косяку по другую сторону двери, почесывая спину. На лице его снова появилась недоверчивая ухмылка, в которой чувствовалась тайная настороженность.

— Ты пришел в самое время, — сказал он. — Рэтлиф тут ломает себе голову над тем, чьи же все-таки эти лошади, — Сноупс старательно провел ножом по дощечке, и под лезвием закурчавилась аккуратная, тонкая стружка. Принялись строгать и остальные, пристально глядя куда-то мимо, все, кроме Эка и мальчика, которые еще ели, и приказчика, который чесал спину о дверной косяк и пристально, с той же тайной настороженностью, глядел на Сноупса. — Может, ты его успокоишь.

Сноупс повернул голову и сплюнул через всю галерею, прямо на землю у крыльца. Он наставил нож и повел новую стружку.

— Он сам был здесь, — сказал Сноупс. — И знает столько же, сколько все.

Приказчик захихикал, все лицо его, словно скомканное невидимой рукой, стянулось к носу. Он хлопнул себя по ляжке.

— Что, съел? — сказал он. — Куда тебе против него.

---

<sup>41</sup> *Бертсборо* — вымышленное название города.

— Пожалуй что так, — сказал Рэтлиф. Он стоял ни на кого не глядя, устремив непроницаемый сосредоточенный взгляд на пустую дорогу за домом миссис Литтлджон. Неизвестно откуда, словно из-под земли, появился неуклюжий паренек в комбинезоне, из которого он давно вырос. Он постоял немного на дороге, так близко от них, что с галереи до него можно было доплюнуть, нерешительно, словно и впрямь вырос из-под земли и сам не знает, куда пойдет, когда сдвинется с места, и ему это безразлично. Он не глядел ни на что и, уж во всяком случае, не глядел на галерею, и с галереи на него никто не взглянул, кроме мальчика, который смотрел на него серьезно и пристально своими голубыми глазами, поднеся ко рту надкушенную галету. Паренек чуть враскачку пошел дальше по дороге в своем тесном комбинезоне и скрылся за углом лавки, а мальчик на галерее провожал его взглядом поворачивая вслед свою круглую голову с немигающими глазами. Потом он откусил еще кусочек галеты и стал жевать. — Правда, остается еще миссис Талл, — сказал Рэтлиф. — Должно быть, она подаст на Эка в суд, захочет с него возмещение взыскать за то, что Талл покатился на мосту. Ну а Генри Армстид...

— Ежели у человека не хватает ума побережись, пусть на себя пеняет, — сказал приказчик.

— Конечно, — сказал Рэтлиф все тем же задумчивым, отсутствующим тоном, едва повернув голову. — А с Генри Армстидом все в порядке, потому что, насколько я понял из нашего сегодняшнего разговора, лошадь, которую он считал своей, уже не принадлежала ему, когда уехал этот техасец. Ну а от сломанной ноги ему убыток невелик, потому что жена и сама прекрасно может засеять поле.

Приказчик перестал чесать спину о дверной косяк. Он смотрел в затылок Рэтлифу, не мигая, спокойно и пристально; потом взглянул на Сноупса, который все жевал, следя, как курчавится новая стружка, и снова уставился Рэтлифу в затылок.

— Ей не впервой засеять ихнее поле, — сказал человек с веточкой во рту. Рэтлиф взглянул на него. — Уж кто-кто, а ты это знаешь. Сколько раз я видел, как ты пахал их поле, Генри-то это всегда было не по силам. Сколько дней ты уже проработал на них в этом году? — он вынул веточку, осторожно сплюнул и снова прикусил ее зубами.

— Пахать-то она умеет не хуже моего, — сказал другой.

— Не везет им, — сказал третий. — А раз не везет, тут уж как ни вертись — все одно.

— Ну конечно, — сказал Рэтлиф. — Только и слышишь, как лень называют невезением, что ж, может, оно и в самом деле так.

— Он не лентяй, — сказал третий. — Когда года четыре назад у них пал мул, они впряглись в плуг вместе со вторым мулом и пахали на себе. Нет, они не лентяи.

— Ну, когда так, прекрасно, — сказал Рэтлиф, снова глядя на пустую дорогу. — Она, верно, сразу и возьмется кончать пахоту. Старшая дочка у них уже довольно подросла, чтобы ходить с мулом в упряжке, верно? Или, по крайности, чтобы ходить за плугом, покуда миссис Армстид станет пособлять мулу? — он снова взглянул на человека с веточкой во рту, словно ожидая ответа, но тот не глядел на него, и он продолжал говорить без умолку. Приказчик стоял, прижавшись спиной к косяку, словно вот-вот снова начнет чесаться, и теперь уже совсем мрачно, не мигая, глядел на Рэтлифа. Если бы Рэтлиф посмотрел на Флема Сноупса, то ничего бы не увидел под низко надвинутым козырьком кепки, кроме непрестаннодвигающихся челюстей. Стружка все так же аккуратно и неторопливо вилась из-под ножа. — Ей теперь время просто девать некуда, потому что она как перемоеет у миссис Литтлджон посуду и подметет в комнатах, чтобы отработать харчи за себя и за Генри, ей остается только подоить дома скотину и настрять еды, чтобы детям хватило и на завтра, а потом накормить их, уложить младших спать и обождать на крыльце, покуда старшая запрет дверь на засов и ляжет в кровать, положив рядом с собой топор...

— Топор? — сказал человек с веточкой.

— Ну да, девчонка кладет с собой в постель топор. Ей ведь всего двенадцать лет, а у нас тут сейчас полным-полно неловленных лошадей, к которым Флем Сноупс никакого отношения не имеет, ну и, понятное дело, она не уверена, что сможет отбиться просто

стиральной доской, как миссис Литтлджон... Ну а потом она идет назад, мыть посуду после ужина. А уж после этого ей нечего делать до самого утра, кроме как сидеть и ждать, может, Генри ее позовет, а чуть свет надо наколоть дров и стряпать завтрак, а потом помочь миссис Литтлджон вымыть посуду, застелить кровати и подмести пол, да все время поглядывать на дорогу. Потому что каждую минуту может вернуться Флем Сноупс откуда-то, куда он ездил после торгов, а ездил он, конечно, в город вызволять своего двоюродного брата, у которого кое-какие неприятности с законом, и тогда она получит свои пять долларов. «Но только вдруг он их не отдаст», — говорит она, и миссис Литтлджон, кажется, тоже так думает, потому что знает помалкивает в ответ. Я слышал, как она...

— А сам-то ты где был в это время? — сказал приказчик.

— Подслушивал, — сказал Рэтлиф. Он поглядел на приказчика и снова отвернулся, стал ко всем почти спиной. — ...так вот, я слышал, как она гремела тарелками, складывая их в таз, словно швыряла их туда со всего размаху. «Как вы думаете, — говорит миссис Армстид, — отдаст он их мне? Этот техасец отдал их ему и сказал, что я могу их получить. Все видели, как он отдал деньги мистеру Сноупсу, и слышали, как он сказал, что завтра я могу их получить у мистера Сноупса». А миссис Литтлджон все моет тарелки, и моет-то как мужчина, будто они из железа сделаны. «Нет, говорит. Но все же попробуйте, попытка не пытка». — «Если он не отдаст, зачем и пытаться», — говорит миссис Армстид. «Как знаете, — говорит миссис Литтлджон. — Деньги-то ваши, не мои». А потом несколько времени ничего не слышать было, только тарелки звенели. «Вы думаете, он, может, и отдаст? — говорит миссис Армстид. — Этот техасец сказал, что отдаст. Все слышали». — «Что ж, идите просите у него», — говорит миссис Литтлджон. И снова ничего не слышать, только тарелки звенят. «Не отдаст он», — говорит миссис Армстид. «Что ж, — говорит миссис Литтлджон. — Тогда не ходите». И опять только тарелки звенят. Видно, обе мыли посуду, в двух тазах. «Так вы думаете, он не отдаст?» — говорит миссис Армстид. Миссис Литтлджон молчит, ни слова. Звон стоял такой, словно она швыряла тарелки одну на другую. «Может, мне пойти спросить у Генри», — говорит миссис Армстид. «На вашем месте я бы так и сделала, — говорит миссис Литтлджон. И провалиться мне на этом месте, звон был такой, будто она держала в каждой руке по тарелке и колотила ими одна о другую, как колотят медными крышками от кастрюль в оркестре. — Генри тогда купит на эти пять долларов другую лошадь. Может, на этот раз ему попадет такая, что убьет его до смерти. Будь я в этом уверена, я бы выложила ему эти деньги из собственного кармана». — «Я, пожалуй, спрошу сперва у него», — говорит миссис Армстид. А потом пошел такой грохот, будто миссис Литтлджон схватила тазы и вместе с тарелками швырнула на плиту...

Рэтлиф замолчал. Приказчик шипел у него за спиной:

— Тсс! Тсс! Флем. Флем!

Он умолк, и все увидели, как подошла миссис Армстид, поднялась на крыльцо, тощая, в мешковатой серой одежде и грязных шлепанцах, тихо шаркая по ступеням. Она прошла через галерею и остановилась прямо перед Сноупсом, ни на кого не глядя и спрятав руки под фартуком.

— Он тогда сказал, что не продавал Генри эту лошадь, — сказала она ровным, безжизненным голосом. — Сказал, что деньги у вас и я могу их получить, — Сноупс поднял голову, слегка повернул ее и ловко плюнул мимо женщины, через всю галерею, на дорогу.

— Он увез все деньги с собой, — сказал он.

Миссис Армстид, не двигаясь, в серой одежде, которая висела на ней твердыми, почти рельефными складками, словно отлитая из бронзы, казалось, разглядывала что-то у ног Сноупса, будто не слыша его слов или будто, едва замолчав, она покинула свое тело, и хотя тело слышало, восприняло слова, они не имеют ни содержания, ни смысла, пока она не вернется. Приказчик опять чесал спину о косяк, глядя на женщину. Мальчик тоже глядел на нее своим ясным немигающим взглядом, остальные на нее не смотрели. Человек с веточкой вынул ее, сплюнул и сунул обратно в рот.

— Он сказал, что Генри никакой лошади не покупал, — сказала она. — Он сказал, что я

могу получить деньги у вас.

— Видно, он позабыл, — сказал Сноупс. — Он увез все деньги с собой.

Он поглядел на нее еще мгновение, потом снова склонился над своей дощечкой. Приказчик тихонько терся спиной о дверь, глядя на женщину. Немного погодя миссис Армстид подняла голову и поглядела на дорогу, которая бежала вдаль, устланная мягкой весенней пылью, мимо гостиницы миссис Литтлджон, потом в гору, мимо еще не цветущей (это будет потом, в июне) рощи акаций, что по ту сторону дороги, мимо школы, чья облупившаяся крыша торчала над садом среди груш и персиков, словно улей, вокруг которого роятся красно-белые пчелы, и все выше, на холм, где среди сверкающих мраморных надгробий стояла церковь под сенью величественных можжевельниковых деревьев, в листве которых в долгие летние дни порхали тоскующие голуби. Она пошла прочь; резиновые подошвы снова зашаркали по трухлявым доскам.

— Наверно, пора обед собирать, — сказала она.

— Как нынче Генри, миссис Армстид? — спросил Рэтлиф. Она остановилась, взглянула на него, и ее пустые глаза на миг оживились.

— Большое спасибо, он спит, — сказала она. Потом глаза снова потухли, и она пошла дальше. Сноупс встал со стула, защелкнул большим пальцем нож и смахнул со штанов стружки.

— Обождите-ка, — сказал он.

Миссис Армстид снова остановилась, боком к галерее, но все не глядя ни на Сноупса, ни на остальных. «Ну конечно, она просто поверить этому не может, — подумал Рэтлиф. — Так же, как и я». Сноупс вошел в лавку, и приказчик, который снова замер, прижимаясь спиной к косяку, словно ждал, скоро ли можно будет опять начать чесаться, проводил его взглядом, поворачивая голову вслед за ним, как сова, и часто мигая маленькими глазками. Подъехал верхом Джоди Варнер. Он не проехал мимо лавки, а свернул к ближнему тутовому дереву, где обычно привязывал лошадь. Со скрежетом проехал фургон. Человек, правивший лошадьми, приветственно поднял руку: один или двое с галереи ответили ему тем же. Фургон не остановился. Миссис Армстид проводила его взглядом. Сноупс вышел из лавки, неся полосатый бумажный пакетик, и подошел к миссис Армстид.

— Вот, — сказал он. Она протянула руку, чтобы взять пакетик. — Пускай детишки полакомятся, — сказал он. Другую руку он сунул в карман и, сядя на стул, вынул что-то оттуда и отдал приказчику. Это был пятицентовик. Сноупс сел на стул и снова привалился к двери. Он уже держал в руке открытый нож. Он чуть повернул голову и ловко сплюнул мимо серой одежды женщины на дорогу. Мальчик смотрел на пакетик у нее в руке. Наконец и она, словно очнувшись, увидела его.

— Вы очень добры, — сказала она. Она завернула пакетик в фартук, и мальчик немигающим взглядом смотрел, как бугрятся под фартуком ее руки. Она двинулась дальше. — Надо идти обед собирать, — сказала она. Она спустилась с крыльца, но едва ступила на землю и стала удаляться, как серые складки одежды снова утратили все признаки, всякий намек на подвижность, и она снова уплывала, постепенно уменьшаясь, как на плоту; словно серый уродливый древесный ствол неторопливо плыл по течению, непостижимым образом не падая, как будто все еще рос в земле. Приказчик вдруг загоготал, раскатисто, радостно. Он хлопнул себя по ляжке.

— Истинный бог, — сказал он. — Куда вам против него.

Джоди Варнер, войдя в лавку с заднего крыльца, вдруг замер, приподняв одну ногу, как пойнтер, сделавший стойку. Потом на цыпочках, без единого звука, он стремглав кинулся за прилавок и побегал между полками туда, где ворочалась неуклюжая, медвежья фигура, засунув голову по самые плечи в витрину с иголками, нитками, табаком и засохшими разноцветными сладостями. Он грубо и злобно вытащил парня из витрины: тот испустил придушенный крик и, слабо отбиваясь, запихнул в рот последнюю горсть каких-то лакомств. Но почти сразу он перестал сопротивляться, притих и весь обмяк, только челюсти быстро двигались. Варнер выволок его из-за прилавка, а приказчик уже сорвался с места и вбежал



внутри, торопливый, встревоженный.

— Ну, ты, Сент-Эльм!<sup>42</sup> — сказал он.

— Сколько раз я говорил, чтобы ты не смел пускать его сюда! — сказал Варнер, встряхивая мальчика. — Он почти всю витрину слопал. Ну ты, вставай!

Парень весь обмяк в его руке, повиснув, словно пустой мешок. Он жевал с каким-то покорным отчаянием, и глаза его на широком, вялом, бесцветном лице были крепко зажмурены, а уши едва заметно, но непрерывно двигались в такт жующим челюстям. Если бы не это, можно было бы подумать, что он спит.

— Ты, Сент-Эльм! — сказал приказчик. — Вставай! — мальчик теперь держался на ногах, но глаз не открыл и жевать не перестал. Варнер выпустил его. — Марш домой, — сказал приказчик. Мальчик послушно повернулся, чтобы пройти через лавку. Варнер дернул его назад.

— Не сюда, — сказал он.

Мальчик прошел через галерею и стал спускаться с крыльца в своем тесном комбинезоне, который жестко топорщился на его тощих боках. Прежде чем нога его коснулась земли, он что-то вытащил из кармана и запихнул в рот; уши его снова едва заметно задвигались вместе с челюстью.

— Хуже крысы, правда? — сказал приказчик.

— Какая, к черту, крыса! — сказал Варнер, хрипло дыша. — Хуже козла в огороде. Вот увидишь, как он разделается с ремнями, вожжами, холстами и подпругами, заберется в лавку с черного хода, все слопает, сожрет меня, вас и его — всех троих. А потом, не сойти мне с этого места, и отвернуться-то страшно будет — а ну как он перебежит дорогу и примется за хлопкоочистилку и кузню. Ну, вот что. Если я еще хоть раз поймаю его здесь, то поставлю в лавке медвежий капкан, — и он вместе с приказчиком вышел на галерею. — Доброе утро, джентльмены, — сказал он.

— Кто это был, Джоди? — спросил Рэтлиф.

Не считая приказчика, державшегося в отдалении, стояли только они двое, и теперь, когда они были рядом, стало заметно сходство между ними — сходство смутное, неуловимое, неопределенное, не во внешности, не в манере говорить, одежде или складе ума; и уж конечно, не во внутреннем облике. Тем не менее сходство было, так же как было и неискоренимое различие, потому что на Джоди легла печать его судьбы; придет время, и он состарится; Рэтлиф тоже; но того, в шестьдесят пять лет, поймает и женит на себе девчонка, которой не будет и семнадцати, и до конца его дней станет мстить ему за свой пол; Рэтлифа же — никто и никогда.

Паренек медленно брел по дороге. Он снова вынул что-то из кармана и сунул в рот.

— Это мальчишка А. О., — сказал Варнер, — клянусь богом, я сделал все, чтоб его отвадить, разве только яду в витрину не подсыпал.

— Как? — сказал Рэтлиф. Он быстро окинул взглядом все лица; на собственном его лице промелькнуло не только удивление, но почти испуг. — Я думал... позавчера вы, ребята, сказали мне... вы мне сказали, что приезжала женщина, молодая женщина с ребенком... И вот теперь... — сказал он. — Как же так?

— Это другой, — сказал Варнер. — Чтоб у него ноги поотсыхали! Ну, что, Эк, говорят, ты поймал одну из своих лошадей?

— Да, поймал, — сказал Эк. Он и мальчик покончили с галетами и сыром, и теперь он сидел у стены, держа в руках пустой пакет.

— Да, ту самую, — сказал Эк.

---

<sup>42</sup> *Ты, Сент-Эльм!* — Странное имя мальчика (буквально: святой Эльм, как в названии физического явления «огни Святого Эльма») имеет литературное происхождение. Он получил его в честь героя мелодраматического романа американской писательницы Августы Джейн Эванс Уилсон (1835–1909) «Сент-Эльм» (1866). Роман пользовался огромной популярностью на Юге США, где именем Сент-Эльма стали называть плантации, школы, отели, пароходы и новые города, не говоря уже о детях.

— Па, а вторую ты подари мне, — сказал мальчик.

— Ну и что же?

— Она себе шею сломала, — сказал Эк.

— Это я знаю, — сказал Варнер. — Но как? — Эк не шевелился. Глядя на него, они почти воочию могли видеть, как он выбирает и накапливает слова, фразы. Варнер, глядя на него сверху вниз, засмеялся хриплым натужным смехом, со свистом всасывая воздух сквозь зубы. — Я расскажу вам, как было дело. Эк с мальчишкой пробежали за ней почти сутки и наконец загнали ее в тот тупик, что возле дома Фримена. Они сообразили, что через Фрименов восьмифутовый забор ей не перескочить, ну вот и натянули у входа в тупик, на высоте трех футов от земли, веревку. Ну а лошадь, понятное дело, когда добежала до конца тупика и уперлась в конюшню Фримена, повернула, как Эк и рассчитывал, назад и понеслась по тупику, ни дать ни взять вспугнутая ворона. Наверно, веревки она и не заметила. Миссис Фримен выбежала на крыльцо и все видела. Она говорит, что когда лошадь налетела на веревку, она была похожа на большую рождественскую шутиху. Ну, а второй твоей лошади и след простыл, так, что ли?

— Да, — сказал Эк. — Я не углядел даже, в какую сторону она побежала.

— Подари ее мне, па, — сказал мальчик.

— погоди, прежде надо ее поймать, — сказал Эк. — А там видно будет.

Вечером того же дня бричка Рэтлифа стояла у ворот Букрайта, и сам Букрайт стоял рядом, на дороге.

— Ты ошибся, — сказал Букрайт. — Он вернулся.

— Он вернулся, — сказал и Рэтлиф. — Я неверно судил об его... ну, не выдержке, это не то слово, и, уж конечно, не об отсутствии выдержки. Но я не ошибся.

— Чепуха, — сказал Букрайт. — Вчера его целый день не было. Правда, никто не видел, чтоб он ехал в город или возвращался оттуда, но всякому ясно, что он был там. Ни один человек, даже если он Сноупс, не допустит, чтоб его родича сгноили в тюрьме.

— Он недолго там просидит. До суда остается меньше месяца, а потом, когда его упекут в Парчмен<sup>43</sup>, он снова будет на свежем воздухе. И даже снова станет работать по хозяйству, пахать. Конечно, это будет не его хлопок, но ведь он никогда не выручал за свой хлопок достаточно, чтобы хоть как-нибудь перебиться.

— Чепуха, — сказал Букрайт. — Ни за что не поверю. Флем не допустит, чтоб его отправили на каторгу.

— Допустит, — сказал Рэтлиф. — Потому что Флему нужно погасить все эти ходячие векселя, которые то и дело появляются то здесь, то там. Он хочет избавиться навсегда хотя бы от некоторых.

Они поглядели друг на друга — Рэтлиф, серьезный и спокойный в своей синей рубашке, Букрайт тоже серьезный, сосредоточенный, нахмутив черные брови.

— Но ведь ты, кажется, говорил, что вы с ним вместе сожгли эти векселя?

— Я говорил, что мы сожгли два векселя, которые дал мне Минк Сноупс. Но неужто ты думаешь, что кто-нибудь из Сноупсов хоть в чем-то может целиком довериться клочку бумаги, который можно спалить на одной спичке? Или ты думаешь, кому-нибудь из Сноупсов это невдомек?

— Вот как, — сказал Букрайт. — Ха, — сказал он невесело, — небось ты и Генри Армстиду вернул его пять долларов.

Рэтлиф отвернулся. Лицо его изменилось; на нем мелькнуло какое-то мимолетное, лукавое, но не смеющееся выражение, потому что глаза не смеялись; потом оно исчезло.

— Мог бы вернуть, — сказал он. — Но не сделал этого. Мог бы, будь я уверен, что на этот раз он купит что-нибудь такое, что убьет его до смерти, как сказала миссис Литтлджон.

---

<sup>43</sup> *Парчмен* — тюрьма штата Миссисипи в городе того же названия. Заключенные Парчмена, как правило, работают на хлопковых плантациях.

И кроме того, я защищал не Сноупса от Сноупсов. И даже не человека от Сноупса. Я защищал даже не человека, а безобидную тварь, которой одно только и надо: ходить да греться на солнце, которая никому не могла бы причинить зла, даже если б захотела, и не захотела бы, даже если бы могла, все равно как я не стал бы стоять в стороне и смотреть, как крадут кость у собаки. Не я создал их Сноупсами, и не я создал тех людей, что сами подставляют им задницу. Я мог бы сделать больше, но не стану. Слышишь, не стану!

— Хватит, — сказал Букрайт. — Легче на поворотах, перед тобой просто холмик. Говорю тебе — хватит.

## 2

Оба дела — Армстид против Сноупса и Талл против Экрема Сноупса (да и вообще против всех Сноупсов и даже против Варнера, которого, как знал весь поселок, обозленная жена Талла тоже старалась запутать) — по взаимной договоренности сторон слушались в суде другого округа. Вернее — по договоренности трех сторон, потому что Флем Сноупс наотрез отказался признать иск, сплюнув в сторону, невозмутимо заявил: «Это не мои лошади», — и снова принялся строгать свою дощечку, а смущенный и растерянный шериф стоял перед прислоненным к стене стулом, держа в руках повестку, которую он пытался вручить.

— А какой был бы прекрасный случай для этого сноупсовского семейного адвоката, — сказал Рэтлиф, когда узнал обо всем. — Как бишь его... Ну этот отец-молодец, этот Моисей, у которого полон рот всяких прибауток, а за штаны цепляется множество сыновей, неизвестно откуда взявшихся. Просто удивительно, как это получается — мне бесперечь твердят об этих людях, а я все не могу запомнить имен. Словом, этот А. О.. Вечно у него не хватает терпения обождать. Может, во всей его практике это была бы единственная тяжба, где простофиля клиент не стал бы вмешиваться и затыкать ему рот, и только сам судья имел бы право сказать ему: «Заткнись».

Так что ни коляски Варнера, ни брички Рэтлифа не было среди потока фургонов, повозок, верховых лошадей и мулов, который хлынул к Уайтлифской лавке, что в восьми милях от поселка, не только с Французовой Балки, но и отовсюду, так как к этому времени то, что Рэтлиф назвал «техасской болезнью», эта пятнистая порча, эта лавина бешеных, неуловимых лошадей, разлилась на двадцать, а то и на тридцать миль окрест. И когда начали подъезжать люди с Французовой Балки, около лавки уже стояло десятка два фургонов с выпряженными и привязанными к задним осям лошадьми и еще вдвое больше оседланных лошадей и мулов стояло в ближней рощице, и заседание решено было перенести из лавки под соседний навес, куда осенью свозили хлопок. Но к девяти часам оказалось, что все желающие не поместятся даже под навесом, и заседание снова перенесли, теперь уже прямо в рощу. Лошади, мулы и фургоны были убраны оттуда; из сарая притащили единственный стул, колченогий стол, толстую Библию, которой, судя по ее виду, часто и с любовью пользовались, как старым, но безотказным инструментом, календарь и подшивку «Законодательных постановлений штата Миссисипи» за 1881 год с одной-единственной тонкой замусоленной трещиной по корешку, словно хозяин (или тот, кто ими пользовался) открывал их всегда на одной и той же странице, но зато очень часто, четверо специально отряженных людей мигом съездили в повозке за милю от лавки в церковь и вернулись с четырьмя деревянными скамьями для тяжущихся, их родственников и свидетелей; позади рядами стояли зрители — мужчины, женщины, дети, серьезные, внимательные, опрятные, не в праздничных нарядах, конечно, но в чистой рабочей одежде, надетой с утра по случаю предстоящих субботних развлечений — сидения около деревенской лавки или поездки в ближний город, в той самой одежде, в которой они в понедельник выйдут на поле и будут носить ее всю неделю, до вечера будущей пятницы. Мировой судья, аккуратный, маленький, пухлый старичок с ровными, чуть выющимися седыми волосами, словно сошедший с добродушной карикатуры на всех дедушек на свете, был в безукоризненно чистой сорочке,

но без воротничка, с белоснежными, сверкающими, крахмальными манжетами и манишкой, в очках со стальной оправой. Он сел за стол и поглядел на них — на серую женщину в сером платье и шляпке, недвижно уронившую на колени руки, бледные и узловатые, словно корни, выкорчеванные на осушенном болоте; на Талла в выцветшей, но свежей рубашке и в комбинезоне, не только чисто выстиранном, но выглаженном и накрахмаленном его женщинами, со складкой не посередине штанин, а с боков, так что каждую субботу с утра они бывали похожи на короткие детские штанишки, на его безмятежно голубые, невинные глаза над шелковистой, как кукурузная метелка, бородой месячной давности, скрывавшей почти все его обрюзгшее лицо и придававшей ему какой-то неправдоподобный, нелепо блудливый вид, но не такой, словно он вдруг после долгих лет предстал перед другими мужчинами в своем настоящем обличье, а такой, будто изображение святого младенца кисти старого итальянского мастера испоганил какой-нибудь скверный мальчишка; на миссис Талл, крепкую, пышногрудую, но немного нескладную женщину, чье лицо пылало суровым негодованием, которое за этот месяц, казалось, нисколько не возросло, но и не угасло, а просто устоялось, и, странное дело, всем почти сразу же стало казаться, что негодует она не на кого-либо из Сноупсов и не на кого другого из мужчин в отдельности, но на всех мужчин вместе взятых, на весь мужской пол, и сам Талл вовсе не пострадавший, а предмет ее негодования, — она сидела по одну сторону от мужа, а старшая из четырех его дочерей — по другую, словно обе они (или, по крайней мере, миссис Талл) не просто боялись, что Талл вдруг вскочит и убежит, но твердо решились не допускать этого; на Эка с мальчиком похожих как две капли воды, только один ростом повыше; на приказчика Лампа, в серой кепке, в которой кто-то признал ту самую, что была на Флеме Сноупсе в прошлом году, когда тот уезжал в Техас, — Лэмп сидел, быстро моргая и глядя на судью упорно и злобно, как крыса, и в бесцветных стариковских глазах судьи за толстыми стеклами очков появилось не только удивление и замешательство, но и что-то очень похожее на страх, как и у Рэтлифа, когда он стоял на галерее месяц назад.

— Так вот... — сказал судья. — Я не предполагал... Не ожидал увидеть... Я хочу помолиться, — сказал он. — Конечно, вслух я молиться не буду. Но надеюсь... — он посмотрел на них. — Я бы хотел... одним словом, может быть, кто-нибудь из вас последует моему примеру.

Он склонил голову. Все смотрели на него серьезно и молча, а он неподвижно сидел у стола, и легкий утренний ветерок тихонько шевелил его редкие волосы и трепетные тени листьев скользили по выпуклой крахмальной груди сорочки, по сверкающим манжетам, таким же твердым и почти таким же просторным, как куски шестидюймовой печной трубы, по его сложенным рукам. Он поднял голову.

— Армстид против Сноупса, — сказал он.

Миссис Армстид начала говорить. Она не шевелилась, ни на что не смотрела, стиснув руки на коленях, и голос ее был все таким же ровным, глухим, безнадежным.

— Этот человек из Техаса сказал...

— Постойте, — прервал ее судья. Его тусклые глаза забегали под толстыми стеклами очков, оглядывая лица присутствующих. — Где же ответчик? Я его не вижу.

— Он отказался явиться, — сказал шериф.

— Отказался? — сказал судья. — Разве вы не вручили ему повестку?

— Он не принял ее, — сказал шериф. — Он сказал...

— В таком случае он будет отвечать за неуважение к суду!

— С какой стати? — сказал Лэмп Сноупс. — Еще не доказано, что эти лошади его.

Судья взглянул на Лэмпа.

— Разве вы представляете интересы ответчика? — спросил он. Сноупс, моргая, глядел на него.

— А это что значит? — сказал он. — Что штраф, к которому вы его присудить собираетесь, взыскивать будут с меня?

— Стало быть, он отказывается участвовать в тяжбе, — сказал судья. — Разве он не



знает, что я могу привлечь его за это к ответственности, если уж он не признает простой справедливости и приличий?

— Вот это ловко, — сказал Сноупс. — Сразу видать, что у вас на уме...

— Замолчите, Сноупс, — сказал шериф. — Если вы не выступаете по этому делу, так нечего и вмешиваться, — он повернулся к судье: — Не прикажете ли съездить на Французову Балку и привезти сюда Сноупса? Я могу это сделать.

— Нет, — сказал судья. — Погодите, — он снова оглядел бесстрастные лица, все с той же растерянностью, с тем же страхом. — Может ли кто-нибудь точно сказать, чьи это лошади? Кто может сказать? — они тоже глядели на него, бесстрастно, пристально глядели на этого чистенького безупречного старика, который, положив руки на стол, сплел пальцы, чтобы унять дрожь. — Хорошо. Миссис Армстид, — обратился он к женщине, — расскажите суду, как было дело.

Она заговорила, ни разу не пошевелившись, ровным, монотонным голосом, глядя куда-то мимо, в полной тишине, а кончив, умолкла, и голос ее ни разу не дрогнул, словно все сказанное не имело никакого значения и ни к чему не могло привести. Судья, опустив глаза, разглядывал свои руки. Когда она замолчала, он посмотрел на нее.

— Но из этого еще не следует, что лошади принадлежали Сноупсу. Вам нужно бы предъявить иск этому человеку из Техаса. А он уехал. Даже если суд постановит взыскать с него деньги, вы все равно не сможете их получить. Понимаете?

— Мистер Сноупс привез его сюда, — сказала миссис Армстид. — Откуда бы этому техасцу знать, где Французова Балка, ежели б мистер Сноупс ему не показал.

— Но ведь это техасец продал лошадей и взял деньги, — судья снова оглядел лица присутствующих. — Правильно? Скажите вы, Букрайт, так было дело?

— Да, — сказал Букрайт.

Судья снова поглядел на миссис Армстид печально и сочувственно. Поднялся порывистый ветер, он шелестел высоко в ветвях, и на землю, кружась, падали снежно-белые лепестки, которые отцвели прежде времени, как и сама весна отцвела быстро и щедро после суровой зимы, пролив свой густой, одуряющий аромат.

— Он отдал мистеру Сноупсу те деньги, какие взял у Генри. Он сказал, что Генри не покупал никакой лошади. Он сказал, я могу завтра получить деньги у мистера Сноупса.

— И у вас есть свидетели, которые могут подтвердить это?

— Да, сэр. Все видели и слышали, как он отдал мистеру Сноупсу деньги и сказал, что я могу их получить...

— И вы просили у Сноупса эти деньги?

— Да, сэр. А он сказал, что техасец увез их с собой. Но я бы могла...

Она снова умолкла, глядя, как и судья, куда-то вниз, на свои руки. Во всяком случае, она ни на кого не глядела.

— Что же? — спросил судья. — Что вы могли бы?

— Я могла б узнать эти пять долларов. Я заработала их своими руками, ткала по ночам, когда Генри и дети спали. Некоторые дамы из Джефферсона собирали пряжу и отдавали мне, а я за плату ткала им материю. Я скопила эти деньги по центу и узнала бы их, если б увидела, потому что часто вынимала жестянку из печи и пересчитывала их, все ждала, покуда накопится довольно, чтобы обуть детей к зиме. Я бы их сразу узнала. Если б мистер Сноупс только позволил...

— А что, если кто-нибудь видел, как Флем отдал эти деньги назад техасцу? — сказал вдруг Лэмп Сноупс.

— А кто-нибудь видел это?

— Да, — сказал Сноупс хрипло и решительно. — Вот Эк видел, — он поглядел на Эка. — Ну, что же ты? Расскажи ему.

Судья поглядел на Эка; все четыре дочери Талла, как по команде повернув головы, тоже поглядели на него, и миссис Талл с холодным, злым и презрительным лицом подалась вперед, чтобы муж не мешал ей видеть, и все, кто стоял позади скамей, задвигались,

вытягивая шеи, чтобы поглядеть на Эка, неподвижно сидевшего на скамье.

— Скажите, Эк: видели вы, как Сноупс вернул деньги Армстида тexasцу? — спросил судья.

Эк сидел молча, не шевелясь, а Лэмп Сноупс грубо и досадливо фыркнул.

— Черт с ним, если он боится, то я не боюсь. Я видел.

— Вы подтвердите это под присягой?

Сноупс взглянул на судью. Он уже больше не моргал.

— Стало быть, вы не верите моему слову? — сказал он.

— Я должен знать истину, — сказал судья. — Если я не могу установить ее, то мне нужны показания, данные под присягой, которые я буду считать за истину.

Он взял Библию, лежавшую рядом с двумя другими книгами.

— Слышите? — сказал шериф. — Подойдите сюда.

Сноупс встал со скамьи и подошел. Все смотрели на него, но никто уже не ерзал, не вытягивал шею, не двигался, лица застыли, глаза смотрели в одну точку. Сноупс, подойдя к столу, оглянулся, окинул быстрым взглядом стоявших полукругом людей и снова взглянул на судью. Шериф схватил Библию, хотя судья еще не выпустил ее из рук.

— Готовы ли вы подтвердить под присягой, что видели, как Сноупс вернул этому тexasцу деньги, которые получил с Генри Армстида за лошадь? — спросил он.

— Я ведь уже сказал, что видел, — сказал Сноупс.

Судья выпустил Библию.

— Приведите его к присяге, — сказал он.

— Положите левую руку на Библию, поднимите правую, повторяйте: «Торжественно клянусь и подтверждаю, что...» — скороговоркой начал шериф.

Но Сноупс уже опередил его: положив левую руку на Библию и подняв правую, он повернул голову, еще раз окинул быстрым взглядом полукружие бесстрастных, внимательных лиц и хрипло, злым голосом сказал:

— Да. Я видел, как Флем Сноупс отдал этому человеку из Техаса те деньги, которые Генри Армстид или кто другой уплатил или, как некоторые утверждают, отдал Флему за какую-то лошадь. Довольно с вас этого?

— Да, — сказал судья.

Толпа зрителей молчала, не шевелилась. Шериф осторожно положил Библию на стол, около сплетенных пальцев судьи, и снова ничто вокруг не шевельнулось, только трепетные тени скользили и сливались друг с другом, да летели лепестки акаций. Потом миссис Армстид встала; она стояла, опять — или все еще — ни на что не глядя, прижав руки к животу.

— Мне, наверно, можно теперь уехать? — сказала она.

— Да, — сказал судья, встрепенувшись. — Если только вы не хотите...

— Так я, пожалуй, поеду, — сказала она. — Путь ведь не близкий.

Она приехала не в фургоне, а на одном из своих отощавших от бескормицы мулов. Какой-то мужчина пошел следом за ней через рошу, отвязал мула, подвел его к ближайшему фургону, и она со ступицы села в седло. Все снова поглядели на судью. Он сидел у стола, по-прежнему сложив руки, но голова его уже не была опущена. И все же он не шевельнулся, пока шериф, перегнувшись через стол, не сказал ему что-то, и только тогда он очнулся, пробудился легко и спокойно, как пробуждается старик от своего чуткого старческого сна. Он убрал руки со стола и, опустив глаза, произнес, словно читал по бумаге:

— Талл против Сноупса. Оскорбление...

— Да! — перебила его миссис Талл. — Дайте мне слово сказать, прежде чем вы начнете, — она подалась вперед, глядя мимо Талла на Лэмпа Сноупса. — Ежели вы думаете, что можете облыжно выгораживать Флема и Эка Сноупса из...

— Не надо, мамочка... — сказал Талл.

И тогда она обратилась уже к Таллу, не изменив ни позы, ни тона, даже не запнувшись:

— Ты мне рот не затыкай! Позволить Эку Сноупсу, или Флему Сноупсу, словом всей

этой Варнеровой шайке выволочь тебя из фургона и колотить чуть не до смерти об мост, — это ты готов. А когда дошло до того, чтобы притянуть их к ответу за нарушение твоих законных прав и наказать, тут тебя нет. Потому что это, видите ли, не по-соседски. А валяться во время сева в самую страду, покуда мы вытаскивали занозы из твоей рожи, — это по-соседски?

Но шериф уже кричал:

— К порядку! К порядку! Не забывайте, что вы в суде!

И миссис Талл замолчала. Она села на скамью, тяжело дыша, уставившись на судью, который продолжал, словно читал по бумаге:

— Оскорбление действием, нанесенное Вернону Таллу посредством одной лошади, не имеющей клички и принадлежащей Экрему Сноупсу. Телесные повреждения наличествуют, ответчик явился. Свидетели — миссис Талл с дочерьми...

— Эк Сноупс тоже все видел, — сказала миссис Талл, уже не так сердито. — Он был там. Подоспел в самое время и все видел. Пусть только попробует отпереться. Пусть только поглядит мне в глаза и посмеет сказать, что он...

— Позвольте, мэм, — сказал судья. Он сказал это так спокойно, что миссис Талл примолкла и стала вести себя сдержанно, почти как всякий разумный и смирный человек. — Никто не оспаривает тот факт, что ваш муж пострадал. И никто не оспаривает, что пострадал он из-за лошади. Закон гласит, что если человек имеет скотину, которая, как ему известно, представляет опасность для окружающих, и если эта скотина ограждена и отделена от общественного выпаса забором или загородкой, способной оградить и отделить ее от упомянутого выпаса, то, если кто-либо войдет за этот забор или загородку, независимо от того, известно ему или нет, что скотина, там содержащаяся, представляет собой опасность, это действие является нарушением права собственности, и владелец скотины не несет ответственности за последствия. Но коль скоро скотина, представляющая для окружающих опасность, более не ограждена означенным забором или загородкой, преднамеренно или непреднамеренно, с ведома или без ведома владельца, то владелец несет ответственность за последствия. Таков закон. Нам остается лишь установить, во-первых, кому принадлежит лошадь и, во-вторых, представляет ли она опасность для окружающих в соответствии с буквой упомянутого закона.

— Ха! — сказала миссис Талл, точь-в-точь как Букрайт. — Опасность! Спросите у Вернона Талла. Спросите у Генри Армстида, какие это были кроткие овечки.

— Позвольте, мэм, — сказал судья. Он посмотрел на Эка. — Выслушаем ответчика. Отрицает ли он принадлежность лошади?

— Чего? — сказал Эк.

— Это ваша лошадь чуть не убила мистера Талла?

— Да, — сказал Эк. — Моя. Сколько я должен зап...

— Ха! — снова сказала миссис Талл. — Еще бы он стал отрицать, когда там их было, по крайней мере, человек сорок, таких же дураков, как и он, потому что, будь они малость поумнее, и духу ихнего там не было бы. Но даже дурак может подтвердить то, что видел и слышал, — так вот, по крайней мере, сорок человек слышали, как этот техасский душегуб отдал лошадь Эку Сноупсу. Заметьте, не продал, а отдал.

— Что? — сказал судья. — Как так отдал?

— А вот так, — сказал Эк. — Отдал, да и все тут. Мне жаль, что Талл ехал через мост в это самое время. Сколько я должен...

— Постойте, — сказал судья. — А вы ему что дали? Вексель? Что-нибудь взамен?

— Нет, — сказал Эк. — Он просто указал на нее, когда она бегала в загоне, и сказал, что она моя.

— А дал он вам купчую, или дарственную, или какой-нибудь письменный документ?

— Да у него на это и времени-то не было, — сказал Эк. — А после того как Лон Квик позабыл затворить ворота, всем было уже не до писанины, даже ежели б это и пришло кому в голову.

— Это еще к чему? — сказала миссис Талл. — Эк Сноупс сейчас только сам признал, что это его лошадь. А ежели этого вам мало, так там у ворот целый день торчало еще сорок бездельников, которые слышали, как этот антихрист, который дуется в карты и жрет виски...

Но тут судья остановил ее, подняв руку в огромной, первозданно чистой манжете. Он не смотрел на нее.

— Постойте, — сказал он. — А что же он тогда сделал? — спросил он Эка. — Просто подвел к вам лошадь и передал веревку из рук в руки?

— Нет, — сказал Эк. — Ни он, ни кто другой не надевал на лошадей веревку. Он просто указал на эту лошадь и сказал, что она моя, а потом распродал остальных, сел в коляску, попрощался и уехал. А мы взяли по веревке и пошли в загон, только Лон Квик позабыл затворить ворота. Мне очень жаль, что из-за нее мулы Талла выволокли его из фургона. Сколько я ему должен? — но тут он замолчал, потому что судья уже на него не смотрел и, как он понял через секунду, не слушал его. Вместо этого судья откинулся назад, в первый раз за все время, уселся поудобнее на своем стуле, слегка наклонив голову и держа руки со сплетенными пальцами на столе перед собой. С полминуты все молча смотрели на него и только тогда поняли, что он молча и пристально глядит на миссис Талл.

— Так вот, миссис Талл, — сказал он. — Из собственных ваших показаний явствует, что Эк никогда не был владельцем этой лошади.

— Как? — переспросила миссис Талл совсем тихо. — Как вы сказали?

— По закону никакая собственность не может быть подарена словесно. Акт дарения должен быть закреплен документом, либо заверенным, либо подписанным собственноручно, либо фактическим вводом во владение. В соответствии с вашими показаниями и показаниями Эка Сноупса, он ничего не дал техасцу взамен лошади, и, согласно показаниям Сноупса, техасец не дал ему никакого документа в подтверждение того, что лошадь принадлежит ему, а из его показаний и из того, что мне самому стало известно за последние четыре недели, явствует, что никто еще не поймал ни одну из лошадей и не накинул на нее веревки. Итак, Эк не вступал во владение лошастью. Техасец мог бы с тем же успехом подарить ту же самую лошадь еще десяти людям, стоявшим в тот день у ворот, и ему даже незачем было бы извещать об этом Эка; а сам Эк мог бы передать все свои права на нее мистеру Таллу прямо на мосту, где мистер Талл лежал без сознания, ему довольно было бы просто подумать об этом, и права мистера Талла были бы столь же законными, как и права самого Эка.

— Значит, я осталась на бобах, — сказала миссис Талл. Голос ее все еще был тих и спокоен, и никто, кроме Талла, как видно, не понял, что слишком уж он тих и спокоен. — Эта пятнистая бешеная сука распугала моих мулов, изломала фургон; мой муж упал с козел, зашибся до бесчувствия и целую неделю не мог работать, мы засеяли меньше половины земли, и вот теперь я осталась на бобах.

— Постойте, — сказал судья. — Закон...

— Закон! — сказала миссис Талл. Она вдруг встала — приземистая, широкая, крепкая женщина, широко расставив толстые, как тумбы, ноги.

— Не надо, мамочка... — сказал Талл.

— Да, мэм, — сказал судья. — Возмещение ваших убытков предусмотрено законом. Закон гласит, что, когда иск об убытках вчиняется владельцу животного, которое нанесло убытки или ущерб, а владелец не может или не хочет нести ответственность, пострадавшая сторона получает в виде возмещения само животное. А поскольку Эк Сноупс никогда не владел этой лошастью и, как вы сами слышали, при разборе предыдущего дела не подтвердилось, что Флем Сноупс так или иначе причастен к продаже табуна, лошадь эта по-прежнему принадлежит техасцу. Или, вернее, принадлежала. Потому что теперь лошадь, которая испугала ваших мулов и была причиной падения вашего мужа с фургона, принадлежит вам и мистеру Таллу.

— Мамочка, постой! — сказал Талл. Он вскочил с места.

Однако миссис Талл все еще была спокойна, только вся напряглась и мрачно сопела,



пока Талл не заговорил. Но тут она повернулась к нему и даже не взвизгнула, а завопила что было мочи; шериф уже стучал по столу своей отполированной от долгого употребления ореховой тростью и кричал: «К порядку! К порядку!» — а чистенький старичок откинулся на суде, словно хотел уклониться от удара, и, дрожа мелкой старческой дрожью, смотрел на нее удивленно, не веря своим глазам.

— Лошадь! — голосила миссис Талл. — Да мы видели ее пять секунд, она налетела прямо на наш фургон, перелезла через нас, а потом поминай как звали. Удрала бог весть куда, и слава тебе господи! И мулы тоже удрали, и от фургона остались одни щепки, а ты валялся на мосту, и вся рожа у тебя в занозах и в кровище, мы уж думали, тебе не встать. А теперь он отдает нам лошадь! Нет, ты мне рот не затыкай! Иди, дурак, полюбуйся на свой фургон, поищи, где ты там сидел и правил парой молодых мулов, намотав вожжи на руку! Идите все, полюбуйте на этот фургон!

— Нет, я больше не могу! — крикнул судья. — Не могу! Разбирательство окончено! Слышите, окончено.

А потом был еще один процесс. Он начался в следующий понедельник, и почти те же самые лица можно было увидеть в окружном суде в Джефферсоне, когда два конвоира ввели арестанта, одетого в новый комбинезон, щуплого, ростом не выше ребенка, тощего, почти бесплотного, с угрюмым, непреклонным лицом, бледным и осунувшимся после восьми месяцев тюрьмы, и когда прокурор сказал свою речь, выступил назначенный судом защитник, совсем еще молодой адвокат, только в июне закончивший юридический факультет местного университета, который сделал все, что мог, и даже больше, чем мог, лишь повредив этим своему подзащитному, лез из кожи вон, хотя на него, в сущности, никто не обращал внимания, и потребовал отвода всех присяжных, каких только мог, прежде чем прокурор успел отвести хотя бы одного, но, несмотря на это, в самом скором времени увидел перед собой утвержденный состав присяжных, словно штат, страна, все здравомыслящее человечество обладали неисчерпаемым запасом взаимозаменяемых имен и лиц с одинаковыми убеждениями и намерениями, так что все эти отводы с таким же успехом мог бы дать вместо него швейцар, который отпер утром зал заседаний, просто отсчитав сколько положено имен в списке присяжных. И если у защитника еще осталось сколько-нибудь беспристрастия и непредвзятости, то он, вероятно, вскоре понял, что перед судом предстал не его клиент, а он сам. Потому что клиент не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, его совсем это не интересовало, он ничего не хотел ни видеть, ни слышать, как будто судили не его, а кого-то другого. Он сидел там, где его посадили, скованный наручниками с одним из конвоиров, маленький, в новом, жестком, отглаженном комбинезоне, отвернувшись от суда и от всего окружающего, и все время ерзал на месте, пока они не догадались, что он глядит в дальний конец зала, на двери и на всякого, кто в них входит. Его пришлось дважды окликнуть, прежде чем он встал, чтобы ответить на вопрос судьи, и он остался стоять, теперь уж и вовсе спиной к суду, щуплый, угрюмый, совершенно безучастный, с лицом, на котором было какое-то странное беспокойство и что-то еще, не просто надежда, а глубокая вера, и глядел не на жену, сидевшую прямо перед ним, а в переполненный зал, сквозь ряды сосредоточенных, по большей части знакомых лиц, пока конвоир, с которым он был скован, не заставил его сесть. Так он и просидел до конца этого удивительного короткого процесса, продолжавшегося всего день с четвертью, то и дело поворачивая голову, прилизанный, злобный, упрямый, и вытягивая шею, чтобы выглянуть из-за двоих здоровенных конвоиров и посмотреть на дверь, пока его защитник делал что мог, теряя голову, распинаясь до хрипоты перед суровыми и бесстрастными присяжными, напоминавшими совет взрослых людей, которые по необходимости (но на строго определенное, недолгое время) согласились слушать болтовню дипломированного подростка. А подзащитный не слушал ничего и все глядел в дальний конец зала, и на исходе первого дня вера покинула его, и на лице осталась только надежда, а наутро второго дня исчезла и надежда, и осталось только беспокойство, хмурая и упорная угрюмость, и он все глядел на дверь. Прокурор кончил свою речь на второй день утром. Присяжные совещались

двадцать минут и вынесли вердикт — виновен в умышленном убийстве; обвиняемому снова велели встать и приговорили его к каторжным работам пожизненно. Но он и теперь не слушал; он не только повернулся спиной к суду, чтобы видеть переполненный зал, но сам заговорил, прежде чем судья кончил, и не замолчал, даже когда судья ударил по столу своим молоточком и два конвоира и три шерифа набросились на него, а он вырывался, отшвыривая их, так что они не сразу совладали с ним, и все высматривал кого-то в зале.

— Флем Сноупс! — сказал он. — Флем Сноупс! Он здесь? Передайте же ему, сукину сыну...

## Глава вторая

### 1

Рэтлиф остановил свою бричку у ворот Букрайта. В доме было темно, но три или четыре собаки с лаем сразу же выскочили из-под дома или с задворья. Армстид выставил из брички свою негнущуюся ногу и хотел слезть.

— погоди, — сказал Рэтлиф. — Я пойду позову его сюда.

— Я сам могу дойти, — сказал Армстид хрипло.

— Возможно, — сказал Рэтлиф. — Но собаки меня знают.

— Узнают и меня, пусть только тронут, — сказал Армстид.

— Возможно, — сказал Рэтлиф. Он уже слез на землю. — Оставайся здесь, поддержишь вожжи.

Армстид закинул ногу назад в бричку, — темнота безлунной августовской ночи его не скрывала, напротив, его выцветший комбинезон отчетливо выделялся на темной обивке брички; только лица под полями шляпы нельзя было разглядеть. Рэтлиф передал ему вожжи и при свете звезд пошел мимо столба с жестяным почтовым ящиком к воротам, прямо на беззлобный лай собак. Войдя в ворота, он увидел их — лающий клубок темноты на фоне чуть более светлой земли, который с лаем расплелся, развернулся перед ним, не подпуская его к себе, — трех черных с рыжиной собак, но и рыжая шерсть в звездном свете казалась черной, так что они хоть и были видны, но совсем смутно, словно его обляяли три сгоревших газеты, которые каким-то чудом не рассыпались и стояли торчмя над землей. Он крикнул на собак. Они должны были узнать его, как только почуяли. Крикнув, он понял, что собаки и в самом деле его узнали, потому что они смолкли на миг, а потом, когда он пошел вперед, стали с лаем пятиться, держась поодаль. Потом он увидел Букрайта, его комбинезон смутно вырисовывался на фоне темного дома. Букрайт прикрикнул на собак, и они замолчали.

— Цыц! — сказал он. — А ну, пошли вон, — и он двинулся, тоже чернея на фоне чуть более светлой земли, туда, где его ждал Рэтлиф. — Где Генри? — спросил он.

— На козлах, — сказал Рэтлиф. Он повернулся, чтобы идти назад, к воротам.

— Обожди, — сказал Букрайт. Рэтлиф остановился. Букрайт подошел к нему вплотную. Они взглянули друг на друга, не видя лиц. — Ты ведь не дал ему втянуть себя в это дело, а? — сказал Букрайт. — После тех пяти долларов, про которые он небось вспоминает всякий раз, как поглядит на жену, да сломанной ноги, да лошади, что он купил у Флема Сноупса, а ее и след простыл, он совсем с ума спятил. По-моему, он и на свете-то не жилец. Так как же, ты не дал себя втянуть в это дело?

— Пожалуй что нет, — сказал Рэтлиф. — Нет, конечно, не дал. Но здесь что-то нечисто. Я всегда это знал. И Билл Варнер тоже знает. Иначе он ни за что не купил бы эту усадьбу. И уж во всяком случае, не стал бы держаться за эту старую развалину себе в убыток и платить налоги, когда он мог бы выручить за нее хоть сколько-нибудь и сидеть там на стуле из распиленного мучного бочонка, уверяя, что ему приятно отдохнуть там, где кто-то положил столько труда и денег, чтобы построить себе дом, в котором можно есть, пить и спать с женой. А когда Флем Сноупс взял усадьбу себе, я окончательно убедился, что дело

не чисто. После того как он припер Билла к стенке, а потом выручил его и взял эту развалину с десятью акрами земли, просто курам на смех. Вчера вечером мы с Генри ходили туда. Я сам видел, своими глазами. Если не веришь, можешь не вступать с нами в долю. Нам же больше достанется.

— Ладно, — сказал Букрайт. Он пошел к воротам. — Мне только это и нужно было знать, — они вышли за ворота. Генри подвинулся на середину сиденья, и они залезли в бричку. — Как бы ногу тебе не придавить, — сказал Букрайт.

— У меня нога в полном порядке, — хрипло сказал Армстид. — Могу ходить не хуже тебя и всякого другого.

— Ну конечно, — поспешно сказал Рэтлиф, беря вожжи. — У Генри теперь с ногой все ладно. Даже не заметно нисколько.

— Поехали, — сказал Букрайт. — Ходить пока никому не придется, если лошади повезут.

— Короче всего было бы напрямик, через Балку, — сказал Рэтлиф. — Но нам лучше ехать другой дорогой.

— Пускай все видят, — сказал Армстид. — Ежели кто из вас боится, так я справлюсь и без помощников. Я могу...

— Ну конечно, — сказал Рэтлиф. — Но если вас увидят, то помощников наберит больше, чем требуется. А это нам ни к чему.

Армстид замолчал. Он не сказал больше ни слова, сидя между ними в неподвижности, которая томила его, почти как лихорадка, словно его измотала не боль (пролежав почти месяц в постели, он встал и сразу же снова сломал ногу; никто так и не узнал, как это его угораздило, что он делал или пытался сделать, потому что он никогда об этом не говорил), а бессилие и ярость.

Рэтлиф не спрашивал, куда ехать; едва ли кто знал больше, чем он, об окольных путях и дорогах здесь или в любом другом из округов, по которым он колесил. Им никто не встретился: темная, спящая земля была пустынна, редкие, одинокие фермы выдавал лишь отрывистый собачий лай. Дорога, смутно белея в темноте, так что Рэтлиф скорее угадывал, чем видел, куда едет, бежала среди широких полей, где уже желтела кукуруза и зацветал хлопок, а потом меж высоких деревьев, пышно оперенных летней листвой, под августовским небом, плотно усеянным звездами. А потом они поехали по старой дороге, на которой вот уже много лет ничто не оставляло следов, кроме копыт белой Варнеровой лошади да коляски с бахромчатым верхом, недавних следов, а старые шрамы уже почти зажили там, где тридцать лет назад промчался гонец (быть может, соседский невольник, нахлестывавший мула, выпряженного из плуга), чтобы сообщить вести о Самтере<sup>44</sup>, и где, быть может, когда-то катились ландо, в которых плавно покачивались женщины, стройные, в пышных кринолинах, под летними зонтиками, а рядом скакали на кровных рысаках мужчины в черном, разговаривая о том же, и где хозяйский сын, а может быть, и сам хозяин, ездил в Джефферсон со своими пистолетами и чемоданом, в сопровождении камердинера верхом на запасной лошади, рассуждая о войсках и об одержанной победе, где во время сражения под Джефферсоном патрули конфедератов разъезжали по округе, в которой остались одни женщины да невольники-негры.

Теперь ничто уже не напоминало об этом. Самая дорога почти исчезла; там, где песок темнел, сползая к ручью, а потом снова начинался подъем, она, как по ниточке, шла вдоль редких, косматых елей, посаженных здесь тем же безымянным архитектором, который спроектировал и построил дом для безымянного хозяина, они стояли теперь, могучие, в два,

---

<sup>44</sup> Имеется в виду начало Гражданской войны в США, когда 12 апреля 1861 г. войска рабовладельческих штатов, образовавших собственную Конфедерацию, начали обстрел форта Самтер у входа в бухту города Чарльстон (Южная Каролина). Небольшой гарнизон федеральных войск, защищавший форт, вскоре капитулировал. При уточнении датировки романских событий для издания 1964 г. слова «тридцать лет назад» были заменены на «почти пятьдесят лет назад».

а то и три фута в объёме, переплетаясь густыми ветвями. Рэтлиф свернул с дороги и поехал напрямик, меж деревьями. Видимо, он хорошо знал дорогу. Букрайт удивился, но потом вспомнил, что Рэтлиф был здесь накануне вечером.

Армстид, не дожидаясь их, пошел вперед. Рэтлиф поспешно привязал лошадей, и они догнали его, все еще видимого, благодаря светлому, линялому комбинезону, когда он смутной тенью торопливо пробирался сквозь кусты. Впереди земля ощерилась черной пастью: овраг, лощина. Букрайт знал, что Армстид не раз бывал здесь ночью, и все же его хромящая тень едва не сорвалась в черную бездну.

— Помоги ему, — сказал Букрайт. — Не то он снова сломает...

— Тс! — шикнул на него Рэтлиф. — Сад вон там, на холме.

— ...он снова сломает ногу, — сказал Букрайт, понизив голос. — А мы будем виноваты.

— Не бойся, не сломает, — прошептал Рэтлиф. — Он тут не одну ночь провел. Только не подходи к нему слишком близко. Но и слишком далеко вперед не отпускай. Прошлой ночью, когда мы там лежали, мне один раз пришлось удержать его силой, — они пошли дальше, следом за темной фигурой, которая двигалась молча и удивительно быстро. Они очутились в овраге, густо заросшем жимолостью, с сухим песчаным дном, по которому насадно скрежетала хромящая нога. И все же они с трудом поспевали за ним. Пройдя шагов двести, Армстид повернулся и полез по склону оврага. Рэтлиф полез следом. — Теперь осторожней, — шепнул он Букрайту. — Мы уже на месте, — но Букрайт смотрел на Армстида. «Нипочем ему не вылезть, — подумал он. — Не вылезть ему из этого оврага».

Но Армстид, волоча негнушущуюся, дважды сломанную ногу, взобрался на почти отвесный склон молча, без помощи, настороженный, словно взведенный курок, каждую секунду готовый отвергнуть всякую поддержку, не допуская даже мысли, что она может ему понадобиться. А потом Букрайт полз следом за ними на четвереньках по тропинке сквозь чащу шиповника, хурмы и бурьяна, среди высоких, в рост человека, кустов, перелезая через них, когда они стлались по земле у края чуть видимого в темноте дома, там, где его поставили чужеземный, безвестный архитектор и хозяин, чей безымянный прах покоится рядом с прахом его родичей и с останками предков нынешних саксофонистов из гарлемских кабаков, под разрушенными надгробьями со стершимися надписями на ближнем взгорье в четырехстах ярдах отсюда, — мертвый остов с рухнувшей крышей, обвалившимися трубами и высоким прямоугольником окна, сквозь которое видны были звезды по ту сторону дома. На склоне холма, видимо, некогда был разбит розарий. Никто из них троих, также как и все, кто проходил здесь сотни раз, не знал, что упавший цоколь посреди розария когда-то служил основанием солнечных часов. Рэтлиф ползком настиг наконец Армстида, схватил его за руку, и тут сквозь их тяжелое дыхание Букрайт услышал беспрестанное, неторопливое позвякивание лопаты и глухой, размеренный стук отбрасываемой земли где-то над собой, на холме.

— Здесь! — прошептал Рэтлиф.

— Да, я слышу, кто-то копает, — прошептал Букрайт. — Но почему мне знать, что это Флем Сноупс?

— А разве Генри уже десять ночей кряду не пролежал здесь, слушая, как он копает? Разве сам я не приходил сюда вчера ночью вместе с Генри, чтобы послушать? Мы лежали на этом самом месте до тех пор, пока он не ушел, а потом полезли на холм и нашли все ямы, которые он вырыл, а после засыпал и разровнял землю, чтобы скрыть следы.

— Ладно, — прошептал Букрайт. — Вы с Армстидом видели, что кто-то копал. Но почему мне знать, что это Флем Сноупс?

— Ладно, — сказал и Армстид с холодной, сдерживаемой яростью, почти в полный голос; оба они чувствовали, что он дрожит, лежа между ними, дергается в трясется всем своим тощим, измученным телом, как побитая собака. — Это не Флем Сноупс, и точка. Иди домой.

— Тс! — зашипел Рэтлиф.



Армстид повернулся и поглядел на Букрайта. Лицо его было в каком-нибудь футе от Букрайта, теперь совсем невидимое в темноте.

— Иди, — сказал он. — Иди домой.

— Тише, Генри! — прошептал Рэтлиф. — Он услышит! — но Армстид уже отвернулся, он снова глядел вверх, на темный холм, и, ругаясь шипящим шепотом, дрожал и дергался между ними. — Ну а если ты убедишься, что это Флем, тогда согласишься? — прошептал Рэтлиф через лежавшего между ними Армстида.

Букрайт не ответил. Он лежал рядом с ними, слушая беспрестанное и неторопливое позвякивание лопаты и злобное шипение Армстида, чье тощее тело все дрожало и дергалось подле него. Но вот звяканье смолкло. Сначала никто не двигался. Вдруг Армстид пробормотал:

— Нашел! — И бешено рванулся вперед.

Букрайт услышал, или, вернее, почувствовал, как Рэтлиф схватил Армстида.

— Стой! — прошептал Рэтлиф. — Стой! Держи его, Одэм! — Букрайт схватил Армстида за другую руку. Они держали отчаянно извивавшееся тело до тех пор, пока Армстид не затих и не лег снова между ними, неподвижный, сверкая глазами и ругаясь все тем же шипящим шепотом. Руки у него на ощупь были худые как палки; но сила в них была нечеловеческая. — Ничего он не нашел! — шепнул Рэтлиф. — Просто он знает, что оно где-то здесь; может, ему попалась в доме бумага, в которой написано, где копать. Но ему еще надо отыскать это место, и нам тоже. Он знает, что оно где-то в саду, но надо его найти. Мы же видели, что он все ищет, — Букрайт слышал два голоса, они говорили свистящим шепотом — один ругался, другой успокаивал и увещевал, а сами говорившие во все глаза глядели на холм, тускло освещенный звездами. Потом заговорил один Рэтлиф. — Так ты, значит, не веришь, что это Флем, — сказал он. — Ладно. Смотри же! — они замерли в траве, все трое, тая дыхание. А потом Букрайт увидел того, кто копал, — тень, сгусток тьмы, поднимавшийся вверх по склону. — Гляди, — шепнул Рэтлиф. Букрайт слышал, как он и Армстид дышали хрипло, со свистом, с надрывом, не сводя глаз с холма. И тут Букрайт увидел белую рубашку; а еще через мгновение вся фигура отчетливо обрисовалась на фоне неба, замешкавшись на вершине холма. Потом она исчезла. — Ну вот, — прошептал Рэтлиф. — Разве это не Флем Сноупс? Теперь согласишься? — Букрайт набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его. Он все еще держал Армстида за руку. Он совсем позабыл об этом. Теперь он снова почувствовал ее, тугую и дрожащую, как стальная проволока.

— Да, это Флем, — сказал он.

— Конечно Флем, — сказал Рэтлиф. — Нам остается только найти завтра ночью, где оно, и тогда...

— Черта с два, завтра! — сказал Армстид. Он снова рванулся, порываясь встать. — Идем искать сейчас же. Вот что надо делать. Покуда он сам... — но они вдвоем держали его, и Рэтлиф шепотом спорил с ним, урезонивал его. Наконец они, ругаясь, прижали его к земле.

— Надо сперва узнать, где это, — выдохнул Рэтлиф. — Надо точно узнать, чтоб сразу взять, нет у нас времени на поиски. Надо все обыскать в первую же ночь, нельзя оставлять следы, не то он вернется и заметит. Не понимаешь, что ли? Не понимаешь, что мы только раз и сможем поискать, нельзя, чтобы нас застукали.

— Что же нам делать? — сказал Букрайт.

— Ха! — сказал Армстид. — Ха! — голос его звучал хрипло, сдавленно, злобно. В нем не было даже насмешки. — Что нам делать? Вы же, кажется, домой собирались.

— Будет, Генри, — сказал Рэтлиф. Он встал на колени, не выпуская руки Армстида. — Мы уговорились взять Одэма в долю. Подождем, по крайней мере, покуда найдем эти деньги, а потом уж начнем грызться из-за них.

— А вдруг там только конфедератские деньги? — сказал Букрайт.

— Ну ладно, — сказал Рэтлиф. — А куда, по-вашему, этот Старый Француз девал все деньги, нажитые, когда Конфедерацией еще и не пахло? Да там, наверно, полным-полно, и серебряных ложек, и всяких драгоценностей.

— Ложки и драгоценности можете взять себе, — сказал Букрайт. — Я возьму свою долю деньгами.

— А-а, теперь поверил? — сказал Рэтлиф.

Букрайт не ответил.

— Что же нам делать? — сказал он.

— Я съезжу завтра в долину и привезу дядюшку Дика Боливара, — сказал Рэтлиф. — Вернусь, как только стемнеет. Но все равно мы сможем приступить к делу только после полуночи, когда уйдет Флем.

— Чтобы он нашел их завтра ночью? — сказал Армстид. — Ей-богу, я не...

Теперь все трое стояли. Армстид вдруг начал яростно вырывать руку. Но Рэтлиф не отпускал его. Он обхватил Армстида обеими руками и держал, пока тот не утих.

— Слушай, — сказал Рэтлиф. — Флем Сноупс их не найдет. Как ты думаешь, ежели б он знал, где искать, стал бы он рыться здесь каждую ночь две недели кряду? Разве ты не знаешь, что люди ищут эти деньги уже тридцать лет? Что каждый фут земли здесь перевернут по меньшей мере раз десять? Да во всей округе нет поля, на которое положили бы столько труда, сколько на этот несчастный садик. Билл Варнер мог бы выращивать здесь хлопок или кукурузу — просто-напросто разбросал бы семена, и всходы вымахали бы такие, что жать пришлось бы верхом. А не нашли их до сих пор потому, что они зарыты глубоко; и никому не удалось докопаться до них в одну ночь, а потом засыпать яму, чтобы Билл Варнер не нашел ее на другой день, когда придет сюда сидеть на своем бочонке из-под муки и караулить клад. Нет, брат. Есть тут одна загвоздка.

Армстид успокоился. Он и Букрайт оба смотрели в ту сторону, где смутно маячило лицо Рэтлифа. Немного погодя Армстид спросил хрипло:

— Какая такая загвоздка?

— А вот какая: Флем Сноупс может пронюхать, что еще кто-то охотится за этими деньгами, — сказал Рэтлиф.

Назавтра, около полуночи, Рэтлиф снова свернул с дороги и поехал между деревьями. Букрайт теперь ехал верхом на своей лошади, потому что в бричке уже сидели трое, и снова Армстид не стал ждать, пока Рэтлиф привяжет лошадей. Он соскочил, как только бричка остановилась, со звоном и лязгом, нисколько не таясь, вытащил лопату из кузова и, отчаянно хромя, исчез в темноте, прежде чем Рэтлиф и Букрайт успели соскочить.

— Ну, теперь пропало дело, можно и по домам, — сказал Букрайт.

— Нет, нет, — сказал Рэтлиф. — Он никогда не бывает здесь так поздно. Но все равно, лучше догнать Генри.

Третий человек, сидевший в бричке, не шевелился. Даже в темноте его длинная седая борода чуть светилась, словно впитала в себя частицу звездного света, пока Рэтлиф вез его сюда, и теперь излучала этот свет. Рэтлиф и Букрайт ошупью помогли ему вылезти, взяли вторую лопату и кирку, подхватили старика и поволокли его вниз, в лощину, на звук хромящих шагов, стараясь настичь Армстида. Но настичь его им не удалось. Они выбрались из лощины, уже буквально неся старика, и еще издали услышали наверху, на холме, торопливые удары лопаты. Они отпустили старика, который плюхнулся на землю между ними, дыша порывисто, со свистом, и оба разом взглянули вверх, на темный холм, где глухо и яростно стучала лопата.

— Надо, чтоб он обождал, куда дядюшка Дик место укажет, — сказал Рэтлиф. Они бок о бок побежали на стук, спотыкаясь в темноте, в густом бурьяне. — Эй, Генри! — прошептал Рэтлиф. — Обожди дядюшку Дика.

Армстид не остановился, он остервенело копал, одним движением отбрасывая землю и снова вонзая лопату. Рэтлиф ухватился за лопату. Армстид вырвал ее и повернулся к нему, занеся лопату, как топор. Их усталые, изможденные лица не были видны в темноте. Рэтлиф не раздевался трое суток, а Генри Армстид, тот, верно, не раздевался, по крайней мере, две недели.

— Только тронь! — прохрипел Армстид. — Только тронь!

— Погоди, — сказал Рэтлиф. — Дай дядюшке Дику найти место.

— Прочь, — сказал Армстид. — Предупреждаю вас, держитесь от моей ямы подальше, — он снова с остервенением принялся копать.

Секунду Рэтлиф смотрел на него.

— Скорей, — сказал он. Он повернулся и побежал, а Букрайт следом за ним. Старик сидел там, где они его оставили. Рэтлиф бросился на землю рядом с ним и стал шарить в траве, отыскивая вторую лопату. Под руку сперва попалась кирка. Он отшвырнул ее и снова стал шарить по земле; они с Букрайтом схватили лопату одновременно. Они встали, вырывая лопату друг у друга, тянули и дергали ее, хрипло и тяжело дыша, и даже сквозь свое шумное дыхание слышали торопливые удары лопаты Армстида. — Пусти! — прошептал Рэтлиф. — Пусти!

Старик изо всех своих слабых сил старался встать на ноги.

— Обождите, — сказал он. — Обождите.

Тогда Рэтлиф, как видно, опомнился. Он выпустил лопату, почти швырнул ее Букрайту.

— Возьми, — сказал он и судорожно вздохнул. — Боже, — прошептал он. — Подумать только, что могут сделать с человеком деньги, даже те, которых у него еще нет, — он нагнулся и рывком поднял старика с земли, не с нарочитой грубостью, а просто подхлестываемый нетерпением. Старик не сразу устоял на ногах, пришлось его поддерживать.

— Обождите, — сказал он писклявым, дрожащим голосом. Его знали все в округе. У него не было ни роду ни племени, никто не мог упомянуть, когда и откуда он явился; никто не знал, сколько ему лет, — высокий, худой, в грязном сюртуке, надетом на голое тело, с длинной седой как лунь бородой по пояс, он жил в мазанке на самом дне балки в пяти или шести милях от дороги. Он продавал снадобья собственного изготовления от всех болезней и амулеты, и о нем говорили, что он ест не только лягушек и змей, но и жуков — что ни поймает. В мазанке у него не было ничего, кроме кровати с соломенным тюфяком, нескольких горшков, огромной Библии и блеклого дагерротипного портрета юноши в конфедератской форме, которого все, кому доводилось там бывать, считали его сыном. — Обождите, — сказал он. — Земля сердится. Надо, чтоб вон тот человек перестал ее ковырять.

— Правильно, — сказал Рэтлиф. — Покуда земля не успокоится, ничего не выйдет. Надо его остановить.

Они снова подошли к Генри; он продолжал копать, и едва Рэтлиф снова коснулся его, он повернулся, занес лопату и стоял так, ругаясь бессильным шепотом, пока сам старик не тронул его за плечо.

— Копай, копай, молодчик, — сказал писклявый голос. — А земля что хранит, то и будет хранить, покуда срок не выйдет.

— Правда, Генри, — сказал Рэтлиф. — Мы должны пустить дядюшку Дика, чтобы он указал нам место. Пошли.

Армстид опустил лопату и вылез из ямы (она была уже в целый фут глубиной). Но лопаты он не бросил; он держал ее до тех пор, пока старик не прогнал их всех назад, в дальний край сада, а потом вынул из заднего кармана раздвоенную персиковую ветку, на конце которой что-то болталось; Рэтлиф, который видел эту штуку раньше, знал, что к рогатке подвешен матерчатый кисет, а в нем человеческий зуб с золотой пломбой. Старик продержал их на месте минут десять, то и дело нагибаясь и щупая ладонью землю. Потом он пошел вперед, и все трое пошли за ним по пятам, и в заросшем травой углу старого сада он взялся за концы своей рогатки, так что кисет неподвижно и отвесно свисал к земле, и постоял немного, что-то бормоча себе под нос.

— Почем мне знать... — сказал Букрайт.

— Тс! — сказал Рэтлиф.

Старик двинулся дальше, и все трое — за ним. Это походило на торжественное шествие, и было какое-то языческое исступление и вместе с тем какая-то истовость в том, как они медленно, зигзагами, шагали взад и вперед, мало-помалу поднимаясь на холм. Вдруг

старик остановился; Армстид, ковылявший следом, ткнулся ему в спину.

— В ком-то помеха сидит, — сказал он, не оглядываясь. — Нет, не в тебе, — сказал он, и все поняли, что он обращается к Рэтлифу. — И не в хромоногом. Вон в том, другом. В чернявом. Пускай уйдет, даст земле успокоиться, а не то везите меня домой.

— Отойди к загородке, — тихо сказал Рэтлиф Букрайту через плечо. — Тогда все пойдет как надо.

— Но я... — сказал Букрайт.

— Уйди из сада, — сказал Рэтлиф. — Уже за полночь. Через четыре часа светать начнет

Букрайт вернулся к подножью холма. Вернее, он как-то растворился в темноте, а они не смотрели ему вслед; они уже шли дальше, и Армстид с Рэтлифом не отставали от старика ни на шаг. Снова они стали зигзагами подниматься на холм, мимо ямы, которую начал копать Генри, а потом мимо другой, засыпанной ямы, вырытой еще кем-то, которую Рэтлиф нашел в ту первую ночь, когда Армстид привел его сюда; Рэтлиф чувствовал, что Армстид снова начинает дрожать. Старик остановился. На этот раз они не наткнулись на него, и Рэтлиф не знал, что Букрайт снова у него за спиной, пока старик не заговорил.

— Тронь меня за локти, — сказал он. — Нет, не ты. Тот, какой не верил, — когда Букрайт коснулся его локтей, руки старика под рукавами, тонкие, ломкие и неживые, как гнилые сучья, слабо и непрестанно подергивались; а когда старик снова вдруг остановился и Букрайт наткнулся на него, он почувствовал, как тот всем своим тощим телом подался назад. Армстид без умолку ругался все тем же шипящим шепотом. — Тронь рогатку, — прохрипел старик. — Ты, какой не верил.

Когда Букрайт тронул рогатку, она упруго изогнулась, веревка была натянута, как струна. Армстид сдавленно вскрикнул; Букрайт почувствовал, что и его рука схватила рогатку. Рогатка полетела наземь; старик пошатнулся, рогатка безжизненно лежала у его ног, пока Армстид, иступленно копая землю голыми руками, не отшвырнул ее прочь.

Они разом повернулись и опрометью бросились назад, вниз, где остались лопаты и кирка. Армстид бежал впереди, они едва поспевали за ним.

— Только не давай ему кирку, — прохрипел Букрайт. — А то он убьет кого-нибудь.

Но Армстид и не думал хватать кирку. Он бежал прямо туда, где оставил лопату, когда старик вынул свою рогатку и велел ему положить лопату, схватил ее и побежал обратно на холм. Когда подоспели Рэтлиф с Букрайтом, он уже копал. И они принялись копать все трое, яростно отшвыривая землю, мешая друг другу, лязгая и сталкиваясь лопатами, а старик стоял над ними в тускло поблескивавшем под звездами окладе седой бороды, с белыми бровями над темными глазами, и если бы они даже бросили копать и взглянули на него, то все равно не могли бы сказать, глядят ли на них его глаза, задумчивые, безучастные, равнодушные к их тревоблениям. Вдруг все трое на миг словно окаменели с лопатами в руках. Потом разом спрыгнули в яму; шесть рук в один и тот же миг коснулись его — тяжелого твердого мешочка из плотной материи, сквозь которую прощупывались рубчатые кругляши монет. Они дергали его, рвали друг у друга из рук, тянули, хватали, задыхались.

— Стойте! — выдохнул наконец Рэтлиф. — Стойте! Мы же уговорились все делить поровну, — но Армстид вцепился в мешочек, ругаясь, тянул его к себе. — Пусти, Одэм, — сказал Рэтлиф. — Отдай ему, — они выпустили мешочек. Армстид прижал его к себе и скрючился, сверкая на них глазами. Они вылезли из ямы. — Пускай берет, — сказал Рэтлиф. — Ты же понимаешь, что это не все, — он отвернулся. — Пойдемте, дядюшка Дик, — сказал он. — Берите свою... — он осекся. Старик стоял неподвижно и как будто прислушивался, повернув голову в сторону лощины, через которую они пришли. — Ну что? — прошептал Рэтлиф. Все трое не шевелились, застыли, пригнувшись, в тех же позах, в каких попятились от Армстида. — Вы что-нибудь слышите? — прошептал Рэтлиф. — Есть там кто?

— Чую четыре алчные души, — сказал старик. — Четыре души алчут праха.

Они припали к земле. Но все было тихо.



— Да ведь нас же и есть четверо, — прошептал Букрайт.

— Дядюшке Дику на деньги плевать, — прошептал Рэтлиф. — Если там кто-нибудь прячется...

И они побежали. Впереди бежал Армстид, не выпуская из рук лопаты. И снова они едва поспевали за ним, спускаясь вниз с холма.

— Убью его, — сказал Армстид. — Обшарю кусты и убью.

— Ну нет, — сказал Рэтлиф. — Просто надо его поймать.

Когда он и Букрайт добрались до лощины, они услышали, что Армстид прет напролом по ее краю, несколько не смущаясь шумом, и рубит темные кусты лопатой, как топором, с такой же яростью, с какой только что копал. Но они не нашли никого и ничего.

— Может, дядюшке Дику просто почудилось, — сказал Букрайт.

— Словом, теперь здесь никого нет. Может, это... — Рэтлиф замолчал. Они с Букрайтом взглянули друг на друга; сквозь свое шумное дыхание они слышали стук копыт. Он доносился со старой дороги из-за деревьев; лошадь словно свалилась туда с неба на всем скаку. Они прислушивались до тех пор, пока стук копыт не заглох на песчаном ложе ручья. Через мгновение они снова слышали, как копыта стучат по твердой дороге, теперь уже слабее. Потом стук их замер совсем. Они глядели друг на друга в темноте, сдерживая дыхание. Наконец Рэтлиф перевел дух. — Значит, у нас есть время до рассвета, — сказал он. — Пошли.

Еще дважды рогатка старика сгибалась и падала, и дважды они находили маленькие, туго набитые парусиновые мешочки, и даже в темноте невозможно было ошибиться насчет их содержимого.

— Теперь, — сказал Рэтлиф, — у нас по яме на каждого, и времени до утра. Копайте, ребята.

Когда восток начал сереть, они все еще ничего не нашли. Но так как копали они порознь в трех местах, никто не успел вырыть достаточно глубокую яму. А главный клад был наверняка зарыт очень глубоко; иначе, как сказал Рэтлиф, за последние тридцать лет его бы уже десять раз нашли, потому что из десятка акров приусадебной земли немного нашлось бы квадратных футов, где кто-нибудь не копал бы по ночам, от зари до зари, без фонаря, проворно и в то же время стараясь не делать шума. Наконец они с Букрайтом кое-как убедили Армстида образумиться, бросили копать, засыпали ямы и разровняли землю. А потом, в серых предрассветных сумерках, они открыли мешочки. У Рэтлифа и Букрайта оказалось по двадцати пяти серебряных долларов. Армстид не захотел сказать, сколько у него, и никому не дал заглянуть в свой мешочек. Он скрючился, прикрывая его своим телом, и с руганью повернулся к ним спиной.

— Ну, ладно, — сказал Рэтлиф. Потом его вдруг встревожила новая мысль. Он взглянул на Армстида. — Надеюсь, у каждого из вас хватит ума не тратить эти доллары до поры до времени.

— Что мое, то мое, — сказал Армстид. — Я нашел эти деньги, я добыл их своими руками. И провалиться мне на этом месте, ежели я не сделаю с ними все, что захочу.

— Ладно, — сказал Рэтлиф. — А как ты объяснишь, откуда они?

— Как я... — Армстид запнулся. Сидя на корточках, он поднял голову и поглядел на Рэтлифа. Теперь они уже могли видеть лица друг друга. Все трое были взвинчены, измучены бессонницей и усталостью.

— Да, — сказал Рэтлиф. — Как ты объяснишь людям, откуда они у тебя? Откуда эти двадцать пять долларов, все как один чеканки до шестидесят первого года? — он отвернулся от Армстида. Они с Букрайтом спокойно взглянули друг на друга, а вокруг между тем становилось все светлее. — Кто-то следил за нами из лощины, — сказал он. — Придется купить усадьбу.

— И поскорей, — сказал Букрайт. — Завтра же.

— Ты хочешь сказать — сегодня, — поправил его Рэтлиф.

Букрайт огляделся. Он словно пришел в себя после наркоза, словно впервые увидел

зарю, мир.

— Ты прав, — сказал он. — Завтра уже наступило.

Старик спал, приоткрыв рот, растянувшись навзничь под деревом на краю лощины, и при свете занимавшейся зари видно было, какая у него грязная, замаранная борода; они ни разу и не вспомнили о нем с тех самых пор, как начали копать. Они разбудили старика и снова усадили его в бричку. Будка, в которой Рэтлиф возил швейные машинки, запиралась на висячий замок. Он вынул оттуда несколько кукурузных початков, потом положил туда свой мешочек с деньгами и мешочек Букрайта и снова запер дверцу.

— Положил бы и ты свой мешок сюда, Генри, — сказал он. — Нам нужно забыть, что у нас есть эти деньги, покуда мы не откопаем все остальное.

Но Армстид не согласился. Он неловко залез на лошадь и сел позади Букрайта, самостоятельно, заранее отвергая помощь, которую ему еще даже не предложили, спрятав мешочек на груди, под заплатанным вылинявшим комбинезоном, и они уехали. Рэтлиф задал корму своим лошадям и напоил их у ручья; прежде чем взошло солнце, он был уже на дороге. Часов в девять он уплатил старику доллар за труды, высадил его там, где начиналась тропа, шедшая к его хижине, до которой было еще пять миль, и повернул своих крепких неутомимых лошадок назад к Французовой Балке. «Да, кто-то прятался там, в лощине, — думал он. — Надо поскорее купить эту усадьбу».

Потом ему казалось, что он по-настоящему понял, что значит это «поскорей», только когда подъехал к лавке. Подъезжая к ней, он почти сразу заметил на галерее среди привычных лиц одно новое и узнал его — это был Юстас Грим, молодой арендатор из соседнего округа, живший в десяти или двенадцати милях отсюда с женой, которую он взял к себе в дом год назад, и Рэтлиф рассчитывал продать ей швейную машинку, как только они расплатятся с долгами, которые наделали за два месяца, с тех пор как у них родился ребенок; привязав лошадей к одному из столбов галереи и поднимаясь по истоптанным ступеням, он подумал: «Может, сон — хороший отдых, но как не поспишь две-три ночи, да помучишься, напугаешься до смерти, голова и заработает как следует». Потому что, как только он узнал Грима, что-то шевельнулось у него внутри, хотя ему тогда невдомек было, что это значит, и только через два, а то и три дня он понял в чем дело. Он не раздевался почти трое суток; он не завтракал в то утро, и вообще за последние два дня ему едва удавалось наскоро перехватить что-нибудь, и все это отразилось на его лице. Но не отразилось ни в голосе, ни в чем другом, и ничем, кроме следов усталости на лице, он себя не выдал.

— Доброе утро, джентльмены, — сказал он.

— Ей-богу, В. К., у тебя такой вид, словно ты неделю спать не ложился, — сказал Фримен. — Что это ты затеял? Лон Квик говорит, что его мальчишка третьего дня видел твоих лошадей с бричкой, спрятанных в овраге возле дома Армстида, а я ему говорю, мол, лошади-то ничего такого не сделали, чтобы прятаться. Значит, это ты прячешься.

— Вряд ли, — сказал Рэтлиф. — Иначе я бы тоже попался вместе с ними. Знаешь, мне всегда казалось, что я слишком ловок, чтобы попасться здесь, в наших краях. Но теперь я, право, не знаю. — Он поглядел на Грима, и его лицо, истомленное бессонницей, было ласковым, насмешливым и непроницаемым, как всегда. — Юстас, — сказал он, — ты куда-то не туда заехал.

— Да, пожалуй, — сказал Грим. — Я приехал повидать...

— Он уплатил дорожную пошлину, — сказал Лэмп Сноупс, приказчик, который сидел, по обыкновению, на единственном стуле, загораживая дверь. — Хочешь запретить ему ездить по йокнапатофским дорогам, что ли?

— Нет, конечно, — сказал Рэтлиф. — Ежели он уплатил пошлину где следует, пускай едет хоть сквозь эту лавку да заодно и сквозь дом Билла Варнера.

Все, кроме Лэмпа, засмеялись.

— Что ж, может, я так и сделаю, — сказал Грим. — Я приехал сюда повидать... — он замолчал, глядя на Рэтлифа. Он сидел на корточках, не двигаясь, держа в одной руке дощечку, а в другой — открытый нож. Рэтлиф тоже смотрел на него.

— Разве ты не мог повидать его вчера вечером? — сказал он.

— Кого это я мог повидать вчера вечером? — сказал Грим.

— Как мог он повидать кого-то на Французовой Балке вчера вечером, когда его вчера здесь не было? — сказал Лэмп Сноупс. — Иди в дом, Юстас. Обед, верно, готов. Я тоже сейчас приду.

— Но мне... — сказал Грим.

— Тебе надо еще сегодня отмахать двенадцать миль до дому, — сказал Сноупс. — Иди же, — Грим еще мгновение глядел на него. Потом встал, спустился с крыльца и пошел по дороге. Рэтлиф не смотрел ему вслед. Он смотрел теперь на Сноупса.

— Юстас на этот раз у тебя, что ли, столуется? — спросил он.

— Он столуется у Уинтерботома, там же, где я, — хрипло сказал Сноупс. — И там же, где другие, которые платят за это деньги.

— Ну конечно, — сказал Рэтлиф. — Только зря ты его так быстро отсюда спроваживаешь. Ведь Юстас не очень-то ездит в город, мог бы день-другой побыть хоть здесь, поглядеть что и как, посидеть на галерее у лавки.

— Сегодня к ужину он будет уже дома, — сказал Сноупс. — Поезжай да погляди сам. Он и моргнуть не успеет, а ты уж будешь у него на заднем дворе.

— Ну конечно, — сказал Рэтлиф, и его истомленное бессонницей лицо было ласковым, мягким, непроницаемым. — А Флем когда вернется?

— Откуда? — хрипло сказал Сноупс. — Из гамака, где он прохлаждается вместе с Биллом Варнером или дрыхнет? Да, уж видно, никогда.

— Вчера он вместе с Биллом и женщинами был в Джефферсоне, — сказал Фримен. — Билл сказал, что нынче они вернутся.

— Ну конечно, — сказал Рэтлиф. — Иной раз больше года пройдет, покуда отучишь молодую жену от мысли, будто деньги только для того и существуют, чтобы по магазинам бегать, — он стоял на галерее, прислонившись к столбу, спокойно и непринужденно, словно никогда в жизни не знал, что такое спешка. Значит, Флем Сноупс не хотел, чтоб об этом знали. А Юстас Грим... — Тут у него в голове опять что-то шевельнулось, но только через три дня он понял в чем дело, хотя теперь думал, что все знает, все видит насквозь. — ...а Юстас Грим здесь со вчерашнего вечера или, уж во всяком случае, с той минуты, как мы услышали стук копыт. Может, они оба ехали на этой лошади, может, именно потому стук и был такой громкий, — он и это мог себе представить — Лэмп Сноупс и Грим на одной лошади, мчатся, скачут в темноте во весь опор назад, к Французовой Балке, а Флема Сноупса там еще нет, он вернется только днем. «Лэмп Сноупс не хотел, чтоб и об этом знали, — подумал он, — и Юстаса Грима спровадил, чтоб не дать никому с ним поговорить. И Лэмп не просто встревожен и взбешен: он боится. Они могли даже найти спрятанную бричку. Вероятно, так оно и было, и они узнали, по крайности, одного из тех, кто копал в саду; и теперь Сноупсу нужно не только столкнуться с двоюродным братом через своего доверенного, Грима, но еще, чего доброго, придется иметь дело с таким человеком, который (Рэтлиф подумал это без всякого тщеславия) играючи может его переторговать». Погруженный в свои мысли, озабоченный, но, как всегда, непроницаемый, он раздумывал о том, что даже Сноупс не может чувствовать себя в безопасности от другого Сноупса. «Да, надо спешить», — подумал он. Он отошел от столба и шагнул к крыльцу. — Ну, я пойду, — сказал он. — До завтра, ребята.

— Пойдем ко мне обедать, — сказал Фримен.

— Большое спасибо, — сказал Рэтлиф. — Я сегодня поздно позавтракал у Букрайта. А мне еще надо получить деньги по векселю за швейную машинку с Айка Маккаслина и засветло вернуться сюда.

Он сел в бричку и, повернув лошадей, снова выехал на дорогу. Лошади с места взяли свой обычный аллюр и побежали рысцей, быстро перебирая короткими ногами, но не очень-то резво, пока не миновали дом Варнера, за которым дорога сворачивала к ферме Маккаслина, и теперь бричку уже не было видно с галереи. Тогда они прибавили ходу, кнут

гулял по их мохнатым спинам, выбивая пыль. Рэтлифу нужно было проехать около трех миль. Он знал, что через полмили начнется извилистый, малоезженный проселок, но езды там всего минут двадцать. Время едва перевалило за полдень, а Варнеру, надо полагать, никак не раньше девяти утра удалось вытащить свою жену из джефферсонского женского комитета содействия церкви, в котором она состоит. Рэтлиф одолел проселок за девятнадцать минут, подпрыгивая на ухабах и оставляя позади клубы пыли, потом в миле от Французовой Балки остановил взмыленных лошадей, потом свернул на джефферсонскую дорогу, по которой еще полмили проехал рысью, сдерживая лошадей, чтобы дать им постепенно остыть. Но коляски Варнера все не было, и он пустил лошадей шагом и ехал так, пока не поднялся на холм, с которого мог видеть дорогу далеко вперед, и тут свернул на обочину, в тень, и остановился. Теперь он остался и без обеда. Голод не очень мучил, и хотя с утра, после того как он ссадил старика и повернул назад, в Балку, его неодолимо клонило ко сну, теперь и это прошло. Он сидел в бричке, обмякший, болезненно шурясь от яркого света, а лошади (он никогда не пользовался удилами) выпростали морды из узды и, вытянув шеи, щипали траву. Он знал, что проезжие могут увидеть его здесь; некоторые даже поедут потом через Французову Балку и расскажут там, что видели его. Но он подумает об этом после, когда придет нужда. Он как бы сказал себе: «Теперь я могу хоть немного передохнуть».

А потом он увидел коляску. И прежде, чем кто-нибудь в коляске успел его заметить, он был уже на дороге, и его лошадки бежали привычной рысью, которую знала вся округа, — маленькие копытца мелькали быстро, хотя две большие лошади шагом повезли бы бричку не намного медленнее. Он знал, что его уже заметили и узнали, когда шагах в двухстах от коляски он натянул вожжи и ждал, сидя в своей бричке, приветливый, ласковый и безмятежный, только лицо у него было измученное, и Варнер, поравнявшись с ним, остановил коляску.

— Здравствуй, В. К., — сказал Варнер.

— Доброе утро, — сказал Рэтлиф. Он приподнял шляпу, раскланиваясь с женщинами, сидевшими сзади. — Миссис Варнер, миссис Сноупс, мое почтение.

— Куда это ты? — спросил Варнер. — В город?

Рэтлиф не стал лгать, у него этого и в мыслях не было, он только улыбался учтиво, даже слегка заискивающе.

— Нет, я выехал нарочно, чтобы вас встретить. Хочу переговорить с Флемом, — тут он в первый раз взглянул на Сноупса. — Садись ко мне, я подвезу тебя до дому.

— Ха! — сказал Варнер. — Значит, ты проехал две мили, а теперь повернешь назад и проедешь еще две, только чтобы с ним поговорить!

— Вот именно, — сказал Рэтлиф. Он все смотрел на Сноупса.

— Ты не такой дурак, чтоб надеяться что-нибудь продать Флему Сноупсу, — сказал Варнер. — И уж наверняка у тебя хватит ума ничего у него не покупать, правда?

— Не знаю, — сказал Рэтлиф прежним приветливым, непринужденным и непроницаемым тоном, и глаза его глядели на Сноупса с истомленного бессонницей лица. — Я всегда считал себя умным человеком, но теперь не знаю. Я подвезу тебя, — сказал он. — К обеду ты поспеешь.

— Ну что ж, вылезай, — сказал Варнер зятю. — Так он все равно ничего не скажет.

Сноупс тем временем уже зашевелился. Он сплюнул через колесо на дорогу, повернулся и задом слез на землю, широкий и неторопливый, в засаленных светло-серых штанах, белой рубашке и клетчатой кепке; коляска тронулась. Рэтлиф затормозил бричку, Сноупс сел рядом с ним, он развернул лошадей, и снова они побежали привычной неутомимой рысью. Но Рэтлиф натянул вожжи и заставил их идти шагом, не давая им снова перейти на рысь, а Сноупс, сидя рядом с ним, беспрерывно жевал. Они не смотрели друг на друга.

— Я насчет этой усадьбы Старого Француза, — сказал Рэтлиф. Коляска уже обогнала их на сотню шагов и, так же как они, поднимала целое облако пыли. — Сколько ты думаешь запросить за нее с Юстаса Грима?



Сноупс сплюнул табачную жвачку через колесо. Он жевал не спеша, безостановочно, и, видимо, это нисколько не мешало ему ни сплевывать, ни разговаривать.

— Он небось ждет уже возле лавки? — сказал он.

— Да ведь ты, наверно, сам велел ему приехать сегодня? — сказал Рэтлиф. — Так сколько же ты думаешь с него запросить? — Сноупс назвал цену. Рэтлиф коротко хмыкнул, почти как Варнер. — И ты думаешь, что Юстас Грим сможет отвалить такую кучу денег?

— Не знаю, — сказал Сноупс. Он снова сплюнул через колесо.

Рэтлиф мог бы сказать: «Значит, ты не хочешь продавать усадьбу», — а Сноупс ответил бы на это: «Я продам что угодно». Но они этого не сказали. Им это было ни к чему.

— Ладно, — сказал Рэтлиф. — А с меня ты сколько запросишь? — Сноупс назвал цену. Она была та же. На этот раз Рэтлиф хмыкнул, совсем как Варнер. — Я говорю только о десяти акрах при этом старом доме. Я не покупаю у тебя весь Йокнапатофский округ, — они перевалили через последний холм, и коляска Варнера прибавила ходу, удаляясь от них. До Французовой Балки теперь было рукой подать. — Ну ладно, первый спрос не в счет, — сказал Рэтлиф. — Так сколько ты хочешь за усадьбу Старого Француза?

Его лошади тоже норовили перейти на рысь, увлекая вперед легкую бричку. Рэтлиф сдержал их, дорога начала поворачивать, и за школой открылась Французова Балка. Коляска уже исчезла за поворотом.

— На что она тебе? — сказал Сноупс.

— Под козье ранчо, — сказал Рэтлиф. — Так сколько же?

Сноупс сплюнул через колесо. Он в третий раз назвал ту же цену. Рэтлиф отпустил вожжи, и крепкие, неутомимые лошадки побежали рысью, минуя последний поворот, мимо пустой школы, и вся Балка теперь была на виду, а впереди снова показалась коляска, уже за лавкой. — А что этот тип, который учительствовал здесь года три, не то четыре назад? Лэбоув. Не слышно, что с ним случилось?

В седьмом часу в пустой запертой лавке Рэтлиф, Букрайт и Армстид купили у Сноупса усадьбу Старого Француза. Рэтлиф подписал передаточную на свою половину рестораника на окраине Джефферсона. Армстид дал закладную на свою ферму вместе со всеми службами, инструментом, скотом и с тремя милями проволоочной загородки в три ряда; Букрайт уплатил свою долю наличными. Потом Сноупс выпустил их, запер дверь, и они остались на пустой галерее в гаснущих отблесках августовского заката и смотрели, как Сноупс идет к дому Варнера, — вернее, смотрели ему вслед только двое, потому что Армстид уже сел в бричку и ждал там, не шевелясь, источая все ту же упорную и клокочущую ярость.

— Теперь усадьба наша, — сказал Рэтлиф. — Надо нам ее караулить, а то кто-нибудь привезет туда дядюшку Дика Боливара и станет искать клад.

Они заехали сперва к Букрайту (он был холост), сняли тюфяк с его кровати, захватили два одеяла, кофейник, сковородку, еще одну кирку и лопату, а потом поехали к Армстиду. У него тоже был только один тюфяк, но еще у него была жена и пятеро малышей; кроме того, Рэтлиф, который видел этот тюфяк раньше, знал, что стоит его снять с кровати, как он рассыплется. Армстид взял одеяло, а вместо подушки они помогли ему набить отрубями пустой мешок и, обойдя дом, вернулись к бричке, а жена его стояла в дверях, и четверо детей жались к ее ногам. Но она не сказала ни слова, и когда Рэтлиф, тронув лошадей, оглянулся, в дверях уже никого не было.

Когда они свернули со старой дороги и поехали через косматую можжевелевую рощу к развалинам дома, было еще светло, и они увидели возле самого дома повозку, запряженную мулами, а из дверей вышел человек и остановился, глядя на них. Это был Юстас Грим, но Рэтлиф так и не понял, узнал ли Армстид Юстаса или ему было все равно, кто это, потому что, прежде чем бричка остановилась, он соскочил на землю, выхватил лопату из-под ног у Букрайта и Рэтлифа и, озверев от боли и ярости, хромя, побежал к Гриму, который тоже побежал, спрятался за повозку и оттуда смотрел на Армстида, а Армстид, стараясь достать его, рубанул лопатой через повозку.

— Держи его! — крикнул Рэтлиф. — Не то убьет!

— Или опять сломает свою проклятую ногу, — сказал Букрайт.

Когда они настигли Армстида, он порывался бежать вокруг повозки, занеся лопату как топор. Но Грим уже отскочил в сторону, а увидев Рэтлифа с Букрайтом, шарахнулся и от них и остановился, сторожа каждое их движение. Букрайт крепко схватил Армстида сзади за обе руки.

— Живо сматывайся, если не хочешь неприятностей, — сказал Рэтлиф Гриму.

— Зачем мне неприятности? — сказал Грим.

— Тогда уходи, куда Букрайт его держит.

Грим подошел к повозке, глядя на Армстида со скрытым любопытством.

— Эти глупости его до добра не доведут, — сказал он.

— О нем не тревожься, — сказал Рэтлиф. — Только убирайся поскорей, — Грим сел в повозку и поехал. — Можешь теперь его отпустить, — сказал Рэтлиф. Армстид вырвался и повернул к саду. — Постой, Генри, — сказал Рэтлиф. — Давай сперва поужинаем. И отнесем в дом постели, — но Армстид, хромая, бежал к саду в гаснущем свете заката. — Надо сперва поесть, — сказал Рэтлиф.

А потом он вдруг вздохнул, будто всхлипнул; они с Букрайтом разом бросились к будке для швейных машинок, Рэтлиф отпер замок, они захватили лопаты и кирки и побежали вниз по склону, в сад, где Армстид уже копал. Когда они были почти рядом, он вдруг выпрямился и кинулся к дороге, занеся лопату, и они увидели, что Грим не уехал, а сидит на козлах и глядит на них через сломанную железную загородку, а Армстид уже почти добежал до загородки. Но тут Грим тронул лошадей.

Они копали всю ночь, Армстид в одной яме, Рэтлиф с Букрайтом вдвоем — в другой. Время от времени они останавливались передохнуть, и над ними стройными рядами проходили летние звезды. Отдыхая, Рэтлиф и Букрайт прохаживались, чтобы расправить затекшие мышцы, потом садились на корточки (они не закуривали; они боялись зажечь спичку. А у Армстида, верно, никогда и не бывало лишнего никеля на табак) и тихо разговаривали, слушая мерный стук лопаты Армстида. Он копал, даже когда они останавливались; все копал, упорно, без усталости, когда они снова принимались за работу, но время от времени один из них вспоминал о нем и, подняв голову, видел, что он сидит на краю своей ямы, неподвижный, как те кучи земли, которые он оттуда выбросил. А потом он снова принимался копать, пока не выбивался из сил; и так продолжалось до самого рассвета, а когда забрезжила заря, Рэтлиф с Букрайтом, стоя над Армстидом, препирались с ним.

— Пора кончать, — сказал Рэтлиф. — Уже светло, нас могут увидеть.

Армстид не остановился.

— Пускай, — сказал он. — Теперь эта земля моя. Могу копать сколько захочу, хоть весь день.

— Ну, ладно, — сказал Рэтлиф. — Только боюсь, что у тебя будет целая толпа помощников, — Армстид остановился, глядя на него из ямы. — Нельзя же копать всю ночь, а потом целый день сидеть и караулить, — сказал Рэтлиф. — Идем. Нужно поесть и поспать хоть немного.

Они взяли из брички тюфяк с одеялами и отнесли их в дом, в прихожую, где в зияющих дверных проемах уже и в помине не было дверей, а с потолка свисал скелет, который некогда был хрустальной люстрой, и оттуда вверх вела широкая лестница, у которой все ступени были давным-давно выломаны на починку конюшни, курятников и уборных, а ореховые перила, стойки и перекладины пошли на топливо. В комнате, которую они выбрали для себя, потолок был высотой в четырнадцать футов. Над выбитыми окнами сохранились остатки когда-то раззолоченного лепного карниза, со стен щерились острые дранки, с которых обвалилась штукатурка, а с потолка свисал скелет другой хрустальной люстры. Они расстелили тюфяк и одеяла поверх осыпавшейся штукатурки, а потом Рэтлиф с Букрайтом снова сходили к бричке и принесли оттуда взятую из дома еду и два мешочка с деньгами. Они спрятали мешочки в камин, теперь загаженный птичьим пометом, за облицовку, на которой еще сохранились следы мраморной отделки. Армстид своих денег не принес. Они не

знали, куда он их девал. И не спросили об этом.

Огня они не развели. Рэтлиф, вероятно, воспротивился бы этому, но никто об этом и не заикнулся; они ели холодную, безвкусную пищу, слишком усталые, чтобы разбирать вкус; сняв только башмаки, облепленные мокрой глиной со дна глубоких ям, они легли на одеяла и погрузились в беспокойный сон, слишком усталые, чтобы забыться совсем, и снились им золотые горы. К полудню солнечные лучи проникли сквозь дырявую крышу и два прогнивших потолка над ними, и причудливые пятна поползли на восток по полу, по смятым одеялам, а потом по распростертым телам и лицам с полуоткрытыми ртами, а они ворочались, метались или прикрывали лица руками, словно во сне бежали от невесомой тени того, на что они, бодрствуя, сами себя обрекли. Они проснулись на закате, сон ничуть их не освежил. Они молча бродили по комнате, пока в развалившемся камине закипал кофейник; тогда они снова поели, с жадностью глотая холодную, безвкусную пищу, а тем временем в западном окне высокой полуразрушенной комнаты померкло алое зарево заката. Армстид первый покончил с едой. Он поставил чашку, поднялся, привстав сначала на четвереньки, как ребенок, и, с трудом волоча сломанную ногу, заковылял к двери.

— Нужно дожидаться, покуда совсем стемнеет, — сказал Рэтлиф, ни к кому не обращаясь; и никто, конечно, ему не ответил. Словно он сказал это себе и сам же себе ответил. Он тоже встал. Букрайт был уже на ногах. Когда они дошли до сада, Армстид уже копал в своей яме.

И снова они копали всю короткую летнюю ночь напролет, и знакомые звезды проходили над головой, и когда они порой останавливались, чтобы передохнуть и расправить мышцы, то слышали, как внизу под ними, словно вздыхая, равномерно поднималась и опускалась лопата Армстида; на рассвете они заставили его бросить работу, пошли в дом, поели консервированной рыбы, холодной свинины, застывшей в собственном жиру, лепешек и снова, улегшись на скомканные одеяла, спали до полудня, когда золотые лучи солнца, крадучись по комнате, нашарили их, и тогда они стали ворочаться и метаться, словно в кошмаре, тщетно стараясь сбросить это неосязаемое и невесомое бремя. Еще утром они доели последний кусок хлеба. А на закате, когда остальные двое проснулись, Рэтлиф уже поставил кофейник на огонь и замесил на сковороде кукурузную лепешку. Армстид не стал дожидаться лепешек. Он проглотил свою порцию мяса, выпил кофе, снова встал, сперва на четвереньки, как ребенок, и вышел. Букрайт тоже был уже на ногах. Рэтлиф, сидя на корточках перед сковородой, взглянул на него.

— Что ж, иди, — сказал он. — Незачем терять время.

— Мы уже вырыли яму глубиной в шесть футов, — сказал Букрайт. — В четыре фута шириной и почти в десять длиной. Пойду начну там, где мы нашли третий мешок.

— Ладно, — сказал Рэтлиф. — Иди начинай.

Потому что в голове у него снова что-то шевельнулось. Может, это было во сне, он не знал. Но он знал, что теперь все ясно как день. «Только я не хочу видеть, не хочу слышать, как это будет, — подумал он, сидя на корточках перед огнем со сковородой в руке и щуря глаза, слезившиеся от дыма, который не шел в развалившуюся трубу. — Меня страх берет. Но еще есть время. Нынешнюю ночь еще можно копать. У нас есть даже новое место». Он подождал, пока лепешка испеклась. Потом он снял ее со сковородки, поставил сковородку на угли, нарезал ломтиками сало и поджарил его; за три дня он в первый раз поел горячего, поел не спеша, сидя на корточках и потягивая кофе, а на обрушенном потолке угасали последние блики заката и наконец угасли, и комнату освещали лишь отблески догорающего в камине огня.

Букрайт и Армстид уже копали. Когда Рэтлиф подошел поближе, он увидел, что Армстид в одиночку выкопал яму глубиной в три фута и почти такую же длинную, как они с Букрайтом вдвоем. Он пошел туда, где Букрайт начал новую яму, взял лопату, которую Букрайт захватил для него, и начал копать. Они копали всю ночь, под знакомым строем проходящих созвездий, изредка останавливаясь передохнуть (хотя Армстид не останавливался вместе с ними), присаживались на край первой ямы, и Рэтлиф тихонько

говорил, но не о золоте, не о деньгах, а рассказывал смешные анекдоты, и лицо его, невидимое в темноте, было лукавым, мечтательным, непроницаемым. Потом копали снова. «Днем погляжу как следует, — думал он. — Да ведь я все уже видел. Видел три дня назад». Но вот начало светать. И едва тускло забрезжил рассвет, он опустил лопату и выпрямился. Кирка Букрайта равномерно поднималась и опускалась прямо перед ним; а в двадцати футах от себя он теперь увидел Армстида по пояс в земле, словно разрезанного надвое, — мертвое тело, даже не подозревавшее, что оно мертво, работало, сгибаясь и выпрямляясь, размеренно, как метроном, словно Армстид вновь закапывал себя в землю, из которой вышел, чтобы всегда, до конца своих дней быть ее обреченным от века рабом. Рэтлиф вылез из ямы и стоял на куче темной свежей глины, выброшенной из нее, мускулы его дрожали и судорожно подергивались от усталости, стоял, молча глядя на Букрайта, пока Букрайт не заметил этого, и тогда остановился, занеся кирку для удара, и взглянул на него. Они глядели друг на друга — два измученных, небритых, исхудалых человека.

— Одэм, — сказал Рэтлиф. — Ты знаешь, кто была жена Юстаса Грима?

— Не знаю, — сказал Букрайт.

— А я знаю, — сказал Рэтлиф. — Она была из тех Доши, что из округа Кэлхун. И это не к добру. А мать его была из Файтов. И это тоже не к добру.

Букрайт уже не смотрел на него. Он осторожно, почти с нежностью, положил кирку, словно это была полная ложка супа или нитроглицерина, и вылез из ямы, вытирая руки о штаны.

— А я-то думал, ты все знаешь, — сказал он. — Я думал, ты тут все про всех знаешь.

— Теперь-то, кажется, знаю, — сказал Рэтлиф. — Но ты все-таки мне расскажи.

— Файт — это была вторая жена его отца. Она не была матерью Юстаса. Об этом мне рассказал мой отец, когда Эб Сноупс впервые взял ферму в аренду у Варнера пять лет назад.

— Ну-ну, — сказал Рэтлиф. — Дальше.

— Мать Юстаса была младшей сестрой Эба Сноупса, — помаргивая, они глядели друг на друга. Стало быстро светать.

— Так, — сказал Рэтлиф. — И это все?

— Да, — сказал Букрайт. — Все.

— А ведь, ей же богу, я тебя здорово подвел, — сказал Рэтлиф.

Они поднялись к дому и вошли в ту комнату, где провели ночь. Там было еще темно, и пока Рэтлиф ощупью искал в каминной трубе мешочки с деньгами, Букрайт засветил фонарь, поставил его на пол, и они, присев на корточки друг против друга около фонаря, открыли мешочки.

— Да, нам бы сообразить, что никакой холщовый мешочек не выдержал бы, — сказал Букрайт. — Тридцать-то лет... — они высыпали деньги на пол. Каждый брал по монете, быстро осматривал, а потом складывал их около фонаря одну на другую, как дамки в шашках. При тусклом свете фонаря они осмотрели все монеты. — Но откуда он знал, что это будем мы? — сказал Букрайт.

— А он и не знал, — сказал Рэтлиф. — Не все ли ему равно? Он просто приходил сюда каждую ночь и копал помаленьку. Знал, что, если станет копать две недели кряду, кто-нибудь непременно клюнет, — он положил последнюю монету и сел на пол, дожидаясь, пока Букрайт кончит. — Тысяча восемьсот семьдесят первый, — сказал он<sup>45</sup>.

— А у меня — семьдесят девятый, — сказал Букрайт. — Есть даже одна, отеканенная в прошлом году. Да, ты меня подвел.

— Подвел, — сказал Рэтлиф. Он взял две монетки, и они ссыпали деньги обратно в

---

<sup>45</sup> Как явствует из оригинала, Рэтлиф и Букрайт, прежде чем открыть мешки с деньгами, уговариваются, что тот, у кого в мешке окажется самая старая монета, выигрывает один доллар. Удача сопутствует Рэтлифу, и поэтому он забирает со стола две монеты — свою и Букрайта. В издании 1964 г. датировка монет сдвинута на двадцать лет вперед для Рэтлифа и на двадцать два года — для Букрайта.



мешки. Прятать их они не стали. Каждый оставил мешочек на своем одеяле, они задули фонарь. Стало светлее, и теперь они ясно видели, как Армстид сгибается, выпрямляется и снова сгибается по пояс в яме. Близился восход; три ястреба уже парили в желто-голубой вышине. Армстид даже головы не поднял, когда Рэтлиф с Букрайтом подошли; он копал, даже когда они остановились у самой ямы, глядя на него в упор. — Генри, — сказал Рэтлиф. Он наклонился и дотронулся до его плеча. Армстид повернулся и замахнулся лопатой, занеся ее ребром, и на ее острие, как на острие топора, стальным блеском засверкала заря.

— Прочь от моей ямы, — сказал он. — Прочь от ямы.

## 2

Повозки с мужчинами, женщинами и детьми, въезжавшие во Французovu Балку со стороны дома Варнера, останавливались, от лавки подходили еще люди, спеша встать у загородки перед домом и поглядеть, как Лэмп и Эк Сноупсы вместе с негром-слугой Варнера, Сэмом, грузят мебель, сундуки и всякие ящики в фургон, стоявший задком вплотную к веранде. Это был тот же фургон, запряженный теми же мулами, которые в апреле привезли Флема Сноупса из Техаса, и три человека то и дело сновали взад и вперед, причем Эк или негр, птясь, неуклюже протискивались с грузом в дверь, а Лэмп Сноупс бежал следом и без умолку, скороговоркой, давал всякие советы и указания, и хотя он поддерживал ношу, но так, чтобы ему не было тяжело, а погрузив ее в фургон, они шли назад и сторонились в дверях, когда миссис Варнер выбегала, нагруженная горшками и наглухо закрытыми банками с разными вареньями и соленьями. Стоявшие у загородки вслух называли каждую вещь — разобранная кровать, туалетный столик, умывальник и таз с такими же, как на умывальнике, цветами, кувшин, помойное ведро, ночной горшок, сундук, без сомнения с женскими и детскими вещами, деревянный ящик, как безошибочно определили женщины, с тарелками, ножами и кастрюлями и, наконец, крепко стянутый веревкой тюк коричневой парусины.

— Что это? — сказал Фримен. — Похоже на палатку.

— Палатка и есть, — сказал Талл. — Эк привез ее на той неделе из города, с вокзала.

— Но ведь не собираются же они жить в Джефферсоне в палатке? — сказал Фримен.

— Не знаю, — сказал Талл.

Наконец все вещи были погружены; Эк с негром в последний раз протиснулись в дверь, миссис Варнер вынесла последнюю банку; Лэмп Сноупс еще раз сходил в дом и вышел со знакомым каждому плетеным чемоданом, потом вышел Флем Сноупс и, наконец, его жена. Она несла младенца, который был великоват для семимесячного, потому что, конечно, не стал дожидаться мая и родился раньше, и остановилась на миг, по-олимпийски высокая, на целую голову выше и своей матери, и мужа, в шерстяном костюме от городского портного, несмотря на летнюю жару, и хотя лицо ее, незрячее и застывшее, как маска, словно бы не имело возраста, румянец на щеках показывал, что ей нет и восемнадцати, при этом женщины в фургонах смотрели на нее и думали, что это первый шерстяной костюм от настоящего портного у них на Французовой Балке и что ей удалось-таки заставить Флема Сноупса купить ей кое-какие наряды, потому что не Варнер же купил их ей теперь, тогда как мужчины, стоявшие у загородки, думали о Хоуке Маккэроне и о том, что каждый из них купил бы ей и костюм, и все прочее, что только ее душе угодно.

Миссис Варнер взяла у нее ребенка, и они увидели, как Юла, подобрав одной рукой юбку вековым, женственным, волнующим движением, поставила ногу на колесо и взобралась на сиденье, где уже сидел Сноупс, держа вожжи, а потом наклонилась и взяла ребенка у миссис Варнер. Фургон тронулся, подрагивая на ходу, лошади повернули, пересекли двор и через открытые ворота выехали на улицу, и это было все. Это и было прощанием, если только вообще было сказано «прости», и повозки, стоявшие у дороги, со скрипом тронулись, а Фримен, Талл и остальные четверо с облегчением повернулись, не сходя с места, и стояли теперь спиной к загородке, с одинаково серьезным, чуть грустным, а

может, даже отрезвевшим видом, едва взглянув на фургон, который выехал из ворот и поравнялся с ними, и мимо проплыла клетчатая кепка, медленно и размеренно жующая челюсть, крошечный галстук и белая рубашка; а рядом другое лицо, невозмутимое и прекрасное, но лишенное всякого выражения, словно у статуи или у мертвеца, не глядевшее на них и вообще ни на что вокруг.

— Пока, Флем, — сказал Фримен. — Когда понатореешь в стряпне, приготовь мне хороший бифштекс.

Он не ответил. Быть может, он даже и не слышал ничего. Фургон удалялся. Все еще не двигаясь с места, они глядели ему вслед и видели, как он свернул на старую дорогу, где целых двадцать лет, не считая последних двух недель, не было никаких иных следов, кроме отпечатков копыт белой Варнеровой лошади.

— Эдак ему придется сделать крюк в добрых три мили, чтобы снова выехать на джефферсонскую дорогу, — сказал Талл озабоченно.

— А может, он хочет прихватить эти три мили с собой в город и выменять их у Аарона Райдаута<sup>46</sup> на вторую половину рестораника, — сказал Фримен.

— А может, он выменяет их у Рэтлифа с Букрайтом и Армстидом еще на что-нибудь, — сказал третий: его фамилия тоже была Райдаут, он был братом того, городского Райдаута, и оба они приходились двоюродными братьями Рэтлифу. — В городе он и Рэтлифа увидит.

— А чтоб увидеть Армстида, нет нужды тащиться в такую даль, — сказал Фримен.

Дорога уже не походила на старый, почти изгладившийся шрам. Теперь она была наезжена, потому что неделю назад прошел дождь, и трава, не топтанная вот уже почти тридцать лет, сохранила четыре отчетливых следа: два по краям — от железных ободьев колес и два посередине, где ступали лошади, каждый день, с того самого первого дня, когда сюда свернула первая упряжка, и ветхие скрипучие повозки, облезлые пахотные лошади и мулы, мужчины, женщины, дети оказались в каком-то другом мире, попали в другую страну, в другое время, в день без названия и числа.

Там, где песок темнел, спускаясь к мелкому ручью, а потом снова светлел на подъеме, многое множество спутанных, перекрывавших друг друга следов колес и подков ошеломяло, как крики в пустом соборе. Потом впереди, у дороги, открывалась вереница повозок, а в повозках на корточках сидели дети, рядом с ними, на плетеных стульях, — женщины, укачивающие младенцев и, когда подходил срок, совавшие им грудь, а мужчины и дети постарше молча стояли вдоль изломанной, увитой жимолостью железной загородки, глядя, как Армстид без передышки копает землю на холме, в старом саду. Они приезжали глядеть на него вот уже две недели. С того первого дня, когда первые жители округа увидели его и принесли об этом весть домой, люди стали приезжать в повозках и верхом на лошадях или мулах издалека, за десять и пятнадцать миль, мужчины, женщины и дети, восьмидесятилетние старики и грудные младенцы, по четыре поколения в одной старой разбитой повозке, еще обсыпанной засохшим навозом, или сеном, или мякиной, и, сидя на повозках или стоя у загородки, чинно, словно в гостях, смотрели на него, затаив дыхание, как глазают на ярмарочного фокусника. В тот первый день, когда первый из них слез на землю и подошел к загородке, Армстид с трудом вылез из ямы и, замахнувшись лопатой, бросился на него, волоча негнущуюся ногу, ругаясь хриплым, бессильным, задыхающимся шепотом, и отогнал его. Но скоро он присмирел; он словно бы не замечал их, когда они, стоя у загородки, глядели, как он вгрызается в землю, перепахивает холм вдоль и поперек, изнемогая в своем неистовом упорстве. Но никто больше не пытался войти в сад, и теперь ему докучали только мальчишки.

К середине дня дальние начинали разъезжаться. Но всегда были такие, которые

---

<sup>46</sup> В издании 1964 г. совладелец ресторана получает имя Гровер Кливленд Уинбуш, поскольку именно так зовут соответствующего персонажа романа «Город».

оставались, хотя из-за этого они не успевали потом засветло выпрячь лошадей, задать им корм и подоить коров. Наконец, уже на закате, подъезжала еще одна, последняя повозка — пара заморенных, худых, как отощавшие зайцы, мулов, кривые, кое-как стянутые проволокой, немазанные колеса, — и стоявшие у загородки оборачивались и молча смотрели, как женщина в серой мешковатой одежде и выцветшей шляпе слезала на землю, доставала из-под козел жестяное ведро и шла к загородке, за которой ее муж работал, не разгибая спины, безостановочно, как метроном. Она ставила ведро в угол, по ту сторону загородки, и стояла, не шевелясь, в серой одежде, падавшей жесткими, словно вырубленными из камня, складками на ее грязные шлепанцы, прижав руки к животу под фартуком. Смотрела ли она на мужа, никто не мог бы сказать; смотрела ли она вообще на что-нибудь, никто не знал. Потом она поворачивалась, шла назад к повозке (ей нужно было еще задать скотине корм, подоить корову и приготовить ужин детям), залезла на козлы, брала в руки веревочные вожжи, заворачивала мулов и уезжала. А следом за ней уезжали и последние зрители, и Армстид оставался один на темнеющем холме, зарывая себя в густеющие сумерки, как заведенная игрушка, с нелепым, чудовищным упорством, надрываясь от напряжения, словно игрушка оказалась слишком хрупкой для такой работы или пружина была заведена слишком туго. Жарким солнечным утром, сидя на галерее Варнеровой лавки с табачной понюшкой в щепоти или жвачкой за щекой, или вечером, в косых лучах заката, встретившись на безлюдном перекрестке дорог, люди толковали об этом, и весть передавалась с повозки на повозку, с повозки конному, от конного другому конному и с повозки или от конного пешему, остановившемуся у ворот или у почтового ящика.

— Он все там?

— Все там.

— Он себя в гроб вгонит. Что ж, не велика потеря.

— По крайности, для его жены.

— Что и говорить. Не придется ей каждый день возить ему харчи. А все этот Флем Сноупс.

— Что и говорить. Другой бы такого не сделал.

— Где уж тут другому. Генри Армстида, конечно, кто хочешь проведет. А вот Рэтлифа и впрямь не провести никому, кроме Сноупса.

И в это утро, хотя одиннадцатый час был только в начале, у загородки уже собралась обычная толпа, и когда подъехал Сноупс, даже те, что собирались в город, как и он, все еще были там. Он не свернул с дороги на обочину. Вместо этого он проехал вдоль длинного ряда повозок, и женщины с детьми на руках глядели на него, повернув головы, и мужчины, оборачиваясь, тоже глядели на него, серьезные, хмурые, глядели, не отрываясь, а он остановил фургон и сидел на козлах, непрерывно, размеренно жуя и глядя поверх их голов в сад. И, как бы следуя за его взглядом, люди у изломанной загородки повернули головы и увидели, как из кустов в дальнем конце сада вынырнули двое мальчишек и, крадучись, стали подбираться к Армстиду сзади. Он не поднял головы, даже не перестал копать, но, когда мальчишки были от него футах в двадцати, быстро повернулся, выскочил из своего рва и бросился на них, занеся лопату. Он не закричал; даже не выругался. Он просто бросился на них, волоча ногу, спотыкаясь о выброшенные из ямы комья земли, постепенно отставая. И когда они нырнули обратно в кусты, Армстид все бежал, а потом, споткнувшись, упал ничком и остался лежать, а люди за загородкой смотрели на него, и стало так тихо, что слышно было его тяжелое, свистящее дыхание. Потом он встал, сперва на четвереньки, как ребенок, поднял лопату и вернулся к своему рву. Он не взглянул на солнце, чтобы узнать время, как обычно делает человек, прерывая работу. Он пошел прямо ко рву, торопясь, мучительно медленно и трудно передвигая ноги, и его худое небритое лицо было теперь совсем безумным. Он залез в ров и начал копать.

Сноупс отвернулся и сплюнул через колесо фургона. Он легонько дернул вожжи.

— Но-о! — сказал он.

